

НОВАЯ
МИРА

5



1977

|| 5 ||

НОВАЯ МИРА

|| 1977 ||



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
Л И Т Е Р А Т У Р Н О - Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й
И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й Ж У Р Н А Л

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1977 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ — Сергей Орлов, Владимир Жуков, Николай Старшинов, Борис Слуцкий, Юлия Друнина, Лев Ошанин, Константин Ваншенкин, Павел Антокольский, Василий Федоров, Марк Максимов, Лев Озеров, Николай Доризо, Людмила Татьянчева, Римма Казакова, Николай Новиков, Владимир Гришин, Евгений Антошкин, Олег Дмитриев, Михаил Беляев, Яков Вохменцев, Лариса Васильева, Новелла Матвеева, Лорина Дымова, Владимир Сергеев, Владимир Сорокажердьеv, Марина Тарасова, Владимир Туркин, Владимир Дагуров	3
АЛЕКСАНДР КРОН — Бессонница, роман. Продолжение	21
МИХАИЛ РОЩИН — Воспоминание, повесть	106
А. БОЧКИН — С водой как с огнем, рассказ гидростроителя. Окончание	133
В МИРЕ НАУКИ	
И. ЗАБЕЛИН — Мы и мир, который нас окружает	207
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ, ОЛЬГА ТУГАНОВА — Контркультура и личность	223
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН — «Войди, мой гость...» Публикация и предисловие Л. Евстигнеевой	235
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. НИНОВ — С веком наравне	241
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Рамз Бабаджан. Творческая эстафета поколений. — Михаил Кузнецов. Смертью храбрых. — В. Абачиева. Остался молодым. — Д. Теvекелян. «...пишете то, что есть».	259

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	276
Ю. Каграманов. О ясонах, тиресиях и других	
КОРОТКО О КНИГАХ: Ю. Амиантов. — Борис Яковлев. Из реки по имени — «Факт»... Историко-революционные репортажи. ♦ С. Николаева. — В. Перцов. Мы живем впервые. О творчестве Юрия Олеши. ♦ Р. Романова. — Виктор Кочетков. Отзывается сердце. Стихи. Виктор Кочетков. Стихи (альманах «Поэзия»). Виктор Кочетков. Стихи («Наш современник»)	285
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

★

СЕРГЕЙ ОРЛОВ

Из записной книжки

Болотный вереск на крови цветет
Не по преданью, а на самом деле,
Я не забуду сорок третий год,
Когда от крови здесь снега кипели.

Ползли полки под пули в рев пурги,
Колючее железо прогрызая,
От Черной речки до пустынной Мги,
За пядь земли болотной умирая.

Одной ценой платили мы в бою
За ржавый мох и за сады Тавриды.
Мы не делили родину свою,
Чтоб не было на нас у ней обиды.

Ты, вереском поросшая земля!
Недешево платила здесь пехота
За глинистые рыжие поля
И торфяные черные болота.

1947,

ВЛАДИМИР ЖУКОВ

* *
*

И вновь, как рана ножевая, —
траншейка с глиной на стерне...
Не вспоминаю — проживаю,
зачем-то в кадрики сшиваю
все то, что было на войне.

Без огнестрельной этой травмы
уже и дня мне не прожить...
Про кровью выжженные травы,
окопчики да переправы
давным-давно забыть пора бы
иль с кем-то память поделить!..

Но как остаться без кювета,
 укрывшего от артогня?
 Без орденов и пистолета?
 Без вечных мук?.. Без партбилета?
 Без павших на высотках где-то?..

Едва в забвенье канет это —
 не сыщешь лычки от меня.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ

* *
 *

Поспать бы еще немного...
 Но слышали москвичи —
 Звучала в ночи тревога,
 Зенитки били в ночи.

И нас ослепляли вспышки.
 И, на подъем легки,
 Московских дворов мальчишки
 Лезли на чердаки.

Прожектор блуждал во мраке,
 Обшаривая небосвод.
 Пикировал на бараки
 Вражеский самолет.

И, если его в потемках
 Ловили прожектора,
 От наших криков громких
 Воздух дрожал — «ура!».

Он падал и за собою
 Протягивал дымный след...
 ...И нечего ждать отбоя,
 Пока не придет рассвет.

1944.

БОРИС СЛУЦКИЙ

В сорок шестом

Мирный житель военный китель
 застегнул. Он теперь учитель.

Лет примерно через пару
 купит он пиджачную пару.

А пока доноситься должны
славные обноски войны.

Фронтовые эти обноски
не боятся стирки и носки

и внушают почтительный страх
на танцуйках и вечерах.

В мыслях он сто раз подытожил,
как он жил, и выжил, и дожил.

Раз ты дожил до этих пор,
привыкай к запасу, майор.

Привыкай! В солнечной системе
ныне карточной время системе.

Недород. Стало быть, недоед.
Привыкай. Ежели надоед,

все равно привыкай, раз уж выдался
этот жребий, этот удел.

Старый мел весь с доски осыпался.
Пусть он сыплется, новый мел,

ЮЛИЯ ДРУНИНА

* *
*

Нужно думать о чем-то хорошем,
Чтоб не видеть плохого вокруг...
Вот опять мне товарищем брошен
В злые волны спасательный круг.

Нужно думать хорошее, нужно...
Как молитву, твержу не впервой:
Есть одна лишь религия — Дружба,
Есть один только храм — Фронтовой.

Этот храм никогда не разрушить,
До сих пор он все греет солдат.
И в него в час смятения души,
Как замерзшие птицы, летят.

ЛЕВ ОШАНИН

Михаилу Дудину

Еще один старый товарищ
 Ступил на песок юбилея
 Порой в стихотворном угаре,
 Печалась порой и болея.
 И критики солнечным утром,
 Хваля его славу и доблесть,
 Рисуют нам трезвый и мудрый
 Его положительный образ.
 А было все в жизни иное —
 Угластое и озорное.
 А юность была фронтовая —
 Опасная, злая, живая,
 В крутой круговерти весенней,
 В везенье, в тоске, в невезенье.
 Забудь хоть на миг он об этом —
 Он не был бы вовсе поэтом.
 А пули отколесили,
 Он дальше пошел по России —
 То звонко и многоугольно,
 То яростно и бестолково...
 И выпито было довольно,
 И горя хватало мужского.
 И дорог он тем, что про слово
 Все ведает не понаслышке.
 ...А к старости он не готовый —
 С душой фронтового мальчишки.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Старики

Дела бессчетным вопреки
 Всегда у сердца на примете
 Присмотренные старики,
 Живущие на белом свете.

 Казался хмурым Смеяков.
 Но средь его достоинств прочих —
 Желанье слушать стариков,
 По преимуществу рабочих.

 А как Твардовский полон был
 Душой, что к нежности готова, —
 Как Исаковского любил
 И Соколова-Микитова!

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Колодец

В глубоких колодцах вода холодна,
Но чем холоднее, тем чище она.
И. Бунин.

Возникает, колеблется, с воплем пронесится мимо.
Если просишь — останься! — то все потерял впопыхах,
То, что было когда-то обещано, — ветром гонимо,
И любимая женщина не уместилась в стихах.

Утверждают, что в речке — глубокий колодец свободы,
Что в глубоких колодцах вода холодна и черна.
Пусть пронесятся годы и плещут подземные воды!
Я бадью опускаю до самого черного дна.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВ

*Видение, бывшее мне в метро
«Маяковская»*

Из года в год державная Москва
Утрами просыпается в три срока,
В три вала волн. Возьму лишь первых два.

Когда заря еще не столь высоко,
Чтоб каменные стены одолеть,
Приходит время первого потока.

Столица просыпается на треть,
Но бесконечны ручейки людские,
Спросонок не привыкшие шуметь.

В потоке первом — люди заводские,
Спешащие в гудящие цеха,
В наполненные гулом мастерские.

Уже горит небесная стреха,
Тогда как в низких световых разливах
Москва еще какой-то час тиха.

Гулкнеет пульс в ее железных жилах,
Выталкивая в уличный простор
Второй поток — поток людей служивых.

На перекрестках в этот час затор
Автомобилей всех известных званий,
Известных и неведомых контор.

Портфеленосцы, те вдоль темных зданий,
Подсвеченных лишь только с вышины,
Идут спокойно, хоть и час не ранний.

Был первый промежуток тишины,
Такой рассветной, что и сердца стуки,
Казалось мне, по всей Москве слышны.

Когда по ней шагал я шагом гулким,
Зари восставшей красные полки
Уже стояли в каждом переулке.

Лучи из них блестели, как штыки,
Вонзаясь в тени, ибо для рассвета
Ночные тени испокон враги.

Я шел за бликом, не теряя следа,
И, повернувши в сторону колонн,
Вошел в метро великого поэта.

На площади своей остался он,
Готовый к встрече главного потока,
И в нем стонал стихов чугунный стон.

В метро мне было так же одиноко,
И верхний зал и эскалатор пуст,
А шахты ствол клонился так глубоко.

Свет, исходивший из потайных люстр,
Мне освещал мой тихий спуск так тускло,
Что порождал приливы странных чувств.

Вдруг сердце почему-то в страх погрузло,
Как будто закачалось подо мной
На горном склоне высохшее русло.

Я тень беды почувствовал спиной,
А камни дна сползали и сползали,
Напоминая сдвиг коры земной.

И снова тишина. В подземном зале
Стальнойю полировкой немоты
Гиперболы колонн меня встречали.

Свет падал на колонны с высоты,
Как из пролома свода после взрыва,
Не тронувшего гранной красоты.

Все так же розовел, лишь мне на диво,
Рассвеченный уральский родонит,
Все так же, да, а стало так тоскливо.

Представил я Москвы ужасный вид,
Поросшей и лишайником и мхами
Поверх асфальта и гранитных плит.

Над возносившими ее веками
Промчались бесполезные года,
Как ветер меж пустыми берегами.

Потом... Потом... Когда-нибудь тогда
С великим стадом северных оленей
Ненецкий пастушок придет сюда.

Пытливый мальчик, полный удивлений,
Найдя метро полузаросший вход,
Дойдет до эскалаторных ступеней,

Заглянет вниз, впадая в хладный пот,
Увидит свет потоков солнцелучных,
Упавших косо сквозь пробитый свод.

Оленевод, ценитель пастбищ тучных,
На это место, где стою сейчас,
Сойдет в своих сапожках бескаблучных.

Рыбак, охотник, он прищурит глаз,
Оценит все же красоту чертога
И с горечью подумает о нас:

«Земли под солнцем было ой как много,
К чему бы людям лезть в подземный мрак,
Зачем бы им красивая берлога?»

Неладно что-то жили... Ой не так!..»
Волна людская смыла наважденье,
И я уже стоял среди зевак.

Вокруг и любопытство, и движенье,
И голоса сочувственных речей,
Невнятных мне, как в первое рожденье.

И только слезы, слезы из очей
От радости, что слышу смех знакомый,
Что вижу вновь улыбки москвичей.

Вторым потоком радостно влекомый,
Я шел к посадке с чувством новизны,
Что есть Москва, ее дворцы и дома.

Состав влетел гонцом ее весны,
Рассвеченный и праздничный, как знамя.
Пусть горькие видения и сны
Останутся виденьями и снами!

МАРК МАКСИМОВ

Листовка

Кто был одиноко, но не весною,
заскучав по девичьим плечам,
кто мне голодное, лесное
волчьё одиночество встречал, —

тот поймет, как бесконечны сутки,
если не с кем в сосняке глухом
поделиться дымом самокрутки
и щепоткой соли. И стихом...

Только стужа!
Только горечь в горле...

Только залетит наискосок
маленький клочок отчизны орлей —
мелко испечатанный листок.

И опять я верю — час настанет:
там, где предал снег ребят моих,
врежут колею аэросани...

И друзьям прочту я этот стих!

1942, немецкий тыл.

ЛЕВ ОЗЕРОВ

* *
*

Мы пишем нынче крупно, без деталей,
Как будто видим жизнь свою вдали.
Трамвай уходит с главных магистралей,
Уходит так, как лошади ушли.

И прошлое, как мордочка косули,
Глядит из-за высоких этажей.
И ямб ушел. И мы его вернули.
Не знаю, зазвучал ли он свежей?

НИКОЛАЙ ДОРИЗО

Светлов

Не мог и дня прожить он без людей,
Лишь с ними становился он поэтом,
Но он на людях жизнью жил своей,
Общителен и отрешен при этом.

Он был неповторим при каждой встрече,
И, может, был неповторим он в том,
Что юмор предков из глухих местечек
И дух «Гренады» сочетались в нем.

ЛЮДМИЛА ТАТЬЯНИЧЕВА

* *
*

Электроток толкает грузы,
Играет силой молодой.
...Вода,
Прошедшая сквозь шлюзы,
Осталась прежнею водой.
Стальным валам
Себя вверяла,
Бросалась с грозной
Высоты
И ничего не растеряла —
Ни синевы,
Ни чистоты.
Все та же удаль
В ней таится.
Вода по-прежнему свежа...
Да, есть чему
Тебе учиться,
Моя ранимая душа!

РИММА КАЗАКОВА

* *
*

Спасибо Печоре и Лене,
чья сказка была недолга,
за умные морды оленей,
за их молодые рога,
за ветер наждачный — по коже,
за тундру, где дали молчат,
за ненцев, на куклы похожих,
и за сувенирных ненчат.
А младшую Клавдией звали...
Ей от роду, кажется, три.
Две щелки углом отливали,
подсвеченным изнутри.
Чтоб горя с ребенком отважным
не знать — это вам не в Москве! —
по два колокольца на каждом
ее меховом рукаве.

Толпились, щеками алая
 нам, всем бледнолицым, в укор,
 ребята из чума Валея,
 глазенки тараша в упор.
 О чем говорили, молчали —
 останется это во мне.
 Потом меня сани помчали
 по белой прекрасной стране.
 Потом мы степенно простились,
 и наш вертолет полетел,
 и длинные тени сгустились
 в запретный морозный предел...
 И мне показалось, что кто-то
 невидимый видит меня,
 отцовская чья-то забота
 замерзшую ждет у огня.
 Обидеть опекой не хочет,
 и все ж, различимый едва,
 ей, где б ни была, колокольчик
 звенит с моего рукава...

НИКОЛАЙ НОВИКОВ

Грибная полоса

Пора разведок, передислокаций,
 Пора тревог — грибная полоса.
 На первых поездах не протолкаться:
 Москва снялась и двинулась в леса.

Их бодрые пронзили голоса.

И грибников по тропам закрутило,
 Через трясины бросило, да так,
 Что, словно коммунальная квартира,
 Насыщен переключкой березняк.

Их миллион, и всем грибов хватило.

А и не хватит — велика ль беда?
 Как пишут в прессе, выигрыш — здоровье,
 А заодно и зелень, и вода,
 И перелески, и стада коровьи...

Воспоминаний дальних череда.

Сегодня триста верст не расстоянье
 Для нынешних гостей и скоростей.
 Чего ж, позавчерашние крестьяне,
 Вы ждете от соседних областей?

Одних грибных или иных страстей?

Да вот и я готов, лишь позови,
 Сам упиваться милою картиной —
 Бродить, шататься, млея от любви,
 В пустом лесу, повитом паутиной...

И дальним голосам внимать — в крови.

ВЛАДИМИР ГРИШИН

Воспоминания о войне

Память сердца мне не остудить,
 снова обращаюсь к ней и снова.
 Что мне делать? Как мне дальше жить,
 если память сердца просит слова?

Все сильнее берез высоких шум.
 Солнце поднимается из ночи.
 Вновь и вновь у сердца я спрошу:
 — Что ты хочешь, сердце, что ты хочешь?
 Чем тебе успокоенье дам?

Но зачем ему успокоенье!
 Для того и служит память нам,
 чтоб ничто не поросло забвеньем.

Боль о сыне не утратит мать.
 Вдовы не забудут час проклятый...

Тяжко нам утраты вспоминать.
 Тяжелее забывать утраты.

Саратов.

ЕВГЕНИЙ АНТОШКИН

* *
 *

Век стремительный, век двадцатый,
 Век космических скоростей:
 Все спешит, все несется куда-то,
 Содрогаюсь от новостей...

Не задуматься, не оглянуться,
 Не прервать стальной разговор —

Что поймет он железным сердцем,
В сотни сил лошадиных мотор?

И летит он. Ни стопа, ни крика.
Только шлейфы бензина
и пыли...
По-кошачьи, глаза навывкат
У бегущих автомобилей.

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

Фотографии на вкладке

(День поэзии. 1975)

Любуюсь я известными поэтами!
Они на снимках запечатлены
Еще в шинели серые одетыми,
В какой-нибудь из дней конца войны.

Они пробились, победили, выжили!
В разрушенной и праздничной стране
Из первых уст сограждане услышали,
Как молодость держалась на войне.

Я вглядываюсь в лица их открытые,
В улыбки, просто детские порой.
Глядят на нас солдаты не убитые,
Они — таланты, в землю не зарытые...
А сколько их таких — в земле сырой?

Да, скольких поглотили ямы черные,
Коль столько возвратил военный вихрь?!
Сейчас легко статистики-ученые
Дадут ответ. Но мы не спросим их.

Зарытые таланты не поднимутся.
Несозданная песня не слышна.
Но те, кого на мирный берег вынесла
Победная, последняя волна,

В растерзанных рядах держа равнение,
Сказали, не скрывая ничего,
За все свое святое поколение,
Где павших — большинство,

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ*Человек идет*

Полет ракет среди полета птиц.
Полет, презревший старину границ.

Творений человеческих венец,
Он там вошел, где мир делил свинец.

Военный в нем еще гнездится гром.
Но думой о войне пренебрежем.

Полет ракет! Он удлиняет высь.
Он скоростью достичь стремится мысль.

Он честь! Он искра божия ее!
Вписал свой посвист в наше бытие.

И подстегнул он ход земных вещей,
И сделал космос дедовский видней.

Он в космос, словно в волны, занырнул,
В нем камни взял — нам под ноги швырнул.

Он неусыпным стал, ракет полет.
Бог отступает. Человек идет.

ЯКОВ ВОХМЕНЦЕВ*Разведчики*

Над четою домиков дощатых
По утрам вздымаются дымки.
Там живут лесные азиаты —
Русские ребята горняки.

В дебрях ставят вышки буровые,
Их ни дождь не держит, ни буран.
Что-то ищут в глубине России —
Может, нефть, а может быть, уран.

Далеко от них живут соседи —
Тут безлюдно в сумраке лесов.
Только вертолеты и медведи
Навещают наших горняков.

Слава им, и пешим и крылатым,
Хоть визиты их и коротки,
Легче вдруг становится ребятам
Отражать нашествие тоски.

Курган.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА

* *
*

Ворвался ветер озорства,
 Оплел зеленой сетью хмеля,
 Взбегала на гору неделя,
 Где все поступки и слова
 Смешались. Кругом голова...
 Я — молодая! Неужели?!
 И словно не прошли года
 Достойных и спокойных чисел,
 Где день от разума зависел,
 А от безумства — никогда.
 Огонь! Я не боюсь огня.
 Спасу тебя, из петли выну,
 Весь мир к ногам твоим придвину,
 Играй — не помни про меня.
 Я счастлива, глупа, смешна,
 Вновь онемела и ослепла,
 А этот ветер у окна,
 Глумясь, играет горсткой пепла.

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

Подпись за мир

Война нравится только тем, кто от нее не страдает.

Эразм Роттердамский.

В черных ладьях полудикие песни проплыли —
 Хриплые песни военных, на рыцарский лад.
 Грустно их слышать, на свет извлекая из пыли
 Хоть бы и лучшие доблести лучших солдат.
 Мало прошло по земле справедливых баталий:
 В черной отаре — лишь несколько белых овец!
 Но и в приятнейших войнах, как мы подсчитали,
 Все-таки самое славное время — конец.
 Как бы то ни было, сердце пленяли невольню
 Храбрость, отвага и мужество шедших на бой:
 Телом рискующих (вечной душой, как ни больно!),
 Жертвы берущих. Но жертвующих и собой.
 Даже в погибели крылась живая основа —
 Гении славы смягчали и худший исход.
 Но порассудим (уж коль доживем до такого):
 Разве с о л д а т на последнюю кнопку нажмет?
 Разве г е р о й? Разве рыцарем надо родиться,
 Чтобы на клавишу смерти — лилейным перстом?!
 (Есть отчего молодцу гоготать, заноситься,
 В чарку глядеться, усы завивая вицтом!)

Где они все? Как подвижники, так святотатцы?
 Храбрость и трусость? Султаны из конских волос —
 И костыли лазаретов? Да все это вкратце!
 Вкратце настолько, что к махонькой кнопке свелось!
 Может быть, это и к лучшему? Легче и проще
 Мигом загинуть, чем вечные слезы точить?
 Жалкая кнопка! Но как пресмыканье от мощи,
 Подлость от подвига — как при тебе отличить?
 Стоит ли всадником, лучником, рыцарем зваться?
 Вдрагивать, вскакивать, спрыгивать, ползать, бежать,
 Лезть, гарцевать, наклоняться, пришпоривать, мчаться,
 Мускулы холить? Зачем? Чтоб на кнопку нажать?!
 Бедная кнопка, последняя кнопка вселенной!
 Ба! — и Ахилл. и трубящий, как раненый лось,
 Дерзкий Роланд, и наглец Ланцелот несравненный
 В реющих перьях — и все это в кнопке сошлось?
 Надо ли быть Геркулесом, Атлантом, Зевесом?
 (Надо ль греметь барабану, а лошади ржать?)
 Надо ли слабым хотя обладать интересом
 К фортификации, брат, чтоб на кнопку нажать?
 Надо ли было рядиться в мундиры и латы?
 Шлемы ковать или вече сзывать, например?
 Кнопка не выдаст, что кони бывали крылаты!
 В кнопку свои легионы увел Искандер...
 Горе! Сжимайся не в боли — сжимайся в размахе!
 Падайте, тысячетные слезы, в цене!
 Сдержанность Гектора, горестный вскрик Андромахи,
 Плач Ярославны в Путивле на древней стене —
 В кнопку, туда же! (Лишь только бы после ошибкой
 Дружеский пепел не путали с вражьей золой!)
 Пошлый и слабый нажмет с идиотской улыбкой...
 Грубый, слепой, раболепный... (А впрочем, не злой...)
 Доблесть, однако ж (казалось, нажал бы — и ладно!),
 Доблесть не гаснет, а только меняет места:
 Квакнет, нажмет — и почувствует... «гордость Роланда»,
 «Ярость Ахилла» и — может быть! — «святость Христа».

ЛОРИНА ДЫМОВА

* *
 *

В надежде постоянной
 успеть, схватить, догнать
 отважно строим планы
 на год, на два, на пять.

Мечтаем о покупках,
 ждем важного звонка,
 забыв, как сердце хрупко,
 как с миром связь хрупка.

Сосулька рухнет с крыши,
откажут тормоза —
и ты уже не слышишь,
пусты твои глаза.

А часто нужно меньше,
чтоб оборвалась нить:
достаточно кому-то
два слова обронить...

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ

Дуб

В лесу, в морозной поволоке,
Средь снежных топей и красот
Обозревает дуб высокий
Окрестность со своих высот.
И всё под ним — и зверь, и птица,
Дорог сплетенья и разбег...
Попробуй не остановиться
Перед природой, человек,
Не преклониться перед нею —
Ее величью и уму,
Попробуй... И стоишь, немея,
Пред чудом, сам понять не смея
Причастность полную к нему!

ВЛАДИМИР СОРОКАЖЕРДЬЕВ

Калитка

В навигацию свой пароход
Выводил он в студеное море,
За Колгуевом
с Карских Ворот
Он срывал ледяные запоры.

Был потоплен его пароход,
На шинель
сменил синюю блузку,
Гнал врага от московских ворот
До фашистских ворот Бранденбургских.

Возвращаясь домой,
за порог

И в первый день я целый день не верю,
 Что мне вот так предписано судьбой:
 Хоть всю неделю, даже три недели —
 Сиди и слушай царственный прибор.

Броди меж сосен, сыпь орехи белкам,
 Подставь лицо ветрам и небесам,
 Живи себе не по секундным стрелкам,
 А по старинным солнечным часам.

Дари улыбки, заражайся смехом,
 Любой наряд — без галстука! — надень...
 Весь этот день я счастлив, что приехал.
 Запомните — я счастлив в этот день.

...И вот он наступает, день отъезда,
 Совсем не равный никакому дню.
 И я теряюсь. Посудите трезво:
 Ну как я с первым днем его сравню.

Лежат крест-накрест брошенные весла,
 Плывет по сердцу медленная грусть...
 Прощайте, белки, до свиданья, сосны,
 Не плачьте, чайки, я еще вернусь.

И снова в день приезда буду счастлив,
 И дню отъезда вновь не буду рад.
 ...Я шевелю манжетом на запястье
 И опускаю взгляд на циферблат.

ВЛАДИМИР ДАГУРОВ

* *
 *

Даше.

Милая, хочется мне постоянства,
 мне, кто неверен был даже себе.
 Горек мне временный быт постояльца
 в доме, любви и тем паче в судьбе.
 В мыслей сумятице, в смуте сердечной,
 вечность, свой призрачный облик яви!
 Так иногда поцелуй скоротечный —
 проблеск бессмертной и верной любви.
 Хочется чувствовать крепкую крышу,
 твердую землю под трезвой ногой.
 Весь пред тобою стою я открывшись,
 как на ладони, с душою нагой.
 Милая, нет, не бессмертья мне надо —
 птица умолкнет, погаснет звезда.
 Но перед грустной порой звездопада
 хочется веровать в вечность гнезда!



АЛЕКСАНДР КРОН



БЕССОННИЦА*

Роман

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

IX. День первый...

Итак, три дня на размышление...

«На похоронах Успенского ты прошел мимо меня и не поздоровался. Видел, но нарочно отвернулся. Вероятно, мадам была поблизости.

Я потратила на тебя лучшие годы жизни, прежде чем поняла, как правы были те, кто говорил, что ты не стоишь моего отношения. Ты всегда был чудовищным эгоистом и не соответствовал моим требованиям, ты был плохим мужем и плохим любовником, ты никогда меня по-настоящему не любил, я не виню тебя за то, чего в тебе нет, и не требую благодарности за все, чем ты мне обязан, я сама отказалась от тебя и не жалею об этом. Не думай, что ты мне нужен, у меня есть все, о чем может мечтать женщина: любящая семья, сын — умный и красивый мальчик, интересная работа, наконец, человек, готовый по первому моему зову посвятить мне свою жизнь. Мне ничего от тебя не нужно, но хотя бы в память нашего прошлого я вправе требовать от тебя уважения. Не отворачиваться, а низко склониться перед женщиной, которая пожертвовала тебе всем, должен был ты. Но ты верен себе: как только люди перестают быть тебе нужны, они для тебя больше не существуют.

PS. Твой синий в полоску все еще висит у меня. Можешь забрать его в любое время».

Конверт заклеен, но без марки и почтовых штемпелей. Кто-то не поленился привезти и опустить в ящик.

Первое ощущение — холодное бешенство.

В этом письме меня возмущает все — от первой до последней строчки. Хватит с меня и того, что я убил целый год на изнурительную процедуру развода — я включаю сюда и бесконечные ночные объяснения, после которых ходишь с распухшей головой и бьешь лабораторную посуду, и вежливые атаки родственников, и хождение по судам, и негодование общественности, — неужели после всего этого я не избавлен от попреков и должен в чем-то оправдываться? Неужели надо объяснять, что в той вокзальной суете и в моем тогдашнем

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

состоянии я просто не заметил свою бывшую жену? У нас нет причин не здороваться, и столкнись мы нос к носу, я не склонился бы низко, как требует ее необузданная фантазия, но несомненно, как теперь принято выражаться, поприветствовал.

Больше всего меня бесит слово «мадам». Слово само по себе безобидное, но надо слышать интонацию, с которой оно произносится, чтобы оценить всю силу сконцентрированной в нем ненависти. Мадам — это торжествующий намек на то, что флиртовавшая со мной ловкая девица с легкостью отказалась от меня для выгодного замужества. Мадам — это ядовитейший намек на то, что доктор биологических наук Успенская — миф, не ученый, а именно мадам — оборотистая супруга всемогущего босса. Все эти намеки мне знакомы, но сегодня меня особенно коробит жестокость. Не несправедливость даже, а душевная тупость, неспособность понять потрясенную горем женщину, которой, ей-же-ей, в высшей степени безразлично, как и с кем я здороваюсь.

Что ни строчка, то ложь. Притом бессмысленная. Мы оба прекрасно знаем, кто от кого ушел, и, коли на то пошло, я предпочел бы, чтобы оставила меня она, у меня было бы меньше неприятностей. К слову сказать, пока я не сбежал из дому, никакие мои качества сомнению не подвергались.

И потом этот выпрєнный моветон, все эти «низко склониться» и «по первому зову»... Если все так хорошо, то какого черта она так медлит со своим зовом?

Первое побуждение — немедленно излить свое негодование. К счастью, телефона у меня нет, надо переобуваться и идти в автоматную будку. Пока я вожусь со шнурками, давление в котле падает, и я становлюсь доступен сомнениям. Куда звонить? Домой? Трубку почти наверняка возьмет теща: «Лешенька, вы? Рада слышать ваш голос. Лидуська в ванной, сейчас я перенесу к ней аппарат»... После такого мирного начала никакая отповедь уже невозможна. Можно подождать час-другой и позвонить в редакцию. На минуту я представляю себе просторную, светлую, но неуютную комнату, обставленную мебелью цвета сливочного масла, где, как в вольтере, щебечут и прыгают с полдюжины разномастных представительниц редакционной фауны. Час приема посетителей еще не наступил, и все заняты тем: две девицы, воровато оглядываясь на дверь, примеряют импортный джемпер; третья, выдвинув средний ящик стола и зажав уши ладонями, читает роман; четвертая не отрываясь смотрит на телефонный аппарат: кто-то должен позвонить и она не разрешает занимать линию. Дррынь — это звоню я. Трубку хватают сразу же: «Да-а?!» «Будьте добры, Лидию Васильевну». Пауза, необходимая, чтоб разочарование переключилось на любопытство, затем ясно различимый шепот: «Лидка, твой...» После чего желание звонить по телефону у меня окончательно пропадает.

Однако я все еще киплю и меня осеняет другая, не менее вздорная идея — написать ответное письмо. Краткое и разящее, как удар хлыста. Прежде чем сесть за стол, я перечитываю послание моей бывшей жены. На этот раз я отношусь к нему гораздо спокойнее, а постскриптум насчет синего костюма заставляет меня улыбнуться. Нет ничего легче, чем высмеять ее претензии, но дело ведь не в них — женщины не всегда отдают себе отчет в том, что именно их обидело. Надо быть великодушнее и признать — некоторые основания для обиды у Лидии Васильевны есть.

Я перечитываю письмо в третий раз, стараясь разжечь в себе

угасающую ярость, но у меня это плохо получается, и я подозреваю, что ответный удар так и не будет нанесен. А если начать докапываться до корня, то мне действительно следует низко склониться перед моей бывшей женой, не из почтения, а из чувства вины — какова бы она ни была, никто не заставлял меня на ней жениться.

Когда к нам в госпиталь привезли моего будущего тестя, меня нашли не сразу. Я спал. В том, что человек, простоявший десять часов у операционного стола, решил отоспаться, нет ничего преступного, разве что нагрят высокое начальство. Оно нагрянуло. Дежуривший по госпиталю мой зам Жуковицкий растерялся столь постыдно, что не выполнил элементарной обязанности врача — осмотреть больного и полностью подчинился развязному порученцу. К моему приходу единственная комната, предназначенная для отдыха персонала, была вконец разорена и там стояли две койки — белая послеоперационная для корпусного комиссара и раскладушка для порученца. Этот рослый охламон с красивым, но незапоминающимся кордебалетным лицом попытался и со мной взять начальственный тон:

— Это вы начальник госпиталя?

— Да, я.

— В первый раз вижу полевой госпиталь, где начальник спит среди бела дня.

— В таком случае, — сказал я, — вы вообще в первый раз видите полевой госпиталь. Разрешите мне пройти...

Но он загораживает дверь:

— Корпусной комиссар отдыхает.

— Насколько я понимаю, корпусной комиссар нуждается не в отдыхе, а в медицинской помощи.

— Насчет этого не беспокойтесь. Послан самолет за дивврачом, профессором... (Называется фамилия Великого Хирурга.)

Тут я совсем обозлился.

— Послушайте, вы, — сказал я, переходя на понятный охламону язык. — Пока меня не сняли с должности, здесь выполняют только мои указания. А если вы будете мешать мне работать, я найду способ призвать вас к порядку.

В этот момент раздается голос — с хрипотцой, но приятный:

— Ты что там скандалишь, Виталий?

— Это не я скандалю, Василий Данилыч, — плаксивым голосом говорит охламон. — Это вот военврач...

— Ладно, пусть.

Вхожу. Первое, что вижу — висящий на спинке стула китель с генеральскими петлицами. А за кителем полулежит в подушках нестарый человек в трикотажной фуфайке, чем-то похожий на спортивного тренера. На лбу шишка, один глаз запух и не смотрит. А улыбка — ничего, симпатичная.

— Что с вами, товарищ корпусной комиссар?

— А вы кто?

— Я начальник госпиталя.

— А! Это тот, что днем спит?

— Так точно.

— Хм. А что вы по ночам делаете?

— Людей режу. Разрешите все-таки узнать, что с вами приключилось?

Он смеется — с оттенком смущения:

— Этого медицина еще не установила. Подозревают внутреннее кровоизлияние.

— Кто подозревает?

— Логвинов. Знаете?

— Еще бы не знать. Больно?

— Было больно. Пантопон колоди.

— Вот это зря. Смазывает картину...

Затем я выяснил все обстоятельства. Корпусной ехал на машине по обстреливаемой дороге. Снаряд разорвался в нескольких метрах, и машину занесло в кювет. Водитель и прочие сопровождающие лица отделались легкими ушибами, но у самого вскоре начались сильные боли.

— Логвинов послал самолет за Мстиславом Александровичем. Говорил я ему, чтоб не разводил паники. Что поделаешь — перестраховывается...

Логвинов — мое начальство, я его терпеть не могу, но из чувства профессиональной солидарности разговора о перестраховке не поддерживаю и, чтоб переменить тему, говорю:

— Давайте я вас все-таки пощупаю.

— Ох, и так уж намяли. Зачем вам?

— Чистая перестраховка. А то скажут потом: привезли больного, а начальник госпиталя его даже не посмотрел.

Генеральский живот мне понравился — мускулистый, без лишних отложений. Никаких признаков травмы, кровоизлиянию взяться неоткуда.

— А насчет аппендицита, — спрашиваю, — не было разговора?

— Не помню. Кажется, был. А что?

— А то, что у вас самый настоящий аппендицит. Ярко выраженный. И по-моему — на грани.

— Короче. Что вы предлагаете?

Я подумал и говорю:

— Поверьте, я полон почтения к Мстиславу Александровичу и, если б речь шла о сложной операции, почел бы за честь подавать ему инструменты. Но стандартные операции я делаю чаще и, смею думать, не хуже. Опять же возьмите в расчет: под Новый год див-врача могут не найти, а если мы с вами дотянем до прободения...

— Короче, — говорит мой будущий тесть. — К чему вы клоните?

— А вот к чему: если нет такого правила, что оперировать вас может только равный по званию, мы с вами сейчас немножко помоемся...

Тут охламон не выдержал и подал голос. Намекнул даже, что Катерина Флориановна будет недовольна. Но корпусной велел ему помолчать. Затем спросил, хмурясь:

— Ну, и как это у вас делается? Под общим или под местным?

— Под местным, конечно...

— Тогда при одном условии.

— Слушаю.

— Что вы побреетесь. А то вид у вас больно разбойничий.

Корпусной оказался с юмором — это мне совсем понравилось. Меньше чем через час девочки прикатили его ко мне в операционную, и я начал вводить ему новокаин по Вишневному. В своем диагнозе я несколько не сомневался, единственное, чего я не учел, было подлое поведение вражеской авиации. Такого налета не было с начала ноября. Когда потух свет, я не растерялся, подобные случаи

у нас предусмотрены, но когда с потолка посыпалась штукатурка, я не на шутку струхнул. Прервать операцию я не мог, и швы пришлось накладывать под тентом, который держали над столом санитарки и прорвавшийся таки в операционную порученец. Корпусной вел себя прекрасно и даже пытался меня подбадривать, хотя вряд ли понимал, почему я нервничаю. А нервничал я потому, что при моих натянутых отношениях с Логвиновым не только прямая ошибка, но любое послеоперационное осложнение могло выйти мне боком, и я уже поругивал себя за авантюризм. Конечно, это было малодушием, и, когда все закончилось благополучно, я его уже стыдился. Генеральский отросток, сильно воспаленный и в самом деле грозивший перитонитом, я на всякий случай сунул в спирт — как отчетный документ.

Ночь оперированный провел спокойно. А на следующее утро к госпиталю подкатила легковая машина, Логвинов и еще какой-то чин не нашего ведомства остороженько, под локоток извлекли из нее Великого Хирурга и мою будущую тещу. Одновременно открылась передняя дверца, и на крыльцо выпорхнула эффектная девица в ловко сшитой поддевочке из генеральского сукна, мерлушковой папахе и шевровых сапожках. Девица мне сразу же не понравилась — и своим военизированным нарядом, и тем, как, не дожидаясь старших, она первой ворвалась в госпиталь.

Судьба моя решилась в течение получаса. Логвинова чуть не хватил инфаркт, и хорошо, что не хватил, потребовалась бы еще одна отдельная палата. Великий Хирург, осмотрев больного (то бишь раненого, больных мы не держим), объявил: операция произведена безупречно, а главное, чрезвычайно своевременно, и такие врачи, как я, делают честь возглавляемому доктором Логвиновым ведомству. На эту тему он распространялся с особым удовольствием, понимая, что его комплименты — нож острый для Логвинова, на которого сердился за бессмысленный вызов и испорченную новогоднюю встречу. Корпусной тоже расхваливал меня на все корки, ему нравилось, что он оперирован в солдатском госпитале рядовым врачом — это пахло фронтом и заставляло забывать о прозаическом отростке. Все остальное уже не имело значения. Логвинов, человек опытный, сразу смекнул: поскольку преступника из меня не получается, надо делать героя. К вечеру я был самым настоящим героем — все, что я говорил, было умно и все мои действия правильны.

Моя будущая теща соорудила у одра больного импровизированную новогоднюю встречу. Я был тоже приглашен, но отказался, чтоб не обидеть своих сотрудников — они тоже собирались встречать. В другой ситуации отказ мог быть сочтен дерзостью, но поскольку я был героем дня, он меня только украсил. С меня взяли слово зайти хотя бы ненадолго, я зашел и был обласкан всеми, включая Логвинова. Он даже произнес в мою честь шуточный тост, из коего явствовало, что если б не длинный язык и не дурной характер, я бы мог стать человеком.

Катерина Флориановна, еще красивая женщина явно дворянских кровей, была со мной мила, дочь поначалу тоже, а потом начала задирать. В другое время я сумел бы огрызнуться, но в тот вечер от меня все отскакивало, как от полированной поверхности, даже похвалы Великого Хирурга. На Лиду же я вообще не смотрел, хотя посмотреть было на что: золотистая блондинка, на щеках прелестные ямочки. Из скрещения крепкой простонародной стати отца с материнской рафинированностью получился любопытный гибрид. Но мне

было не до гибридов. Была тревога за Бету, были тяжелые раненные, была огромная усталость.

На другой день, наговорив мне на прощанье много лестных слов, Великий Хирург улетел, а еще через три дня пришла санитарная машина за корпусным комиссаром.

Ко дню Красной Армии я получил свой первый орден — Красную Звезду. С этого дня моя военная карьера круто пошла на подъем. Меня уже никто не называл кошкорезом, наоборот, принято было говорить, что у меня золотые руки. Список моих достижений рос. Я ампутировал ногу командиру соседней дивизии, а другую ногу, принадлежавшую заехавшему на наш участок фронта журналисту, несмотря на реальную угрозу сепсиса, мне удалось спасти, и нам обоим повезло — журналист поныне здравствует, стал известным писателем и прихрамывает только из кокетства. К концу войны я был полковником, четырежды орденосцем и главным хирургом фронта.

Сказалось ли на моих успехах неожиданное благоволение высокого начальства? В то время сама постановка вопроса показалась бы мне оскорбительной. Сегодня я смотрю трезвее. Не в моем характере что-либо выпрашивать, но если вспомнить, сколько боевых заслуг и даже настоящих подвигов в сутолоке военных будней остаются незамеченными и неотмеченными, то надо признать — мне везло, я всегда был в поле зрения.

Пока шла позиционная война, мы с моим будущим тестем изредка встречались. По службе мы почти не сталкивались, но когда наступало затишье, Василий Данилович присылал за мной Виталия, и мы проводили вечер вместе, иногда вдвоем, иногда в узкой компании. Среди этих людей я единственный был в невысоком звании и поначалу держался настороже. Я сразу отклонил отеческое «ты», проскользнувшее у Василия Даниловича, сделал я это не грубо, и он не обиделся. Кажется, он в самом деле хорошо ко мне относился, ему даже нравилось иметь собеседника, которого не гипнотизирует блеск его литых генеральских погон. Будь я его подчиненным, это могло ему в конце концов разонравиться, но я был врач, да еще хирург, болезнь костей не разбирает, на операционный стол в мундире не ляжешь, в моем обществе он отдыхал от повседневного общения с людьми, приученными не возражать. Мне с ним тоже было всегда интересно — он был умен, любил посмеяться, а при случае мог порассказать такое, о чем в сводках не пишут. Жил Василий Данилович скромно, скучал без жены и дочери и при первой возможности вызывал их к себе на побывку. Удавалось это не часто, и за все время я видел обеих не больше трех раз. Встречи эти не оставили у меня сколько-нибудь глубокого впечатления, мать была со мной неизменно ласкова, дочь тоже, хотя иногда говорила дерзости. На мой взгляд, она была неглупа, но слишком избалована, даже войну она воспринимала как-то чересчур празднично, я никогда не слышал от нее ничего такого, что говорили в те тяжелые времена все жены и матери, хотя сама она была и женой и матерью, у нее был маленький сын, отданный на попечение незамужних теток, и странный муж — необыкновенно засекреченный товарищ, не то строитель, не то конструктор, всегда пребывающий в длительной командировке на востоке страны. Скажи мне кто-нибудь тогда, что я женюсь на Лидии Васильевне, я рассмеялся бы ему в лицо, и даже элементарная мысль о возможности романа со свежей и, по общему признанию, привлекательной женщиной если и посещала меня, то в той вяловатой форме, в какой беспринципное мужское воображение откликается на

появление любой особи женского пола, если она не стара и не слишком уродлива.

Сорок четвертый был весь в движении, войска с боями уходили на запад, медицина стала на колеса, я надолго потерял из виду Василия Даниловича и почти совсем забыл Лидию Васильевну.

В Берлин я попал примерно через неделю после капитуляции рейха, когда быт побежденной столицы уже несколько устоялся. Ожесточение и испуг первых дней рассеялись, и в огромном полуразрушенном городе возникла атмосфера несколько даже легкомысленная, победители наслаждались победой, побежденные тоже по своему отдыхали. Советские комендатуры установили свои порядки, и население города легко — во всяком случае, по видимости — приспособилось к этим порядкам, сказалась вошедшая в плоть и кровь привычка к подчинению. Работы мне, впрочем, хватало — в таком большом городе, как Берлин, редкий день обходится без происшествий. Особенно много хлопот доставляли лихие водители. Ездили наши орлы только на предельной скорости, ни о каких правилах движения не думали, считалось особенным шиком остановить машину не у тротуара, а вплотную к подъезду. В этой сумасшедшей езде и во вспыхивавшей по временам безобидной стрельбе — палили в воздух или по выставленным в ряд пустым бутылкам — сказывалась понятная всякому воевавшему человеку жажда разрядки. У нас в восточной части города порядки были построже, и любители сильных ощущений отправлялись обычно в западные районы Шарлоттенбург и Вильмерсдорф, где с разрешения местных комендатур открылись летние кафе с подачей жидкого кофе и безалкогольного пива, а чуть позже в Вильмерсдорфе зажглись огни настоящего кабаре под зазывным названием «Фемина», правда, без кухни, но с коктейлями, танцами и специфической для этого рода заведений эстрадой. Здесь до поздней ночи роились самые неожиданные персонажи: американские солдаты — белые и негры, — французские и греческие партизаны, испанцы и югославы, заходили и наши офицеры. Немцев, кроме кельнеров, я там не видел, зато немок — без числа и на все вкусы. Насколько я могу судить, профессионалок среди них почти не было, в большинстве это были изголодавшиеся девки из трудовых семей, изголодавшиеся и в прямом смысле, но еще больше по мужскому обществу, яркому свету, танцам и развлечениям. В победителях их привлекало обаяние могущества, так завязывались скороспелые связи, не бескорыстные, но и без принуждения, с видимостью свободного выбора; знаю несколько случаев, когда они перерастали в настоящие сердечные привязанности, особенно со стороны девиц, на которых производили ошеломляющее впечатление широта и добродушие наших парней.

В то время Берлин еще не был поделен. Не было политической границы, но географическая очень чувствовалась, чтобы попасть из восточного пролетарского Берлина в западный, нужно было проехать через разгромленный и безлюдный центр, мимо стертой с лица земли Унтер-ден-Линден и превращенных в руины гигантских универсагов Фридрихштрассе, по кое-как расчищенной от осыпей и завалов узкой, извилистой, похожей на горную тропу дороге. У меня не было ни времени, ни охоты часто проделывать это путешествие, но однажды я все-таки поехал и вовек его не забуду — даже днем в ясную погоду меня не оставляло ощущение жуты, не страха, а именно жуты, могильного холода, исходившего от этих нагретых солнцем руин. А на обратном пути зрелище было и вовсе inferнальное, ночной мрак

скрыл все, что еще сохраняло геометрические формы и тем самым напоминало о присутствии человека, красноватый свет луны падал на чудовищное нагромождение скал, между скалами чернели ущелья, где терялся свет наших фар.

Моя часть, или, как тогда принято было называть, «хозяйство», расположилась в Карлсхорсте, одном из восточных пригородов Берлина, а сам я устроился поблизости, у некой фрау Марты Кюн, вдовы чиновника, жившей вместе со взрослой дочерью в типичном для этих мест двухэтажном домике, крошечном, но с претензией на респектабельность, с кованой оградой и внушительными каменными ступенями, ведущими от глухой калитки к дубовой парадной двери, где на бронзовой пластинке замысловатой готической вязью было вырезано: «Д-р Э. Кюн». Мне был отведен докторский кабинет. Судя по висевшей над громоздким кожаным диваном свадебной фотографии, доктор был самым заурядным буршем с малоинтеллигентной и притом весьма надменной физиономией. Фрау Марта, костлявая дама лет пятидесяти, тоже, вероятно, когда-то умела быть надменной, я видел ее только льстивой. Меня она неизменно величала «герр оберст», хотя прекрасно знала, что я врач. Я отдавал ей часть своего пайка, за это она по утрам поила меня настоящим кофе со свежими булочками. Дочь я видел редко, она сутками пропадала в Вильмерсдорфе у подруг, и мать нисколько не беспокоилась. Вопреки моему книжному представлению о немецких девушках Маргот Кюн была тоненькая брюнетка, юркая, как ящерица. К восемнадцати годам эта Гретхен третьего рейха сложилась в законченную потаскушку, бесстыдную и холодно-деловитую. В первый же день нашего знакомства она открыто предложила себя, пользуясь для этого принятым в заведениях типа «Фемина» международным жаргоном: «Айн бисхен амюземент — папа-мама, ферштейн?» И когда я сухо отшутился, сразу потеряла ко мне всякий интерес. Отвращение мое еще усилилось после того, как мой шофер Борис, парень дошлый и всезнающий, со смехом поделился со мной полученной откуда-то информацией: «Девка с перцем и заводная на всякие штуки, только тискать не дает, говорит, от этого грудь портится, а я себя для мужа берегу».

Я работал с утра до ночи, жил анахоретом, не ездил развлекаться в Вильмерсдорф, терзался отсутствием писем от Беты и все-таки не был защищен от носившихся в воздухе флюидов. Нечувствительный к грубым соблазнам, я был переполнен неясным ожиданием. Оно-то меня и подвело.

Был воскресный вечер. Все мои подчиненные на законном основании разбрелись кто куда, и я при всем желании не смог выдумать себе никакого дела. Я не пошел ужинать и, стянув с себя сапоги, залег на кожаный диван доктора Кюна с пудовым томом «*Geschlächt und Charakter*»¹ Отто Вейнингера, очень скучным сочинением, которым некогда зачитывались интеллигентные россияне. Свет вскоре погас, идти к фрау Марте за лампой я поленился, и меня уже клонило в сон, когда скрипнула дверь и мне в глаза ударил луч электрического фонарика. Я приготовился было отругать фрау Кюн за неприятную манеру входить без стука, но за ее спиной мне послышалось шушуканье, это мог быть кто-то из штаба или из госпиталя, я промолчал и дал фрау Марте возможность отрапортовать, что герр оберста желают видеть фрау обер-лейтенант и еще какая-то дама. Фрау обер-лейтенант вошла и оказалась Лией Гельфанд, переводчи-

¹ «Пол и характер» (нем.).

цей разведотдела. Лия была свойская баба, компанейская и острая на язык, мы с ней иногда перешучивались в штабной столовой, но ко мне она никогда не заходила и ее визит меня несколько озадачил. Вторая женщина, тоже в военном плаще, но без погон, на полголовы выше маленькой Лии, держалась в тени.

— Смотрите, док, — сказала Лия, — кого я вам привела!

Она отобрала фонарик у фрау Кюн, это был намек. Хозяйка с явной неохотой удалилась, а незнакомка сделала шаг вперед. Она сдернула берет, я увидел золотистые волосы и все-таки не сразу узнал Лиду — слишком неожиданным было ее появление в немецком городе Берлине.

— Вот видишь, Лейка, — сказал смеющийся голос. — Я же тебе говорила: не надо к нему идти. Этот зазнавшийся подонок меня даже не узнаёт.

Черт меня знает почему, но мне сразу стало весело. Наверно, я чего-то ждал, и вот оно, это что-то, произошло. Я сунул ноги в тапочки и засуетился. Вытащил из чемодана неприкосновенный запас — португальские сардины, шоколад и бутылку коллекционного вина. Пока я открывал банки и откупоривал бутылку, женщины все время смеялись и что-то наперебой рассказывали. Как я понял, Лида прилетела в командировку от какого-то журнала, случайно встретила Лию, которую знала еще со школы, и Лия надоумила ее посоветоваться со мной насчет временного жилья. Все это было правдой меньше чем наполовину, командировку, конечно, соорудил папа, а устроить Лиду на постой Лия могла и без меня, но все это мелкое вранье не имело значения рядом с той неоспоримой правдой, что Лида в Берлине, искренне рада встрече и что сегодня непременно произойдут какие-то предвидимые неожиданности. Мне не хотелось идти к фрау Кюн за посудой, мы ужинали по-студенчески, одна вилка на троих, но очень весело, и я уже знал: когда будет допито вино, Лия наверняка вскочит и скажет что-нибудь вроде: «Господи, что же я делаю, начальство с меня шкуру спустит...» — заведомое вранье, ибо в выходной день начальство прекрасно обходится без переводчиков. Однако она все же вскочила, сказала все почти слово в слово, помахала нам рукой и убежала, и мы остались наедине, не только не ощущая неловкости, но в радостном убеждении, что все идет так, как и должно идти.

Нас разбудило солнце. Фрау Кюн, верная своему обычаю входить без стука, увидев на подушке две головы, не повела и бровью. Вероятно, если б она увидела три, было бы то же самое, имея такую дочку, как Маргот, можно привыкнуть ко всему. Единственное, что она произнесла, было «цвай каффе?». Это был не столько вопрос, сколько раздумье — откуда взять еще одну булочку. После чего она удалилась, а мы, очень мало смущенные, побежали умываться. Затем мы пили кофе все с тем же ощущением своей молодости и свободы от условностей, с каким вчера ужинали, и расстались до обеда. Всю первую половину дня я занимался своими обычными делами, о Лиде почти не думал, если же вспоминал, то с радостным чувством, похожим на удивление, и без всяких низменных опасений. Опасения впервые вкрались в мою душу, когда мы вчетвером — Лида, я, Лия и сопровождавший ее очень милый майор с каким-то ученым значком, вероятно, то самое грозное начальство, имевшее обыкновение спускать с нее шкуру, — заняли угловой столик в штабной столовой. Появление эффектной блондинки, дочери известного человека, не могло остаться незамеченным, и к концу обеда я уже понимал, что

если мы в течение недели будем обедать и ужинать за одним столом, это несомненно вызовет разговоры. Пересуды меня сравнительно мало беспокоили, но я впервые задумался о возможных последствиях. Достаточно Лиде еще раз переночевать у меня, как фрау Кюн начнет величать ее Frau Oberstin, а Лия приведет к нам своего майора как в семейный дом.

Но есть области, где женщины несомненно умнее мужчин, пока я раздумывал, как бы поделикатнее избежать совместного ужина в столовой, Лида будто бы между прочим объявила, что договорилась с соседкой фрау Кюн о полном пансионе, а завтра на рассвете уезжает на несколько дней в летнюю часть. Это сразу развернуло на сто восемьдесят градусов весь ход моих мыслей, я думал уже не о том, как избавиться, а о том, как удержать. После обеда Лида сразу исчезла и ужинать в столовую не пришла. Вернувшись домой, я был даже несколько раздосадован; где живет соседка, приютившая Лиду, я не знал, а спрашивать у фрау Кюн не хотел. Поэтому я угрюмо залег на докторский диван с постылым Вейнингером, ученый немец быстро вогнал меня в зевоту, и я уже задремывал, когда за окном раздался треск, похожий на короткую автоматную очередь. Я подбежал к окну и в сумерках разглядел Лиду. Она стояла посредине узкой гравийной мостовой и смеялась. Заметив меня, она бросила на землю приготовленную горсть камешков и помахала мне рукой. Я спустился вниз, с тем чтоб тут же увести ее к себе, но она ухватила меня за руку и, смеясь, потащила за собой.

Лидина хозяйка оказалась старой девой, но тоже без предрассудков. Об ее девстве я заключил по тому, что в отличие от фрау Кюн ее надо было называть фрейлейн. В уютной светелке под крышей фрейлейн Тильман мы затворились до рассвета, и рассвет наступил раньше, чем нам хотелось. Было бы преувеличением сказать, что мы не ложились, но не спали мы ни минуты, а когда нас стало клонить ко сну, с улицы донеслось осторожное тьяканье клаксона — прикатила машина из той самой летной части, куда собралась ехать Лида. Мы вышли вместе, но у калитки Лида быстро коснулась губами моей щеки и проскользнула вперед. Стоя за оградой, я слышал, как прошуршали по гравию ее шаги и хлопнула железная дверца.

В этот день я впервые за всю свою практику отменил утреннюю операцию.

Все последующие дни я прожил со смутным чувством, в котором при желании можно было различить и самодовольство и раскаяние. Для меня по-прежнему существовала только одна женщина — Бета, но Бета была далеко, где-то на другой планете, и разделяли нас не только сотни километров и пограничные заставы, но и прожитые врозь годы.

А Лида была близко. Она тоже была с другой планеты, но вот сумела же преодолеть все барьеры и, хотя прямо об этом не говорилось, сделала это для меня. На той планете я был в лучшем случае равнодушен к Лиде, здесь ей удалось разом разрушить сложившиеся у меня предубеждения, я был ошеломлен силой и искренностью чувства, которого не добивался и ничем не заслужил. Отплатить за него можно было только абсолютной честностью, и я решил при следующем свидании дать понять, что я не свободен. Три дня — Лида собиралась пробыть у летчиков три дня — я был тверд. На четвертый соскучился и даже приревновал к воображаемому командиру эскадрильи, из-за которого Лида задержалась на лишний день, на пятый меня уже сотрясало нетерпение. Приехала она только к вечеру пя-

того дня, довольная, оживленная, и снова бросила горсть камешков в мое окно.

Лида провела в Берлине еще около недели и за все эти дни не дала мне никакого повода для тревоги или беспокойства. Решающее объяснение оставалось в резерве на случай, если б Лида попыталась покуситься на мою суверенность, но ее вел верный инстинкт. Вероятно, ей очень хотелось, чтоб я показал ей образцовый госпиталь, повозил по городу, а затем посидел с ней в каком-нибудь кабачке вроде «Фемины», однако она ни разу не заикнулась о своих желаниях, в Вильмерсдорф и в Потсдам ездила с Лией и ее разведчиками, возвращалась всякий раз в праздничном настроении, и меня уже тогда поражала ее способность видеть весь мир через призму собственных настроений. После победного ликования первых дней для большинства людей уже наступили будни, обнажившие тяжкие страдания, которые принесла война и побежденным и победителям. Лида всего этого не видела, ей было хорошо, и она не понимала, как в эти дни кому-нибудь может быть плохо. В таком расположении духа она была очень мила и, не прилагая к тому никаких усилий, очаровала всех, даже бравую потаскушку Маргот. С Маргот Лида с удовольствием болтала на невозможном франко-англо-немецком сленге, а потом, смеясь, допытывалась у меня, не согрешил ли я с прелестной фрейлейн Кюн, и была даже как будто разочарована, уверившись в моем целомудрии. Конечно, это была игра, уже тогда я не сомневался, что Лида ревнива, но в то время ей нравилось быть необременительной-легкой и женственно-покорной, она была на все согласна и всем довольна, на все мои вопросы отвечала «как хочешь» или «как скажешь», а иногда молча целовала мне руку, с улыбкой, конечно, и вроде как в шутку, но меня это трогало, руку мне, помнится, никто не целовал, если не считать пожилой немки, у которой я ампутировал голень. Женщина, столь же своенравная, как Бета, смотрела на меня глазами влюбленной ученицы, глазами Ольги — мне это льстило. Была ли это только игра? Не думаю. Жизненный опыт говорит мне, что абсолютная неискренность так же редка, как абсолютная искренность. Большинство эгоистических поступков делается с видимостью убеждения в их общественной полезности и нравственной допустимости. Природа вообще, а человеческая в частности, почти не знает явлений, которые существовали бы в беспримесном, химически чистом виде. Будь искренность лишена грааций, была бы невозможна актерская игра и сильно затруднено повседневное человеческое общение. Я и раньше замечал: у натур деспотических время от времени возникает потребность кому-то подчиниться, в каждом деспоте непременно сидит глубоко запрятанный раб. Весьма возможно, что кротость моей будущей жены не была рассчитанной. Тем не менее она оказалась куда действеннее и неотразимее, чем нажим или самая изощренная дипломатия.

Ночь перед вылетом в Москву была опять бессонной, а на рассвете я отвез Лиду на Темпельгофский аэродром. Заготовленное объяснение так и не состоялось.

Через месяц Главсанупр отозвал меня в Москву.

Вызов застал меня врасплох. Будь я уверен, что вызывает Институт, я бы недолго раздумывал, но было гораздо больше оснований заподозрить здесь руку моего будущего тестя, и это мне не понравилось. В Берлине у меня не было будущего, это позволяло мне жить настоящим и не думать о завтрашнем дне. Время в чужом городе

текло иначе, как на другой планете, и эта инопланетность моего существования меня в то время устраивала.

Я попытался отбиться, и мое берлинское начальство меня всячески поддерживало. Однако Москва оказалась сильнее, и после всех отяжек тяжело нагруженный «дуглас» выбросил меня во Внуковском аэропорту, а случайный шофер отвез вместе с чемоданом и трофейным «телефункеном» прямо в Управление — я знал, что моя московская комната оккупирована соседями, и не собирался вступать в борьбу.

В Управлении я был немедленно принят на самом высшем уровне и еще до конца рабочего дня перевез свои пожитки в гостиницу, имея в кармане полный набор всякого рода ордеров и пропусков, а в перспективе весьма лестное назначение, от которого твердо решил отказать.

Гостиница оказалась на редкость унылым учреждением. Сурового вида дежурная по этажу заставила меня подписать обязательство по первому требованию убраться из занимаемого мною номера и предупредила: все посещения только в дневное время, с разрешения администрации, с обязательной регистрацией в журнале. Только после этого мне был выдан ключ с номерной бляхой, пригодной для открывания бутылок. В номере пронзительно пахло мастикой для натирания полов.

Я отворил окно и, еще не распаковывая чемодана, набрал единственный сохранившийся в моей памяти номер, отсчитал десять длинных гудков, повесил трубку и через минуту повторил набор. Короткие гудки. Некто, подобно мне, звонил по этому номеру, следовательно, аппарат не был отключен. Это уже было кое-что. Во мне пробудилась настойчивость экспериментатора. Через три минуты я позвонил еще. Ответа нет. Еще раз. Занято. Еще. Опять занято. Еще и еще. Ага, значит, этот некто не только звонит, но и дозвонился. Теперь надо звонить все время, чтоб подошедший к аппарату не успел далеко уйти. Снова длинные гудки. И наконец: «Слушию...»

— Михаил Фадейч?!

Старик узнал меня мгновенно:

— Леша, ты? Откуда?

— Из Берлина.

— Ладно, голову не морочь. Откуда говоришь?

— А! Из гостиницы. Ну что там у нас?

— Обыкновенно.

Старик был, как всегда, немногословен, но главное я из него вытянул: эвакуированные лаборатории возвращаются в три очереди, первая и вторая уже в Москве, третью ждут со дня на день.

— Павел Дмитриевич здесь?

— В понедельник будет.

— Где же он?

— В Барвихе. Отдохнуть поехали.

«Поехали»? На такой лакейский оборот старик был неспособен, и я похолодел:

— Кто поехал?

— Кто! Павел Дмитрич. С Лизаветой Игнатьевной.

Трубка не выпала из моих слабеющих рук, и мне удалось удовлетворительно закончить разговор: «Да, конечно, скоро появлюсь. Не знаю точно когда, но непременно... Нет, телефона у меня пока нет...»

Больше всего потрясают неожиданности, которых ждешь. Я не

мог предвидеть этого двойного предательства — старшего друга и любимой женщины, — но в тот момент, когда старик, слегка запнувшись, произнес «поехали», у меня больше не было сомнений. Все становилось на свои места — и длительное молчание Беты и странное поведение Паши. В сорок втором Успенский против моей воли пытался вытащить меня с фронта, а когда война кончилась, не пошевелил пальцем, чтоб помочь мне поскорее демобилизоваться.

Я был оскорблен до глубины души. Мир рушился. Если самые близкие люди могли быть в заговоре против меня, верить нельзя никому. Решение было принято немедленно: в Институт ни ногой, завтра же, не откладывая в долгий ящик, явиться по начальству и выпросить назначение либо обратно в Берлин, либо — еще лучше — на Дальний Восток, где уже назревали события.

За четыре года войны я ни разу не вырвался в Москву и тем яростнее мечтал надеть когда-нибудь серый цивильный пиджак, пройтись по освещенным московским улицам, замешаться в толпу, перекусить в какой-нибудь забегаловке, а затем, вернувшись домой, набрать знакомые номера.

И вот я в Москве. Серый пиджак лежит на дне чемодана, перекусил я свиной тушенкой прямо из банки, а на улицу так и не вышел. На телефонный аппарат я смотрел со злобой. Это был крайне безобразный агрегат, похожий на кусок застывшего гудрона, тяжелый, квадратный, без единой радующей глаз обтекаемой линии, сделанный, как говаривал друг моей юности Алешка Шутов, без любви к человечеству. Трубка формой и тяжестью напоминала гантель, ей было неудобно лежать на контактах, а людям еще неудобнее прикладывать ее к уху. Аппарат терпеть не мог, чтоб его переносили с места на место, он норовил выскользнуть из рук и ударить по ноге, а дырочки в диске были прорезаны так, что в них застревал палец. Конструировал его, вероятно, какой-нибудь угрюмый мизантроп, презирающий телефонную болтовню. По такому аппарату не хотелось разговаривать, и мне даже в голову не приходило, что он может позвонить. Однако он позвонил. Звонки у него, как я и предполагал, были громкие и резкие. Берясь за трубку, я был почти уверен, что это звонит дежурная по этажу с каким-нибудь вздором. И вдруг услышал голос Великого Хирурга.

Мстислав Александрович был, как всегда, изысканно любезен. Он только что узнал, где я остановился, и был бы рад выпить вместе со мной чаю с домашним печеньем, а попутно обсудить кое-какие проблемы, представляющие взаимный интерес. Если у меня нет других планов...

Великий Хирург жил, а впрочем, живет и сейчас, в одном из многочисленных переулков между Арбатом и Пречистенкой, в доме, построенном, судя по фасаду, в начале века. Я поднялся по широкой лестнице на второй этаж, нажал кнопку старинного звонка, и на меня сразу пахнуло памятной еще по детским воспоминаниям старой Москвой. Звоночек залился уютной трелью, и за дверью началось шевеление и беготня, слышались женские и, как мне показалось, детские голоса. Дверь открыл сам хозяин. На нем были брюки с лампасами и уютная домашняя курточка поверх накрахмаленной рубашки с одноцветным галстуком. Он впустил меня в заставленную шкафами большую полутемную переднюю и помог снять плащ, сделал он это так непринужденно, что я, отнюдь не приученный к тому, чтоб генерал-лейтенанты оказывали подобные услуги полковникам, не нашел в себе решимости сопротивляться. В передней мы были одни,

но можно было поручиться, что из-за шкафов и прикрывающих двери портьер на меня смотрит не одна пара любопытных глаз. Затем Великий Хирург провел меня в очень просторную комнату, где стоял накрытый стол. Комната, по всей видимости, служила гостиной — войдя, я увидел большой рояль, а на крышке рояля и на оклеенных темными обоями стенах множество фотографических портретов, все на паспарту, в рамках или в окантовке, и когда Великий Хирург, извинившись, вышел, чтоб распорядиться по хозяйству, я в одиночестве принял этот парад знаменитостей. Многих я знал в лицо, здесь были маршалы в парадной форме и старые большевики, известные писатели, музыканты, и балерины, и просто красивые женщины, и все они на разные лады заверяли дорогого и высокоталантливого в неизменной дружбе и глубочайшем уважении. Я подумал, что если не все, то многие из них в разное время стояли перед Великим Хирургом, придерживая подбородком задранную рубашку и поеживаясь от холодного прикосновения его длинных и жестких пальцев. Вернувшись, хозяин застал меня за рассматриванием автографов и каким-то чудом угадал мои мысли.

— Да, пациенты,— сказал он, смеясь.— Такая наша жизнь. Пациенты становятся друзьями, а друзья рано или поздно пациентами. И самыми трудными для нас.

Затем Великий Хирург усадил меня в глубокое кресло, сел напротив и признался: нарочно пригласил пораньше, чтоб переговорить о деле. Суть же дела такова: и мой вызов и сделанное мне предложение — результат его настойчивых рекомендаций, он просит меня извинить некоторую бесцеремонность вмешательства, но ни в коем случае не отказываться от предложенной мне новой и перспективной должности. Дело даже не в том, что на этом посту я довольно скоро получу генеральские погоны, а в том, что на этом месте нужен не мясник, а настоящий ученый-физиолог. Далее в чрезвычайно лестных выражениях он, Великий Хирург, дал мне понять, что следит за моими успехами с того самого дня, когда я так блестяще избавил его от необходимости оперировать доброго знакомого.

Высказав все это, Великий Хирург задал несколько вопросов о Берлине, а затем как бы невзначай спросил, встречался ли я последнее время с Василием Даниловичем, и выразил надежду, что мне доставит удовольствие повидать своего бывшего пациента и его милейшую половину. Тут только я заметил, что стол накрыт на шестерых.

Не знаю, удалось ли мне скрыть от Мстислава Александровича свое замешательство. Может быть, удалось, а может быть, наоборот — Великому Хирургу удалось скрыть от меня, что он его заметил, во всяком случае разговор благополучно перешел на нейтральные темы, вернее, говорил хозяин, а я в это время пытался угадать, кто же, кроме нас четверых, сядет с нами за стол. Жена? Женат ли он и какая у него жена? А кто шестой? Неужели Лиды?

Как выяснилось, я ничего не угадал. Прозвенел звонок, за стеной началось шевеление, и хозяин заторопился навстречу гостям. Прислушиваясь к доносившимся из передней голосам, я понял, что гостей по меньшей мере четверо, на секунду мне послышался голос Лиды, но тут же все голоса перекрыл могучий жизнерадостный бас, не узнать его было невозможно. С профессором Григорием Борисовичем Ледогоровым у меня были самые добрые отношения, но видеть его мне совсем не хотелось, он близко знал Успенского, если не он, то его жена непременно заговорит о Бете.

К счастью, все обошлось. И мои будущие beaux-parents² и Ледогоры после первых приветствий заговорили о взрыве атомной бомбы над японским портом Хиросима, об этом событии я ничего не знал и оценил не сразу. А затем мы сели за стол, и, начиная с первого произнесенного хозяином тоста, разговор шел только о моем возвращении, о моих прошлых успехах и блестящем будущем. Катерина Флориановна очень мило рассказала Ледогоровым уже ставшую легендой и обросшую многими неизвестными мне деталями историю с аппендицитом, а Великий Хирург поведал собравшимся о сделанном мне предложении и моих сомнениях, и тогда раскрасневшийся после первой рюмки Ледогоров закричал, что будь у него в руках такой божий дар, как у меня, он никогда не посмел бы зарывать его в землю, а наука от меня не уйдет, наукой можно заниматься везде.

Я слушал и помалкивал. Мое поведение было легко принять за скромность, хотя это было только равнодушием. И, вероятно, именно поэтому на меня было легко повлиять. Пятеро милых и доброжелательных людей говорили мне, чтоб я не валял дурака, и мне казалось, что маршалы и балерины тоже участвуют в разговоре, поражаясь, как может какой-то полковник медслужбы отказываться от столь блестящей перспективы. Несомненно, все, что говорилось тогда, как-то откладывалось в моем сознании, но слушал я невнимательно. Почему-то больше всего занимало меня отсутствие за столом членов семьи или иных домочадцев. Судя по сервировке стола и ухоженному виду Великого Хирурга, он не был замшелым холостяком, а скорее баловнем, однако распоряжался за столом он сам, и только два возникали в дверях какие-то фигуры без речей, они что-то приносили и уносили, не переступая порога. Меня хозяин усадил рядом с моей будущей тещей, не спросив о здоровье Лиды было по меньшей мере неприлично, и я спросил. Катерина Флориановна ответила, что Лидуська, слава богу, здорова, много работает, довольна поездкой и бесконечно благодарна мне за помощь в выполнении ее миссии. Благодарность я принял, хотя, честно говоря, за две недели так и не разобрался, в чем заключалась ее берлинская миссия.

— Впрочем,— добавила с тонкой улыбкой моя будущая теща,— она скажет вам все это сама.

И впрямь когда ужин кончился и был подан чай с домашним печеньем, прозвенел звонок, в квартире зашебаршились, хозяин устремился в переднюю и через минуту вернулся со смеющейся и еще похорошевшей Лидой в умопомрачительном шоферском наряде. Снять свои доспехи Лида отказалась, есть и пить тоже, приехала она, по ее словам, из гостей, где нарочно не пила ни капли, чтоб отвезти своих дорогих родителей домой. Однако, уступая мягким уговорам хозяина и зычным протестам Ледогорова, присела и просидела с четверть часа. Со мной Лида поздоровалась естественно и дружелюбно, и мы заговорили как ни в чем не бывало. Но через четверть часа она решительно поднялась и заявила: если дорогие родители желают оставаться, пусть вызывают казенную машину, она же поклялась вернуться к друзьям. Василий Данилович подмигнул жене, и гости стали прощаться. Взять с собой Ледогоровых Лида не могла, в машине было всего четыре места, поэтому так же естественно и неотвратимо, как наша встреча, четвертым оказался я.

² Родители жены (франц.).

— Лида,— сказала мать.— Только, умоляю, без фокусов. А то мы уйдем пешком.

У подъезда стоял маленький «опелек», явно трофейный, вроде тех, в каких мы раскатывали по Берлину. Василий Данилович по привычке всех руководящих деятелей сел впереди, а мы с Катериной Флориановной устроились сзади и всю дорогу дружески болтали. Лида вела машину, как заправский шофер, спокойно и расчетливо, без рывков.

— Ты скоро? — спросила мать, выходя из машины.

— Нет, отвезу Олега Антоновича и поеду обратно к Маше. И если выпью хоть рюмку, то заночую.

Мы распрощались. Высадив родителей, Лида резко рванула с места, и машина понеслась по пустынному Садовому кольцу на предельной скорости в направлении, прямо противоположном от моей гостиницы. Когда мы миновали поворотный знак, я зашевелился на своем сиденье.

— Вы что — торопитесь? — спросила Лида, не поворачивая головы.

— Нет.

— Тогда давайте прокатимся. Хоть вы и не захотели показать мне Берлин, я не злопамятна и покажу вам Москву.

Мы пролетели по Крымскому мосту, нырнули в полутемные, похожие на аллеи улицы и взлетели на просторную площадку. На этой площадке Лида закатила крутой вираж совершенно в стиле берлинских лихачей, со скрежетом осадила машину в полуметре от бетонного парапета, затянула ручной тормоз и выскочила наружу. За ней, растирая затекшую ногу, вылез и я. Я давно не был на Ленинских горах и не очень ясно представлял себе, в какой точке мы находимся. Перед нами и под нами лежала ночная Москва, не слишком ярко освещенная, но и не затемненная, Москва мирная, будничная, изрезанная двойным световым пунктиром магистральных улиц и проспектов, мягко мерцающая, подернутая дымкой на окраинах и вблизи вокзалов. Медленно ползли рубиновые бусинки стоп-сигналов, изредка вспыхивали белые иголки фар, искрились токоприемники троллейбусов, где-то в северной части города, выпуская клубы рыжего, подсвеченного с земли дыма, бежал паровоз. Смотреть на это было приятно и грустно, и я стоял у парапета со щемящим ощущением полной отрешенности. Это был мой город, в нем я прожил всю свою сознательную жизнь, любил и знал, как знают немногие, но вот прошло четыре года, и я — приезжий, у меня есть в этом городе знакомые, коллеги, сослуживцы, пожалуй, даже друзья, они будут рады со мной увидеться, но никто меня не ждал и не ждет так страстно, как ждут ушедших на войну матери и жены. Никто, кроме, может быть...

Я обернулся и посмотрел на Лиду. Она стояла боком ко мне и рассеянно вертела цепочку с ключами. Вид у нее был скорее равнодушный, но за равнодушием угадывалось ожидание. Я обнял ее за плечи, и она прижалась ко мне. Так мы простояли несколько минут, а затем быстро пошли к машине. На этот раз я сел рядом. Развернув машину, она сказала:

— К тебе, конечно, нельзя?

Это не был вопрос, скорее констатация. Я вспомнил свою этажную даму и понял, что под ее взглядом нелегко провести к себе женщину даже днем.

Когда мы в ожидании зеленого света стояли на безлюдном перекрестке, я спросил:

— Ты, кажется, собиралась к какой-то Маше?

Лида усмехнулась:

— Мы и едем к Маше.

Мне совсем не хотелось ехать в чужую компанию, но я промолчал, и, как выяснилось, правильно сделал.

Маша жила поблизости в одном из замоскворецких переулков. Дом был старый, обшарпанный. Лида завела машину во двор, мы поднялись по крутой, пахнущей кошками черной лестнице на второй этаж и при помощи ключа проникли в темную кухню. Светилось лампадным светом слюдяное окошечко в одной из выстроившихся в ряд керосинок, свет падал на свисающую со стола резиновую грелку и выбитый кафельный пол. В коридоре, где была уж совсем непроглядная тьма, Лида уверенно нашла нужную дверь, щелкнул ключ, и мы вошли в длинную и узкую комнату. Через единственное окно проникал свет от уличного фонаря, и, прежде чем Лида включила лампу, я уже понял, кто такая Маша. Наверняка одинокая женщина, Лидина сверстница или чуть постарше, интеллигентная и беспорядочная, славная баба, у которой можно попросить ключ от комнаты, не вдаваясь в объяснения. Затейливая лампа, вся из трубок и шарниров, такие я видел у чертежников, уютно освещала изголовье тахты, гору разноцветных диванных подушек, большого плюшевого пса и небрежно брошенный томик стихов. Чья-то невидимая рука позаботилась о нас — на тахте лежала стопочка чистого белья, а на тумбочке стоял кувшин с морсом. А дальше все было как у фрау Кюн и у фрейлейн Тильман, только еще накаленнее, без того ощущения инопланетности, которое оставалось от наших встреч в Берлине. Берлинские ночи были реальностью, но это была другая реальность, от нее, казалось, можно было проснуться, она не вступала в противоречие с моей московской реальностью, с ней она просто не пересекалась. Здесь все — таинственные шорохи за стеной и в коридоре, игра бликов и теней на потолке, редкое шуршание пролетающих мимо машин и потрескивание троллейбусных проводов, — все напоминало, что я здесь, на этой планете, в этом городе, где мне предстоит начинать жизнь заново. Мы почти не говорили, во всяком случае, ничего такого, что могло бы представлять общественный интерес. Под утро я задремал, а очнувшись, не сразу понял, где нахожусь. Лида тоже открыла глаза и, охнув, потянулась к тумбочке за своими часиками.

— Скоро придет Маша? — спросил я.

— Маша-то не придет. Но лучше убраться пораньше, пока не проснулись соседи.

От умывания пришлось отказаться, от чаепития тоже. Дрожа от утреннего холода, мы наспех восстановили в комнате статус-кво, долго прислушивались к коридорной тишине и, наконец решившись, выскользнули из комнаты и осторожно заглянули в еще безмолвный кухонный цех. Одна из керосинок, кажется та самая, светилась, пламя коптило, дребезжала крышка стоявшего на ней чайника. Я хотел прикрутить фитиль, но Лида утащила меня на лестницу.

По дороге к гостинице мы не сказали и десяти слов. Но когда машина остановилась у подъезда, я понял, что разойтись в молчании было бы просто неприлично.

— Ты куда теперь? — спросил я исключительно для того, чтоб что-то сказать.

— Домой, конечно.

— Где твой Борис? Как всегда, в командировке?

— Нет, дома.

— Дома?

Вероятно, интонация у меня была почти испуганная. Лида взглянула на меня и усмехнулась:

— Я его не обманываю.

— Не хотел бы я быть на его месте.

Признаюсь, это было неудачно. Лида взглянула на меня и расхохоталась:

— Ну, знаешь... Ты наглец.

Смутившись, я спросил:

— Записать тебе мой номер телефона?

Она ответила с великолепным презрением:

— Неужели ты думаешь, что у меня его нет?

Мордатый швейцар в расшитой галуном фуражке, принимая приготовленную мной заранее бумажку, заговорщически подмигнул. Этажной дамы за конторкой не было, ключ выдала сонная уборщица. В номере все еще пахло мастикой, я отворил окно, кое-как ополоснул лицо холодной водой и не раздеваясь прилег прямо на оранжевое вискозное покрывало. Мне предстояло принять важные решения. Одно из них касалось только меня. Я решил дать согласие на новое назначение. Второе — меня и Лиды. Ничего не предвещая по существу, во что бы то ни стало сохранить свободу.

Но на мою свободу никто не покушался. Приняв новый пост, я закрутился в организационных хлопотах, а через несколько дней вылетел со специальным заданием на Дальний Восток. Позвонить Лиде перед вылетом я не мог, а звонить из штаба фронта мне по многим соображениям не хотелось. Командировка затянулась, вернулся я уже в другую гостиницу, к слову сказать, гораздо лучшую, надо было позвонить Лиде и сообщить свои новые координаты, но моя совесть была уже нечиста, и, как большинство людей с нечистой совестью, я не спешил очиститься.

Лида позвонила мне сама. Веселая, дружелюбная, без единого слова упрека.

Мы стали встречаться. Иногда под гостеприимным Машинным кровом, иногда днем у меня в номере. Виделись и открыто — в доме ее родителей, где она жила с мужем и сыном. Этого знакомства мне избежать не удалось. Муж оказался очень бледным, очень вежливым и молчаливым человеком в темных очках. Вероятно, любая профессия накладывает на людей свою печать. Лидин муж настолько приучил себя не говорить лишнего, что не всегда говорил необходимое. Мальчишка мне не понравился, в отличие от своего закованного в латы отца он был очень развязен, и развязность эта поощрялась.

Почему я все-таки женился на Лиде? Конечно, это была ошибка, но ошибка неотвратимая. Сказать, что меня к этому принудили, было бы злейшей клеветой. Я никогда не слышал от Лиды ни малейшего намека на то, что наши отношения ее не устраивают, ни жалобы, ни поправка, ни самонаименованной попытки заставить меня произнести какие-то обязывающие слова. Она была равна, заботлива и как-то вызывающе покорна. В моменты близости мы говорили все слова, которые говорят любовники, кроме слова «люблю». У каждого из нас были на то свои причины, и она и я одинаково, хотя и по разным причинам, избегали выяснения отношений. Со стороны Лиды это было проявлением величайшего такта, тем более удивительным, что

с другими людьми, включая родителей и мужа, она не слишком церемонилась. Обостренным чутьем она понимала, что любая попытка наложить на меня лапу вызовет единственную реакцию — отталкивание. Поэтому она безоговорочно выполняла неписанный договор: никаких обязательств, никаких конфиденток, кроме Маши, — с этой Машей мне в конце концов пришлось познакомиться, и она оказалась совершенно такой, как я себе ее представлял. Лида почти никогда со мной не спорила, предоставляя мне тешиться моим мужским превосходством, продолжалась начатая еще в Берлине игра в «как скажешь», в такой игре прошло полгода, и оказалось, что эта, вероятнее всего, неосознанная тактика куда вернее, чем любой нажим, толкала меня к женитьбе. Никто не говорил мне в глаза, что я мучаю женщину и должен на что-то решиться, мне не угрожал расправой ревнивый супруг, но я все больше уставал от пронизывающих взглядов этажных дам, от ласкового укора на лице Маши, от непроницаемой вежливости Лидино мужа. Еще труднее было с самой Лидой. Она вела себя безупречно, не жаловалась и не устраивала сцен. Об ее недовольстве существующим положением можно было догадываться только по приступам беспричинного веселья (заканчивались они слезами), по сумасшедшей езде на своем выдавшем виды «опельке» (конфликты с милицией улаживал обычно папа) и по молчанию, нисколько не враждебному и даже не демонстративному, но создававшему некий вакуум, дышать в котором становилось все труднее. С мужем она в конце концов разошлась. Как и когда, я до сих пор толком не знаю, объявлять об этом Лида не сочла нужным, прошло месяца два, прежде чем я заметил его отсутствие. Вместе с молчаливым Борей исчез последний сколько-нибудь уважительный повод скрываться.

Насчет своих чувств я нисколько не обманывался. Я знал, что на свете существует только одна женщина, которую я люблю, — Бета. То, что временами я ее ненавидел, ничего не меняло. Не заблуждался я и насчет характера Лидии Васильевны. Я прекрасно видел, что она избалована, взбалмошна и небрежна с людьми, но со мной все было иначе, и, вероятно, где-то в глубине души мне это льстило. Для того чтоб понять, нравится ли тебе женщина, полгода близости — достаточное испытание, мне она нравилась, и то, что она нравилась многим, а ее собственный муж был ею совершенно очарован и порабощен, странным образом подогревало меня. Все это не слишком хорошо меня характеризует, но я пишу не для того, чтоб хвастаться.

Когда на тебя давят, естественно, думаешь прежде всего о себе, когда давления не ощущаешь, начинаешь думать о других. Извне на меня никто не давил, давление шло изнутри, я чувствовал себя, как глубоководная рыба, витающая на поверхности, моя распухшая совесть все настойчивее говорила, что постыдно эксплуатировать всепоглощающее чувство, которое мне посчастливилось (вариант: я имел несчастье) вызвать. Решающий момент подошел, когда после долгих скитаний по гостиницам я наконец получил квартиру. Размер квартиры зависел от состава семьи. Лида понимала: я никогда не пойду в зятя в генеральский дом, но взявши однокомнатную квартиру, я наносил ей незаслуженное оскорбление, я как бы говорил: единственное, что мешает нам соединиться, это то, что ты мне не нужна.

Одно тянет за собой другое. Получение ордера на квартиру — регистрацию брака, регистрация — бессмысленное свадебное торже-

ство, о котором я уже упоминал. Поздней осенью сорок пятого года мы съехались. Потребовалось примерно два месяца, чтобы ошибка выяснилась. Новый, сорок шестой год подвел черту.

Х. К вопросу о несходстве характеров

В любой стране, где разрешен развод, существует примерно одинаковый набор законных поводов — душевная болезнь, осуждение на длительный срок или безвестное отсутствие одного из супругов, супружеская измена и, наконец, самая туманная и наименее уважаемая судебными органами причина — несходство характеров. Представ перед народным судьей, мы с женой не смогли выдумать про себя ничего более убедительного и, естественно, успеха не имели. Судье, добродушной женщине пикнического типа, казалось, что нет ничего проще, чем изменить свой характер. Она уговаривала нас примириться. В следующей инстанции судья, худощавый мужчина астенического склада, обрушил на нас примерно ту же аргументацию, но примириться он уже не предлагал. Он требовал, чтоб мы смирились.

К счастью, никто не обязывал меня публично изложить, в чем же заключается несходство наших характеров, это нелегко сделать даже наедине с собой. Становясь на путь противопоставления, неизбежно скатываешься к утверждению, будто твой собственный характер не в пример приятнее и благороднее. Мне же хочется в меру сил сохранить объективность. Опыт экспериментатора говорит мне, что объективность — это прежде всего способность отвлечься от личных, обычно близлежащих, интересов в интересах истины или хотя бы удержаться на границе, за которой избирательность нашего сознания переходит в предвзятость. Естественно, возникает взаимосвязанный вопрос — что такое истина и существует ли она вообще? В сфере точных наук понятие истины реже подвергается сомнению и устанавливается легче — чем чище поставлен эксперимент, тем ближе мы к объективной истине. Основа научной этики — не задавать природе вопросов, на которые у тебя есть готовый и не подлежащий пересмотру ответ. В сфере гуманитарной, будь то история народов или семейные отношения, чистый эксперимент невозможен, поэтому мы чаще всего заменяем понятие истины понятием общественного блага. Однако общественное благо не всегда обладает теми надежными признаками истинности, как формулы, выведенные математическим путем. Судьи, препятствовавшие нашему разводу, несомненно руководствовались интересами общества, однако в моем стремлении повредить мучительные для обеих сторон отношения заключалось больше объективной истины, чем в стремлении судей сохранить семью, в конце концов оно восторжествовало и нас развели.

Применительно к моей бывшей жене быть объективным практически означает — отрешиться от накопившегося раздражения и попытаться понять логику ее поведения, не считая себя при этом эталоном ума и порядочности. Это не помешает мне считать некоторые, наиболее противоположенные мне свойства ее натуры недостатками, а отсутствие у меня этих черт — достоинствами. Но тут уж ничего не поделаешь.

Самое простое — назвать мою бывшую жену эгоисткой, не желавшей считаться ни с моим образом жизни, ни с моими научными интересами. Но назвать женщину законченной эгоисткой, а затем толковать о несходстве характеров, не значит ли это аттестовать себя как законченного альтруиста? Так далеко моя самоуверенность не

заходит. Да и по существу это неверно. Лидия Васильевна добра. Во всяком случае, бывает доброй. Равнодушной ее тоже не назовешь. Она бывает самоотверженной, точнее самозабвенной. Другое дело, что ее доброта часто приобретает тираническую форму. Ее жизненной энергии нельзя не позавидовать, когда у нее появляется цель, для нее почти не существует преград. Отсутствие преград не всегда признак сильной воли, неумение себе отказывать скорее признак безволия. Безволие тоже бывает и темпераментным и агрессивным.

Любила ли она меня? Вероятно, да. Каждый любит как умеет. Она хотела получить меня — и получила. Зачем? Даже в состоянии крайнего раздражения мне не приходило в голову обвинить ее в расчете. Тщеславие тут тоже ни при чем — я не красавец, а на иерархической лестнице ее таинственный супруг стоял не в пример выше меня. О духовной близости говорить не приходится — несходство характеров — это ведь и есть юридический синоним отсутствия духовной близости. Что же привлекло ее ко мне? По всей вероятности, глубочайшее равнодушие, проявленное мною при первом знакомстве, равнодушие не наигранное — его женщины превосходно распознают, — а совершенно искреннее, в ту пору я думал только о своих раненых и, когда наступал какой-нибудь просвет, о Бете. Для натур, подобных моей бывшей жене, невыносима сама мысль, что им отказывают в признании, у них появляется неудержимое желание преодолеть, завладеть, поставить на своем. Естественный и присутствующий во всех наших эмоциях инстинкт самоутверждения у них гипертрофирован. Образуется некоторая доминанта, мобилизующая все заложенные в характере резервы вплоть до аварийных запасов. Среди этих запасов у Лидии Васильевны оказались и ум, и такт, и женственность, и терпимость, эти запасы были выложены до дна, и к победному финишу она пришла опустошенной. Вместе с последней преградой рухнула и она сама, на смену напряжению всех душевных сил пришла усталость и, быть может, неосознанная жажда реванша. Отпала необходимость контролировать себя, и подавляемые ранее стороны ее характера распустились пышным цветом. Все это говорится не для того, чтоб обесценить наше недолгое счастье или поставить под сомнение искренность ее поведения. Так или иначе, в первый же месяц совместной жизни вскрылись непримиримые противоречия, превратившие наш союз в мучение для обеих сторон.

Если бы меня спросили, какая черта характера моей бывшей жены была для меня самой непереносимой, я, прекрасно понимая всю шаткость моей позиции, назвал бы крайнюю необъективность. Пока эта необъективность выражалась в необоснованном преувеличении моих достоинств, я относился к ней терпимо и даже с юмором. Когда мы начали ссориться, терпимости у меня заметно поубавилось, а юмор пропал совсем. Я тоже бываю необъективен, и все-таки между мной и моей бывшей женой существует некоторое различие. Многолетняя исследовательская работа выработала у меня глубокое уважение к истине независимо от того, удобна она мне или нет. Чистота эксперимента и строгая логичность выводов всегда были для меня *conditio sine qua non*³, и я сурово осуждал себя всякий раз, когда посторонние соображения (чаще всего робость) мешали мне посмотреть правде в глаза. Лида всякую объективность откровенно презирала. Не будучи лгуньей, она удивительно умела в зависимости от своих симпатий и антипатий извращать любые факты, а изловленная с по-

³ Непременное условие (лат.).

личным, грубила или смеялась: «Да, я пристрастна! Ну что же, я живой человек. Ты коммунист и патриот — разве партийность и патриотизм не то же пристрастие?» Уличенная в противоречии, огрызлась: «Противоречия — основа диалектики». Термины марксистской философии в устах людей, подобных моей бывшей жене, приобретают опасную разрушительную силу. Если же, не мудрствуя лукаво, перечислить основные противоречия, из коих соткана натура моей бывшей жены, то вот они: когда ей плохо, она требует сочувствия, причем сочувствие она трактует буквально, как сочувствие, плохо должно быть всем; радуясь, она не понимает, что кому-то может быть грустно; любит поддразнивать, сама же обидчива; беззащитна перед самой грубой лестью, но не прощает другим нескромности, часто меняет свои оценки, но всегда готова подметить непоследовательность в чужих суждениях, самоуверенность заменяет ей храбрость, в толпе она всегда идет грудью вперед в расчете, что перед ней расступятся, получивши отпор, сердится и требует защиты. Привычка верить только себе, вернее, своему чувственному опыту, делает ее недоверчивой. Она наблюдательна, как индеец, идущий по следу, приметывающая с легкостью превращает в улики, объяснения не верит, сама же приходит в ярость даже от осторожно выраженного недоверия. Умна она или глупа? Этого я до сих пор не знаю. Должен признаться, она имела на меня влияние несомненно большее, чем я на нее. Даже подчиняясь, она оставалась верна себе. Цепи — всегда цепи независимо от того, добровольны они или нет, рано или поздно они становятся тяжелы. Всякий народ, имеющий такое правительство, как моя жена, должен восстать, и я восстал — это было единственным способом сохраниться. Я ни на минуту не сомневаюсь в том, что поступил правильно, но сегодня в моем сердце уже нет былого ожесточения, и я даже чувствую что-то вроде вины — не за то, что ушел, а за то, что не любил.

Ссориться мы начали с первого дня совместной жизни. Даже самые неудачные браки начинаются с медового месяца, у нас его не было, всю положенную порцию безмятежных радостей мы забрали авансом, пока были любовниками.

Мой гипотетический читатель, вероятно, помнит неожиданное появление Успенского на нашей свадьбе и мой новогодний визит в Институт. Паша не бросал слов на ветер, я получил обратно свою лабораторию с правом совмещать работу в Институте со службой по военно-медицинскому ведомству, льгота немалая, Успенскому было нелегко ее дать, а мне еще труднее принять. Я брал на себя двойную ношу, даже не двойную, а тройную, за годы войны я поотстал от науки, предстояло наверстывать упущенное, а мне уже было под сорок, чтоб выдержать такую нагрузку, нужен железный режим и обеспеченные тылы.

Лида была слишком умна, чтоб открыто воспротивиться моему возвращению в Институт. Она говорила «как хочешь» или «тебе виднее», но лицо ее каменело, и я понимал: все связанное с Институтом для нее навсегда останется враждебным. Причин тому много, и было бы неверно выбрать из них простейшую — как бы Институт не помешал моей столь блистательно начавшейся военной карьере. Лида была генеральской дочерью, а по материнской линии еще и внучкой генерала, золотые погоны ей импонировали больше, чем застиранный лабораторный халат, но сводить все к этому значит недопустимо упрощать Лидин характер. Главная причина заключалась в ревности, всеобъемлющей ревности к прошлому, к дорогим мне воспоминаниям,

к прежним дружеским связям, к Успенскому — Паша ей нравился, но она совсем не хотела, чтоб он занял прежнее место в моей жизни, — и, наконец, самая элементарная женская ревность — к Ольге и Бете. Ей доставляло странное удовольствие расспрашивать меня — об Ольге насмешливо, о Бете с почти не скрываемой злостью. Не замечать ее тона — походило на предательство, замечать и обрывать значило подливать масла в огонь.

Стоило нам съехаться, как выяснилась наша полная бытовая несовместимость. Идти в зятя в генеральский дом я не захотел. Для Лиды это было большим ударом. В просторной шестикомнатной родительской квартире она жила, не зная забот. Сын накормлен и ухаживан, можно ходить на работу и развлекаться. Отдавая матери (не очень регулярно) какую-то часть своей зарплаты, Лида искренне считала себя материально независимой и плохо понимала, почему люди, зарабатывающие больше, частенько перехватывают у нее несколько рублей до получки.

Я никому не навязываю своих привычек, но еще меньше способен подчиняться чужому распорядку. Чтоб работать как следует, мне нужен был жесткий режим. Мой образ жизни обеспечивает мне работоспособность и свежую память, качества, необходимые для любой научной работы. Кроме того, во мне живет воспитанное отцом глубокое убеждение, что проповедь любых принципов, не подкрепленная личным примером, есть не что иное, как профанация; я не верю военачальникам, не обладающим личной храбростью, и настаиваю, когда о ленинской скромности и демократизме мне толкуют люди чванные и требующие для себя особых привилегий.

В моей новой семье мой режим не имел сторонников. Лида вставала поздно и на работу шла часам к одиннадцати. Впрочем, и на эту работу она ухитрялась опаздывать. Вообще это была какая-то странная работа. Синекурой ее назвать было нельзя хотя бы потому, что за нее мало платили. Со своим высшим образованием моя жена зарабатывала меньше водопроводчика. Зато можно было не вешать табель. Служила Лида в редакции одного из многочисленных ведомственных журнальчиков, объединенных под одной крышей в своеобразный комбинат; журналы были всякие, тонкие и полутолстые, но все так или иначе популяризировали передовую науку, жена считалась редактором, что и как она редактировала, для меня навсегда осталось загадкой, дома она никогда не работала. Вести такое существование было совсем необременительно при условии обеспеченных тылов. С переездом на отдельное житье хлопот заметно прибавилось, и тут я впервые узнал, что я такой же, как все мужчины, то есть узкий эгоист, холодный себялюбец, только и мечтающий, как бы превратить жену в домашнюю клушку, целиком зависящую от прихоти повелителя.

У меня и в мыслях не было превращать Лиду в домашнюю хозяйку хотя бы потому, что хозяйничать она не умела. Сворачивать ее в свою веру я тоже не собирался и рассчитывал только на дружественный нейтралитет. Может быть, мы в конце концов и поладили бы, если б не Вадик. Этот шестилетний тиран оставался по-прежнему на попечении бабушки и теток и выдавался матери только на субботу и воскресенье, однако и этих двух дней оказалось совершенно достаточно, чтоб отравить мне жизнь на неделю вперед. Моя холостяцкая душа давно уже тянется к детям, женившись, я был совсем не прочь завести своего ребенка и даже готов прилепиться душой к чужому, но мне не повезло, Лида ни за что не хотела второго ребенка, а мой

пасынок невзлюбил меня с первого взгляда. С поразительной для его возраста пронизательностью он разглядел во мне будущего отчима и занял жесткую оборонительную позицию. Откровенно сказать, мне он тоже не понравился. Меня в детстве не баловали, и, может быть, поэтому я не люблю избалованных детей. Парень же был избалован до такой степени, что уже не умел относиться к взрослым иначе как свысока. Баловать детей — занятие вполне эгоистическое. С моей точки зрения, покупать любовь ребенка ничуть не нравственнее, чем покупать любовь женщины, пожалуй, даже хуже, как всякое развращение малолетних. Взрослые, считающие, что маленький ребенок ничего не понимает и поэтому при нем можно говорить все что угодно, проявляют ту самую наивность, которую они приписывают детям. Люди, неспособные за время обучения в институте сносно овладеть каким-нибудь иностранным языком, забывают, что ребенок в возрасте до пяти лет в совершенстве усваивает любой язык со всем богатством грамматических форм. Принято думать, что детям доступны только ясно выраженные мысли, нюансов они не понимают. Это ошибка. Дети отлично разбираются в подтекстах, даже если им непонятен самый текст. В этом отношении они напоминают собак, которые не столько понимают слова, сколько улавливают интонацию. В свои шесть лет мой пасынок прекрасно разобрался во всех сложностях домашнего механизма. Он раньше, чем я, углядел, что к взаимному восхищению, связывающему Василия Даниловича и Катерину Флориановну, примешивается некоторая доля ласкового презрения, что в отношениях между матерью и взрослой дочерью при несомненной сердечности существует оттенок неосознанного соперничества, и уж наверняка гораздо лучше меня разобрался в отношениях Лиды с его отцом. Всех этих совсем не плохих людей объединяла привязанность к мальчику, объединяла, но и разъединяла благодаря умелому применению Вадиком древнего принципа «разделяй и властвуй». Не было такой щели, куда бы он не проник, и такой трещинки в отношениях взрослых, из которой он не извлек бы для себя пользы.

Не знаю, каково было подлинное отношение сына к отцу — видел он его редко и знал мало. Думаю, что спокойное. Но стоило появиться мне, как у этого раскормленного и равнодушного парня возник подлинный культ отца, позволявший ему терзать мать и открыто выражать мне свою неприязнь. С первых же дней нашего совместного житья он вступил в непримиримую борьбу против моего образа жизни. Он не хотел есть то, что ем я, и в то же время ему казалось оскорбительным есть то, чего я не ем. Как ни старался я сделать свои гимнастические упражнения и водные процедуры незаметными для окружающих, пасынок следил за каждым моим шагом и, надо отдать ему должное, комментировал с неожиданным для его возраста язвительным юмором. Мать все его замечания находила прелестными. Будучи моей любовницей, Лида была весьма небрежной матерью, ставши законной женой и смутно чувствуя свою вину перед сыном, она прониклась к нему всепоглощающей любовью, проявлявшейся в формах самых антипедагогических. Она попрекала меня за то, что я холоден к мальчику и устраняюсь от его воспитания, упрек не очень справедливый, ибо воспитатель, имеющий только обязанности и никаких прав, становится игрушкой в руках воспитуемого. Насчет прав я нисколько не заблуждался, стоило мне однажды повысказать голос на Вадика, раздался такой рев и на меня обрушилась такая лавина материнских упреков, что я навеки закаялся вмешиваться в воспитание дофина.

Изменилось что-то и в наших интимных отношениях. Вероятно, Лида не перестала любить меня, но ее любовь явно перешла в новую фазу, где чувственность уже не нуждалась в поэзии, а ревность в камуфляже. Впервые я ощутил наступление этой новой фазы, когда на второй или третий день нашего переезда на новую квартиру жена вернулась с работы. Я ждал ее с цветами и подарками. Было жарко, Лида пришла усталая. Еще в передней она расстегнула на боку «молнию», переступила через упавшую к ее ногам шерстяную юбку, вяло помахала мне рукой и скрылась в ванной. Я не придавал этому значения. На следующий день все повторилось с той лишь разницей, что на этот раз она была в легком платье и стащила его через голову. В том, что молодая и привлекательная женщина раздевается в присутствии любовника, а тем более мужа, нет ничего предосудительного, и мой гипотетический читатель, надеюсь, не осудит меня, если я признаюсь, как совсем недавно я с нетерпением ждал этого момента. Но тут я непроизвольно отвел глаза. Есть какая-то разница между женщиной, которая раздевается для тебя, и женщиной, раздевающейся при тебе, обращая на тебя не больше внимания, чем на вешалку. Лида это заметила и обиделась. Мои робкие попытки что-то объяснить обидели ее еще больше: «Просто я перестала тебе нравиться». Этой версии, а также своего права раздеваться в любой точке нашей квартиры она упрямо держалась до конца. Кстати, об упрямстве. Упрямый характер внешне почти неотличим от волевого, разница в том, что, настаивая на своем, упрямец обычно утрачивает представление о цели, теряет способность корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся обстановкой, у него отсутствует то, что в современной науке называется обратными связями. Хотеть нравиться иксу и при этом делать все, что этому иксу не нравится,— типичная психология упрямства. Еще недавно Лида смотрела на все моими глазами, говорила моими словами и делала все по моему, не слишком задумываясь, прав я или нет; теперь она брала реванш с азартом игрока. Характер ее не изменился, сменилась доминанта. Если раньше для ее самоутверждения было необходимо завоевать меня, то потом ей столь же необходимо стало стереть всякую память о своем недавнем подчинении. Но и этого ей было мало. Она хотела заставить меня растоптать свое прошлое, отказаться от старых друзей, от всего, что было до нее, даже от воспоминаний. Задача разрушительная и бессмысленная, я много раз пытался втолковать ей это и в конце концов закаялся, любой спор неотвратимо перерастал в ссору и кончался слезами: «Ты искал случая со мной поссориться. У тебя плохое настроение, и ты его на мне вымещаешь». Сама же она целиком зависела от настроения. Я не взялся бы определить, что такое уважение, но несомненно в это понятие входит признание права других людей быть устроенными иначе, чем ты, и умение воспринимать как достоинства качества, тебе не присущие. Лиде все это было чуждо. То, что было согласно с ней, приятно ей, рассматривалось как добро, и к тем, кто соответствовал ее представлениям, она была добра сама, по-своему, деспотически добра, не допуская и мысли, что добро можно понимать иначе, чем понимает его она. Она могла любить людей, даже восхищаться ими, но не уважать.

Развод наш сверх всякого ожидания протекал мирно. Лидой вдруг овладела апатия, и вела она себя почти безукоризненно. Тесть после неудачной попытки вмешаться заметно ко мне охладел, но тоже, насколько я понимаю, не желал мне вредить, теща же — не-

исповедимо сердце женское! — была так дружелюбна со мной, что у нее из-за этого испортились отношения с дочерью. Единственные люди, которых мой развод оскорбил до глубины души, были несколько полковников из нашего ведомства. Они болели душой за самый институт брака, за здоровую советскую семью, за покой заслуженного воина, каковым был мой тесть, и черт их знает за что еще. Они мечтали создать громкое персональное дело и были в ярости от того, что при всем своем изошренном нюхе не могли учуять присутствия «другой женщины». Когда человек бросал жену и уходил к любовнице, это был простой и ясный в своей аморальности поступок, всегда можно угрозами заставить заблудшего вернуться на стезю морали, если же он упорствует, то хотя бы испортить ему медовый месяц и послужной список. То, что я уходил от жены не к кому-то, а вообще и, следовательно, не подходил под обычную аморалку, выводило их из себя и заставляло подозревать самое худшее. Несходство характеров! Тоже повод! Несходство характеров несколько не мешало им выполнять приказания своих начальников и руководить подчиненными. Особенно неистовствовал некий Бондаренко, ражий детина, судя по морде, выпивоха и бабник, считавшийся у нас высоким специалистом по вопросам морали и быта. В своих докладах, помимо сочинений классиков марксизма, он неизменно ссылался на Анну Каренину и пушкинскую Татьяну. Татьяна служила доказательством того, что от нелюбимого мужа уходить не надо, Анна — что надо. Как-то в театре я видел жену Бондаренко — тяжеловесную матрону в синем панбархатном платье — и подозреваю, что в моем случае его больше всего бесило, что он должен жить с немолодой и некрасивой женой, а в это время какой-то Юдин смеет уходить от молодой и красивой. Бондаренко и его компания создали вокруг меня атмосферу такой густоты, что ее уже можно было резать ножом.

Мне не очень хотелось говорить с Успенским о своих личных делах, но, как оказалось, Паша был хорошо осведомлен и сам о них заговорил. После одного из обычных совещаний, происходивших у него в кабинете, он задержал меня и, плотно притворивши дверь более для того, чтоб подчеркнуть доверительность разговора, чем по действительной необходимости, сказал:

— Вот что, ваше превосходительство, подавай-ка ты в отставку. Я прекрасно понял, о чем он говорил, но на всякий случай спросил:

— Сдать лабораторию?

— Не ломайся,— сказал Успенский.— Ты же знаешь, о чем речь. Надо самому отказаться от штанов с лампасами, не дожидаясь, пока их с тебя снимут. Тебе уже за сорок. В наш век всеобщей акселерации для ученого это уже возраст. А наука, как известно, ревнива.

За последние годы у науки было, пожалуй, не меньше поводов ревновать Пашу. Он угадал мою мысль мгновенно:

— Ты на двенадцать лет моложе меня. Я уже многоуважаемый шкаф, а ты еще можешь что-то сделать.

Он захохотал, но как-то невесело, сам заметил это и нахмурился:

— Где ты сейчас живешь?

— Там же, где всегда.

— Кому ты врешь? Ты ночуешь в лаборатории на диване. А твои книги отсыревают в институтских подвалах. К слову сказать, твоя Лидочка вполне могла бы обратиться к родителям и оставить тебе

квартиру. Но ты желаешь быть рыцарем, и я тебя одобряю. Стало быть, надо найти тебе пристанище, где бы ты мог затвориться и работать. Этакую башню из слоновой кости. Кстати, откуда взялось это выражение?

— Не помню.

— Скажи лучше — не знаю.

Он позвонил. Вошла Ольга. Как всегда собранная, не улыбающаяся, идеальный секретарь. Когда она такая чужая, я особенно ощущаю ее привлекательность.

— Башня из слоновой кости, — веско говорит Паша. — Ясна задача?

Ольга кивает:

— Узнать, что значит?

— Это-то мы понимаем. Почему именно из слоновой. Алмазов у себя?

— Позвать?

— Надо найти тебе такую башню, — сказал Паша, когда Ольга, улыбнувшись одними глазами, скрылась за дверью, — чтоб ты мог там разместиться со всеми своими ящиками. Это трудно, но наш дорогой Це Аш для того и существует, чтоб преодолевать временные затруднения.

Через минуту открывается дверь и входит Сергей Николаевич. Краткая справка: он всего несколько дней назад произведен из помощников в заместители и преисполнен важности. По этому случаю он сменил свои очки на новомодные, без оправы, и из нас троих больше всех похож на ученого. Успенский его ценит, во-первых, за честность и преданность Институту, но еще и потому, что Це Аш его бесконечно забавляет. Войдя, Сергей Николаевич тщательно здоровается. Сперва с Пашей, хотя я сижу ближе к двери, затем со мной. Я еще генерал-майор, и для Сергея Николаевича, закончившего свою военную карьеру в звании военюриста второго ранга, это безразлично, но опыт подсказывает ему ставить должность выше звания. Успенский — директор и прямой начальник Алмазова, я же заведующий одной из лабораторий и, следовательно, в каком-то смысле его подчиненный. Он протягивает руку для пожатия коротким рубящим жестом, принятым в среде ответработников среднего масштаба. Жест этот, если вдуматься, весьма красноречив, Сергей Николаевич как бы отмеривает нам по равной порции почета и доверия. Затем Це Аш садится в кресло против меня и смотрит на Пашу выжидательно, с некоторым даже беспокойством. Беспокойство не лишено основания, единственный человек в Институте, на которого Паша иногда кричит так, что его крик слышен в вестибюле, это Сергей Николаевич. Це Аш ждет, но Успенский не спешит приступить к делу. Я уже понимаю: готовится небольшой спектакль. Это не только забава, но и способ сделать Алмазова сговорчивее.

— Как жизнь, Сергей?

Начало мирное, и Сергей Николаевич расплывается.

— Жизнь? — переспрашивает он. — Какая у нас может быть жизнь? Мы в эмпириях не витаем, а вкалываем. В девять утра я здесь. Как штык. А в девять вечера уеду. Вот так. С женой хоть по ночам общаемся, а близняшек своих только сонными и вижу. Жена, понимаешь, ругается...

— Ну и правильно ругается, — вяло говорит Успенский. — Нечего тут сидеть до ночи.

Эту жестокую фразу Успенский произносит при мне уже не в

первый раз, и всякий раз она действует безошибочно. Сергей Николаевич розовеет.

— Ты прости меня, Паша,— говорит он дрожащим голосом. На ты они недавно, и Сергей Николаевич высоко ценит эту честь.— Уж говорил бы кто другой. Взять хотя бы собачий вопрос. Я лично отказываюсь его решать. Годовой план двести шестьдесят особей — мыслимо это? Мне господа экспериментаторы плешь переели. А с другой стороны — собственники и гуманисты. Я ответственно заявляю: этот вопрос надо решать по-государственному. На высшем уровне. И пусть мне дадут ясную партийную установку.

Я искоса поглядываю на Пашу. Он наслаждается.

К слову сказать, проблема, которую Сергей Николаевич именует собачьим вопросом, не разрешена до сих пор. Для опытов нужны собаки, а их всегда катастрофически не хватает. По части белых мышей, морских свинок и даже кошек наш виварий кое-как сводит концы с концами, но собачий вопрос не решен поныне, и это нестареющая тема для всех институтских капустников и стенгазет. Как утверждают наши записные остряки, все дело в том, что собака — лучший друг человека и человеку гораздо легче продать друга, чем собаку.

Но все это в скобках. Сергей Николаевич продолжает:

— Я лично не физиолог. И не лезу. Мое дело обеспечить научный процесс. Если наука нуждается в собаке, то какой тут, спрашивается, может быть гуманизм? Недавно заявляется ко мне один. Народный артист. Союзного значения. С женой. Собачку у него прихватили. Повезло — попал на след. И такой тон сразу взял... А я ему как раз очень корректно: позвольте, говорю... Вы, говорю, артист, но вы же гражданин — верно? Не все же вы витаете в эмпиреях? Вы же интеллигентный человек, с теорией академика Павлова знакомы. А как по-вашему, мог бы академик Павлов создать свою гениальную теорию при вашем отношении к вопросу? Задумался.

— Ну ладно,— говорю я.— Собаку-то ты отдал?

— Это другой вопрос. Пес — медалист, хозяин — лауреат, в данном случае посчитал целесообразным вернуть. Я в принципе рассуждаю...

Опять в скобках. Основное качество Сергея Николаевича — духовная верноподданность. Начальник, под чьим руководством он в данный момент работает, для него божество, и он никогда его не предаст. Но сменится начальник — и Сергей Николаевич будет так же убежденно проводить его линию. В данный момент он ярый сторонник вивисекции, но назначьте его на штатную должность в каком-нибудь обществе по защите животных — и вивисекция обретет в нем настойчивого и опасного врага.

Паше хорошо, его от нас отделяет широкий, заваленный бумагами стол, мне же спрятаться некуда, по моей физиономии Алмазов догадывается, что его разыгрывают, и начинает всерьез обижаться.

— Вам хорошо смеяться,— говорит он свирепо.— Витаете в эмпиреях...

«Витать в эмпиреях» — любимое выражение Алмазова и имеет в его устах бесконечное количество значений. Витать в эмпиреях в зависимости от контекста означает и размышлять о высоких материях, и вращаться в высших сферах, и роскошествовать, и развлекаться, и уклоняться от всякого рода прозаических обязанностей. Подтекст во всех случаях осудительный, но с легким оттенком зависти.

Вскоре Успенскому надоедает игра и он жестко формулирует задание: доктор биологических наук Юдин разошелся с женой и жить ему негде, Институт крайне заинтересован, чтобы у него были нормальные условия для работы и отдыха, поэтому нужно срочно найти подходящее жилье, о подробностях договаривайтесь сами. Сергей Николаевич слушает молча, с хмурым выражением на лице. Он не одобряет развода и недоволен полученным заданием. Так же угрюмо молчит он у себя в кабинете, куда я захожу, чтоб договориться о деталях. Мою бывшую жену он считает очаровательной женщиной и не понимает, как от нее можно уйти.

Я коротко излагаю свои притязания. Очень скромные: что угодно, где угодно, единственное условие — любая подсобная площадь для моих книг и карточек. Затем я замолкаю, и некоторое время мы молчим оба. На столе у Алмазова нет ничего, кроме перекидного календаря и пудового чернильного прибора из хрусталя, бронзы и гранита. Прибор этот нужен Алмазову больше для престижа, пишет он авторучкой.

Наконец Сергей Николаевич нарушает молчание. Тонем судьи, объявляющего смертный приговор, он говорит, что только люди, витающие в эмпиреях, могут думать, что он, Алмазов, возьмется проворачивать это мероприятие, находящееся в явном противоречии с законодательными решениями и установившейся практикой. Я даю ему выговориться и не перебиваю. Любую услугу, любое доброе дело, за которое берется Сергей Николаевич, он начинает с отказа. Это необходимо ему, чтоб укрепиться в ощущении своей власти и отчасти для того, чтоб показать свою способность совершить заведомо невозможное. Молчу я еще и потому, что отлично знаю (и он это знает тоже): кому-кому, но уж мне-то он ни в чем не откажет.

Чтобы объяснить как следует характер этого человека, а заодно и связывающие нас непростые отношения, мне придется начать издалека.

У нас на фронте Сергей Николаевич был председателем военного трибунала. Весьма вероятно, что наряду с людьми виновными он сурово осудил некоторое количество людей если и не вполне невиновных, то не столь уж преступных на наш нынешний взгляд, однако я продолжаю утверждать, что он делал это, оставаясь человеком порядочным, и единственное, в чем я могу его упрекнуть, это в некотором недостатке воображения. Этот же недостаток может помешать моему гипотетическому читателю представить себе обстановку, в которой протекала юридическая деятельность Алмазова. В любом трибунале, заседающем во фронтовой полосе, судебная процедура до предела упрощена, а возможности весьма ограничены — расстрел, штрафбат и (изредка) полное оправдание. Тем, кто помнит хоть немножко сорок первый год с его «стоять насмерть», не покажутся чрезмерными ни суровость приговоров, ни быстрота, с какой они приводились в исполнение. Тем же, кто по молодости лет этого не помнит, надо знать, что иначе и быть не могло. Никто тогда не сомневался в праве командира применить оружие, чтоб остановить бегущего, а записки комдива о том, что комбат такой-то струсил или не выполнил боевого приказа, было достаточно для самого сурового приговора. Сергею Николаевичу все это представлялось простым и ясным, между тем именно эти две категории воинских преступлений самые сложные из мне известных. Струсить мог подлец, шкура. Но мог в какой-то непредвиденный момент струснуть и прекрасный человек. Человек, способный завтра совершить подвиг. Еще сложнее

с невыполнением приказа. Не все приказы выполнимы. Даже в мирной жизни случай бесцеремонно вмешивается в наши тончайшие расчеты, на войне же он буквально неистовствует, иксу удается то, о чем он не смел и мечтать, а у игрека, ничуть не менее храброго, из-за пустяка срывается простая и хорошо продуманная операция. Все эти мучительные соображения военюристу Алмазову до поры до времени были чужды, на все случаи жизни у него были спасительные схемы. Абстрагировать и схематизировать отнюдь не одно и то же. Абстрагировать — это прежде всего уметь на время отвлекаться от своего чувственного опыта, на этой способности основаны величайшие открытия Коперника, Эйнштейна и Павлова. Схематизировать — это прежде всего упрощать, отсекая как помеху всякие подробности, а они-то и делают человеческие характеры и поступки несхожими между собой. Для всех затруднительных случаев у Алмазова были наготове спасительные схемы вроде «обстановка требует», «мягкость обойдется нам дороже». Оправдательные приговоры он выносил редко, зато в сомнительных случаях охотно заменял расстрел штрафбатом. Рассуждал он при этом так: если я ошибся и этот человек заслуживал расстрела, пусть его прикончат фашисты, если же, паче чаяния, произошла судебная ошибка, не все ли равно, где сложить голову за отечество, и при этом у него еще остается шанс. Так он упек в штрафбат нашего начхима, милейшего человека, кандидата наук, пошедшего на фронт добровольцем, но не сумевшего в переписке с женой удержаться от присущего ему несколько скептического юмора. Я немножко знал этого начхима и, воспользовавшись тем, что Алмазов лег ко мне в госпиталь по поводу абсцесса прямой кишки, попытался склонить строгого судью к милосердию. Поначалу Сергей Николаевич был непреклонен и даже отказывался говорить со мной, но болезнь волей-неволей сближает пациента с врачом, постепенно он проникся ко мне доверием, и мне удалось вызвать его на спор — это уже было достижением. Наконец он снизошел до того, что стал цитировать по памяти — память у него и сейчас превосходная — целые абзацы из этих самых писем, а я, посмеиваясь, утверждал, что все это юмор и за шутки не судят. Алмазов, накаляясь, кричал, что человек, способный шутить, когда решается судьба родины, для него все равно чужак, вражина и в незабываемые годы его юности, когда судили не по кодексам, а по революционному правосознанию, этого гниляка давно бы поставили к стенке. На это я, в свою очередь, кричал, что с той поры прошло четверть века, советская власть на то и дала Алмазову диплом юриста, чтоб он судил по закону, а не по вдохновению, и если я сегодня начну лечить его задницу так, как лечил бы эскадронный фельдшер в те незабываемые годы, то ему не поздоровится. Перед выпиской мы были уже на дружеской ноге, и хотя в вопросе о виновности начхима Алмазов по-прежнему держался как скала, я вырвал у него обещание если уж не помочь, то хотя бы не мешать. Я бросился к своему будущему тестю и убедил его, что бессмысленно направлять полуслепоего человека в штрафбат, гуманнее сразу расстрелять. Какой он ни слепой, он все же ценный штабной специалист, и я головой ручаюсь за его порядочность. Василий Данилович обругал начхима болтуном, а меня либералом, но все-таки куда-то позвонил. В результате приговор был в порядке надзора пересмотрен, и начхим получил год тюрьмы с отбытием наказания после победы. Начхим этот здравствует и сейчас, получил орден и, насколько мне известно, не только не сидел в тюрьме, но защитил докторскую,

При очередной передислокации я Алмазова потерял из виду и обрел его вновь только весной пятьдесят третьего года в Москве. Я еще был женат, и мы с Лидой жили в роскошной и неудобной квартире на пятнадцатом этаже высотного дома, где с трудом умещались мои книги и картотека, но зато между лифтом и нашей входной дверью можно было устроить волейбольную площадку. Мне позвонила вахтерша снизу: какой-то гражданин спрашивает меня, но упорно отказывается подняться. Пришлось спуститься вниз и чуть ли не силой втащить Алмазова в кабину лифта. Я узнал его сразу, несмотря на заметные изменения — Сергей Николаевич был в военном кителе, но без погон и с нечищеными пуговицами, раньше за ним этого не водилось. Он не слишком постарел и не показался мне изможденным, изменились только глаза и вся повадка, исчез самоуверенный покой, и на смену ему пришла настороженность. Меня поразило похожее на страх удивление, с которым он рассматривал отделанную полированным деревом зеркальную кабину, можно было подумать, что он никогда не поднимался в лифте. Так же странно он повел себя дальше, долго топтался в передней, не решаясь зайти, и только убедившись, что мы в квартире одни, шепотом попросил у меня немного денег, предупредив, однако, что совершенно не знает, когда сумеет их отдать. Получив деньги, заторопился, и, вероятно, я не сумел бы его удержать, если б в это время не вернулась домой Лида. Алмазова она видела единственный раз в жизни, притом десять лет назад, была с ним достаточно небрежна, и я почти не сомневался в том, что она его не узнает или не захочет узнать. Однако она узнала и с присущей ей бесцеремонностью обрушила на него лавину вопросов. Минут через пять мы уже знали: Сергей Николаевич всего несколько часов назад вышел из тюрьмы. Придя на свою московскую квартиру, он не застал жены, но зато познакомился с человеком в пижаме, представившимся как ее законный муж. Лидия Васильевна, обычно весьма ценившая свой душевный покой, неожиданно расчувствовалась и объявила: таких жен, как госпожа Алмазова, надо убивать, но сейчас не до этого, Сергей Николаевич остается у нас, ему нужно принять горячую ванну, после чего выпить не чаю, чай — глупости, а водки. И действительно, через полчаса мы ужинали на кухне, и передо мной сидел совсем другой Алмазов — красный, по-банному распаренный, с размягченным затуманенным взглядом, он плакал, смеялся, пел тюремные песни и декламировал какие-то казавшиеся ему прекрасными самодельные вирши. Лида подливала ему и пила почти вровень с ним, на лице у нее было написано самое простое-душное, как у деревенских баб, сочувствие. Такими их я никогда не видел — ни Алмазова, ни мою жену. Мне не всегда по вкусу Лидина доброта, потому что она чаще всего принимает ненавистную мне тираническую форму, но на этот раз победила Лида с ее деспотической манерой, Алмазов ей сразу подчинился. Человеческое поведение всегда сложно детерминировано. Догадываюсь, что в пылом доброжелательстве к Алмазову была запрятана не осознанная до конца полемика со мной: пусть я грубая, несправедливая, но зато я горячая, а ты сухарь, рассудочный субъект, грош цена твоей деликатности, если из-за нее ты чуть не упустил человека. И не потому ли ее особенно тронула судьба покинутого мужа, что в ней бродило предчувствие нашего надвигающегося разрыва? Я пишу об этом совсем не для того, чтоб опорочить ее мотивы, повторяю, вела она себя прекрасно.

Наутро, выпавшись и позавтракав, Сергей Николаевич поведал

мне свою печальную историю. Я уже говорил, что Алмазову всегда не доставало воображения. Во многих случаях это свойство его выручало. И в конце концов подвело. Десять раз Сергей Николаевич подписывал приговоры, ничуть не сомневаясь, что они во всех деталях отражают реальную картину мира и меру вещей. Спокойствие рухнуло, когда ему впервые пришлось судить близкого друга. Для того чтоб поверить в его преступность, нужно было пылкое воображение, а его не оказалось. Циником Алмазов не был, подобно моей жене, он был человек веры, скорее идолопоклонник, чем скептик. Только идолы у них с Лидой были разные. Лида верила только своему чувственному опыту, Сергей Николаевич поклонялся схемам и ритуалу. Он мог оправдать цинизм божества, но не свой собственный.

Человека, которого ему предстояло судить, звали Онисим Соломонович Ласкин. Он был ровесником Алмазова, они вместе служили в отрядах ЧОНа, вместе вступали в комсомол, вместе одолевали юридическую премудрость и остались друзьями. Военно-юридическая карьера Ласкина почему-то не сложилась, он стал разведчиком, и, вероятно, незаурядным, к сорок третьему году он уже был начальником армейской разведки. Я немножко знаю разведчиков, служба у них трудная, жалуются они чаще всего не на опасности своего ремесла, а на привычку начальства валить все неудачи на слабость разведки. «В будни получаем фитили, а ордена только по праздникам», — говорили они мне. Судьба Ласкина складывалась, в общем, благополучно, он получил несколько орденов, получал, конечно, и фитили, но в меру, в Армии его любили и в обиду не давали.

Благополучию пришел конец, когда появился новый командарм с чрезвычайными полномочиями — покончить с зимней спячкой и подготавливать решительное наступление. Командарм обладал всеми необходимыми качествами, чтобы выполнить такую задачу, и стал наводить порядок железной рукой. Ласкин, привыкший к тому, что прежний командарм терпеливо выслушивал его резоны, не сразу усвоил молниеносный стиль Нового и вызвал его стойкое неудовольствие. Накануне наступления операторы штаба очень нервничали, противник вел себя как-то странно, все добываемые с большим трудом и риском разведанные, как назло, были путаны и противоречивы, внести спасительную ясность мог только язык, причем не первый попавшийся, а по-настоящему осведомленный, лучше всего штабной офицер. Но осведомленные стали осторожны, и нужного языка достать ни разу не удалось. Новый всячески поносил разведку и унижал ее начальника. Наконец поставил срок — сорок восемь часов. «Не приведешь — расстреляю».

В течение первых суток Ласкин разработал план операции — лучший свой план — и сам возглавил группу. Он действовал со спокойствием приговоренного, не ждал пощады в случае неудачи и предпочитал получить пулю от немцев. План его напоминал блестящую многоходовую шахматную комбинацию и, вероятно, принес бы Ласкину блистательный успех, если бы не вмешался проклятый случай, столь скромно ведущий себя на шахматной доске и безумствующий на полях войны. Ласкин имел преимущество первого хода, но, как видно, «за черных» играл тоже гроссмейстер. Короче говоря, на каком-то ходе немцы заподозрили ловушку и смешали фигуры на доске. Разведчики понесли потери, а раненного в голову командира группы верные друзья вынесли на руках. Однако это несколько не умалило ярости Нового, он был разбит провалом и винил в нем одного Ласкина. Ранение, к несчастью, оказалось легким, и по вы-

ходе из госпиталя Ласкин предстал перед судом военного трибунала по обвинению в невыполнении воинского приказа и саботаже.

У Сергея Николаевича был отличный выход — сослаться на давние личные отношения и сделать себе самоотвод. Но он им не воспользовался. Как человек принципиальный, он был готов расстрелять друга, если тот действительно виноват.

Вот тут-то отсутствие воображения и подвело Алмазова. Он слишком хорошо знал Онисима, и то, что он знал о нем, не поддавалось упрощению. Надо было опустить существенное и допустить невозможное, а это не получалось. Схема трещала по всем швам.

Вынося оправдательный вердикт, Алмазов, вероятно, побаивался служебных неприятностей, но по недостатку воображения он даже представить себе не мог, что этим приговором он бросает вызов Новому. Через неделю Алмазова арестовали.

И такой вот ошалевший от одиночества и непосильных ему дум, лишенный привычных ориентиров, он появился у нас на пятнадцатом этаже, был обласкан, прилично экипирован и снабжен деньгами. Мне удалось заинтересовать в его судьбе Успенского, и Паша с обычной для него добротой, когда дело касалось частных судеб, сразу взял его в Институт на маленькую хозяйственную должность и очень помог в сложном процессе реабилитации и восстановления в партии. Через год Алмазов уже был тем, что он есть, — заместителем Успенского по административно-хозяйственной части, ценнейшим и незаменимым. Решительный и независимый в общении с сильными мира сего, Успенский был трогательно беспомощен в денежных делах, никогда не знал всех своих прав и возможностей, и над ним легко брали верх самые маленькие чиновники. Алмазов вполне его устраивал. Подписывая приказы по Институту, Сергей Николаевич священнодействовал. Стиль их немножко напоминал судебные приговоры, но, по-моему, кроме меня, этого никто не замечал. Самое удивительное было то, что все испытания, обрушившиеся на Сергея Николаевича, нисколько не изменили его характера. Он очень скоро перестал петь грустные песни и декламировать чувствительные вирши, обрел прежнюю солидность и убеждение, что начальство всегда право. Всякому печатному слову он верит безоглядно. Кто-то из наших аспирантов сострил: когда на яйце стоит штамп «диетическое», Сергей Николаевич, если не последует специального разъяснения, будет его считать диетическим и через год. Конечно, это гипербола, но ей нельзя отказать в меткости.

К чести Сергея Николаевича: едва восстановившись в правах, он использовал все свои старые связи, чтоб узнать о судьбе друга, и узнал, что нового суда над Ласкиным не было. Началось наступление, и Онисим погиб, командуя одной из десантных групп. Портрет Онисима висит у Алмазовых в столовой.

Я был на свадьбе Сергея Николаевича и на торжестве по случаю рождения детей — я не оговорился, у Алмазова родились двойняшки, оба мальчики. Считается, что мы фронтовые друзья, и я знаю — в глубине его души живет своеобразно преломленное через его характер чувство благодарности не столько за помощь в трудный момент, сколько за то, что я ввел его в сияющий храм науки, — этого он мне никогда не забудет.

— Ничего не обещаю, — заключает он нашу беседу.

Я молчу.

Примерно через две недели он заглянул ко мне в лабораторию:

— Давай, поехали.

— Куда?

— Смотреть твою квартиру. То, что тебе нужно. В доме все магазины, бюро добрых услуг — рай для холостяка. Заселял полдома собес — сплошные должители. Твой контингент. Скидывай халат и не задерживай. Вы тут витеаете, а у меня еще дел невпроворот.

Мы поехали. Это и был тот дом, где я живу сегодня.

XI. Интервью

Я знаю немало людей, которые любят, чтоб им мешали. Помехи служат для них оправданием собственного бездействия или неудач. Не будем искать новых слов: в основном это лентяи.

Я не ленив. Письмо моей бывшей жены меня расстроило, но не настолько, чтоб отвлечь от намеченной работы. Принимаю прохладный душ и сажусь за письменный стол с твердым намерением дописать начатую главку.

Однако намерение так и осталось намерением. Работа не шла. Можно сколько угодно заставлять себя думать только о предмете монографии, но против доминанты не попрешь — мысль упрямо возвращается ко вчерашнему разговору с Бетой, а это, в свою очередь, заставляет заново разворошить в памяти парижскую поездку, и некоторые детали, казавшиеся мне ранее несущественными, предстают передо мной в новом, неожиданном освещении. Детали эти неоднородны, вернее, неоднозначны и могут быть истолкованы по-разному. Я помню обещание Беты проверить вместе со мной каждое звено в ее догадках и поэтому удерживаю себя от скороспелых суждений. Но во мне уже нарастает сопротивление. Это и понятно. Как бы ни был объективен исследователь, он не безразличен к конечному выводу, к итогам. Об одних итогах он тайне мечтает, других страшится. Надо не бояться заглянуть в пропасть, но никому не заказано мечтать и надеяться. Нечего скрывать, я хотел бы, чтоб тщательно продуманная и от этого еще более мучительная для Беты версия Пашиной смерти вдруг рассыпалась в прах или, на худой конец, осталась неподтвержденной гипотезой. Наполовину подсознательно я ищу в ней слабые места, и это одна из причин, почему работа не спорится. Существенная, но не единственная.

Еще до отъезда в Париж меня не оставляло ощущение какого-то неблагоприятия в обобщающей части моей монографии. Казалось бы, нет ничего проще, чем сформулировать бесспорные, на мой взгляд, положения, опирающиеся к тому же на безупречное знание материала. Однако то и дело возникали затруднения в самом процессе изложения, что обычно свидетельствует о каком-то изъяне в ходе рассуждения. Такие заторы случались со мной и раньше и привычно воспринимались как сигнал: остановись, усумнись, продумай все сначала. Такой затор может быть предупреждением: ты на ложном пути. Но бывает и предвестником в муках рождающейся новой плодотворной мысли.

Нет смысла обременять моего гипотетического читателя изложением всей совокупности занимающих меня проблем, достаточно будет, если я скажу, что моя монография посвящена роли высшей нервной деятельности в старении организма. В основу ее легла проведенная в нашей лаборатории серия изящных и необычных по методике экспериментов на животных. Сложность моего положения заключается в том, что у животных, как известно, высшая нервная деятельность существует только в зачаточных формах, вторая сиг-

нальная система, речь, слово животворящее и убийственное, у них полнотью отсутствует, поэтому экстраполировать на человеческий организм наблюдённые нами закономерности можно лишь с величайшей осторожностью. Человек стареет и умирает принципиально иначе, чем животное. Истина эта достаточно банальна, но и из этого не следует, что она не нуждается в расшифровке. Как раз здесь больше всего темного и неподтвержденного, и я все отчетливее понимаю шаткость некоторых моих построений, которые могли бы найти опору в данных сопредельных наук — антропологии, психологии, социологии, медицинской статистики. Но об этих дисциплинах мои представления явно недостаточны.

Опыт говорит мне: всякий свежий замысел рождается на стыке длительно накапливаемой и оседающей в кладовых памяти информации с ворвавшимся извне сильным впечатлением, разом кристаллизующим всю эту аморфную массу. Мне знакомо это предшествующее скачку слепое беспокойство мысли, быть может, завтра оно обернется находкой, но сегодня оно меня изнуряет.

И вот вместо того, чтобы чинно сидеть за письменным столом, я начинаю метаться. Слоняюсь взад и вперед по квартире, захожу даже в кухню. Видя это, Мамаду тоже нервничает, свистит и требует выпустить его из клетки. Проходя мимо ящиков с картотекой, я выхватываю наугад то одну, то другую карточку и, проглядывая эти сделанные в разное время записи своих и чужих мыслей, улавливаю некоторый не сознаваемый мной ранее отбор. Поручи я выдергивать карточки Мамаду, ничего бы не изменилось: стоящие за случайностью выбора закономерности предварительного отбора стали бы только нагляднее. Своей картотекой я горжусь. Там можно найти выписки из сочинений классиков научного материализма, из античных философов и из поучений отцов церкви, из трудов физиологов всех времен, из научной периодики на нескольких языках и даже из художественной литературы от Саллюстия до Зоженко. Заметить и точно описать явление в иных случаях не менее важно, чем объяснить его. То, что писал полвека назад какой-нибудь посредственный клиницист о возрастных изменениях у г-жи Ф., 69 лет, вдовы чиновника, или у отставного унтер-офицера К., 72 лет, давно умерло, а то, что увидели в своих стариках не дожившие до старости Гоголь и Чехов, не только живет, но продолжает быть достоверным свидетельством. Речь, конечно, может идти только о наблюдениях хороших писателей. Свидетельства плохих писателей научной ценности не представляют.

На возню с карточками у меня уходит около часа. Мысли мои скачут. Из этого граничащего с отчаянием и вдохновением состояния меня выводит звонок. Бегу открывать дверь и вижу перед собой хорошенькую девицу. Белый плащ отчетливо импортного происхождения, в руках легкий портфельчик.

— Олег Антонович? — говорит незнакомка, очаровательно улыбаясь.

Не будучи очарованным, я стараюсь быть вежливым. Пропускаю девицу в переднюю и смотрю вопросительно. Девица дарит меня еще одной улыбкой.

— Я осмелилась побеспокоить вас потому, что у вас нет телефона...

— Вы принимаете причину за следствие, — говорю я. — У меня потому и нет телефона, чтоб меня не беспокоили.

На секунду улыбка гаснет. Настороженный взгляд: что это, хамство или юмор? Решено, что юмор, и улыбка вновь включается.

— Я вас долго не задержу.— Видя мое недоумение, она поясняет: — Я из редакции.

Называется один известный мне больше по названию научно-популярный журнальчик, и я вспоминаю: незадолго до отпуска меня поймал пожилой, умученный жизнью человек, оказавшийся сотрудником этого самого журнала, и вымолил у меня входящую теперь в моду беседу-интервью по западному образцу — о том о сем, как работаю, как провожу досуг, каковы мои вкусы, ну и прочее в таком же духе. Через день он принес мне вполне грамотную запись, я ее визировал и считал свои обязанности исчерпанными. Хочу сказать об этом, но не успеваю раскрыть рта.

— Я все знаю,— говорит девица.— Ваше интервью у нас всем очень понравилось. Пулевой материал. Но у нашего главного есть кое-какие замечания...

Гостья оглядывается, ища глазами хотя бы тумбочку, чтоб расстегнуть портфель. Глаза ее смеются, и в них я читаю: ну и воспитание! И я сдаюсь, провожаю ее в горницу и даже предлагаю снять плащ. Но она отказывается, небрежно швыряет свой портфельчик на разложенные на обеденном столе карточки и не торопясь оглядывается. Вид книжных корешков заставляет ее зябко передернуть плечиками (брр, неужели можно прочесть всю эту скучищу...), но ящики с картотекой вызывают у нее любопытство.

— Что это?

— Как видите, картотека.

— Зачем? — Она наугад выхватывает одну карточку.

— Буду вам весьма признателен,— говорю я девице не очень, впрочем, сурово, ее нахальство меня забавляет,— если вы поставите карточку на место.

Моя просьба выполняется неохотно и неточно.

— Не сердитесь. Для чего это вам? Секрет?

— Нисколько. Я заношу сюда все, что имеет отношение к занимающей меня проблеме.

— А именно?

— К проблеме старения.

— Так что я пока не рискую попасть в вашу коллекцию?

— Нет, почему же,— сухо говорю я, меня начинает раздражать ее дурацкое кокетство.— Процесс старения начинается гораздо раньше, чем это принято думать.

— Вы серьезно говорите? — У моей гостьи испуганный вид, она озирается в поисках зеркала, но зеркала нет.— Нет, скажите — вы шутите?

Как всегда, слышав шум, подает голос Мамаду. Посетительница ахает и бежит в мою комнату. Я иду за ней. Откровенно говоря, мне хочется взять ее за руку и вывести обратно, но я сдерживаю себя. Взгляд у меня, вероятно, недружелюбный, но гостья его не замечает.

— Попугай! — говорит она радостно.— Вот здорово! Говорящий?

— К счастью, нет.

— Почему к счастью? Он злой?

— По-моему, нет,— я просовываю палец сквозь прутья клетки и почесываю Мамаду голову. Мамаду блаженно щурится. Девица немедленно сует свой палец вслед за моим и получает основательный удар клювом.

— Ай! — кричит она. — И вы еще говорите — не злой.

— Конечно, нет. Просто он не любит, когда с ним фамильярничают посторонние.

Гостья занята своим пальцем. Это не мешает ей внимательно осмотреть скромное убранство моей кельи: тахту, радиолу, письменный стол и немногие фотографии.

— Смотрите-ка, кровь! Вот теперь лечите меня, вы же доктор. У вас есть йод?

— Должен быть.

Пузырек с йодной настойкой я ищу сперва в ванной, а затем в кухне, это дает гостье повод следовать за мной по пятам и таким образом вчерне закончить осмотр моей квартиры. Остается неосмотренной только уборная, и меня сильно подмывает предложить ей заглянуть заодно и туда. Но я все еще держусь.

— А у вас чистенько, — замечает гостья, когда я, заклеив ранку кусочком пластыря, возвращаюсь с ней в горницу. — Кто за вами ухаживает?

— Добрый ангел.

— Вот как! А какого он пола, этот ангел?

— Ангельского.

— Смотрите, каков? — говорит девица кому-то третьему. — Колючий. Не дается в руки. Наверно, хотите походить на строгого профессора, а вы просто злой мальчик. Вам этого никто не говорил?

Я молчу. Она пожимает плечами:

— Странно. Никаких следов женщины. Неужели к вам никогда не приходят женщины?

— Нет, почему же. Очень часто.

— Очень часто? И что же вы с ними делаете?

— Убиваю. А затем заносу на карточку.

— Ну вот, вы опять не хотите говорить серьезно...

— Когда вы приступите к делу, по которому пришли, я буду говорить серьезно.

Догадавшись по моему тону, что все отяжки исчерпаны, гостья присаживается к столу, открывает портфельчик, и я узнаю завизированные мной машинописные листочки. Прежде чем девица успевает их спрятать, я замечаю паутину карандашных пометок: кто-то правил, подчеркивал и ставил длинные удивленные вопросительные знаки. А наверху — намалеванный жирным фломастером заголовок «В борьбе со смертью».

— Это еще что такое?

— Вам не нравится заголовок?

— Я нахожу его идиотским.

— Почему?

— Потому что я не борюсь со смертью.

— А с чем же вы боретесь?

— Со старостью. Точнее — с преждевременной старостью. И не столько борюсь, сколько пытаюсь разобраться в ее причинах.

— Скромничаете. Вы что же, не хотели бы сделать людей бессмертными?

— Ни в малейшей степени. Бессмертие человечества в его непрерывном обновлении. Если б люди были бессмертны, это было бы трагедией.

— Для кого?

— Для всей планеты и для каждого человека в отдельности.

Вспомните легенду об Агасфере — бессмертие было дано ему в наказание. Вы читали «Фауста»?

— Да, конечно,— говорит моя гостья с поспешностью, из которой я заключаю, что оперу она, вероятно, слышала.

— В таком случае вы, наверно, заметили: Фауст просил у черта не бессмертия, а молодости. И кроме того: вам не приходило в голову, что бессмертный человек тоже смертен?

— Ну знаете, это парадокс!

— Парадокс? А вы хорошо представляете, что значит это слово?

— Надеюсь.

— Судя по вашей осудительной интонации — не очень. Парадокс — истина. Не сразу распознаваемая. Истина, похожая на ложь. У парадокса есть могущественный антипод — софизм. Ложь, похожая на истину. Мы с легкостью проглатываем софизмы, но настораживаемся, почуяв запах парадокса. А парадокс самый безобидный: для того, чтоб быть по-настоящему бессмертным, человек должен обладать не существующей в природе механической прочностью, не гореть в огне, не тонуть в воде и не поддаваться жесткому радиоизлучению. Вам нажужжали в уши про американские секвойи, которые, видите ли, живут сотни лет, но при этом почему-то забывают, что секвойи также подвержены стихийным бедствиям, а главное, их так же можно спилить, как и любое другое дерево. Всякая смерть печальна, но когда умирает глубокий старик или старуха, мы говорим — они умерли естественной смертью, и это умеряет нашу печаль. Ужасно, когда умирает молодое существо, мы называем такую смерть преждевременной, трагической. Теперь представьте себе на минуту ужас гибели человека, теоретически бессмертного, ужас расставания с вечной жизнью... Моего воображения на это не хватает.

Вид у моей гостьи несколько растерянный.

— Мне трудно с вами спорить,— бормочет она.— Но наш главный очень просил вас смягчить свою точку зрения...

— На что именно?

— На бессмертие.

— Почему?

— Видите ли, один академик, забыла фамилию, но это неважно, он очень крупный ученый и даже президент чего-то там, он считает...

— Прекрасно. Если ваш главный так жаждет бессмертия, пусть возьмет интервью у этого академика.

— Не надо быть злокой. И пессимистом. Сейчас вы скажете, что я не понимаю, что значит это слово, но я, честное слово, догадываюсь.

— И вам нравятся оптимисты.

— Нравятся. В позапрошлом году у нас в редакции был «круглый стол» и на нем выступал молодой ученый — кстати, он из вашего Института — и очень всем понравился. Он говорил, что в самое ближайшее время продолжительность человеческой жизни можно будет увеличить в два и даже в два с половиной раза.

— Вдовин?

— Вдовин. Вы знаете Вдовина? Правда талантливый?

— Талантливый? Скорее много обещающий.

Она смотрит на меня подозрительно.

— Это одно слово или два?

— Два.

— Ну как же вы не язва? А вы что — совсем в это не верите?

— Я уверен лишь в одном: мы с Вдовиным умрем гораздо раньше, чем это удастся проверить.

— Я не знала, что вы такой сердитый.

— Я не сердитый, я очень занятой. Что от меня еще нужно вашему главному?

— Он просил передать вам, что не понимает...

— Допускаю. Но при чем тут я?

— Нет, кроме шуток. Старение — естественный процесс или патологический?

— И то и другое.

— И норма и болезнь?

— Именно так.

— Как это может быть?

— Почему же нет? Может же фотон быть одновременно волной и частицей? Граница между нормальным и патологическим в достаточной мере условна, нормы устанавливаются людьми. Природа не всегда имеет на этот счет определенное мнение.

Гостья вздыхает:

— А ну вас, вы меня совсем запутали. Ну приведите какой-нибудь простой пример, чтоб я тоже поняла.

— Пример? Пожалуйста. Разве не приходилось вам говорить: «Ах нет, сегодня я больна...» Или даже: «Слава богу, я заболела». Это правда и одновременно ложь, потому что с физиологической точки зрения вы совершенно здоровы.

Конечно, это хамство, но я почему-то не чувствую раскаяния. Гостья вспыхивает, но молчит. Я смотрю на часы.

— Дальше?

— Он считает вашу позицию в вопросах спорта совершенно неприемлемой. Получается, что вы против всяких рекордов и против тяжелой атлетики.

— Совсем не против всяких. А с тяжелой атлетикой у меня действительно сложные отношения.

— Вот видите. Весь мир завидует нашим богатырям, вся страна ими восхищается, а вы требуете...

— Стоп! Начнем с того, что я ничего не требую.

— А если не требуете, то зачем же...

— Затем, чтоб люди знали, что возможна другая точка зрения. В отличие от большинства западных стран у нас продолжительность боя на ринге ограничена тремя раундами. Уверен, что этот мудрый компромисс достигнут не без влияния людей, которым бокс вообще отвратителен. Я с полным убеждением режу собак и кошек, но при этом считаю допустимым и даже полезным существование противников вивисекции.

— Почему?

— Они вносят необходимую коррекцию.

Гостья задумывается.

— Нет, этого я никогда не пойму. Скажите лучше, что вы имеете против гиревиков?

— Ничего. Просто я не вижу ничего привлекательного в том, что в век шагающих экскаваторов и электрических кранов кто-то, надуваясь и пыхтя, пытается поднять на одну секунду двести или триста килограммов. Для крана это мало, а для человека слишком много и совсем не полезно.

— Неужели вам не приятно, когда наши ребята выигрывают

на международных соревнованиях? Где же ваше патриотическое чувство?

— Мое патриотическое чувство больше греют цифры, говорящие о массовости спорта в нашей стране.

— Неужели вы никогда ни за кого не болеете?

— Я предпочитаю быть действующим лицом, а не зрителем. Студентом я играл в футбол и люблю игру, но зрелище многотысячной толпы, которая ревет и беснуется, меня отталкивает. Ни Улановой, ни Софроницкому никогда не вызвать подобного экстаза. И мне смешно, когда налитые пивом, обрюзгшие от сидячей жизни отцы семейств и тощие патлатые девчонки кричат игроку: «Куда бьешь, мазила!» — сами они не попали бы мячом в пустые ворота. Мне противны «тиффози», способные изувечить не потрафившую им команду, в принципе они ничем не отличаются от кровожадных зрителей Колизея; если завтра разрешат гладиаторские игры, конечно, по сокращенной программе и под наблюдением врача, бизнесмены хорошо заработают. Публика наших стадионов гораздо лучше, но, откровенно говоря, я не убежден, что ею всегда владеют только самые чистые, свободные от темных инстинктов чувства. Тут есть над чем задуматься я и социологам, и психологам, да и нашему брату-физиологу.

— А все-таки почему-то...

— Вот именно — почему-то... Мне кажется, болельщиками владеют те же чувства, что любителями лотерей и тотализаторов.

— Что же общего? Болельщик бескорыстен.

— Смотря что понимать под корыстью. Игрок — ну, вы понимаете, я не о спортсменах говорю — это человек, желающий приобрести некоторые материальные ценности, не участвуя в их создании. Болельщик имеет возможность чувствовать себя победителем, не участвуя в борьбе. На этот счет у меня есть свой рабочий термин. Самоутверждение через спортивность. Всякий раз, когда мы создаем себе идола, мы самоутверждаемся. Мы как бы входим в долю и становимся пайщиками его славы и авторитета, будучи профанами, мы приобретаем право судить да рядить о вещах, нам ранее недоступных. И конечно, влиять, требовать, советовать, даже осуждать. Если не считать спорта, больше всего болельщиков у искусства и медицины...

Посмотрев внимательнее на свою собеседницу, обрываю себя на полуслове. Она скучает и нервничает.

— Все это очень умно,— говорит она растерянно.— Но, понимаете, мы — журнал массовый. Почему все-таки вы против рекордов?

— Я не против. Я к ним равнодушен. Кстати, вранье, что болшинство рекордов ставят любители. Если б любители в любой области человеческой деятельности были бы сильнее профессионалов, это означало бы гибель профессии.

Гостья задумывается.

— Нет, насчет рекордов это у нас не пройдет. И я тоже с вами не согласна, люди всегда будут стремиться к вершинам, пусть даже с риском для жизни и здоровья. Хотите, я сейчас вас убью?

— Валяйте,— говорю я без особой охоты.

— Я знаю, вы ставили опыты на себе. И, прямо скажем, рискованные. Что? Это похуже, чем поднимать тяжести.

Бац! — и я выбит из седла. Не аргументацией, а осведомленностью. Кроме меня и Виктора, об этих опытах ни одна душа не знала. Неужели Виктор меня предал?

— Послушайте,— говорю я, жалко запинаясь.— Откуда вы это... (чуть не ляпаю «знаете») откуда вы это взяли?

— Много будете знать, скоро состаритесь. Факт?

Девушка играет глазами, торжествует, а я окончательно теряю самообладание.

— Знаете что, милостивая государыня,— говорю я.— Мы с вами отклонились от цели вашего прихода. Напоминаю: ваше время истекло.

Девушка бросает на меня жесткий взгляд. По всей видимости, она привыкла, чтоб ее общества добивались.

— Выгоняете?

— Нет. Напоминаю.

— Ну хорошо,— сухо говорит девушка.— Что же будем делать?

— У меня есть компромиссное предложение. Там, где мои ответы вас не устраивают,— снимите вопросы. Будем считать, что мне их не задавали.

— Жалко.

— Мне тоже.

— Ладно, будь по-вашему.— Она вынимает из портфельчика бледные типографские полосы.

— Подпишите.

— Я уже подписывал.

— Это гранки. Такой порядок.

— Можно просмотреть?

— Пожалуйста. Если вы не спешите...

— Мы, живорезы, приучены читать все, что подписываем.

Читаю я быстро, но ничего не пропускаю. Девушка это понимает и начинает нервничать.

— Все как у вас...

Нет, совсем не как у меня. Ответы, вызвавшие сомнения редактора, умело выхолощены, и я вымарываю их целиком вместе с вопросами. Но редакторский карандаш прошелся везде, что-то чуть-чуть смягчено, что-то подправлено, а главное — повсюду расставлены ненавистные мне игривые многоточия и кавычки. Впечатление такое, будто, отвечая на вопросы, я все время подмигивал.

— Хотелось сохранить разговорную интонацию,— разъясняет девушка, видя, что я хмурюсь.— Чтоб не было готовых формулировок, а было видно, как мысль рождается в процессе беседы. Понимаете?

— Если б во время разговора с вашим сотрудником у меня родилась хоть одна новая мысль, будьте покойны, я бы ее не высказал. У меня не так часто появляются новые мысли.

— Ой, какой вы, ей-богу! Ну ладно, будьте паинькой, подписывайте скорее, и у нас останется минутка поговорить про что-нибудь более интересное.

— Нет, милая барышня,— говорю я.— Этого я не подпишу.

— Почему? — Взгляд из завлекающего становится жестким.

— Это не то, что я говорил.

— А кто же это все говорил? Честное слово, вы придираетесь. Кое-что пришлось подредактировать. Редактировали же и Чехова и Толстого...

Мне сразу становится скучно.

— Милая барышня,— говорю я.— Давайте договоримся о том, что такое интервью. Интервью — так мне до сих пор казалось — редакция берет в тех случаях, когда ей хочется узнать личное мнение специалиста, выраженное притом в присущей ему индивидуальной

форме. Если мои взгляды и форма, в которой я их привык выражать, редакцию не устраивают, а она хочет найти в интервью отражение своих собственных взглядов, ей следует отказаться от этого жанра или обратиться к кому-нибудь другому.

— Какой же выход? — Вид у нее такой, будто виноват во всем я, а ей по доброте душевной приходится все это расхлебывать.

— Выход самый простой. Напечатать как было раньше.

— Это невозможно. Я поклялась главному, что уговорю вас, в хорошенькое положение вы меня ставите. Да и поздно, полоса уже сверстана. Ну почему вы такой, прямо не знаю... Я не вписала вам ни единого слова.

— Вписали.

— Где? Покажите.

— У вас есть мой оригинал?

— Нет, конечно.

Чистейшее вранье, я его видел.

— Хорошо, обойдемся.— Я проглядываю гранки и почти в самом конце среди традиционных вопросов о моих вкусах и пристрастиях нахожу вопрос: «Ваши любимые композиторы». Прекрасно помню свой ответ: Бах, Франк, Мусоргский, Скрябин. Франк куда-то исчез, а на его месте таинственно возник Петр Ильич Чайковский.

— Куда девался Франк?

— Кто такой Франк?

— Вот это мило! Цезарь Франк.

— Цезарь?

— Или Сесар по новой транскрипции. Бельгийский композитор и органист.

— Хм. Вы его так любите?

— Очень.

— Ну хорошо. Я позвоню, чтоб вставили.

— А откуда взялся Чайковский?

— Вы что же, не признаете Чайковского?

— Люблю Пятую и Шестую. Романсов терпеть не могу. Во всяком случае, он не мой любимый композитор.

— Странно. Чайковского все любят.

— Послушайте.— Я опять начинаю глупо горячиться.— Неужели я должен вам объяснить, что любовь неподвластна авторитетам? Вы преклоняетесь перед корифеями науки, уважаете своего главного редактора, а любите Васю или Петю, и никто не вправе требовать у вас отчета за что и почему.

— Это другое.

— Ничуть не другое. Вы любите Чайковского, а Шаляпин не любил и почти никогда не пел. Он любил Мусоргского. Горький не любил Достоевского. А я люблю. Толстой не любил Шекспира...

— И вы тоже?

— Гамлетом восхищаюсь, а Отелло не выношу. Типичный ренегат. Вспомните, чем он хвастается... Вы скажете: Отелло — человек своей эпохи, и будете правы. Но от этого он не становится мне милее.

— Пушкин сказал: Отелло не ревнив, он...

— Доверчив, знаю. Вот и доверял бы Дездемоне. Почему-то все видят вину Отелло только в недостатке прямых улик. Согреши Дездемона на самом деле — и никто из моих цивилизованных современников уже не сомневается в праве хватать ее за глотку. Мне противен Арбенин, и я не понимаю, как можно воспевать Стеньку

Разина не за его действительные подвиги, а за то, что он утопил женщину, пусть даже классово чуждую, но только что дарившую ему радость, женщину, с которой он был близок... И утопил-то не в гневе, даже не из ревности, а испугавшись за свой авторитет. Эту песню я не люблю, а вот есть такая песня «Прощай, радость, жизнь моя» — ее я могу слушать без конца, хотя не берусь объяснить вам, в чем ее магия. Разве это можно и, главное, разве это нужно объяснять? Я не люблю «Гаргантюа», а «Уленшпигеля» и «Дон Кихота» перечитывал по многу раз. Зевал, читая Тургенева, а к сорока годам полюбил. Я ведь не преподаю в средней школе и никому не навязываю свои вкусы. Ну зачем вам надо, чтоб я любил Чайковского?

— Я вам открою секрет. В будущем году в Москве открывается всемирный конкурс.

— Ну?

— Имени Чайковского.

— Ну?

— Не понимаете? Получается очень в жилу.

Надо бы смеяться, но я отчего-то вспыхиваю.

— Слушайте,— говорю я.— Покончим дело миром. Выяснилось, что эта злосчастная беседа вам совершенно не нужна.

— То есть как это...

— Не нужна. Вас не интересует, что я на самом деле думаю. Вам нужно, чтоб было «в жилу». А мне неинтересно скреплять своей подписью домыслы вашего редактора. Разойдемся. Я сейчас ему напишу...

— Вы с ума сошли! Да он мне голову оторвет.

Это, положим, вранье. Такие хорошенькие самоуверенные головки держатся на плечах достаточно прочно. Наверняка есть влиятельный папа... Поэтому я молчу. Девушка всплескивает руками:

— Да вы что? Вы понимаете, что значит вынуть материал из номера? Вы что, хотите, чтоб меня уволили?

— Вас не уволят,— говорю я.— И вообще это запрещенный прием.

Под моим упорным и насмешливым взглядом гостя сдается:

— Ну хорошо, ваша взяла. Я-то не пропаду. Но вот для Якова Семеновича, ну, для того, кто брал беседу, это будет катастрофой. Он очень грамотный работник, но уже немного старомодный, и его хотят вывести на пенсию. А ему нельзя на пенсию — у него семья.

На этот раз это правда. Во всяком случае, похоже на правду.

— Ладно,— говорю я.— Это тоже запрещенный прием, но против него я бессилён. Давайте.

Подписываю гранки. Шариковая ручка рвет рыхлую бумагу. Гостя облегченно вздыхает, и можно догадаться, что победа далась ей нелегко.

— Вот и умничка,— говорит она.— А теперь вы напишете мне статью о поездке во Францию.

— Ну нет! — Я опять зол, особенно раздражило меня это покровительственное «умничка». — Статью о Франции вы напишете сами. Тем более вы гораздо лучше меня знаете, что я должен был там увидеть и что я по этому поводу думаю. Еще раз напоминаю — ваше время истекло.

На этот раз она по-настоящему обижена. Молча засовывает гранки в портфельчик и так же молча, не прощаясь идет к выходу. Я иду вслед — долг хозяина вызвать ей лифт — и внутренне киплю. Если эта девчонка не скажет мне хотя бы «до свиданья» (бессмыс-

лица, если вдуматься, какое там свидание...), я сумею преподать ей урок хороших манер.

Но еще в дверях она круто поворачивается и выпаливает мне в лицо:

— Вы ужасный человек! Да, да, ужасный. Мне говорили, я не верила, а теперь вижу сама — вы ужасный, ужасный... — И, не договорив, бежит по лестнице вниз.

Я возвращаюсь к себе несколько озадаченный. «Мне говорили...» Интересно, кто это говорил? Черт возьми, может быть, я и в самом деле ужасен? Ни одну версию не следует отбрасывать без проверки.

Стыдно признаться, но после ухода моей посетительницы мне не сразу удается вернуться к прерванным занятиям. Меня уже не беспокоит судьба моего интервью и смешит нахальная девица. Моя мысль напряженно работает: я вспоминаю, сопоставляю, строю догадки. Вероятно, именно так рождаются открытия. К сожалению, занимает меня совершеннейшая ерунда. Кто и что обо мне говорил? Каким образом эта девица пронюхала о моих неудачных опытах? И совершенно так, как в те редкие моменты, когда нам открывается краешек истины, происходит венчающая поиск вспышка — всеозаряющая, всеобъясняющая, всеразрешающая: Лида! Сразу все становится на свои места. Конечно, Лида знала об опытах, Виктор привез меня домой еле живого, мы не могли ничего скрыть. И наверняка нахальная девица — одна из Лидиных новых подруг, или, как любит говорить Лида, «поклонниц». Вот чем объясняется беглый, но внимательный осмотр квартиры, расспросы... И вот кто говорил, что я ужасный, ужасный человек...

День явно складывается под знаком нарастающей активности моей бывшей жены. Утром — письмо — в полдень — разведка. Не удивлюсь, если к вечеру явится она сама.

ХII. Башня из слоновой кости

Фразу насчет башни из слоновой кости обронил Успенский, насколько я понимаю, он вкладывал в нее лишь самый общий смысл: место для уединения, убежище от повседневной суеты. Почему именно из слоновой? Еще не было случая, чтоб Ольга забыла о поручении, но приговоренная ею справка либо затерялась в бумажных сугробах на столе у Паши, либо Паша забыл поделиться со мной полученными сведениями. Так что я до сих пор неясно представляю, кто, когда и зачем пустил в оборот этот дурацкий ярлык. Но это и не существенно. Существеннее другое — не прошло и нескольких недель, как я убедился, что, уединившись на своей вышке, я гораздо меньше защищен от бытовых хлопот и неурядиц, чем живя с Лидой, и что в каком-то смысле в башне из слоновой кости я жил именно тогда.

Итак, после долгих месяцев бесприютного существования я вместе со своими книгами, папками и картотечными ящиками взгромоздился к себе на восьмой этаж и оказался в положении худшем, чем Робинзон Крузо на необитаемом острове. По воле автора море выбросило вместе с ним много полезных в хозяйстве вещей, я же оказался выброшенным на грязный паркетный пол вместе с двумя десятками кое-как сколоченных ящиков, не содержавших в себе ничего, кроме информации. Однако выход нашелся и тут — на необитаемом острове деньги бесполезны, а в большом городе они еще продолжают быть

всеобщим эквивалентом. К счастью, деньги были. Я выпросил у Алмазова институтский грузовичок, вдвоем с Виктором мы за полдня объехали несколько магазинов и разом решили все проблемы: были куплены два стола, поддожины стульев, тахта, холодильник и отличная радиолка. Молодежь из моей лаборатории устроила нечто вроде субботника, кандидаты наук вбивали гвозди и ввинчивали лампочки, юные лаборантки гремели на кухне новенькими кастрюлями. Закончился субботник балом и капустником в лучших традициях нашего Института, и я лишний раз ощутил, какими прочными, хотя и незримыми нитями я связан с бабой Варей, Виктором и всеми этими милыми людьми. Мне было весело и немножко грустно, тогда я не понимал почему, а теперь знаю. Недоставало самых близких мне людей: Алексея, Илюши, Ольги, Паши, Беты... Имени моей бывшей жены за весь вечер никто не произнес, но я ощущал всеобщее, быть может до конца неосознанное, торжество — ее не любили.

Первые несколько дней я наслаждался уединением и не замечал неустроенности своего быта. Во мне еще жило наивное убеждение, что материально обеспеченный холостяк с такими скромными потребностями, как у меня, может легко просуществовать без посторонней помощи. Мой благодетель Сергей Николаевич особенно напирал на то, что весь нижний этаж нашего дома занят магазинами и мастерскими, включая учреждение с многообещающим названием «Бюро добрых услуг».

Необходимость в добрых услугах возникла у меня очень скоро. После того как я в самом первом приближении разложил по стеллажам свои книги и папки, в квартире скопилось много пыли и мусора, и, естественно, я решил обратиться за помощью в бюро. Роскошную стеклянную вывеску этого учреждения я заприметил давно, подойдя к входу, я увидел еще две надписи — «Добро пожаловать» (над входом, славянской вязью, без восклицательного знака) и вторую, написанную от руки на большом куске картона: «Дверями не хлопать!!!» Три восклицательных знака — это был явный перебор, меньше всего я хотел хлопать дверями. Вдобавок это было и неосуществимо, дверь оказалась запертой изнутри, засовом служила ножка от стула. Кто-то надоумил меня зайти со двора, и через ничем не примечательную глухую дверцу я проник наконец в святилище сервиса.

Бюро оказалось просторной белой комнатой, обставленной современной мебелью, на низеньком круглом столике лежали прошлогодние номера «Крокодила» и «Спутник агитатора», но в креслах никто не сидел и журналов никто не читал, все жаждущие добрых услуг стояли, прислонившись к белой стене, и ждали очереди, чтоб просунуть голову в окошко, за которым скрывалась полная желтоволосая женщина с лицом Будды, одетая в зеленую вязаную кофту. Женщина выписывала квитанции, временами отвлекаясь, чтоб поднять телефонную трубку или для легкой перебранки с кем-то, находившимся в гулкой законной глубине.

Очередь состояла из семи или восьми женщин и одного толстяка с бабьим лицом и, по моим расчетам, могла дойти до меня не ранее чем через полчаса. Полчаса для занятого человека тоже время, и я решил воспользоваться мягким креслом, чтобы просмотреть прихваченную с собой брошюрку. Предварительно я осведомился, «кто последний», замыкавший очередь надменный толстяк признал это с великой неохотой, очевидно, он считал себя крайним. А когда я устроился в кресле с брошюрой, вся цепочка воззрилась на меня с явным

недоброжелательством, мое нежелание разделить скуку и неудобство стояния у стены было несомненно расценено как барский индивидуализм. Из упрямства я продолжал водить глазами по строчкам, но сосредоточиться мне так и не удалось, мое внимание было приковано к очереди и регистрировало малейшие изменения в ее продвижении к вожделенному окошку. Я всячески пытался принять свободную и удобную позу, но меня ни на минуту не оставляло изнуряющее мышечное напряжение, знакомое всем, кому приходилось стоять в очередях. В конце концов я не выдержал и занял свое место задолго до того, как пришел мой черед, и имел возможность наблюдать, как желто-зеленая женщина, заложив в квитанционную книжку истертые до предела листочки копировальной бумаги, мучительно долго что-то пишет, то и дело отрываясь, чтоб заглянуть в какие-то справочники, затем нервно щелкает костяшками счетов и, сделав зверское лицо, выдирает из корешка квитанцию с двумя копиями. Затем наступает расплата. Деньги, конечно, вперед. Сдачи у приемщицы нет, и она очень сердится за это на клиентку. Одна роется в пластмассовом блюдечке с мелочью, другая в засаленном кошелечке, я давно вижу несложную арифметическую комбинацию, которая позволила бы им мирно разойтись, но молчу, чтоб не рассердить желто-зеленую еще больше.

И вот приходит долгожданная секунда, когда вопросительный взгляд приемщицы падает на меня и я могу наконец высказать свои скромные пожелания.

— Скажите, пожалуйста, могу я вызвать...— сказал я самым сладким голосом. Но договорить мне не удалось.

— Вы грамотный?

Должен признаться, я несколько опешил. За последние тридцать лет, даже во время памятной антинеомальтузианской дискуссии конца сороковых годов, моя грамотность сомнению не подвергалась. Нетерпеливые соседи объяснили мне, что ответ на все интересующие меня вопросы я могу прочитать на стене, где рядом со скрижалью, озаглавленной «Моральный кодекс советского человека», вывешен для всеобщего обозрения подробнейший список добрых услуг, предоставляемых комбинатом. Я потерял очередь, но зато узнал, что комбинат не только производит уборку помещений, моет оконные стекла и натирает полы, но также реставрирует стильную мебель, чистит гобелены, расчесывает нейлоновые шубы и создает интерьер по эскизам художников. Это меня приободрило. Поскольку ни стильной мебели, ни гобеленов в моем интерьере не имеется, удовлетворить мои скромные притязания будет проще простого. Окрыленный, я возвратился к окошку. И вот тут-то оказалось, что характерный для нашего времени процесс узкой специализации охватил и сферу быта: полотера мне могут прислать сегодня же, мойщицу стекол послезавтра, убирать же квартиру некому, одна уборщица в декрете, другая уехала к родным в деревню; и сегодня и послезавтра мне предлагается не выходить из квартиры с девяти до половины пятого, в случае, если меня не окажется дома, вся ответственность падает на меня. Я попытался объяснить, что натирать полы, прежде чем будет убран мусор, не имеет смысла, а сидеть безвылазно два дня я просто не могу, и вызвал взрыв гнева. Мне было сказано, что комбинат, слава богу, стоит на пороге своего трехлетия и успешно борется за звание передового предприятия, сама она работает здесь с основания и еще не видывала такого капризного клиента. Я настаивал, и тогда мне было сказано, что я, как видно, воспитывался с мамками и няньками

и если меня не устраивают советские порядки, то лучше бы мне переехать в какую-нибудь капиталистическую страну.

И вот тут я взорвался. Честное слово, я обиделся не за себя. Я обиделся за свою страну. Мне оскорбительно слышать, когда терпимость к недобросовестности и разгильдяйству возводится в патристическую доблесть. Во всех этих выкриках, которые я слышу не в первый раз, заключена подспудно довольно ядовитая мыслишка, будто все эти пороки являются нашими национальными добродетелями. Недаром недовольных попрекают за границей, в этом таится заgrimированное под враждебность преклонение перед недостижимой в своих прихотах хитроумной Европой. И вообще я не раз замечал — всякое априорное ощущение своего превосходства до удивительности плотно соприкасается с самым пошлым низкопоклонством.

Изложив в популярной форме свою точку зрения, я потребовал жалобную книгу. Это было равносильно объявлению войны. Мне приходилось не раз истребовать из специальных фондов публичной библиотеки редкие и даже уникальные издания. Получить жалобную книгу оказалось труднее. Сперва мне было сказано, что комбинат давно уже перешел на качественную работу без брака и рекламаций, жалобная книга отменена за ненужностью. Я не поверил и попросил вызвать заведующую. Заведующая долго не шла, наконец появилась. Тонкогубая, очень подтянутая, готовая к бою. Руки она почему-то держала за спиной. Книгу выдать отказалась, пока не узнает, что именно я собираюсь в ней написать, комбинат борется за какой-то вымпел, и она, директриса, не может допустить, чтоб неизвестные люди безответственно марали книгу, в которой уже год не писали ничего, кроме благодарностей. На это я со всей возможной кротостью возразил, что человек я не совсем неизвестный, напишу полный адрес, с указанием домашнего и служебного адреса, и пусть вышестоящие организации рассудят, насколько основательны мои претензии. Встречено это было саркастической усмешкой: как видно, я притворяюсь наивным, если проверять всякую жалобу, у вышестоящих организаций вся работа станет, в обычное время я могу писать все что пожелаю, ей это, так сказать, до лампочки (новое выражение, этимология которого мне не вполне ясна), но в дни смотра комбинату может повредить всякая вздорная запись, и вообще — здесь голос ее дрогнул:

— Совесть у вас есть?

Этот вопрос, поставленный прямо в лоб, меня несколько смутил. В такой обнаженной форме мне его давно никто не задавал. До сих пор я как-то не сомневался в том, что она у меня есть. Быть может, у меня не всегда хватало мужества прислушиваться к ее голосу, но временами она меня изрядно мучила, а может ли мучить, то, чего нет? Занятый этими мыслями, я не отвечал, и мое молчание было истолковано самым превратным образом: убедившись в моей бессовестности, директриса тяжело вздохнула и протянула мне книгу. Я поблагодарил и уже примостился к журнальному столику в расчете сочинить что-нибудь изящно-ироническое, но в этот момент, изменив своей буддийской невозмутимости, громко расплакалась желто-зеленая женщина за окошечком. Она кричала, что не в состоянии выполнять материально-ответственную работу в то время, как на нее пишут заведомую клевету. И тогда произошло нечто совершенно непредвиденное — очередь, до сих пор не проявлявшая к желто-зеленой женщине особой симпатии и даже поругивавшая ее за медлительность, вдруг решительно перекинулась на ее сторону. Одни

женщины кинулись утешать оскорбленное божество и умолять его возобновить свою общественно полезную деятельность, другие при поддержке толстяка с бабьим лицом, который почему-то не ушел, набросились на меня с яростью, заставлявшей предполагать нечто более глубокое, чем простое недовольство происшедшей по моей вине задержкой. Я наслушался всякого. Попробуйте составить сложно-соподчиненное предложение, когда над вашей головой хлопают крыльями полдюжины взбесившихся гарпий. Я старался не вникать в их выкрики, но насколько я мог уловить их общий смысл, речь шла о моем барстве, лени, лживости, зазнайстве, бесчувственности, причем говорилось об этих моих качествах так уверенно, как будто все знали меня с детства. Минуту или две я высокомерно отмалчивался, понимая, что для моих гонительниц нет ничего слаще открытой перепалки, и выдержка уже оставляла меня, когда опять-таки совершенно неожиданно подоспела подмога. «Гос-споди, да что ж это такое! — раздался мощный женский голос. Не переходя в крик, он сразу перекрыл сорочье стрекотание. — Да оставьте вы человека в покое, он в своем праве». Я поднял глаза и увидел грузную женщину в темно-синей кофте навыпуск, она стояла, уперев руки в бока, глаза ее сверкали. Несмотря на расплывшееся тело и отсутствие многих зубов, я не решился бы назвать ее старухой, глаза, сверкавшие больше зазором, чем гневом, были совсем молодые, полные губы, растянувшиеся в улыбке, — без единой морщинки. Но самым молодым в этой женщине был голос — сильный, звучный, полный жизни. «А ты, красавица, перестань сопля-то размазывать. — Это относилось уже к женщине за окошком. — Взясась дело делать, так и делай». Восстановив таким образом нормальную работу комбината, она присела к столу, обмахиваясь платком, взглянула на меня и беззвучно засмеялась, причем на щеках у нее образовалось нечто вроде ямочек, лет тридцать—сорок назад они, вероятно, были прелестны. Я тоже улыбнулся.

— Так что? Не надо писать?

— Это дело ваше,— сказала она серьезно. И повторила: — Ваше дело.— Она не осуждала и не одобряла, а, как я понял, просто не видела в том, что я делаю, большого смысла.— Ладно, обождите-ка...— Она постучалась в дверцу, вызвала директрису, пошутукавшись с ней, вернулась и зашептала: — Давайте, быстренько, только без сдачи. Завтра с самого утра придет полотер — она девка хорошая, вы ее уважьте, и она вам все, чего надо, исделает. А вы человек ученый (она сказала «вученый»), вам тут делать нечего, и идите себе, и пишите, чего вам надо...

Я пошел было к выходу, но остановился.

— Надо же дать адрес...

— Дала я адрес, дала. И квиток она вам, не беспокойтесь, сама принесет. Она девка очень хорошая.

Ушел я в некотором недоумении. Откуда эта женщина знает, где я живу и чем занимаюсь?

Хорошая девка действительно явилась и оказалась не только хорошей, но даже хорошенькой. Звали ее Нина. Первым делом она отправилась в ванную и вышла оттуда в черном в обтяжку тренировочном костюме из бумажного трико, похожая на бесенка из какой-нибудь театральной феерии, сходство еще довершалось двумя коротенькими, похожими на рожки косичками. За два часа этот симпатичный эльф вымыл и выскреб мое жилище, протер до алмазного

блеска окно и, наведя чистоту, заплясал по паркету. Потом мы завтракали, и я узнал, что Нина учится в кредитно-финансовом техникуме, влюблена в Марчелло Мастрояни, а любит Андрея, который служит срочную на Курилах, ждать осталось год и восемь месяцев.

С Ниной мы отлично сталкивались без всякого комбината, она приходила ко мне два раза в неделю, убирала и готовила, а я, кроме платы, консультировал ее по математике. Но продолжалось это только до экзаменов, Нина исчезла, и на смену ей, опять-таки на короткое время, появилась безумная Тоська. Безумной я ее называю исключительно по причине ее бурного темперамента, толкавшего ее иногда на самые неожиданные поступки, вообще же Тося была не только умна, но и оригинальна, в отличие от прохладно-рассудительной и чуточку пресноватой Нины Тося все время кипела; любила посмеяться, но могла и всплакнуть, искреннее дружелюбие уживалось в ней с грубостью, обидчивость с юмором. Меня она с первых дней стала величать барином. При этом лукаво посмеивалась. Это была игра и одновременно самозащита, предупреждение, что барственного тона она не потерпит. Отношения у нас сложились самые дружеские, и через неделю я знал все ее нехитрые тайны. Тося была родом с Орловщины, мать ее, знатная доярка, рассчитывала передать свою профессию дочери, но имела неосторожность дать ей законченное среднее образование. Окончив районную десятилетку, Тося поехала на побывку в Москву и не вернулась. Так началась ее полная приключений жизнь рефюжье, в Москве ее не прописывали как не работающую, а на работу не брали как не прописанную. Тося нашла где-то в области старушку, согласившуюся прописать ее — временно, конечно, — на своей площади, за прописку надо было платить. Жить было негде, и она ночевала где попало, а иногда и с кем попало. Некоторые жильницы нашего двора называли ее потаскушкой, и, по-моему, несправедливо; конечно, бродячая жизнь не могла не наложить на Тосю какого-то отпечатка, да и по характеру своему она вряд ли способна была, подобно Нине, хранить верность и строгое целомудрие, я подразумеваю верность физическую, ибо людей вернее и бескорыстнее Тоськи я встречал не так уж много. Возникла она в нашем доме зимой — нанялась сгребать снег во дворе, а затем Фрол Трофеев устроил ее подсобницей в наш продмаг, в просторечии именуемый «шалашом» по имени своего директора Шалашова, близкого друга вышеупомянутого Фрола. В «шалаше» она проработала несколько месяцев и уволилась по собственному настоятельному желанию, хотя Шалашов всячески удерживал ее и даже обещал московскую прописку. Тося все-таки ушла, оставшись разом и без работы и без пристанища, в этот критический момент ее и прибило к моему берегу. Евгения Ильинична, с которой мы в то время были уже знакомы и, встречаясь, здоровались, отрекомендовала мне ее так: «Девка она малость непутевая, но хорошая, очень хорошая» — и на вопрос «брат?» ответила: «Смотрите, дело ваше». У меня не было выхода, у Тоси тоже, и мы поладили. Ладить с ней было не всегда легко, она могла и напиться и удрать к очередному кавалеру, оставив на газовой конфорке выкипевший до дна чайник, иногда она впадала в меланхолию и тогда не то чтоб грубила, но фыркала и огрызалась, обычно же была весела и забавно разговорлива, причем я заметил любопытную особенность: Тося охотно отвечала на любые вопросы, кроме начинающихся со слова «почему». Когда я попытался выяснить у нее, почему она не захотела быть дояркой, Тося сперва от-малчивалась, а затем закричала со слезами в голосе: «Да ну вас,

барин, в самом-то деле... Вы видали хучь раз, как доярки вкалывают? Цельный день по колено в дерьме, в десять вечера напоследок подой, а в три опять подымайся да километр до фермы по грязи, отмыться толком некогда. Незачем тогда было со мной «Мадам Бовари» проходить...» Я посмотрел на крепко сбитую, с деревенским румянцем на лице Тосю и засмеялся, она тоже, и с этого дня за нами окончательно закрепились прозвища: Тося с комической серьезностью докладывала: «Барин, я ванну вымыла, налить?» — а я отвечал: «Мадам Бовари, идите, ваш Родольф и так заждался». Другой раз я спросил Тосю, почему она ушла из магазина. Тося не ответила. Я повторил вопрос. Помолчав, она буркнула: «Воровать неохота». «Разве это обязательно — воровать?» — спросил я. Тося попыталась отмолчаться, но затем не выдержала и фыркнула: «Не знаю, как в других местах, а у нас в шалаше обязательно».

Тося запоем читала книги, но обращалась с ними ужасно, засыпала с раскрытым томиком Есенина под боком и забывала Ремарка на газовой плите. Писала она почти грамотно, но говорила «ложить» вместо «класть» и еще что-то в таком же роде. Я несколько раз мягко поправлял ее, но успеха не имел, когда же, забыв, как Тосе ненавистны всякие «почему», спросил ее, почему она упрямится, эффект был самый неожиданный. Тося вскипела и раскричалась: «Почему, почему! А потому, барин, что мне жить с людьми, которые л о ж а т. Для вас одного переучиваться не стану». Я благоразумно промолчал.

Вообще же у Тоси был прелестный характер и совсем несложные требования к жизни. Она хотела устроиться на производство и выйти замуж. Но ей не везло. Кавалеры были, а жениха все не подворачивалось. Тося была щедра и доверчива, ее грубо обманывали. Наивные попытки «охомутать» очередного обожателя разбивались об ее собственную беспечность, ни хитрить, ни дипломатничать она была неспособна. На производство Тося в конце концов устроилась, но не туда, куда хотела, а на железную дорогу. Я ее не удерживал, и у меня хватило ума не спрашивать ее, почему она предпочитает тяжелую, особенно для женщины, работу по укладке шпал не слишком обременительной службе у такого покладистого барина, как я. Тося не боялась никакой работы, но ей нужна была перспектива, нужна профессия. Профессия домработницы у нас вымирает, а общественный сервис, по существу, еще не народился. «Служить бы рад, прислуживаться тошно» — написано на украшенном небольшими бачками красивом лице продавца из мясного отдела. Он еще согласен выполнять план, но настойчивость, с какой старушка пытается выбрать себе кусок помягче, его оскорбляет. «Я велел отнести свои чемоданы в номер; войдя, они потребовали по рюмке водки; мы приказали разбудить себя не позже девяти» — все эти формулы, почерпнутые из русской классической литературы начала века, нынче уже плюсквамперфектум. Требовать и приказывать может только начальство, потребитель просит. Это было бы, пожалуй, неплохо, если бы просьбы выполнялись. Не хочу сказать, что я не сталкивался с хорошим обслуживанием, но природа его была принципиально другая, чем у вымуштрованных парижских гарсонов и продавщиц, оно было замешано на чувстве симпатии, на старинном духе гостеприимства, меня не обслуживали, а опекали, не угождали, а угощали, со мной были не корректны, а ласковы. Вероятно, это и есть главный путь. Но до сих пор мне чаще встречался другой тип — люди, всей своей повадкой говорившие: мы доверенные лица государства, а вы частное лицо, мы здесь для того, чтоб выполнять

свой долг, а не ваши прихоти, вы здесь не пользуетесь никакой властью, жаловаться на нас бессмысленно, ибо наше начальство гораздо больше заинтересовано в нас, чем в вас, вы ничего не добьетесь, а мы в любой момент можем испортить вам настроение.

Как ни трудно мне приходилось с Тосей, без нее стало совсем скверно. Так называемая простая и здоровая пища в большом городе обходится гораздо дороже гастрономии — в этом я убедился на собственном опыте. Но деньги — это еще куда ни шло, для меня гораздо ценнее время и рабочее настроение. Когда я был фронтовым хирургом и во время моего недолгого генеральства, я успел избаловаться, мне искреннейшим образом казалось, что человеку, занятому общественно полезным трудом, нет ничего проще, чем получить приличный обед и чистую рубашу, я легко уговорил себя, что в нашем послевоенном быту никто не берет ни взяток, ни чаевых, нигде не грубят и не обманывают, я отвык стоять в очередях, ездить в тесноте, часами ожидать приема, ждали обычно меня, и я очень нравился себе за то, что никого не заставлял ждать слишком долго, задерживаясь, просил извинения, был доступен и редко отказывал. Вокруг меня всегда были люди, которым можно было перепоручить всякие мелкие и, как мне казалось, не представляющие никакой трудности дела, если я не занимаюсь ими сам, то только потому, что мое время слишком ценно, чтоб растрачивать его на эти пустяки. Теперь пустяки обрушились на меня как лавина, и я испытал на себе, каким могуществом обладает вздор.

Мое столкновение с бытом прошло через три стадии. Первая — и самая постыдная — я скандалил и кипятился. Из меня еще не выветрился двойной апломб — я скандалил, как хирург во время операции, и кипятился, как генерал, которого не приветствовал курсант.

В нашем продмаге наглядная агитация поставлена еще выше, чем в бюро добрых услуг. В молочном отделе полстены занимает огромный щит. Накладными буквами на растушеванном под мрамор фоне начертано: «Сыр — вкусный и высококалорийный продукт» — сообщение, содержащее столько же полезной информации, сколько утверждение, что лифт создает удобства. По отношению к хорошему сыру оно банально. По отношению к плохому — ложно. Время от времени забота о покупателе принимает особо изощренные формы. Например, проводятся бесплатные консультации «как сервировать праздничный стол». В винно-соковом отделе (там просторнее) ставится накрытый по-банкетному кувертов на двенадцать большой обеденный стол. Стол заставлен всякими деликатесами от холодных закусок до котлет де-воляй по-киевски с бумажным кружевом вокруг косточки. В керамических вазах — живые цветы. Около стола дежурят здоровяк в поварском колпаке и сутуловатая, но изящная пожилая женщина в дымчатых очках — это консультанты. Повар сияет, у женщины на лице страдание, ей стыдно, что к ней никто не обращается, а шуточки завсегдатаев винного отдела ее коробят. Стол стоит два дня, после чего вместе со скатертью-самобранкой и слегка пожухшими яствами исчезает. Все эти ухищрения зеркально отражают стремление товарища Шалашова работать еще лучше, вместо того чтоб работать просто хорошо.

Вежливы только консультанты. Продавщицы и кассирши настроены сурово. Как знать, может быть, на их месте я вел бы себя не лучше. Надо все время считать. Современная мода почему-то требует, чтобы большая часть товаров располагалась не на прилавках, а на полках за спиной продавщицы. Цены отгиснуты на специальных

ярлычках при помощи резинового штампа, чтоб эти бледные сиреневые цифры было еще труднее разглядеть, ярлычок обернут в блестящий целлофан. Не у всех покупателей такое зрение, как у меня, они спрашивают о цене, и это служит неиссякаемым источником взаимного раздражения.

После нескольких визитов в «шалаш» я пришел к убеждению: здесь обсчитывают. Немного, но регулярно. Заметить это и даже уловить во всем этом некую систему мне помогли мои математические способности, я легко произвожу в уме простейшие арифметические действия, стоя в очередях, я развлекался тем, что складывал и умножал. Накопив достаточный статистический материал, я вывел некоторые общие закономерности. Например, я точно установил, что обсчет за редкими исключениями носит сознательный характер и может быть выражен в процентах. Размер этого процента колеблется в зависимости от количества покупок и личности покупателя. Можно было с большой степенью вероятности предсказать, что слегка подвыпивший гражданин в модной курточке, расплачивающийся за коньяк, вермут, шоколад и фрукты, будет обложен максимальной данью, в то время как горбатенькая пенсионерка, покупающая пачку творога и бутылку ряженки, получит всю свою сдачу до копейки. На этой неписаной шкале я занимал промежуточное место и терпел до случая, когда меня обсчитали уж очень бесцеремонно. Я заставил пересчитать, и молодая кассирша, вместо того чтоб повиниться, швырнула мне мои деньги с такой злостью, как будто не она пыталась меня обмануть, а я предательски нарушил какое-то неписаное соглашение. Наученный горьким опытом, я не стал требовать жалобную книгу, а решил зайти к директору и, отталкиваясь от данного частного случая, поговорить о замеченных мной беспорядках.

За большим письменным столом сидел молодой, плотного сложения мужчина и писал. На нем была сверкающая нейлоновая рубашка с ярким галстуком из какого-то жесткого синтетического материала и серебристого оттенка пиджак. Мне показалось, что волосы на склоненной над бумагами директорской голове уложены у парикмахера. Товарищ Шалашов завивался.

Мне приходилось бывать на приеме у министров. Если исключить военное время, когда спешка и усталость приводили к некоторому упрощению этикета, все они выходили из-за стола, чтоб поздороваться, и предлагали сесть. Хотя о моем приходе было доложено, товарищ Шалашов не поднял на меня глаз, и, постояв с минуту, я сел без приглашения, правда не к столу, а на один из стоявших вдоль стены мягких стульев. Таким образом, я получил возможность наблюдать.

Стол товарища Шалашова был, пожалуй, чуть поменьше, чем у Сергея Николаевича, но поражал богатством и разнообразием реквизита. Чернильный прибор в виде орла с распростертыми крыльями висел, вероятно, около пуда, перекидной календарь на мраморной доске был изготовлен из какой-то особой, с разводами, плотной голубоватой бумаги, похожей на денежные знаки. За спиной товарища Шалашова висели дипломы в деревянных рамках и мохнатые вымпелы. Товарищ Шалашов продолжал писать. Я залюбовался им. Все — цвет кожи, блеск волос, каждое движение — свидетельствовало об идеальной работе всего физиологического аппарата. Так прошло минуты две. Я уже начал закипать и, наверно, наговорил бы резкостей, но в это время в кабинет заглянул наш управляющий Фрол Трофеев. И бросился ко мне.

— Знакомься, Шалашов,— сказал он, тряся мою руку.— Это, брат Шалашов, большой человек, профессор, автор трудов. Ты не смотри, что он в гражданском (я был в курточке и в брюках из чертовой кожи), он — генерал, кавалер орденов. Ты его уважь как следует, а он тебе свой труд преподнесет...— При этом он тянул меня за рукав, вероятно для того, чтоб мы с товарищем Шалашовым закрепили наше знакомство, но я заупряился.

Вряд ли данная Фролом аттестация произвела на Шалашова сильное впечатление, но он все-таки поднял на меня глаза. Глаза были блестящие, выпуклые. Шалашов слегка кивнул, кивок мало походил на приветствие, скорее на подтверждение: видел, понял. Он протянул руку к перекидному календарю и вырвал голубой листочек. Задумался над ним и устремил на меня невидящий взгляд.

— Воблу брать будете?

Я не сразу понял вопрос. Уразумев, поспешил разъяснить цель своего прихода. Шалашов слушал не перебивая, поигрывая паркерской ручкой с большим, похожим на ноготь золотым пером. На лице его не отражалось решительно ничего. Оно не было ни сочувственным, ни враждебным.

— Критику вашу учтем,— сказал он наконец. — Вы что — социолог?

— Нет, физиолог.

— Жаль. Мне бы социолога. Пора наши вопросы по-научному ставить... Так не хотите воблы? Ладно, я вам крабов положу.

Я опять повторил, что мне ничего не нужно. Шалашов не слушал, он писал. Затем позвонил. Явившейся на звонок пышной блондинке он передал голубой листочек.

— Делай, Ларисушка. На высшем уровне, в коробочку.

Я ушел взбешенный. Коробочка все-таки меня настигла. Ее принес Фрол. Он заплатил свои деньги, и мне было некуда податься. В коробочке были аккуратно уложены завернутые в пергаментную бумагу икра и севрюга, банки с крабами и растворимым кофе, с десяток апельсинов — все то, чего не было на прилавках. И я понял, что Шалашова мне не сломить.

Перечитывая сегодня эти прошлогодние записи, я задаю себе вопрос: не слишком ли много внимания к тому, что в нашей литературной критике принято называть «задворками жизни»? Откровенно говоря, этот термин никогда не казался мне удачным. Я физиолог и привык считать, что в любом организме все соподчинено и нет никаких задворков. Моя попытка залезть в башню из слоновой кости разбилась именно о быт. И я нисколько не жалею, что полгода назад потратил ночные часы на эти беглые и как будто не имеющие осознанной цели зарисовки. Сегодня я отчетливо различаю их связь с тем, что отбиралось и накапливалось моим сознанием все последнее время. Нельзя постигнуть все причины старения, не изучая быта. Слово это чисто человеческое, применительно к животным мы говорим «условия обитания». Увлеченные производственными проблемами, мы только-только подходим к изучению быта. Не следует понимать под этим словом исключительно сферу потребления. Самая высокая любовь неотделима от быта и нередко о него разбивается.

За несколько месяцев мое отношение к быту претерпело сложную эволюцию. Теперь я понимаю, что в моем поведении и впрямь было нечто барское. Барственным было не мое недовольство — впол-

не обоснованное, — а мое удивление. Несколько лет привилегированного положения полностью вышибли у меня из памяти ядовитые трудности быта. Вернувшись от Шалашова, я дал себе клятву не кипятиться по пустякам. Мое время стоит дороже, от состояния моей нервной системы зависит моя работоспособность, а потому я буду всячески откупаться от любых помех. Смешно беситься, когда наш телефон-автомат попусту заглатывает монету, надо иметь запасную и пройти двести метров до соседней будки; нелепо добиваться обмена бракованной книги или скандалить в приемном пункте прачечной по поводу вдребезги разбитых или расплавленных пуговиц на твоей лучшей выходной рубашке, если можешь купить другую книгу и другую рубашку.

Потребовалось некоторое время, чтоб я понял: моя новая позиция ничем не лучше старой и также построена на ощущении своей исключительности. Откупаясь от жизненных неурядиц, я совсем забывал, что этой возможностью обладают далеко не все. Несомненно, существует какой-то третий и более достойный ученого подход к возникшим передо мной проблемам. Первое условие — не рассматривать их как свои, узколичные, а присмотреться к быту и судьбам других людей. И я надеюсь, что мой гипотетический читатель не посетует на меня, если я возьму на себя смелость несколько подробнее познакомить его с Евгенией Ильиничной, избавившей меня от бытовых хлопот и одновременно открывшей всем ветрам мою и без того непрочную башню.

ХIII. Евгения Ильинична

Для всего дома она Евгеша или тетя Евгеша. Кажется, я один зову ее Евгенией Ильиничной, и ей это нравится.

Как могло случиться, что до нашей встречи в бюро добрых услуг мы не были знакомы? Причин тут несколько. Лифтерши в нашем доме обслуживают два-три подъезда. Они поддерживают чистоту на лестницах, а в случае остановки лифта вызывают монтера. Все они неизменно зимой и летом ходят в темно-синих сатиновых халатах, и в своем стремлении быть как можно более незаметным я их плохо различал. Скрытность моя имела серьезные основания: примерно половину населения нашего дома составляют пожилые люди, а на дворе проходу нет от собак и кошек. Признаться в том, что я врач, да еще геронтолог, значило стать объектом дружелюбного, но утомительного интереса. С другой стороны, узнай кто-нибудь, что я у себя на работе ставлю опыты на животных, и мне была бы обеспечена дружная ненависть всех собако- и кошководельцев. В представленной мной домоуправлению справке о моей профессии говорилось нарочито глухо — научный сотрудник. Со мной был только Мамаду, и я мог быть уверен, что уж он-то меня не выдаст.

Но даже независимо от этих соображений я не стремился к новым знакомствам, и меньше всего меня привлекали старики. Интерес к проблеме — одно, быт — другое, проблема меня привлекала, к старикам же у меня было отношение примерно такое, как у амбулаторного врача к больным, чем внимательнее он к ним во время приема, тем меньше ему хочется видеть их, когда он снял халат и вымыл руки. Я всегда легче сходил с людьми моложе меня, и, как мне кажется, они тоже тянулись ко мне. Не то чтоб я не сочувствовал старым людям, без этого нельзя заниматься возрастной физиологией, но сочувствие мое было окрашено снисходительностью, а иногда

и раздражением. Если вдуматься, во мне говорил эгоизм среднего поколения, мало чем отличающийся от эгоизма молодости. Среднее поколение заметно выиграло от прогресса наших естественно-научных знаний, старики же крупно проиграли. Правда, они стали долговечнее, но что толку — влияние их упало. В прежнее время стариков уважали как носителей опыта. Считалось, что чем дольше человек живет, тем больше знает. Нынче объем информации настолько возрос, что ни одна голова не может вместить всех необходимых сведений, ученый сегодня не тот, кто много помнит, а тот, кто ищет и находит. Наука заметно помолодела, теперь раньше начинают и раньше выходят в тираж, большая часть открытий делается молодыми людьми. Позиции людей среднего возраста также укрепились; мы, во всяком случае те из нас, кто живет в нормальных условиях, научились дольше сохранять молодость. Перечитывая классиков мировой литературы, нетрудно заметить, как изменились возрастные критерии. Сегодня никому не придет в голову назвать Бету женщиной бальзаковского возраста. И вряд ли кто-нибудь из наших юных аспирантов, привычно говорящих сверстнику «старик, нет ли у тебя закурить?», решился бы даже за глаза назвать стариком Успенского.

Печальна судьба ученого, пережившего себя. Среди наших мэтров, доживших до преклонного возраста, лишь немногие не потеряли притягательности для молодежи и сохранили привязанность учеников. В этом сказывается неосознанный эгоизм молодости, постаревший учитель почти ничего не может дать, он сам требует внимания. Общение с ним скорее долг, чем потребность. Старый человек живет теми привязанностями, которые сложились в молодые годы, новые дружбы уже не завязываются, никто не хочет вкладывать душевный капитал в руины. Физическое разрушение еще полбеда — ослабление умственной деятельности и склеротические изменения характера зачастую обгоняют общее увядание организма.

Ум стариков — мудрость. Мудрость — качество, не тождественное интеллекту, оно рождается где-то на стыке интеллекта, опыта и нравственного чувства. Старость — серьезное испытание для личности, возраст чеканит на лицах стариков те основные свойства натуры, которые так умело скрывает молодость. Мужество и трусость, жадность и бескорыстие, доброта и злоба, широта и мелочность отпечатываются в их чертах с почти безошибочной для внимательного глаза точностью. Старость редко красит, однако замечено, что некрасивые, но внутренне значительные люди к старости хорошеют, а пустота и хищность профессиональных красавцев и красавиц обнажаются с возрастом в формах почти карикатурных.

Стариков, населяющих наш дом и двор, я долгое время избегал. Мне они были неинтересны. Мне казалось, что я достаточно знаю о старении из книг и капитальных исследований, а вся эта дворовая эмпирика мне ни к чему. Свое инкогнито я соблюдал неуклонно, и даже Фрол Трофеев, почитавший меня как генерал-майора запаса, вряд ли догадывался, что генерал-то я медицинский. Знала только тетя Евгеша. Знала, но до поры помалкивала.

После первого знакомства у нас установились дружелюбные отношения, время от времени она оказывала мне мелкие услуги, но порога моей квартиры не переступала. Дважды я обращался к ней за советом, и оба раза вместо того, чтоб предложить свою помощь, она находила мне «хороших девок», действительно славных и хорошо ко мне относившихся, но одержимых мыслью поскорее от меня отделаться и заняться настоящим делом — мыслью, которой я не мог

не сочувствовать. Поэтому я был порядком изумлен, когда она вдруг среди ночи подняла меня с постели. В то время я еще не страдал бессонницей, и ей пришлось долго звонить и стучать, прежде чем до меня дошло, что в мою башню кто-то ломится. Накинув на себя пижамную куртку, я приоткрыл дверь и увидел в щель Евгению Ильиничну.

— Идите скорей,— шепнула она.— У Мясникова приступ.

Я отстегнул цепочку, впустил тетю Евгешу в переднюю и побежал надевать брюки. Идти мне совсем не хотелось, и меньше всего к Мясникову. Мясников был единственный жилец в нашем подъезде, о котором я что-то знал. Не знать было невозможно, когда супруги Мясниковы ссорились, об этом знали по меньшей мере три этажа. Они жили подо мной, и во время их ссор до меня доносились не только голоса, но и грохот мебели. Конечно, я мог сказать, что давно не практикую и разумнее всего вызвать «неотложку», но по решительному виду моей ночной гостьи понял: не поверит, а раз не поверит, то на нашей зарождающейся дружбе можно поставить жирный крест. Предстояло сделать выбор, и, натягивая носки, я его уже сделал. У меня сохранился с военных времен трофейный несессер, я прихватил его с собой, и мы спустились.

Квартира Мясниковых оказалась не заперта, мы вошли в маленькую переднюю, застекленная дверь в жилую комнату была расположена прямо против входной, и хотя в комнате было полутемно, я сразу углядел чудовищный беспорядок. Это была не нищета, а разруха. Мебель дорогая, но обшарпанная, шелковый абажур на торшере обгорел до дыр, на проволочный каркас наброшен рваный халат. Мы вошли. Больной лежал на продавленном матрасе, кое-как застеленном несвежим бельем. Его красивое лицо было искажено гримасой — то ли страдания, то ли ненависти. Меня он, конечно, узнал, но не подал виду, а когда я взял его за руку, чтоб прощупать пульс, сердито дернулся всем телом.

Пульс был неровный и частил. Тахикардия чаще всего не болезнь, а симптом, чтоб разобраться в состоянии больного, его надо расспросить, но Мясников не отвечал, а на повторный вопрос он сквозь зубы, но отчетливо выговаривая матерные слова, предложил мне оставить его в покое.

— Вот и дурак,— вздохнула Евгеша.— Человеку добра хотят, а он ломается.

Неслышно вошла жена Мясникова, худая, с неестественно расширенными глазами и, несмотря на поздний час, с намазанными губами и ресницами. Она сразу начала что-то объяснять, чем вызвала у больного новый приступ бешенства.

— Замолчи,— прохрипел он, зажмурил глаза и выставив дергающийся кадык.— Убийца!

Евгеша отмахнулась.

— Не слушайте,— сказала она мне шепотом.— Здесь слова дешево стоят. Что на ум придет, то и лепят. Давай руку, кавалер! — прикрикнула она на Мясникова.— Некогда нам тут с тобой...

Я смерил давление и, чтоб поддержать сердце, ввел кубик камфары. Женщине я оставил таблетку снотворного и велел дать больному, но не сразу, а минут через пятнадцать.

— Ой нет! — вскрикнула она, отстраняя мою руку. Глаза ее еще расширились.— Он скажет, что я его травлю...

Мне не хотелось сразу колоть димедрол, и мы просидели несколько лишних минут. За эти минуты не было сказано ни единого

слова. Жестко тикал будильник, пахло кислятиной. Вкус и запах этой тишины надо было чем-то перебить, и, когда мы вышли на лестничную площадку, я предложил Евгении Ильиничне подняться ко мне и выпить чаю.

Мамаду не спал и нервничал. Я выпустил его из клетки, он сразу сел на плечо и почесал клювом у меня за ухом. Затем, полетав, опустился на голову Евгёши, походил по ее могучим плечам, она стояла недвижно, как изваяние, и только поводила глазами. Мы с Мамаду сразу же продемонстрировали все свои таланты и привели тетю Евгёшу в восторг. «Ой, птуха! — повторяла она, сияя. — Iiy и птуха!..» Замечу в скобках: африканского имени Мамаду тетя Евгёша так и не приняла, с этого вечера он стал Птухой. На кухню мы отправились втроем, пока грелась вода, тетя Евгёша произвела ревизию моему скудному кухонному инвентарю, и я понял: испытательный срок кончился и теперь тетя Евгёша не оставит меня.

За чаем — Евгёша пила по-старинному, вприкуску — я спросил, почему так плохо живут Мясниковы, пьет он, что ли? Она отмахнулась:

— Пьет не больше людей. Это гордость в нем играет.

Я удивился. Гордость? Почему гордость?

— Высоко о себе понимает. А кишка тонка. — Тетя Евгёша взглянула на меня и, лишь убедившись в неподдельности моего интереса, разъяснила: — Он инженер вроде. И инженер-то не настоящий — без образования. Работал, однако. Зарплата ему шла. Славы большой не имел, но люди уважали. А потом чего-то он изобрел. Чего изобрел? Не скажу вам, не знаю. Думается мне, не изобрел даже, а как бы это вам получше сказать... Дал предложение. Не больно горячее, а выдать, все-таки толковое: вы, мол, так, а по-моему выходит дешевле. Отвалили ему за это деньжонок, в газете пропечатали. И пропал человек. На лешего, думает, я буду вкалывать, как вся прочая шатия, у меня и без того котелок варит. Лучше я опять чем-нибудь людей удивлю. Дает еще предложение — отказ. Еще! Ему опять отказ. Он жаловаться. Ему поворот. Он — в морду. Его — судить. На суде он себя таким шутком показал, что его заместо каталажки в больничку. Там вожжаться долго не стали, а выдали справку. Дескать, не больной и не здоровый, душевный инвалид второй группы, хочет — работает, хочет — нет. С той поры с ним никакого сладу, работать вовсе браки, только предложения дает. И буйствует. Все-то у него дураки, все воры. У нас ведь знаете как: тихий человек поскандалит, его сразу заберут, а этому все с рук сходит. Жена его — вон вы ее видели — была раньше справная баба и за хорошим человеком жила, он ее от живого мужа увел, а развести не успел, муж помер, так ей и пенсия за мужа идет и обстановка вся отошла... С тех пор она его и кормит. Сперва-то с радостью, любила, а может, и надеялась на что, обещать-то он мастер. А потом вера кончилась. Батрачит на него по-прежнему, а веры нет, он врёт, она глаза прячет. А у него — гордость. Он и раньше-то был не мед, а тут совсем осатанел. Как так нет веры? Мало меня бюрократ топчет, так от родной жены мне нет уважения? Выходит, я при ей приживал, нахлебник? И пошло у них все колесом. Напьется и кричит: ты мне враг, ты меня таланта решила... Она молчала-молчала и тоже заговорила: ты меня высушил, я за прежним мужем горя не знала, он хоть и пожилой был, а настоящий муж, до меня ласковый, а от тебя, окромя похвальбы, никакой радости... Стал он ее поколачивать, а она тоже баба с норовом, иной раз так ему рожу разукрасит, хоть на улицу не показывайся.

И вот с той поры они друг дружку и убивают. Я ей сколько раз говорила: уйди ты от греха, может, он без тебя скорей образумится. А у ее своя гордость — как это она отступится? Кому же она тогда все свои обиды выговорит? Сцепились намертво, кипятком не разольешь. Того и гляди который-нибудь... — Она не договорила и нахмурилась.

— При чем же тут гордость? — спросил я. Вопрос был провокационный. Я понимал при чем. Но мне хотелось ее подзадорить, и это удалось. Евгеша даже руками всплеснула.

— Как же ни при чем? Я женщина неученая, дальше своего забора не вижу. А все ж таки живу давно, людей насмотрелась разных. И вот сколько мне не толкуют, будто для человека главней всего выгода, а я вам скажу — гордость. Возьмите вы самого пустого человечешку и гляньте — о чем он хлопочет? Кабы он о выгоде хлопотал, может, от него и толку-то было больше. Ему главное — быть не хуже людей. Хороший человек мыслит, как бы себя возвысить, плохой — как другого унижить, а корень один. Чего только люди ради чести не делают!

— И зло ради чести?

— А как же? Злые — они даже чересчур гордые. Я вам факт скажу. Наше село, откуда мы родом, поселок считается, скоро городом назовут, а все едино — большая деревня. На одном конце улицы чихнешь — на другом откликаются: будь здорова! Живут не как в Москве — вся жизнь на виду. В кои веки человека убьют или кто сам на себя руки наложит — весь поселок жу-жу-жу, покуда до всего не дознаются. И что же вы думаете? Случая того не было, чтоб из-за денег или какого имущества... Пьянство, ревность, озорство. А пуще всего обида. Нет, вру, — поправились она, — был случай. У Гены Козлова родной брат дом оттяпал. Домишко совсем гнилой, но наследственный, после отца. Так этот Генка — ох и блажной мужик! — из дробовика в него пальнул. Окривел брат. Так он и на суде показывал: «Мне этот дом — тьфу, попроси меня, я б свою долю даром отдал, обидно, что родной брат на такую подлость решился. Убыток я прощу, а обиду никогда». Вот ведь какие люди, Олег Антонович... Вы на фронте были?

— Был, — сказал я, чуточку удивленный.

— Значит, под немцем не были. И вот — хотите обижайтесь, хотите нет — нам страшнее было, чем вам. Солдат всегда при оружии, он себя в обиду не даст. А что я, баба с детьми, против коменданта сделаю? И опять скажу: немец хоть и хитер, а в наших местах растерялся. Большую промашку допустил. — Евгеша посмотрела на меня испытующе, заметь она на моем лице хоть тень иронии к ее непроswещенному мнению, она без всякой обиды перевела бы разговор на другое, но мне в самом деле было интересно. — Гордость людскую задел, вот какую. Грабил, сапогом топтал — до поры молчали, а как велел этот сапог языком лизать — подались в партизаны.

— Вы и у партизан были? — спросил я, чувствуя, что назревает исповедь.

— Была маленько. На медаль не напартизанила, а так, помогала кой-чего, людей кормила...

— А муж ваш где был?

— А муж мой был староста. От немцев поставленный. Шкура то есть.

Она посмотрела на меня выжидательно, хотела понять, как я

приму такой неожиданный поворот, но у меня хватило выдержки и лицо мое, надо думать, ничего не выразило. Евгеша осталась довольна.

— Моего старика люди знали, — сказала она с силой. — Уважали за характер. За мастерство. Таких печников нынче мало осталось. Печка свой век отжила, теперь больше водой греются. Вы не думайте, что я за старину, — с газом бабе легче. Мужик думает, это пустое дело — из печи ухватом горшки метать, а того не видит, как баба себе чрево надрывает. Я к тому, что водяное вам любой мальчишка поставит, а печку выложить, чтоб она не дымила и тепло держала, это нужна сноровка. Не хочу покойника зря хвалить, печник он печник и есть, образование четыре класса, но человек был хороший, за то и уважали.

Она помолчала.

— А у нас комендант был — ух, дошлий! Такой невидный из себя, без очков дальше носу не видел, а людей — скрозь. И по-русски мог говорить, не так хорошо, ну для его дел хватало. Почему он моего Ивана в старосты облюбовал? Кто ж его знает? Думается мне, не хотел с шушерой связываться, хотел такого, чтоб люди верили. Пусть только согласие даст, а дальше я его обработаю. Рассчитал хорошо, только чересчур на себя понадеялся...

Дал Иван согласие. Недели не прошло, заявляется к нам Конон Лотохин. Ночью, тайком. Он родня нам, дальняя, а все-таки родня, хороший мальчишка был, я и не знала, что он в партизанах, он перед войной как уехал в Гомель в лесотехнический, так я его больше не видала. А тут явился — поширел, бородой оброс, голос такой басовитый стал. «Что, дядя Иван, говорят, ты немецкой шкурой заделался?» Нехорошо так сказал, задорно. Иван молчит. «Что молчишь-то?» — «Раз говорят, значит, верно. Ты-то чего пришел?» — «А вот пришел узнать, крепко ли к тебе шкура приросла». — «А ты спусти шкуру-то, загляни по-родственному...» — «Спускать погодим, еще грехов неросло, а спросить долг велит». — «А ты сам подумай». — «О чем мне думать?» — «А вот — зачем пришел. Ежели стрелять, то весь твой разговор лишний, а ежели в гости, так садись, я стоя только в народном суде разговариваю». — «Вот и считай, что ты в народном суде»... Так они чуток поцапались, а потом сели за стол, раздавили поллитровку, у меня еще довоенная запасена была, я им сала нарезала, Конон подзаправился, и стали они между собой говорить, о чем, не знаю, я в сени выходила...

И с той ночи стал Иван жить по заданию. Какие задания ему давали, он мне никогда не говорил. Не то чтоб не доверял, а — берег. Начнут трясти — так не знать-то оно лучше. Что надо было для дела — знала, а сверх того никогда не спрашивала, да Иван и не сказал бы. Он вообще с того времени молчалив стал, только по ночам стонет и зубами скрипит. Ну да я ведь и без слов понимала. Те, кто на фронте были, опять скажу, против него счастливые люди. Это понять надо: два уха и у каждого по пистолету, а голова — одна. Комендант жмет, грозит, подозревает, да и от своих большой ласки нет, чуть что — сразу: «Ты что, дядя Иван, вовсе немецким духом пропитался? Смотри...» А всего непереноснее — людской суд. Вслух, конечное дело, никто слова не скажет, так ведь у людей глаза есть. Иной молчит, а глазами так и жжет: шкура! А другой и опустит, а сам думает: господи, мы ж его уважали, мы ему доверяли, неужто на этом свете никому верить нельзя? Соседки мои, подружки дорогие, от меня отвалились, а всякая шваль ластится — старостиха все-

таки, при случае замолвит словечко. И мне тошно было, да разве можно равнять. Иван за полгода на десять годов постарел. Мучился-мучился — и не стерпел.

«Не стерпел» она скорее выдохнула, чем произнесла. Ей потребовались секунды, чтоб овладеть собой. Она улыбнулась мне.

— Чего не стерпел? — спросил я. Больше для того, чтоб напомнить, на чем оборвался рассказ.

— А вот этих самых глаз. Рисковать стал до полной отчаянности. И все ему с рук сходило. А вот открылся одному гаду — и сгорел. Тот его нарочно распялял: шкура да шкура, фамилию нашу порочишь...

— Почему фамилию?

— Тоже родня нам. Пустой мужик совсем. Ивану бы задуматься, с чего тот такой смелый стал — все кругом молчат, а этот безо всякой опаски так в глаза и режет. Ну да что говорить — сердцу не прикажешь. Тут его и взяли вскорости, а через три дня повесили. Мне бы тоже несдобровать, но Иван, видно, уже чуял недоброе, отправил загодя к старшей дочери в Веселое. И вот ругала я вам Кона, а все-таки надо к чести ему приписать — как узнал, что Ивана взяли, пришел за мной в Веселое и увел к себе в отряд. Три месяца я в отряде была у ребят за повара, а потом они меня переправили в город Брянск, жила я там по чужим бумагам. А как погнали немцев из наших мест — домой пришла. Боялась, конечно, идти. Как люди примут? Однако приняли — хорошо. Повели на Иванову могилу — цветочки лежат. И тут я первый раз заплакала. Плачу и думаю: зачем я жива осталась? Жена при муже должна быть до последнего вздоха в горе и в радости, а я что же?.. Дочки меня стыдят, бросьте, мама, говорят, разве отцу легче было, кабы он знал, что вас тут рядом с ним мучают? Забудьте про то думать... Да разве забудешь?

Она быстро вытерла глаза, одним духом допила свою чашку и встала.

— Давайте, я посуду вам помою. — И по тому, как по-хозяйски она наводила порядок в кухне (Мамаду сидел у нее на плече), я понял, что мое давнее желание наконец сбывается и тетя Евгеша возьмет мое хозяйство в свои крепкие руки.

На следующий день мы окончательно договорились. Решено было, что Евгения Ильинична получит ключ от моей башни и будет приходить, когда сможет. Денег она запросила так мало, что я, готовый на любые условия, сразу предложил ей больше. Она усмехнулась:

— Боятесь, сманят? Не торопитесь, может, я вам еще не поймаю.

С этого дня у меня началась райская жизнь. Я ухожен, как любимое дитя, мои рубашки выстираны, брюки отглажены, в доме чистота — и все это ловко, бесшумно, с улыбкой. Не могу сказать, чтоб в характере тети Евгешы не было трудных черточек, она самолюбива и не терпит вмешательства в свои действия. Она не спорит, но замыкается и говорит «ваше дело»... Обедать вместе со мной она не любит, но по вечерам мы не торопясь, со вкусом чаевничаем. Я выпускаю Мамаду из клетки, полетав, он садится кому-нибудь из нас на плечо. Разговаривать с тетей Евгешей не только приятно, но и поучительно, скажу без всякого преувеличения, что беседы с ней оказали и продолжают оказывать заметное влияние на мои представления об окружающем мире и даже в какой-то мере на направление моих поисков.

В нашем доме Евгешу знают все, и она знает всех. Лифтерши вообще многое знают, но Евгении Ильиничне не было никакой нужды высматривать и выпытывать, люди шли к ней сами. Чаще с горестями, реже с радостями и всегда — с сомнениями. В обязанности наших лифтерш не входит сопровождать кабину, в часы своего дежурства тетя Евгеша обычно сидит в кресле и вяжет. Кресло — старое, продавленное — расположено в глубокой нише, граничащей с решеткой шахты, рядом с креслом стоит низенькая скамеечка, я уже плохо помню, как выглядят скамеечки, на которые во время исповеди становятся коленями верующие католики, но назначение ее примерно такое же, и она редко пустует. Тайна исповеди гарантирована, и поэтому для тети Евгешы не существует тайн. Сюда забегают пошептаться насчет своих сердечных дел девочки из «шалаша», здесь жалуются на своих пьющих мужей умученные бытом матроны, каются в своих прегрешениях мелкие нарушители общественной морали, и Евгения Ильинична выслушивает всех не перебивая, советы дает осторожно, только когда ее об этом просят, и никогда никого не осуждает бесповоротно. Даже свою неблагодарную невестку. На невестку она обижалась иногда до слез, а успокоившись, жалела и даже смеялась: «Дура, неумеха, все-то ей плохо, никогда-то она не довольна. Чуть что — шлет Витьку, младшенького, с квитком от моей сберегательной: бабушка, подпиши. Я сама не могу эти квитки заполнять, а чужих просить совестно, попросила раз ее, она с той поры и насобачилась писать, все номера на память выучила. Что вы скажете? Мне эти деньги тьфу! — для кого их беречь, как не для родных, так дай свекрови порадоваться, самой внуков наградить — куда! Сама за дых берет и ребятишек тому же учит: бабуня, а что ты нам подоришь? Подоришь! И слова-то толком выговорить не умеют и спасибо-то тебе не скажут. Пока просят, ласковы, а получили — и хвост трубой. И Федька мой такой же стал. Гордости никакой нет у людей...»

О смущавших меня бытовых неустройствах тетя Евгеша судит с мудрым спокойствием, она совершенно точно знает, почему Алка из колбасного отдела (девка хорошая, о-очень хорошая...), у которой я покупаю ветчину, подсовывает мне много жира и обрезков, почему Гарик из радиомастерской (ой умный малый, ой голова...) упорно не слышит стуков в моторе моего проигрывателя и услышит их, только когда истечет гарантийный срок. Суровости и нетерпимости старика Антоневица в ней нет нисколько, и на первых порах мягкость ее нравственных приговоров казалась мне чуть ли не беспринципной. От этого поспешного вывода меня удержало одно решающее наблюдение — зная все, что можно знать о так называемой изнанке жизни, Евгеша никогда не извлекала из этого знания ни малейшей пользы и никогда не простила бы себе то, что легко простила другим. Это была мудрая терпимость, и меня не очень пугает, что наряду с ней существует мудрая нетерпимость старика Антоневица. Вероятно, мудрость имеет и мужское и женское начало. Мудрость Евгении Ильиничны я вижу прежде всего в безошибочном умении видеть реальную меру ответственности человека за свой поступок, интуитивно находить равнодействующую между свободной волей и гнетом обстоятельств. Ей ничего не известно о давнем споре между сторонниками волюнтаристических теорий и теми, кто утверждает абсолютную детерминированность наших поступков, слова эти для нее пустой звук, но каким-то необъяснимым чутьем она улавливает ту грань, до которой человек, подчиняясь обстоятельствам, не перестает

быть человеком. Подавляющее большинство людей были, с ее точки зрения, «хорошими» или даже «о-очень хорошими», если же она говорила о ком-то «пустой малый», это был суровый приговор. Ее критерии не всегда совпадали с общепринятыми, она многое извиняла вороватым девчонкам из «шалаша» и глубоко презирала самого Шалашова с его дипломами и вымпелами. Она была снисходительна ко многим человеческим слабостям, пока они были слабостями, и ненавидела те же качества, когда они заявляли себя как сила.

Об одной трудной черте в характере Евгении Ильиничны я уже сказал. Вторая оказалась потруднее. Тетя Евгеша твердо усвоила, что я доктор, а по ее понятиям доктор должен лечить. Будь я доктором философии, и это бы мне не помогло, Евгеша была тверда как железо. При рядовых заболеваниях она меня не беспокоила, но в экстренных случаях я не смел ей отказать.

Медицинское обслуживание нашего дома поделено между двумя районными врачами — Софьей Михайловной и Раисой Павловной. И та и другая — женщины примерно одного возраста и стажа и даже чем-то похожи друг на друга. Существенная разница между ними только одна: Софья Михайловна — врач хороший, а Раиса Павловна — врач плохой. В нашей служебной номенклатуре такое деление не предусмотрено, главный врач отличается от рядового целым рядом ясных признаков, разница между хорошим и плохим не столь бесспорна, и не исключено, что записи в истории болезни, сделанные Раисой Павловной, начальство ценит выше, у нее и почерк лучше, и пишет она куда обстоятельнее. Больные вызывают у Раисы Павловны только одну эмоцию — боязнь, что за них придется отвечать. Вечная боязнь делает ее подозрительной, одних больных она подозревает в симуляции, с ними она груба и невнимательна, других в том, что они скрывают болезнь и непременно хотят умереть, чтоб подвести ее под неприятности, их она запугивает до полусмерти, настаивает на срочной госпитализации или гоняет в онкологический диспансер. Софью Михайловну тетя Евгеша уважает, а Раису Павловну еле терпит. Когда в нашем подъезде кто-то серьезно заболевает, Евгения Ильинична приходит в возбуждение. Она прекрасно знает, что, обращаясь ко мне с просьбой посмотреть кого-нибудь из ее подопечных, она мешает моим занятиям, но жажда помочь людям пересиливает. Об ее намерениях я догадываюсь раньше, чем она произносит первое слово, по смущенному и одновременно упрямому выражению ее лица, по тому, как она без видимого предлога топчется в дверях моей комнаты, и, чтоб не длить ее мучения, я грубо спрашиваю: «К кому?» — и лезу в шкаф за своим выдавшим виды несессером.

Существует только одно неуклонно соблюдаемое условие — дома я никого не принимаю. Единственным человеком с нашего двора, переступившим порог моей башни, был старый Нойман. Заболевание старого Ноймана не имеет никакого отношения к моей профессии хирурга, но самое прямое к возрастной физиологии — это старческий маразм. Поставить этот диагноз я сумел бы и на расстоянии, летом его пронзительный тенор доносится даже до моего этажа, а выглянув в кухонное окошко, я сразу натываюсь глазами на его длинную фигуру в похожем на сутану синем габардиновом плаще. Размахивая руками, он комментирует все подряд: газетные сообщения, шахматные партии, уличные происшествия; он пророчествует, вещает, советует, спорит, хохочет, пенсионеров он подавляет своей эрудицией, лишь немногие отваживаются ему возражать.

Это было зимой. Нойман позвонил в мою дверь в воскресенье около двух часов дня — время для большинства людей нерабочее. Я только что вернулся с лыжной пробежки и до обеда собирался поработать. Чертыхаясь, пошел отпирать и впервые увидел Ноймана вблизи. Он был без шапки, сквозь редкие седые волосы просвечивала розовая кожа. Один глаз затянут катарактой, но другой сверкал молочным блеском, такой блеск я замечал у эстрадных гипнотизеров.

— Лев Лазаревич Нойман, — представился он. — Сосед и почитатель. Давно мечтаю познакомиться.

Держать полуслепого старика перед дверью я не решился. Войдя, он поймал мою руку и восторженно потряс ее обеими руками.

— Здравствуйте, — сказал он. — Здравствуйте, дорогой. Дорогой и многоуважаемый Олег Антонович.

Он посмотрел на меня весело, задорно, ему казалось, что он меня заинтриговал. Я действительно был озадачен и уже в мыслях грешил на Евгению Ильиничну. Это было нарушением договора, и я угрюмо молчал. Если б гость правильно расценил мое молчание, он постарался бы сократить свой визит до минимума. Но сигналы из внешнего мира доходили до него ослабленными. Он слышал только себя.

— Мой старший сын Ефим, кандидат технических наук, прочитал вашу книгу, что-то там о надежности, я не ошибаюсь? И прибежал ко мне в полном восторге. А я говорю: «Как инициалы твоего профессора — О. А.?» «Да, говорит, О. А.».— «Так вот, говорю я, если хочешь знать, этот профессор ни больше ни меньше как живет в нашем подъезде на восьмом этаже. И если я очень захочу, то познакомлюсь с ним и, может быть, даже познакомлю тебя». Имею я право, как говорят французы, сделать знакомство с человеком, которого я уважаю? В конце концов, я тоже ученый. Нет, даже не кандидат! Быть может, я скажу нескромно, но в своем деле я доктор. В каком деле? Если вы спросите Фрола, он вам скажет, что я бухгалтер. Он прав, администрация всегда права. А я добавлю к этому только одно словечко. Через дефис. Эксперт. Скажите мне: зачем существует эксперт? Чтоб вы могли спросить у него то, чего вы не знаете. Нужно для этого быть специалистом или нет? Наше дело — очень каверзное дело, один жулик может так запутать следы, что пять докторов экономических наук ничего не разберут. Тогда прихожу я и ставлю свой диагноз. Как доктор. Вы не обидитесь? Немного точнее. Было время, когда без меня не обходилась ни одна крупная ревизия, я выезжал с правительственными комиссиями в Барнаул, Тбилиси, Алма-Ату. Теперь меня больше никуда не зовут. Я не глухой, но у меня плохая аудиограмма. Одни советуют операцию, другие говорят: это ничего не даст, надо лечить консервативно. Та же история с глазами. Кто говорит, катаракта еще не созрела, кто, что она перезрела, — у меня голова пухнет от всего, что я слышу. Если б в суде все эксперты говорили разное — на что бы это было похоже? Мне нужен настоящий эксперт. Не узкий специалист, а ученый, способный понять организм в целом...

Я продолжаю угрюмо молчать, и мой посетитель наконец это заметил.

— Тысячу извинений. Вы, вероятно, думаете: вот пришел человек и хочет получить бесплатный совет. Если б вы меня знали, вы бы этого не подумали. В тот день, когда я решусь обратиться к вам за экспертизой, к вам придет кто-нибудь из моих детей и будет просить назначить время для визита или консилиума. Но сегодня я пришел к вам с единственной целью — пригласить вас отобедать. Запросто,

в кругу семьи. Я одинокий старик, со мной живет только младшая дочь, незамужняя, не повезло девочке, но каждое воскресенье у меня за обедом собираются все мои дети. Это наша семейная традиция, и мы все ею очень дорожим. Не думайте, что мы собираемся просто так, чтоб набить животы. Мы — разговариваем. О науке. Ефим — кандидат. Об искусстве. Инна — редактор. От них я узнаю все новости и сам могу ввернуть слово. Мы много шутим, смеемся, все стараются поддеть друг друга. И меня тоже. Ефим говорит: «Папа у нас знает все. Но не точно». Остроумно, правда? Приходите к четверем, вы не пожалеете.

— Благодарю вас. Но я занят. Я работаю.

— Кто же работает в выходной день? Поверьте мне, это нездорово. Ну хорошо, вы работаете. Но вы же обедаете, надеюсь? Так что случится, если раз в жизни вы пообедаете этажом ниже? Вы любите гусиную шейку? Моя дочь делает гусиную шейку как никто.

— Я не ем гусиную шейку. И вам не советую.

— А что? — В глазах у Ноймана испуг. — Я в норме. Ах, вы насчет этих блюшек? Я не верю в блюшки. Вы верите?

Лучшим доказательством существования склеротических отложений мог быть он сам, и я чуть не сказал ему это, но, к счастью, в этот момент щелкнул замок и вошла Евгения Ильинична. Увидев старика, она горестно всплеснула руками, и по ее расстроенному лицу я понял, как напрасны были мои подозрения.

— Идите-ка домой, Лев Лазаревич, — сказала она мягко, но непреклонно. — Вас дочка кличет не докличется. И не ходите к нам, мы здесь только работаем и разговоров ни с кем не ведем.

Выпроводив старика, Евгеша начала было оправдываться, но я приложил палец к губам и улыбнулся ей. Затем мы разошлись, я в свою башню, она на кухню. Около четырех она постучалась ко мне, чтоб я шел обедать, а когда я вошел в кухню, поманила к окошку.

В центре двора около занесенного снегом стенда со стенгазетой я увидел небольшую группу мужчин и женщин. С ними были дети. Детишки бегали и швырялись снегом, взрослые стояли полукругом, почти не двигаясь, и чего-то ждали.

— Мученики, — прошептала, усмехнувшись, Евгеша.

Я хотел спросить, кто эти люди, но тут же догадался: сыновья и дочери старого Ноймана с женами, мужьями и потомством.

— Почему же мученики?

Евгеша всплеснула руками.

— Ну как же не мученики? Ведь как на службу... Воскресенье у людей одно — мало ли чего людям хочется, и вдвоем посидеть, и по дому чего поделать, летом за город съездить, зимой в театр сходить, людей у себя принять. Как же! К четверем как по наряду, и редко раньше девяти отпустит. Дети хорошие, уважительные, значит, заслужил он у них, но надо и совесть знать! Интеллигентные люди, им охота между собой поговорить, так разве он даст? Сам будет кричать без передышки и всех учить и против всех спорить. Вот она, старость-то, что с человеком делает.

Я подумал, что лет десять—пятнадцать назад старик заслуженно считался умным и приятным собеседником, привык быть душой общества и беда его в том, что он не замечает происшедших в нем необратимых изменений.

— С ним и в будни хлопот хватает, — пробурчала Евгеша, наливая мне супу, как всегда в два раза больше, чем я способен съесть. — Лечится только у профессоров. Гос-споди! Разве от старости кто вы-

лечит? Как прослышит про какое ни на есть дорогое лекарство — сыновья бегают, высуня язык, достают. Он попьет, поглотает и бросит. Не годится, давай другое. Коли меня в задницу. Дочка Сима Львовна совсем с ним извелась. Так вековухой и осталась при нем.

«Не везет девочке», — вспомнил я.

— Что она — так нехороша?

— Кто же это вам сказал? — Евгеша опять всплеснула руками. — Не верьте. Видная женщина, еще в самой поре. И кавалеры были, и майор один с собой на Дальний Восток звал. Не поехала: как я отца брошу... Эва, поглядите-ка.

Я посмотрел в окно. Кучка стала заметно больше. Львовичи и Львовны накапливались, как для атаки. Некоторые, расчистив от снега скамейки, сидели, другие топтались. И вдруг как по команде поднялись и потянулись по направлению к нашему подъезду.

— Всегда так, — пояснила Евгеша. — Чтоб разом войти. Поодиночке-то он их скорей заговорит.

Я хлебал суп и привычно переводил виденное на свой профессиональный греко-латино-нижегородский диалект. Выраженный склероз. Характерные явления распада личности: ослабление обратных связей с окружающей средой на почве ухудшившегося кровоснабжения мозговых клеток. Старческое перерождение слуховых и зрительных нервов. Et caetera et caetera. Сделать ничего нельзя. Лишить его последних радостей вроде гусиной шейки и посадить на молочную диету? Допустим, это продлит ему жизнь на месяц-другой. А может быть, и не продлит. Когда организм перестает быть надежным, что может быть ненадежнее предсказаний?

Нойман жив и в меру возможного здоров. В солнечные дни он по-прежнему шумит во дворе, и в воскресенье у него по-прежнему жарят гуся. При встрече мы кланяемся, как старые знакомые, а иногда перебрасываемся несколькими словами. Недавно я проходил по двору. Было раннее утро, и любители домино еще не выползли из своих щелей. Старый Нойман сидел один, подставив лицо бледному солнцу. Лицо его было спокойно и грустно, в нем была тишина и мудрость, в этот момент он был похож на того умного и обаятельного человека, каким он был когда-то и каким он продолжал себя считать. Вероятно, я застал его в одном из тех редких состояний, когда он понимал, что он уже не тот и ничем не болен, а просто стар и обречен. И я проникся жалостью к старику и уважением к его детям, умевшим жертвовать своими удовольствиями, чтобы скрасить одиночество отца.

Грех жаловаться, к моей врачебной помощи тетя Евгеша прибегает только в исключительных случаях, преимущественно в вечерние часы. К Ксении Лукиной она потащила меня среди бела дня, вдобавок сразу же после посещения районного врача. Я знал, что Евгеша не доверяет Раисе Павловне, но не хотел вмешиваться в ее назначения и потому очень разворчался.

Лукина живет на втором этаже в коммунальной квартире. Три комнаты — три семьи. Коммунальные квартиры в новых домах ничуть не лучше, а в некоторых отношениях даже хуже многократно описанных в художественной литературе старых барских квартир, превращенных в результате бесконечных вселений, переселений и перестроек в причудливые человеческие муравейники. До войны я жил как раз в такой квартире и вспоминаю о ней без ожесточения и даже с некоторой теплотой.

Современная трехкомнатная квартира в домах нового типа, с газом

и действующей ванной, но с тесной кухонькой и крошечной передней, где с трудом умещается один холодильник, всем своим устройством ставит живущих в ней людей независимо от того, состоят они в родстве или нет, в отношения, приближенные к семейным. Люди искусственно сближены, их магнитные поля пересекаются, они лишены возможности не замечать друг друга. Подобно членам одной семьи, они обречены дружить или враждовать. Случайно или в результате обменов сожителем подбираются удачно, и тогда жить в такой квартире несомненно удобнее, чем в ковчеге. Но если вспыхивает вражда, а корни ее всегда гораздо глубже и таинственнее видимых поводов, квартира становится худшим вариантом жилищного ада. Именно в такую квартиру меня затащила тетя Евгеша. Пока мы спускались по лестнице, она ввела меня в курс дела: женщина плохо себя почувствовала, вызвала Раису Павловну, та смерила ей температуру, температура была нормальная. Раиса Павловна накричала на больную и категорически отказала ей в бюллетене. По части бюллетеня я ничем помочь ей не мог и не совсем понимал, чем я могу быть полезен, но меня насторожило одно обстоятельство — Лукина была медсестра, причем хирургическая медсестра, я немножко знаю эту породу, вряд ли Лукина симулировала болезнь.

Мы позвонили. Звонок был один, никаких указаний, кому и как звонить. Дверь открыл мальчик лет семи и сразу убежал. Зато взрослое население квартиры, исключая больную, как по команде выстроилось на пороге своих комнат. Из одной двери показалась низенькая бесформенная женщина в засаленном фартуке, звонок застал ее за едой, и она продолжала жевать; из другой — рослая дама в синем жакете с вузовским ромбиком на лацкане, лицо ее, правильное, но жесткое, вызвало у меня в памяти примелькавшуюся за много лет статую в одной из станций метро. Из-за ее спины выглядывал впалогрудый мужчина в подтяжках.

Судя по передней, квартира содержалась в стерильной чистоте, пол был натерт, выкрашенные белилами двери влажно блестели. Под изучающими и недружелюбными взглядами соседок я тщательно вытер ноги о разложенный у входа коврик и вошел в комнату.

Лукина лежала на кровати укрытая одеялом, у нее было миловидное, но несколько расплывшееся лицо южного типа, слипшиеся от пота черные волосы лежали на лбу. Увидев нас, она испуганно приподнялась.

— Господи, Евгешенька, зачем же ты доктора побеспокоила? Я вставала, звонила на работу, они говорят: лежи, Ксана, не волнуйся, и приехать обещали. Здравствуйте, доктор, извините меня, пожалуйста...

— Помолчите-ка,— сказал я строго. Бледность и пот меня встревожили.— Отвечайте только на мои вопросы.

Лукина слабо улыбнулась. Улыбка у нее была милая.

— А можно мне один вопрос?

— Давайте.

— Не узнаете меня, Олег Антонович?

Лицо мне показалось знакомым, но когда живешь в одном подъезде, это неудивительно. Я пожал плечами.

— Не помните, как вы меня ругали?

Это было сказано без всякой злобы, даже с улыбкой. И я вдруг вспомнил.

Весной сорок третьего меня по рекомендации моего бывшего тестя вытребовали в соседнюю Армию оперировать одного видного

московского журналиста, прилетевшего из Москвы со специальным заданием и в первый же день угодившего под обстрел. В Армии были свои хирурги, вероятно, не хуже меня, но с Москвой не шутят, а я был в моде. Ехал я злой. Трястись на расхлябанном «козлике» по изуродованным воронками и весенней распутицей фронтowym дорогам удовольствие малое, даже если сидишь на почетном месте рядом с водителем, приходится все время держаться за скобу, пальцы деревенеют и потом отвратительно дрожат. Приехавши на место, я увидел, что рана плохая, многоосколочная, не опасная для жизни, но грозящая ампутацией ноги. Отказываясь от ампутации, я шел на риск. Помогать мне взялся начальник санчасти, и я сразу понял, что он готов разделить со мной успех, но не поражение. Вдобавок ко мне приставили совершенно неквалифицированную хирургическую сестру. Девчонка была на редкость хорошенькая, маленькая, изящная, с прелестной круглой мордочкой слегка цыганского типа. Помогать она совсем не умела, путалась, и я сразу возненавидел ее за все, даже за то, что она такая миленькая. Сказать, что я кричал на нее, значит ничего не сказать, все хирурги покрикивают в нервной обстановке, нет, я всячески ее унижал и довел до слез. Ну конечно, девушку звали Ксана. С того дня прошло добрых пятнадцать лет, но я почувствовал, что краснею.

— Я узнал вас, Ксана,— сказал я.— Извините меня.

Я узнавал ее и не узнавал. Та Ксана была тоненькая, настоящая гитана. Передо мной лежала еще свежая, но уже грузная женщина, этого не могло скрыть даже одеяло. Она поймала мой взгляд и смущенно улыбнулась.

— Здорово изменилась, верно? А вы нисколечко не изменились, такой же, как были. Небось думаете: как она себя распустила! Сама знаю, ужас. Только я не виновата, это у меня сразу после родов началось. Бывало, голодом сижу, а все равно пухну... Теперь, конечно, можно было бы собой заняться, да как? До работы час езды, в автобусе жмут, вот и вся моя главная физкультура. В выходной надо и постирать и в квартире прибраться, у нас тут такие чистюли подобрались, ванну не вылижешь—съедят. Надо бы зарядку делать, да сына стесняюсь, мальчик смеется...

Ей явно хотелось поговорить, и я не решился второй раз сказать «помолчите».

— Ох и здорово вы меня тогда ругали.— Лукина опять улыбнулась и на секунду прикрыла глаза.

— За дело небось,— вставила Евгеша.

— За дело, конечно. У меня все из рук валилось. Откуда ж вам было знать, почему я такая бестолочь? А я беременная была. В акурат в то утро показалась одной нашей врачихе, Цецилии, она хирург, но и про бабские дела понимала. Она поглядела и говорит: «Горишь, Ксана. Как это тебя угораздило?» Как, как? И на старуху бывает проруха, а я молодая была. Лежал у нас лейтенант из саперов, хороший такой мальчик, перед выпиской пошли мы с ним погулять... Господи, да разве нынче объяснишь людям, что тогда было.. Было и было, то ли его пожалела, то ли себя, от своих мужиков чуть не кулаками отбивалась, а тут сразу сомлела... Что делать? Ведь я на фронт доброволкой шла, клятву принимала. Я к ней: «Циля, спасай». Она: «Ты что, дура, совсем офонарела? Я тайными абортами не занимаюсь. Иди к начальнику, а я с ним поговорю». Пошла я к нашему майору, час редела у него в кабинете. Он сначала ни в какую, потом говорит: ладно, жди, я посоветуюсь. Посоветовался, и вышло совсем

плохо: порешили меня демобилизовать. Я сперва очень горевала, а потом смирилась — ладно, коли так, буду растить гражданина, все от меня зависит. Приехала в Москву, поступила в госпиталь вольнонаемной, положение, конечно, скрывала, а то бы не взяли, а как пришло время родить, уехала к тетке в Голицыно, это под Москвой, знаете? В тамошней родилке родила Юрку и еле жива осталась, с полгода оправиться не могла, и все это время тетка меня тянула, спасибо ей, кабы не ее огород, пропали бы мы с Юрочкой...

Лукина тяжело вздохнула и опять прикрыла глаза. Ей было трудно говорить, но еще труднее молчать, и я не стал ее торопить.

— Жили мы в Голицыне, а работу мне нашли в Москве, в ожоговом отделении. Работа очень тяжелая, сколько лет работаю, а привыкнуть не могу, и отдыха ни минутки, одна дорога — это хорошо, если три часа, а не идут поезда — слезы! Одно утешение — парень растет и на работе отношение очень хорошее. Главврач наш Прокушев Геннадий Иванович, слышали, наверно, замечательной души человек, комнату нам московскую выхлопотал и прописку восстановил. Тоже далековато, но, конечно, легче стало, я на «скорой» стала прирабатывать, мальчик уже большой, и то ему нужно и это...

— Балуюсь ты его, — сердито сказала Евгеша.

— Балую, конечно. А кто его, кроме меня, побалует? Все бы ничего, если б не соседки. — Глаза Лукиной налились слезами. — Со света сживают.

Я спросил, из-за чего вражда. Лукина мигнула Евгеше, и та, загремев кольцами, задернула прикрывавшую дверь комнаты плотную занавеску.

— Олег Антонович, милый, ни из-за чего. Неужели бы я им не уступила? Купила я холодильник старенький, поставила на кухне. Никому он там не мешал, и Фрол говорит: «Имеете право». У Риммы Сергеевны вон «ЗИЛ» в передней стоит, к вешалке не подойти, разве я что говорю? Нет, говорят, забирай к себе в комнату. А куда? Сами видите. Я бы и это уступила, только знаю: все равно мира не будет. Не одно, так другое. А съедают они меня, — Лукина и раньше говорила тихо, а тут перешла на шепот, — из зависти. Что у меня мужчина есть. Не муж, а любит меня. И это им нож вострый. Липу-то видели, куча какая? — ее еще пожалеть можно, муж от нее к другой ушел, дочь в прошлом году за тунеядство судили. Ну, тунеядство — это только слово такое, а чем она занималась, все кругом знали. Я на суде была, меня сама же Липа свидетелем выставила, так ей надоели дочкины уродства. Я что видела, то и сказала, лишнего не прибавила, знаю, что Людка и поворовывала, у меня самой из сумочки полторы сотни взяла, но раз не спрашивают, я и молчу. И судье сказала: вы ее строго не судите, она еще молодая. Так мне же еще и попало: вы, говорит, отвечайте на вопросы, а суду не указывайте. Людку выслали, а теперь Липа говорит, я ей дочь погубила и из-за таких, как я, мужья законных жен бросают. Ну, Липа — ладно, она баба совсем темная, отродясь ничего, кроме горшков, не видела, но Римма-то Сергеевна — инженер, интеллигенция считается. Я, Олег Антонович, на фронте среди солдат жила, там всякого наслушаешься, но разве я когда позволю себе такие грубости, что от нее каждый день слышишь? И откуда в женщине такая злость? Вроде и зарабатывает прилично, на курорты ездит, и муж у нее есть, плоховатый, конечно, видно, толку от него немного, так она и его тиранит. А уж меня и вовсе огнем жжет — и проститутка-то я, и чуждый элемент, и медаль у меня не за боевые заслуги, а за совсем другие... Разузна-

ла телефон Василия Александровича — ну, вот что ходит ко мне, — звонит его жене, а у него жена хроническая больная, калека можно сказать, через это он от нее и не уходит, и я его за это уважаю. Я ей говорю: «Римма, зачем вы так делаете, какая вам радость больного человека мучить?» А она как покраснеет, стыдно ей стало, и локтем меня в грудь как двинет — аж сердце зашло. И заступиться некому.

— Как? А сын?

Сказал и прикусил язык, догадавшись, что коснулся больного места. Евгеша только махнула рукой, а у Лукиной задрожали губы.

— Я бы все им простила. Одного вовек не прощу — что они и сына против меня настроили.

Я больше не задавал вопросов. Лукина заговорила сама:

— Дура была. Когда въехала в комнату, до того обрадовалась, что весь мир обнять хотелось, и люди все мне вроде ангелами казались, только что без крылышек. Вот, думаю, хорошо как, квартира маленькая, будем жить по-семейному; мы, девчонки, в медсанбате очень дружно жили. Ну и, конечно, по дурости, по болтливости бабьей в первый же день всю свою автобиографию выложила. Все, до дна. Слушали, ахали, вроде сочувствовали, а как пошли у нас ссоры, они всё и припомнили. Я сперва не замечала, как они мальчишку обрабатывают, меня по суткам дома нет, вижу, мальчик ко мне холоден стал, ну, думаю, это возраст такой, он вообще по характеру сдержанный, от него ни грубости, ни ласки. Уж тогда заприметила, когда он ко мне с вопросами подступил. Как-то спрашивает: «Это правда, мама, что ты меня не хотела?» Я сразу не поняла, о чем это он, только чувствую, что плохое на меня надвигается, побледнела и молчу. А он говорит: «Молчишь, значит, правда». Надел курточку, в дверях остановился. «Здорово, говорит, мне повезло. Сейчас пойду в плавательный бассейн, а мог очень просто в помойном ведре лежать». Я так и забилась вся. «Юрочка, кричу, что ты мне сказал? Я же тебя люблю, я твоя мать, а ведь тогда война была...» Покричала да и замолчала, ну что мальчишке объяснишь, когда и взрослые-то... А Юра после того разговора и вовсе замолк. Раньше он мне про себя кой-что рассказывал, бывало, и про мои дела спросит, а тут как отрезал. «Суп будешь есть?» — «Не буду». — «Дать колбасы?» — «Дать». — «Уходишь?» — «Ухожу». — «Придешь скоро?» — «Не знаю». Вот и весь наш разговор. Недавно вдруг спрашивает: «Почему я Лукин?» «Потому, говорю, Юрочка, что я Лукина». — «Ты что же, и фамилии моего отца не знаешь?» — «Почему же не знаю, Юрочка? Шишов его фамилия. Коля Шишов, оттого ты Юрий Николаевич». Засмеялся: «Неважнец фамилия. Что ж у тебя даже карточки его нет?» «Нет, говорю». — «И ты его никогда не искала?» — «Нет, говорю, не искала. Думаю, погиб в наступлении, их без числа тогда легло. А если и жив остался, то зачем он мне, если сам меня не ищет? Меня найти — труд невелик, он и полевую почту знал, и теткин адрес я ему дала голицынский... Ничего не ответил, а на другой день говорит: «Буду паспорт получать, сменю фамилию на отцову. Шишов так Шишов, фамилию не за красоту выбирают. Я хочу в Военно-медицинскую поступать, меня как сына фронтовика без конкурса возьмут». Тут уж я обиделась: «Тебя, говорю, Юра, и как сына фронтовички примут, я два года отслужила, до госпиталя санитарструктором в роте была, и медаль у меня тоже не краденая». Молчит. А я думаю: вот кончит он школу, уедет в Ленинград — и больше не увижу. И теперь-то живем как чужие...

Лукина заплакала. Евгеша, до поры молчавшая и только шумно вздыхавшая, неожиданно взорвалась:

— Ведь это что ж такое? Ничего малый не хочет понимать. Уж я его стыдила: «Дурной, ведь она мать, она тебе всю жизнь отдала, а ты нос воротишь. Есть в тебе совесть?» Молчит. «Что молчишь-то, сказать нечего?» — «Есть, говорит». — «Ну скажи». — «К ней любовник ходит». Я прямо ахнула. «Как же тебе, говорю, не совестно? Как ты смел такое слово вымолвить? Мать твоя еще не старая женщина, что ж, прикажешь ей только на тебя батрачить, а своей жизни чтоб у ней не было? Ходит к ней хороший человек, может, и женился бы, был бы тебе заместо отца, только совесть в нем есть, жену больную жалеет». Смеется. «Наверно, говорит, сам довел». Ну, это он не сам придумал, Римка научила... И вот возненавидел человека...

— Василий Александрович сюда теперь и ходить перестал.— Лукина всхлипнула.— Так кое-где встречаемся изредка. Все равно плохо. Недавно вышли мы с Юрой вместе, идем по двору, а он говорит: «Мама, не иди со мной рядом». Я говорю: «Почему, сыночка?» «Очень ты толстая»...

Лукина опять заплакала. Я осмотрел ее, смерил давление. Даже моего скудного опыта было достаточно, чтоб без всяких кардиограмм заподозрить инфаркт. Надо было сразу брать быка за рога. Я чуть не силой вырвал у Лукиной телефон главврача и, выйдя в переднюю, позвонил ему. Главврач оказался приятным человеком, и мы сразу нашли общий язык. Во время нашего разговора уже знакомые мне двери бесшумно приоткрылись, и я не отказал себе в удовольствии громко сказать, что если кардиограмма подтвердит мои подозрения, необходимо срочно перевезти Лукину в стационар, обстановка в квартире настолько гнусная, что оставлять больную дома опаснее, чем перевозить. После чего обе двери как по команде захлопнулись.

Главврач обещал выслать перевозку немедленно, и я уже собрался уходить, оставив Лукину на попечение Евгеша, когда в комнату вошел высокий мальчик, на вид лет пятнадцати, одетый в модную замшевую курточку и штаны из чертовой кожи, но тоже, вероятно, модные. О том, что это сын, я догадался мгновенно. Он был мало похож на мать, но коротковатая верхняя губа с темным пушком была материнская. Мальчик удивленно взглянул на меня, коротко кивнул — я так и не понял, было это приветствием или простой констатацией факта, что в комнате кто-то есть, — затем не торопясь снял курточку, повесил ее на плечики, посмотрел на свои руки и пошел в ванную. За это время я успел объявить Лукиной о принятых решениях, Лукина ахала и пыталась что-то возражать, но Евгеша прикрикнула, и она затихла. Наконец мальчик вернулся, прошел к столу, сел спиной к нам и, разложив свои тетради, углубился в чтение.

Евгеша возмутилась.

— Спросил бы хоть, что с матерью, — сказала она не очень, впрочем, резко. Лукина смотрела на нее умоляюще.

Мальчик передернул плечом и продолжал читать. Тогда взбесился я.

— Вы, кажется, хотите быть врачом? — спросил я тем отвратительно сладким тоном, каким я умею говорить, только когда очень зол.

Мальчик резко повернулся ко мне. Он даже сделал движение привстать, но удержался. Лицо у него было не то чтобы растерянное, а скорее недоуменное. Инстинктивно он чуял подвох, но, с другой

стороны, допускал возможность, что профессор, оказывающий покровительство матери, при случае может пригодиться и ему. На этот случай была наготове улыбка.

— Да,— сказал он.— А что?

— Из вас не выйдет врача.— Я с удовольствием отметил, как сбежала с лица заготовленная улыбка. И пояснил: — Вы невнимательны к больным.

Мальчику потребовалось всего несколько секунд, чтоб овладеть собой. С деланным равнодушием, за которым таился вызов, он ответил:

— А я не собираюсь никого лечить.

— Понимаю,— сказал я.— Лечить будут другие. Вы будете организовывать лечебный процесс.

Он выдержал мой взгляд. Затем отвернулся к своим тетрадкам, и я вновь перестал для него существовать.

Через пять минут я был у себя в башне и работал. Еще через час явилась Евгеша. Увидев, что я пишу, она ограничилась выразительным жестом, дескать, все в порядке, увезли, но судя по тому, как она гремела кастрюльками на кухне, у нее на душе осталось много невысказанного.

Лукина болела долго. После больницы ей дали бесплатную путевку в санаторий. Недавно я встретил ее во дворе. Внешне она поспешила и подтянулась, но я понимаю, что это ненадолго. Глаза у нее старой женщины, и помочь ей я не умею.

ХIV. Лишнее мышление

День первый клонится к вечеру, а воз и ныне там.

Такого со мной еще не было.

Конечно, были и внешние помехи. Но дело все-таки не в них, а во мне.

Для организованного человека, каким я себя считаю, «три дня на размышление» не могут служить оправданием безделья. Размышлять можно вечером, а при бессоннице и ночью, я и так уж непротестительно выбился из графика. Поэтому выставив нахальную девизу, я усаживаю себя за стол. Мамаду сидит у меня на плече и смотрит в рукопись редакторским глазом. Вид у него недовольный, и он даже не подозревает, как он прав. Сколько я ни убеждаю себя, что научная монография не любовные стихи и требует не вдохновения, а простой сосредоточенности, работа не идет. Я отодвигаю дневные странички и как бы невзначай заглядываю в свои ночные записи. Затем — вроде бы небрежно — перелистываю. И наконец, зацепившись за какую-то фразу, начинаю читать все подряд. Передо мной нескончаемой чередой проходят академик Успенский и гардеробщик Антоневиц, Трипе и Це Ащ, Вера Аркадьевна и тетя Евгеша, Виктор и баба Варя, женщины, с которыми я был близок, и девчонки-домработницы, друзья, которых я растерял, и противники, с которыми еще не сказано последнее слово, и еще множество других людей, случайно попавших в поле моего зрения, но тем не менее прочно отпечатавшихся в сознании. Случайно попавших — не случайно ли запечатлевшихся? Ответить на это так же не просто, как объяснить, почему мне лезут в голову незапланированные мысли. «Лезут в голову» — оборот просторечный, но не лишенный меткости, лезет в голову то, что отобрано подсознанием, и мы не всегда властны повернуть ход своих мыслей. У романистов это, кажется, называется «по-

током сознания», у нас, физиологов,— доминантой, удивительной и еще не до конца изученной способностью человеческого мозга отбирать и нанизывать в определенной связи получаемые извне впечатления, создавая из них цепочки и решетки, структуру которых мы далеко не сразу постигаем сознательно. Сопротивляться этому можно, но небезопасно и не всегда необходимо. Иногда разумнее прислушаться. Не происходит ли во мне столкновения двух доминант, одной, пропущенной в сознание и заставляющей меня целеустремленно улавливать некоторые закономерности, вытекающие из многолетней экспериментальной работы, и другой, еще не вполне мной осознанной, но достаточно властной, когда я вырываюсь из лабораторной обстановки? И второй вопрос, вытекающий из первого: что объединяет все это людское множество при всем различии их характеров и судеб?

Вероятно, то самое, что их разделяет.

Каждый (или каждая) из них — личность. Не особь, как те подопытные животные, с которыми я имею дело в лаборатории, а личность, значительная или мелкая, одаренная или посредственная,— это особь-статья, но единственная и неповторимая, наделенная, помимо инстинктов самосохранения и продолжения рода, еще чудесной способностью отвлекаться от действительности и обобщать явления; тем, что, по слову Ивана Петровича Павлова, и составляет наше лишнее, специально человеческое высшее мышление.

Меня умиляет это слово «лишнее». Только гениальный человек мог позволить себе такую престольную вольность.

Именно это лишнее мышление составляет основу личности, становится источником недоступных животному духовных радостей и жесточайших страданий, по сравнению с которыми отступают голод, элементарное половое влечение и физическая боль,— оно обогащает человека пониманием прошлого и способностью предвидения, рождает неведомые зверю нравственные понятия подвига и преступления, позволяет человеку далеко отрываться от своих непосредственных, диктуемых здравым смыслом выгод и потребностей, превращает труд в творчество, биологический инстинкт, иссякающий с выполнением животным своей видовой функции, в любовь — удивительное свойство человеческой природы, отданное на откуп поэтам и еще не ставшее объектом серьезного изучения. Личность зарождается, развивается, старится и умирает принципиально иначе, чем всякое другое живое существо. Утверждение себя как личности, или проще — самоутверждение, такое же изначальное свойство *homo sapiens*, как все иные первичные инстинкты, будучи существом по самой природе социальным, человек стремится найти и утвердить свое место в популяции. Стремление это может принимать самые различные формы, но присуще всем людям без исключения независимо от возраста, физических данных, социальной и национальной принадлежности, культуры и т. д. и т. п. Можно не сомневаться, что личность, имеющая все условия для своего утверждения и развития, имеет и онтогенетические преимущества, там, где личность подавлена, угнетена, унижена, неизбежно преждевременное старение. Весь мой эмпирический опыт настойчиво свидетельствует об этом, но Менделеев недаром говорил: «Оно, конечно, сказать все можно, а ты поди демонстрируй». Говорить не демонстрируя — удел Вдовиных, при всей своей убежденности в существовании тесной связи между тем, что Павлов назвал «лишним» мышлением, и проблемами долголетия, другими словами, связи между процессом старения и высшей нервной

деятельностью, я никогда не решусь выступать в печати по этой проблеме, не подкрепив свои соображения большим количеством фактов. Факты могут быть любые — добытые путем эксперимента или статистических исследований, но точными и доказательными, поддающимися проверке и укладываемыми в стройную систему.

Я прекрасно понимаю все трудности, стоящие на пути серьезного исследователя, — человеческая личность неподходящий материал для экспериментирования, целый ряд экспериментов тягостен для меня даже на животных и абсолютно нравственно недопустим на человеке; даже систематические наблюдения, проводимые над большой группой людей, зачастую не обладают необходимой научной строгостью, сказывается физическая и психологическая неповторимость каждой человеческой особи, ее личностный характер и столь же личностный, субъективный подход к ней исследователя. С животными все относительно просто — подвергаешь отобранную группу воздействию определенных факторов, другую оставляешь в качестве контрольной, затем сравниваешь результат, этот результат с некоторой степенью приближения можно рассматривать как объективный, с людьми это — не говоря уже о стороне нравственной — вообще невозможно. Одно и то же воздействие проходит почти незамеченным у одного и вызывает тяжелейший стресс у другого.

Кстати, о стрессе. С тех пор как этот термин стал общим достоянием, возникло обывательское представление о стрессе как о чем-то губительном, как о вредном потрясении. Это неверно. Понятие стресса не имеет раз навсегда данного знака минус. Активно живущий организм не может не подвергаться стрессовым раздражениям, и способность сопротивляться им — один из признаков нормального развития. По моим наблюдениям, наиболее губительны для всего живого те коварные стрессы, которые обрушиваются на организм, только что перенесший стресс и еще не полностью вышедший из стрессового состояния. Это стресс-подножка. Роль стресса и так называемых отрицательных эмоций в старении человека чрезвычайно велика, исследовать их трудно, сравнительно легко поддаются наблюдению и анализу тяжкие потрясения, разом старящие человека на несколько лет, но как рассмотреть сложное воздействие того, что я условно называю стрессопланктоном — микромира крошечных, но многочисленных чудовищ, чьи слабые, но ядовитые укусы незаметно подтачивают древо жизни. Удар молнии, только нагляднее, чем древесная гниль, старится и гибнет дерево чаще все-таки от гнили.

Уединение никогда не бывает полным, и всякий монолог содержит в себе зародыш диалога. В любых наших размышлениях незримо присутствует какой-то оппонент, в споре с ним мы оттачиваем свои формулировки. За последние годы этим незримым оппонентом частенько оказывается Николай Митрофанович Вдовин. Почему так — до конца неясно мне самому, я мог бы выбрать себе партнера поинтереснее, но выбор не всегда зависит от нас, с присущей ему пробойной силой Николай Митрофанович вторгается в ход моих мыслей, и я уже слышу, как он, пока еще не обращаясь прямо ко мне, говорит с невидимой трибуны:

— При всем моем уважении к профессору Юдину я не могу пройти мимо его, по меньшей мере сомнительных, высказываний. Рассматривать стремление человека к самоутверждению как некую извечную категорию — не значит ли это вольно или невольно скатываться на идеалистические позиции? Не значит ли это утверждать, что природа человека исконно эгоистична и не поддается переработ-

ке в ходе общественного развития? Идеяка эта не новая, и мы знаем, кому и зачем она служит. Профессор Юдин как бы не замечает, что на одной шестой части света уже давно формируется совершенно новый тип человека, для которого характерно не самоутверждение, как мерещится Олегу Антоновичу, а самоотверженность, человек этот самоотверженно трудится и не так уж носитя со своей единственной и неповторимой личностью, потому что для него дороже всего интересы коллектива. Вспомним, что незабвенный И. П. Павлов...

На этом месте я прерываю Николая Митрофановича. В жизни это мне не всегда удавалось, но у себя дома я хозяин. В чрезвычайно вежливой форме даю понять, что, ни в малой мере не ставя под сомнение его компетентность, я должен все же указать: уважаемый коллега весьма узко понимает термин самоутверждение, произвольно воспринимая его только со знаком минус. Самоутверждение отнюдь не противоречит самоотверженности. Самоотверженность есть высшая форма самоутверждения. Ставя под удар свое физическое существование, человек становится выше инстинкта самосохранения, утверждая тем самым свою волю и свою духовную сущность. Животное не знает ни подвига, ни преступления, ни самопожертвования. Кстати, не знает и самоубийства — слухи о самоубийстве скорпионов, как мне говорили, не подтверждаются. В труде человек утверждает себя, а не отвергает. Самоотверженный труд как повседневное явление — либо газетный штамп, либо, что гораздо хуже, нечто противоречащее и физиологии и социальным идеалам человечества; труд вопреки жизни — нонсенс, для труда надо создавать оптимальный режим — только такой труд может быть по-настоящему производительным и обеспечивать стойкую работоспособность в течение долгих лет жизни. Утверждение себя как личности ни в малой степени не противоречит утверждению себя как члена коллектива, вернее, здесь нет принципиального противоречия, если социальное чувство извращено, то виной тут либо недостатки общественного устройства, либо гипертрофированный индивидуализм. И не тревожьте тень великого Павлова. Если б вы его внимательно читали, то заметили бы: Иван Петрович впрямую говорит о присущем человеку с самого раннего возраста «рефлексе свободы». Рефлекс! Он проявляется уже с первых дней существования в отношениях с матерью и находится наиболее полное выражение в играх. Рефлекс и инстинкт, свобода и самоутверждение — понятия родственные, почти синонимы. В отличие от животного человек горд, ревнив, завистлив, мстителен, властолюбив, честолюбив...

Грешен, люблю подразнить гусей. И мне это удается. Мой незримый оппонент аж взвизывает.

— Вот! — кричит он, ликуя. — Наконец-то вы обнаружили свое подлинное лицо! Знаем мы вас! Старые погудки об извечной низменности человеческой природы. Повторяете зады господина Фрейда и прочих апостолов буржуазного пессимизма? Знаете, чем все это пахнет? Жаль, что вы не были так откровенны во время памятной нам обоим дискуссии...

Но я не сдаюсь.

— Почтеннейший Николай Митрофанович, — говорю я своему незримому оппоненту. — Вы сами только что косвенно признали, что времена уже не те. Так давайте обойдемся без угроз и наклеивания ярлычков и попробуем спокойно, без криков разобратся в каждом из высказанных мной еретических положений. Начнем с того, что вы

ошибочно приписываете всем названным чисто человеческим качествам знак минус. Это произвольное толкование противоречит основам марксистской диалектики, которая учит нас видеть любое явление во всех его связях и опосредствованиях. Я не знаю такого кодекса — ни уголовного, ни нравственного, — где бы эти качества были бесповоротно осуждены. Не отрицаю — они могут быть и зачастую бывают мотивом для преступления. Но в такой же мере для подвига.

Начнем с гордости. Тут вы мне легко уступите. В вашем сознании прочно застряло, что «человек — это звучит гордо». Слова эти говорят со сцены один симпатичный шулер, и в контексте пьесы они звучат не совсем так, как понимает их наш оправдом Фрол Трофеев, которого я с трудом отговорил от попытки водрузить на крыше нашего дома видную всей округе светящуюся неоновую цитату.

Но бог с ним, с Фролом. Сойдемся на том, что гордость бесконечно многообразна. И есть гигантская разница между гордостью Пушкина (помните: «Я памятник себе воздвиг...») и самодовольством Фрола. Э-э, не ловите меня, совсем не потому, что Пушкин дворянин, а Фрол плебей. Такая же пропасть лежит между благородной гордостью знатного хлебопашца и спесью царедворца. Чем только человек не гордится! Тем, что он ест. И тем, чего он не ест. Нарядной одеждой и отрепьями. Образованностью и невежеством. Богатством и бедностью. Законопослушанием и презрением к законам. Экономика? Материальные потребности человека так тесно переплетены с потребностями престижа, что их подчас невозможно разделить. У американских социологов есть ходячий термин «престижные товары»: тот, кто платит втрое дороже, не всегда получает нечто втрое лучшее, платит он за престиж. Огромный автомобиль зачастую не нужен и даже неудобен, но он «престижнее» маленького. А недавно я слышал выражение «престижные книги» — ими гордятся, но не читают. Согласимся же на том, что вести определенный образ жизни, правильный или неправильный, и не гордиться им — значит, стать жертвой стойкого комплекса неполноценности и разрушительных отрицательных эмоций.

Поговорим лучше о ревности. Не далее как сегодня я доказывал одной смазливой девице, что даже Шекспир не примирил меня с убийством из ревности. Повторяю, с убийством, с преступлением. Вообще же я не представляю себе любви без ревности. Мы не настолько интимны, Николай Митрофанович, чтоб я стал посвящать вас в то, что пережил я сам, каюсь, посещали меня злые мысли, но, смею вас заверить, мне ни разу не пришла в голову мысль как-либо повредить людям, заставившим меня страдать. Какое чувство ревность — низкое, высокое? У вас, наверное, уже готов ответ, а у меня его нет и не может быть. Решает личность. Один ревнует потому, что предмет его любви для него неповторим и незаменим, теряя его, он теряет все. Другой в бешенстве, как любой собственник, он так же бесился бы, если б у него угнали отару овец. Но разве человек ревнив только в сфере любовной? Ревностный, соревнование — прислушайтесь к звучанию этих слов. Вы всегда ревностно выполняли свой общественный долг. Не вы ли ездили в Дубну подписывать договор о социалистическом соревновании с тамошним Институтом физических проблем, и если я тогда — помните? — был против вашей поездки, то не потому, что я против социалистического соревнования, а потому что никак не мог взять в толк, по каким признакам мы будем сравнивать научные достижения столь разнородных институ-

тов. Соревнование вообще в природе человека, с детских лет мы соревнуемся в силе и ловкости, в уме и таланте (список продолжите сами); в стремлении индивидуума к первенству нет ничего предосудительного, оно может служить интересам общества, а может и разлагать его, это зависит прежде всего от того, как устроено общество и как сложился данный индивидуальный характер.

Зависть — родная сестра ревности, но если ревность иногда находит себе защитников, то зависть — никогда. Вероятно, потому, что в зависти гораздо труднее сознаться, даже самому себе. Завидовать — значит, поставить себя ниже того, кому завидуешь. Но кто сказал, что зависть — свойство непременно низких душ? Бедняки завидуют богачам — и правильно делают. Мальчишки завидуют героям — эта зависть рождает новых героев. У Анны Андреевны Ахматовой есть хватающие за душу строки: «Но если бы откуда-то взглянула я на свою теперешнюю жизнь, узнала бы я зависть наконец...» Я понимаю, Николай Митрофанович, Ахматова для вас не авторитет, но даже вы не решитесь поставить под сомнение высоту чувств поэта. А как вам нравится: «Не жертвы — герои лежат в этой могиле. Не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков»? Откуда это? Эти слова высечены на памятнике борцам революции, есть такой памятник на Марсовом поле в Ленинграде.

А теперь поговорим о мести. Нужно быть очень мстительным человеком, Николай Митрофанович, чтобы так преследовать старика-гардеробщика за один презрительный взгляд. И знаете — я вас не слишком осуждаю, я бы его тоже не простил. Мы расходимся только в методах отмщения — добиваясь увольнения заслуженного ветерана, вы сделали себя посмешищем. Знакомо ли мне чувство мести? Конечно. Я простил и забыл многие тяжкие обиды, а какое-то мелкое хамство, почему-то оставшееся неотмщенным, грубость, обвинение во лжи или угрозу, на которые я не сумел ответить должным образом, помню годами. Как вы догадываетесь, я не сторонник дуэлей, дуэль устарела и выродилась, но меня продолжает восхищать способность человека подавить инстинкт самосохранения ради утверждения своей личности. Выйти на честный поединок, поставить свою личную честь и достоинство выше жизни — как способ мести это все же лучше, чем кляуза или донос. Кстати, не думайте, что дуэль исключительно дворянское измышление, в моей картотеке накопилось десятка полтора выписок, свидетельствующих о том, что поединок — на кулаках, навахах или с огнестрельным оружием — существовал во всех социальных группах, у валлийских шахтеров, арагонских пастухов, горцев Северного Кавказа...

Читали ли вы «Княгиню Лиговскую»? Не «Героя нашего времени» — его вы несомненно проходили в школе, а эту раннюю повесть Лермонтова, в которой уже угадывается гений. Лошадь Печорина сбила с ног бедного студента. Происходит объяснение. Печорин предлагает высечь кучера или, если этого студенту недостаточо, «дать удовлетворение». В то время под этими словами подразумевалась дуэль. Но студент хочет не этого. Он хочет, чтобы Печорин признал свою вину, чтоб он выразил свое сожаление о случившемся. Печорин этого не понимает. Дуэль для него единственный способ возмездия. Вслушайтесь-ка в слово «месть». Мечь, возмездие, возмещение. В русском языке заключена великая мудрость. Вероятно, в любом. Оскорблять по-французски — «insulter». Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какая связь существует между оскорблением и insultом, когда оскорбляли людей? Задумывались ли вы когда-нибудь над

тем, что для порядочного человека отомстить совсем не значит нанести ответный вред? Будь я твердо уверен, что вы искренне — подчеркиваю, искренне, а не по необходимости — признали свою вину перед Институтом и многими людьми и готовы, насколько это возможно, исправить содеянное вами, это было бы для меня гораздо большим возмещением, реваншем — назовите как хотите, — чем ваша почетная ссылка в заповедник. Надежда на это слабая, но только эта слабенькая надежда и заставляет меня согласиться на встречу с вами.

А теперь договоримся о том, что такое властолюбие. Я не настолько плохого мнения о людях, обладающих властью, чтоб предположить, что они ее не любят и пользуются ею исключительно из-за тех привилегий, которые она создает. Но и не настолько идеального, чтобы поверить, будто человек, берущий на себя это нелегкое бремя, делает это вопреки себе, только из чувства долга. Зачем далеко ходить, вы очень властолюбивы, Николай Митрофанович, если у вас есть какой-нибудь талант, то именно талант к власти, к управлению людьми. Не осуждаю. Преступно не желание власти, а злоупотребление властью. Вспомним Успенского. Он любил и умел властвовать. Не администрировать, а вести, покорять, увлекать. Это было у него в крови, не будь он ученым, он стал бы маршалом. И если я позволю себе судить его, то не за властолюбие, а за то, что в последние годы своей жизни он удерживал власть, идя вразрез со своей натурой. Я тоже властолюбив. То, что я всячески уклоняюсь от командных постов, говорит лишь о том, что мое властолюбие иного сорта. Чтоб властвовать над душами, необязательно быть начальником. Великие мыслители, артисты, ученые во все времена обладали большей властью, чем деспоты. Я не обольщаюсь на свой счет, но, пожалуй, высоко ценю те счастливые минуты упоения властью, когда я, кем бы я в этот момент ни был — хирургом, лектором, экспериментатором, — ощущал себя вожаком, за которым идут не по принуждению, а по влечению. И как бы я хотел иметь хоть каплю власти над сердцем одной известной вам женщины! Власть ее над моей душой почти беспредельна, если я, поклявшийся никогда не иметь с вами дела, все-таки встречаюсь с вами не для воображаемого, а для настоящего диалога, — этим вы целиком обязаны ей.

Не будем путать нормальное честолюбие, проистекающее из присущего только человеку чувства чести, с ложным. Для него в русском языке есть отдельное слово — тщеславие. Истинно честолюбивый человек чаще всего скромнен — ему претят фальшивые почести. Мы — страна очень честолюбивых людей, и мне это нравится. Честолюбие делает нас менее корыстными. Иногда просто умиляешься, видя, насколько чисто символические, не дающие никаких существенных преимуществ знаки общественного признания властнее над душами наших людей, чем живые деньги. Но оставим это. Для меня как физиолога гораздо интереснее та ежедневная, ежечасная, ежеминутная бомбардировка всех наших органов чувств микроимпульсами, микроэмоциями (потом подумаю, как это лучше назвать), создающая определенный эмоциональный микроклимат. Попробую быть конкретным. Есть такое грубоватое выражение «нужен он мне, как собаке здрасьте». Отвлечемся от вопроса, нужно ли оно собаке, гораздо любопытнее другое: оно, оказывается, чрезвычайно необходимо человеку. Казалось бы, нет никакой практической необходимости в том, чтобы знакомые, а тем более незнакомые люди при встрече желали друг другу здоровья, никакого реального влияния на соматическое состоя-

ние организма такое пожелание иметь не может. Однако наше сознание четко регистрирует данные зрения (поклон или небрежный кивок), слуха (о, тысячи оттенков!) и даже осязания — древнейший обряд рукопожатия приобрел в наше время новый, но не менее важный смысл, и когда с вами перестали здороваться люди, которых вы раньше едва удостаивали кивком, это было для вас настоящим потрясением. Вы неистовствовали. Люди небезразличны к тому, кто, как и в какой последовательности их приветствует, обращаются к ним с просьбой или приказывают, благодарят за услугу или воспринимают ее как должное, просят прощения даже за невольный ущерб или довольствуются своей безнаказанностью. «Здравствуйте», «пожалуйста», «спасибо» и «извините» — внедрение в обиход этих четырех слов я считаю важнее собирания макулатуры, и было бы совсем неплохо, если бы коллективными усилиями физиологов и гуманитариев было создано нечто вроде кодекса бытовой социальной гигиены. Когда я попробовал предложить это, меня подняли на смех: вы, кажется, предлагаете издать учебник хорошего тона? Кстати, почему бы и нет? Если существует «Моральный кодекс советского человека», то в попытке сформулировать пусть даже схематически (любой кодекс — схема) некоторые правила бытового поведения нет ничего предосудительного. Мы еще очень мало знаем о механизме старения, но мне почему-то кажется, что старообразность гоголевского Акакия Акакиевича не от малой калорийности пищи, а от постоянной униженности, в то время как секрет необычайной крепости старика Антоневича в несокрушимом чувстве собственного достоинства. Усмехаетесь? Напрасно. Ставить свое достоинство, право уважать себя, выше любых благ, выше самой жизни — один из главнейших признаков человечности. Об этом в свое время с присущим ему блеском писал Луначарский. А вот послушайте выдержку из письма. Цитирую по памяти, хотя у меня заведена карточка: «Я хочу изобразить все равно какого среднего человека, все равно в какой стране, человека, который изо всех сил рвется к человеческому достоинству»... Это пишет брату великий Чаплин. Вас не устраивает слово «великий»? Я этого ждал. Для Эйнштейна Чаплин был велик, для вас он только шут...

Вдруг мне становится стыдно. В диалоге с незримым оппонентом есть одно кажущееся преимущество: он или помалкивает, или говорит как раз те нарочно придуманные вами для него пошлости, на которые у вас готов разящий ответ. Встретившись с ним нос к носу, вы рискуете попасть впросак, люди меняются или как минимум перевооружаются.

Гораздо больше, чем Николай Митрофанович, меня беспокоит мой гипотетический читатель. Боюсь, что он читает мои записки как роман и ему кажется, что я нарушаю правила игры. Может быть, он и прав. Единственное, что я могу сказать в свое оправдание: прежде чем действовать, я должен разобраться в себе. Хирург принимает основные решения уже в отведенное для операции время, до операции, какой бы срочной она ни была, он долго моет руки. Одновременно он готовится психологически. Один из незыблемых рабочих принципов, унаследованных мной от Успенского: объект исследования небезразличен к инструменту исследования; вонзая в живую ткань свои датчики, подвергая ее действию лучей, мы изменяем ее и изменяемся сами.

Чтоб определить свое отношение к другому человеку, полезно знать, что за человек ты сам. Не могу сказать, чтоб у меня не было

наготове некоторого автостереотипа — успокоительной, умеренно самокритической, но, в общем-то, комплиментарной и удобной версии самого себя, но за последнее время она если не рухнула совсем, то заметно подкосилась.

Мы с тетей Евгешей сидели в холле (горница тож) и чаевничали, когда раздался звонок. Ко мне звонят так редко, что каждый звонок превращается в событие. Было уже поздно, часов девять вечера. Откровенно говоря, я вздрогнул. Почему-то мне показалось, что это Лида. Впрочем, некоторые основания к тому у меня были — весь день прошел под знаком нарастающей активности моей бывшей жены: утром письмо, днем загадочный визит девицы в белом плаще, зная характер Лиды, я имел право предположить, что к вечеру она появится сама...

Вероятно, у меня был очень неприступный вид, когда я открывал дверь. Поэтому я как-то особенно растерялся, увидев Бету. Она стояла не двигаясь, но во всей ее позе и в лице еще угадывалась стремительность, с какой она взбежала по лестнице, и мгновенная решимость, с которой она позвонила. Не всегда удается сразу перестроить лицевые мышцы. Неприступность в соединении с растерянностью дают, вероятно, эффект комический.

— Ох, прости, ты не один? Тогда выйди ко мне на минутку.

Это было настолько забавно, что я наконец нахожу в себе силы улыбнуться:

— Я не один. Но ты можешь войти.

Едва переступив порог, Бета увидела Евгешу и успокоилась. Забеспокоилась Евгеша. Она привстала и уже готовилась под благовидным предлогом исчезнуть. Но Бета мгновенно все поняла и, еще не сняв плаща, подбежала к ней.

— Пожалуйста, не уходите. Я ненадолго, и у нас нет никаких секретов. Пожалуйста, Евгения Ильинишна. Не удивляйтесь, что я вас знаю, — быстро добавила она, заметив граничащее с испугом изумление на лице Евгешы, — Олег Антонович много о вас рассказывал.

Много — это, пожалуй, преувеличение. Но вполне простибельное. Евгеша расцветает.

— Покажи, как ты живешь. Что вы говорите, Евгения Ильинишна? Чаю? С удовольствием.

Евгеша отправляется на кухню подогревать остывший чайник, а мы — в мою башню. В отличие от моей утренней посетительницы Бету не заинтересовали ни фотографии, ни укрытая Евгешинной шалью клетка со спящим Мамаду. Остановившись посреди комнаты, она внимательно обводит глазами сводчатый потолок. Не всякая женщина, даже очень красивая, сохраняет свободу и изящество на середине любой площадки, но Бете не нужны подпорки, везде — в выставочном зале и в фойе театра, на корте и на вокзальной площади — она свободна и естественна.

— В самом деле башня, — говорит Бета удивленно. — Знаешь, на что это похоже? Когда мы с Пашей были у Бора в Копенгагене, нас возили в Эльсинор — тот самый, понимаешь? Там есть восьмиугольная башня с окнами на море. Меня всерьез уверяли, что туда приходил Гамлет. Только окна не такие, как у тебя, совсем щелочки. — Она оглядывается, чтоб убедиться, что мы одни, и шепчет: — Я сбежала из дому.

— От кого?

— От себя, конечно. Одна в пустой квартире, а звать нико не хочу — разговаривать надо. С тобой хоть помолчать можно.

Она присаживается к моему рабочему столу, я сажусь рядом и минуты две мы действительно молчим. Затем я спрашиваю:

— Ты по-прежнему убеждена, что это...

Обрываю себя на полуслове, но Бета прекрасно понимает вопро и слегка морщится в знак того, что я могу не продолжать. Однак не отвечает, а продолжает разглядывать стол.

— Скажи, в твоём столе есть секретный ящик?

— Есть.

— Ну и что ты там держишь?

— Не скажу.

Бета смотрит на меня с любопытством:

— Хочешь заинтриговать?

У меня и в мыслях не было ничего подобного, сработала стара привычка не лгать Бете даже в мелочах. И, кажется, она это по няла.

— У Паши тоже был секретный ящик. Даже от меня. И вот чт я там нашла.

Она вынимает из кармана жакета стандартный конверт без адре са и штемпелей. Конечно, это только оболочка.

— Можешь прочесть. Только не сейчас,— добавляет она поспеш но.— Когда я уйду. А потом спрячь у себя, в свой секретный ящик Я киваю. Тема исчерпана.

— Теперь главное,— говорит Бета.— Ты поедешь со мной в за поведник?

— Когда?

— Сегодня.

— Сегодня?

— Господи, какой у тебя испуганный вид! Ну да, сегодня. Я дале тебе три дня на размышление, их у тебя никто не отнимает. Но раз мышлять лучше всего не на пустом месте. Этой поездки нам все рав но не избежать. Давай сначала решим вопрос в принципе. Ты едешь со мной?

— Еду.

— Спасибо. Теперь техническая сторона. Мы с тобой имеем не оспоримое право рассматривать нашу поездку как служебную коман дировку. Достаточно позвонить Сергею Николаевичу, и он органи зует все по первому разряду: будет купе в международном вагоне фирменного поезда, нас встретит обкомовская машина и с почетом отвезет в заповедник. Но это значит, что завтра утром о нашей по ездке будет знать весь Институт. Я не боюсь за свою репутацию,— Бета усмехнулась,— но в интересах дела незачем давать людям по вод трепать наши имена и строить дурацкие предположения.

Не знаю, включает ли Бета в понятие «люди» мою бывшую жену, но я почему-то вспоминаю о ней. И соглашаюсь.

— Есть другой поезд. Он уходит позже, идет всего на четыре часа дольше, и в нем наверняка нет международного вагона. Зато он останавливается на... забыла, как называется этот разъезд. Кажет ся, никак. От него всего десять километров до конторы заповедника, и наверняка мы найдем попутную машину. Обратн мы поедем с комфортом и по дороге все решим. А сегодня, если нам не повезет со спутниками, постоим в коридоре. Я все равно не сплю.

— Я тоже.

— Вот как? (Мне показалось, что Бета хочет о чем-то меня спро-

силь, но она не спросила.) В общем, если ты принимаешь мой план, приезжай к одиннадцати прямо на вокзал. Встретимся у последнего вагона. Я в самом деле не нарушаю никаких твоих планов? Тогда я пойду. — Она решительно встает.

— Подожди...

— Не могу. Меня ждут в такси... Ольга.

— Ольга? Я сейчас спущусь и приведу ее сюда.

— Нет, нет, нельзя. Она сторожит таксиста, а он грозит уехать в парк. Ольгу ты увидишь на вокзале.

— Вот как?

— Что ты этим хочешь сказать? Что переменялся ветер? Да, переменялся. Ольга — замечательная женщина. Вчера я попыталась вспомнить, какие основания у меня были для подозрений, — и поразила своей низости. Ничего, кроме сплетен. Говорят, Паша ей помогал. Вероятно, даже деньгами, но мы-то с тобой знаем, он помогал десяткам людей. Ему всегда было проще дать свои деньги, чем куда-то обращаться. А ревновала я потому, что она была ему необходима.

Когда мы выходим в холл, то бишь горницу, на стол выставлены все три имеющиеся у нас сорта варенья — признак того, что Бета Евгеше понравилась. Поняв, что гостя уходит, Евгеша горестно ахает:

— Ой, что ж это вы... А чаю?

Бета секунду колеблется. Ей не хочется обижать милую старуху, но остановиться она уже не может. Со стремительностью, напомнившей мне рослую девчонку в грубошерстном свитере, она подбежала к Евгеше и, нагнувшись, поцеловала ее в щеку. Удивительно, как много можно сказать одним движением: здесь и благодарность, и просьба извинить, и признание во внезапно вспыхнувшей симпатии, и даже какое-то обещание. Во всяком случае, когда за Бетой захлопнулась дверь и я вернулся к столу, на лице Евгешы не заметно ни удивления, ни обиды, мы молча выпиваем еще по чашке, затем я объявляю, что уезжаю в командировку дня на три. Вид у меня, вероятно, смущенный. Выслушав меня, Евгеша отвечает, как обычно, «это дело ваше», но не отстраненно, а скорее сочувственно. Зная, что Евгеша при всем своем любопытстве никогда не спросит, куда, зачем и с кем я еду, добавляю, что мы едем в приволжский заповедник. Евгеша кивает.

— А я думала, опять в Париж, — говорит она, пряча зевок. В это время ее всегда клонит ко сну.

Я пытаюсь объяснить, что Бета — вдова моего умершего шефа и что едем мы по срочному служебному делу. Но я недооценил Евгешу: о том, кто такая Бета, она догадалась сразу, как только та вошла.

— Хорошая женщина, — говорит она, покачав головой.

— Почему вы думаете? — спрашиваю я. Не потому, конечно, что думаю иначе, а потому что мне приятно говорить о Бете.

— Почему хорошая? Это сразу видеть. Пусть проедет, дома-то хуже сидеть. Долго они с мужем прожили?

— Лет двенадцать.

— И дети есть?

— Нет, детей нет.

— Вот это плохо. Плохо ей будет.

— Значит, и мне будет плохо? У меня ведь тоже нет.

— Ну и что хорошего? Живете, как колдун какой. Вон попку

завели — от хорошей жизни? Человек без детей — это бобыль больше ничего. Недаром говорят — бесплодная смоковница. И какую религию ни возьмите — ни одна этого не одобряет. Это что же, по науке вашей выходит, что детей родить не надо?

По моей науке выходило как раз наоборот, и я прикусил язык. Однако, чувствуя себя уязвленным, я в свою очередь подпускаю шпильку насчет ее собственных детей, приносивших, по моим наблюдениям, ей мало радостей. Евгеша только руками развела:

— Вона! Как же так мало? Конечно, ежели сын один, да такой как у Ксанки Лукиной, это матери слезы. А у меня их эва сколько на все вкусы. С Федькой поссорюсь, у Райки утешусь. А что дети — не люди? Пока пеленки мочат, все они ангелы, а чуть на ноги станут начинают характер показывать. Один водку хлещет, другой рекорды ставит, у матери сердце и обрывается, а ведь как запретишь? Ежели все будут матерей жалеть, так и жизнь на земле остановится. А за боты — что ж? Со мной у мамы тоже забот хватало. И у мужа тоже. — Она вдруг подмигнула, и так задорно... — Поодиночке со всеми ругаешься, а соберешь всех вместе, с внуками, а теперь уж и пра внук есть, — и сердце радуется: мой помет, мое племя, я им жизни дала. Дети, ну и внуки — они все равно мои дети — это моя главная работа. Лифт — это что! — Она махнула рукой. — Я и не знаю, почему он ходит. Я деньги зарабатываю. Вы для меня другое дело, — говорит она, поймав мой взгляд. — Вы у меня вроде приемыша. Ладно, давайте-ка я вас соберу в дорогу. Чемоданчик возьмете?

— Хватит и портфеля...

В моем распоряжении еще много времени, и я уйду в свою комнату. Конверт лежит на выдвижной доске, и я беру его в руки с чувством, похожим на малодушие. Я и хочу и не хочу узнать, что там внутри.

Я угадал, стандартный конверт — только обложка. Внутри — приваченная большой проволочной скрепкой пачка бумаг. Я снял скрепку, и бумаги рассыпались.

Первое, что мне бросилось в глаза, — несколько строк рукой Успенского. «Дорогая Дуня...» Письмо неоконченное и неотправленное. Листки из перекидного календаря с сокращенными записями. Почерк слегка измененный, и я мгновенно представляю себе, как Паша, продолжая прижимать плечом телефонную трубку, тянется через весь стол к календарю. Грязноватый, в лиловых пятнах от расплывшегося чернильного карандаша, истертый на сгибах бумажный треугольник, точь-в-точь солдатское письмо военного времени, но без знакомых штампов. Различные справки на бланках прокуратуры и других учреждений. И, что меня больше всего поразило, — деньги, несколько крупных новеньких купюр.

Узнаю Бегу. Сделав меня своим доверенным, она считает себя не вправе что-либо утаить.

Чтоб разобраться во всем этом скоплении имен и дат, понадобилось около часа. Справиться с задачей мне помог опыт лабораторных исследований, пришлось даже воспользоваться пинцетом — чтоб не повредить бумажный треугольник. К концу работы я, основываясь на далеко не полных данных, уже знаю, кто такая Дуня и какого рода отношения связывали ее с Успенским. Попутно я принимаю твердое решение — даже в своих частных записях ничего не цитировать, ограничиться схемой, протокольным изложением фактов.

Дуня, Евдокия Савельевна Любашевская, — вдова Ивана Михайловича Боголюбова, одного из ближайших друзей Успенского, аре-

стованного в тридцать седьмом году. Была выслана в Казахстан, и Успенский несколько раз тайком посылал ей деньги.

Боголюбов попал в лагерь, где бесконтрольно властвовали «паханы», матерые уголовники, грабившие работяг и заставлявшие выполнять за них норму. Боголюбов восстал и был убит. Сложенное треугольником письмо, чудом дошедшее до жены, к тому времени уже вдовы, было прощальным. Иван знал свой конец. Бросив вызов «паханам», он не только защищал свое достоинство, но и мстил. Чтоб с ним не расправились тайно, под покровом ночи, он нанес удар первым — днем, при многих свидетелях. Убийцы не могли скрыться, были судимы выездной тройкой и расстреляны.

При посмертной реабилитации прокурор показал вдове приобретенное к делу давнее письмо Боголюбова к Успенскому. Письмо это не могло быть изъято у Успенского, следовательно, он передал его сам. Какого рода было это письмо и почему Успенский так поступил? Прямых данных на этот счет у меня нет. Предполагаю, что это было одно из тех доверительных писем, которые сегодня уже не кажутся криминалом, но тогда... Что руководило Успенским? Страх? Искреннее убеждение? Этого я никогда не узнаю. Может быть, не знал и сам Успенский, недаром его объяснительное письмо так и осталось недописанным.

Несомненно одно: Дуня — та самая женщина, что приходила к Успенскому. Приходила, чтобы сказать, что видела письмо, и заодно вернуть деньги. Конечно, эти деньги те самые, и для меня не представляет загадки, почему они оказались в этой пачке вместе с другими бумагами. Будь я на месте Паши, я тоже не знал бы, как с ними поступить.

Когда я наконец отодвигаю от себя изученные вдоль и поперек листочки, то чувствую себя усталым и разбитым, как после многочасовой операции.

Ложусь на тахту и прикрываю глаза.

У меня тяжело на душе, но я не смею жаловаться. Тяжелее всех Бете. Если она поняла все так же, как я, эта находка — лишний аргумент в пользу ее версии. Паше теперь уже ничем не поможешь, но Бете я обязан помочь. Чем? Никакая «ложь во спасение» в разговоре с Бетой невозможна, и я пытаюсь найти не мнимую, а подлинную щель в ее трактовке событий. Нащупать слабое звено и тем самым снять с ее души хотя бы часть тяжести. Это трудно, но не невозможно. Ни один аргумент не является абсолютным доказательством. Все зависит от его места в логическом ряду. И от точки зрения.

К примеру...

Если б Успенский в последнюю ночь действительно «готовил дела к сдаче», он должен был начать с секретного ящика. Он должен был либо уничтожить все эти бумажки, либо дописать письмо до конца. Если он этого не сделал, естественно предположить, что сердечный приступ настиг его внезапно. А если это так...

Я ощущаю неожиданный прилив энергии и вскакиваю. До встречи на вокзале остается больше полутора часов, и я вполне могу не торопиться. Но мне не хочется обижать Евгешу молчанием, а говорить с ней я тоже не могу. И я делаю вид, что мне пора.

Когда я вошел на перрон, состав еще только подавали. Он пятился бесконечно медленно, последний вагон с замыкающей гармошкой тамбура, с мутным, как бельмо, дверным стеклом надвигался на меня, тихонько позванивая и постукивая, он напомнил мне поезда военного времени, и было даже удивительно, что его толкает не

«овечка», а современный электровоз. Как видно, все силы фирмы ушли на фирменный поезд, состав был сформирован из вагонов-ветеранов, честно отслуживших свой срок.

Я провел больше получаса на полутемном перроне, наблюдая за посадкой и погрузкой, — грузились главным образом целые семьи, с детьми и стариками, неподъемного веса корзинами и перевязанными для прочности веревками картонными чемоданами. Временами я поглядывал в сторону вокзала. Наконец до отправления остается пять минут, я всерьез начинаю беспокоиться. И тут же по летящей походке узнаю Бету. Рядом Ольга, она машет мне рукой. Мы на ходу здороваемся и бежим уже вместе к голове поезда. Состав длинный — вагонов пятнадцать. У второго или третьего вагона мы останавливаемся. Бета берет у Ольги свой чемодан, женщины целуются, и мы поднимаемся на площадку.

Первые минуты после того, как поезд, передернувшись всем своим длинным телом, с лязганием оторвался от московского перрона, были омрачены склокой с проводницей. Проводница была молодая, толстобедрая и чем-то очень ожесточенная. Убедившись, что вагон наполовину пуст, она первым делом заперла на ключ одну из двух уборных и объявила, что чаю до утра не будет. Старичка, тщетно ожидавшего, когда освободится запертая уборная, она обозвала старым мухобоем. Несклько купе, в том числе самые лучшие — в середине вагона, — пустовало. Нам с Бетой не повезло, у нас оказались беспокойные соседи. Очень милая, но совершенно глухая и от этого еще более суматошливая бабка и вертлявая девочка лет десяти. Бабкины пожитки состояли из десятка кульков и авосек, и бабка все время заставляла девочку пересчитывать. В наше купе проводница явилась только для того, чтоб швырнуть нам четыре комплекта полусырого постельного белья и сурово предупредить бабку, чтобы она, спаси ее бог, не сорила на пол. «А то загваздают чисто свиньи, выгребай потом», — добавила она, бросив взгляд, из которого мы поняли, что эта всеобъемлющая формула распространяется и на интеллигентных чистоплюев вроде нас. Моя попытка позондировать почву насчет перевода в одно из пустующих купе вызвала гневную многословную отповедь, где был, между прочим, и такой мотив: людям, брезгующим ездить в одном салоне (так она называла купе) с представителями колхозного крестьянства, лучше не ездить в жестких вагонах, а сразу разориться на международный. Меня сильно подмывало, собрав остатки своего генеральского апломба, обругать распоясавшуюся проводницу, но Бета меня удержала.

Минут через двадцать, когда покорившийся вагон затих, Бета вдруг встала и вышла из купе. Отсутствовала она довольно долго. В ожидании я заговорил с бабкой и при помощи девочки (девочка оказалась не внучкой, как я думал, а правнучкой) выяснил, что старуха едет до того же разъезда, что и мы. В Москве ее посадил в вагон внук, «анжинер по мясу в комбинати», человек серьезный, а встречать ее должен другой внук, человек ненадежный, и старуха заранее волновалась. Девочка была дочерью ненадежного внука, и бабка возила ее показывать московскому доктору, поскольку их местный доктор «коновал и ни шута не смыслит». Я обещал бабке свою помощь при выгрузке и уже собирался отправиться на розыски Беты, когда она появилась в дверях в сопровождении все той же проводницы. Обе женщины улыбались, а Бета даже подмигнула: «Собирайся!»

В соседнем купе нас ждали аккуратно застеленные полки, обе нижние, на столике лежала салфетка, и я понял — до утра нам на-

верняка никого не вселят. Мало того, через минуту проводница появилась опять — с двумя стаканами чая в тяжелых подстаканниках. Поставив их на столик, она задернула клеенчатую штору и сказала «счастливо» тоном, не оставлявшим сомнения, что она считает нас молодоженами или скрывшимися от людских глаз трагическими любовниками.

Я не стал доискиваться причин перемены в настроении нашей проводницы. Думаю, что деньги тут ни при чем. Ожесточение обычно неподкупно. Просто Бета нашла какой-то безошибочный ход к сердцу проводницы и заставила ее посмотреть на нас другими глазами, на короткое время увидеть в нас не «пассажиров» (понятие статистическое), а таких же людей, как она сама, у которых тоже есть свои трудности и горести.

И вот мы едем. Поезд набирает скорость, и вагон меньше трясет. В коридоре тишина. Чай невкусный, но горячий. Мы пьем его молча, чем-то слегка смущенные. Наконец Бета спрашивает:

— Чему ты улыбаешься?

— Разве я улыбаюсь?

— Улыбаешься. О чем ты сейчас думал?

— Ни о чем. О том, что Волга — река в России из пяти букв.

— Не поняла.

— А нечего понимать. В отеле, где мы жили, — тут я зашнурлся, — ночным портье работал молодой негр. Он любил решать кроссворды. Для него Волга — река из пяти букв.

— Почему ты о нем вспомнил?

— Ты что, хочешь поупражняться в психоанализе? По какой-то дальней ассоциации. Кажется, со словом «пассажир».

— Ну?

— Пассажир — категория статистическая. Пример обезличивающей силы категории. С точки зрения железнодорожного движения, Эйнштейн, едущий к Рузвельту протестовать против применения атомной бомбы, — только пассажир. Семьдесят килограммов живого веса, подлежащих перевозке.

— Ну и что? Пациент — тоже категория и тоже статистическая. Помнишь, ты рассказывал, как оперировал на фронте эсэсовца? Во время операции он был для тебя пациент — и только. Это его и спасло. Как эсэсовца ты бы его зарезал.

Тут уж я не могу не улыбнуться. Бета остается Бетой. Возражение всегда наготове. Характер нелегкий для близких. Для себя — вдвойне.

Мы допиваем чай и доедаем бутерброды, сунутые мне тетей Евгешей. Бета сбрасывает туфли и удобно устраивается, подобрав ноги и опершись локтем о жесткий вагонный валик.

— А теперь ты расскажешь мне про Париж.

(Окончание следует)



МИХАИЛ РОЩИН

★

ВОСПОМИНАНИЕ

Повесть

Мне было семнадцать лет, я учился в школе и влюбился в учительницу.

Вот моя школа, в кривом, идущем книзу московском переулке. Надо пройти мимо Хивы, мимо зеленой «гвардейской» пивной, мимо белого домика, потом — школьным сквером.

Хива — это баня; пивную называли «гвардейской» из-за продавщицы Нюры лошадиного роста и с усами; двухэтажный белый домик стоял особняком, под черепичной крышей и имел нездешний голландский вид. Сквер был тесный, пыльный, выгоптаный, в нем росли старые высокие тополя. А за тополями уже виднелось типовое школьное здание из светло-серого кирпича, с частыми окнами, в четыре этажа.

Оно и теперь там стоит, как тридцать лет назад, хотя все вокруг изменилось. Снесли баню, снесли двухэтажные домики, а школу, прежде самое высокое здание в переулке, зажали новые высокие башни и длинные «безразмерные» дома.

Все исчезло, одна память осталась.

В пятом классе Витька Муравьев, он же Амайзе (мы учили немецкий), влез на гору угля во дворе Хивы и обнаружил, что оттуда видно по вечерам женское мыльное отделение. Мы влезали и глазели. Голые тетки с мокрыми волосами двигались среди тусклого освещения, словно в водяном подводном царстве.

В шестом классе третьегодник Мишка Провадкин, матершинник и вор, — ему отрезало ногу трамваем, когда он воровал с грузового вагона изюм и упал, — завел нас впервые в «гвардейскую»: он бойко прыгал на костыле у пивной и этим же костылем преградил нам путь. «Заходи, шмакодявы! — кричал он. — Ништяк! Угощаю!» Нюрка Гвардеец — она на самом деле поражала великаньим ростом и черными усами, — ругая нас сопляками, налила все-таки по указу Мишки тяжелые, щербатые, словно обкусанные по краям кружки. Пиво было вкусное, бочковое, бадаевское, «небалованное», как говорилось здешними мужиками. Мужики-работяги стояли тут же с распаренными после бани лицами, с мокрыми березовыми вениками под мышками, смачно сдували тяжелую пену на черный пол. «Ништяк! — ухарем кричал Мишка и ловко прыгал, зажав под плечом костыль, сам с двумя кружками. — Ништяк, мальки! Пей! Пей, пионеры, дети рабчих!»

В седьмом классе нас потянуло к белому домику. Там росли три сестры Шуб: Таня Шуб, Аня Шуб и Наташа Шуб. Каждую весну по очереди расцветала одна из сестер. Это были самые красивые девочки нашей юности, похожие на барышень: Таня и Аня беленькие, с расширенными, как у кукол, голубыми глазами, а Наташа смутлая, с черной косой и агатовым взглядом. Сестры учились на пианино, весной интеллигентные звуки музыки сквозь раскрытое голландское окно, уставленное цикламенами, достигали Хивы, и наши хулиганские сердца таяли от возвышенных чувств.

Иногда за белым домиком мы играли в кружок в волейбол, и если Таня (или Аня, или тем более Наташа) три раза кряду бросала мяч только тебе, все понимающе переглядывались, а тебя распирало от гордости и смущения.

Учились мы тогда раздельно, мальчики в мужских, а девочки в женских школах, как гимназисты и гимназистки, и у девочек была форма, как у гимназисток, и отношения складывались гимназические, манерные и отчужденные. Хотя вообще-то гимназиями и не пахло.

В начале лета переулком заносило пухом старых тополей: баню, школу, сквер. Бесшумные метели гуляли по классам, у всех чесались носы, мы писали контрольные и сдавали экзамены в кружеве и кружении пуха. Хлопковые полоски скапливались у плинтусов. Бывало, прежде кто-нибудь непременно сползет с парты или кинет издала спичку — огонек побежит живо, как по пороху, и взвизгнет учительница, вскочит и тут же завопит придурочно класс, — лишь бы урок сорвать. Но мы уже кончали восьмой, мы выросли, даже шутки стали другие.

Мы сидели теперь на четвертом, последнем этаже: Хива, белый домик, рыжие крыши — все осталось внизу. В том числе кособокий домишко нашей любимой учительницы Валентины Ивановны — он стоял как раз напротив через переулочек, и когда мы учились на первом, втором этажах, то окна домика глядели прямо на нас. У Валентины Ивановны была большая семья, малая зарплата, хлопот полон рот, и ее не окружала тайна, которая окружает обычно учителя: кто он, как живет? Она с силой растворяла среди зимы или лета две рамы одну за другой и кричала: «Таня! Принеси часы, я забыла!»; или: «Мама! Я там белье оставила кипеть! Помешайте!»... В пятом-шестом на переменках мы вылезали по пояс в окна и в сорок глоток рывками на весь переулочек: «Та-ня! При-не-си часы!»

Седьмой класс был тогда рубежом. После седьмого половина ребят уходила в техникумы или работать. В войну почти все пропустили кто год, кто два и в седьмом учились и пятнадцати- и шестнадцатилетние. Нас оставалось все меньше. Скажем, седьмых было три, восьмых два, девятый только один, а десятый и подавно один. Десятый — это уже была вершина, элита, почти автономное государство.

Когда мы перешли в восьмой, то наш десятый, выпускной в тот год класс, казался из особенных особенным. Это были серьезные усатые дяди. Потом никогда в жизни так не чувствуется разница в год или два, как в школе. Мы, восьмой, а они, десятый, — это были небо и земля. Правда, там действительно собрались головастые парни и каждый знал, чего хотел.

Когда они, кто при галстукке, кто во вполне взрослом пальто или костюме, с тяжелыми портфелями — а мы и портфелей-то не носили: пихнешь учебник да тетрадки за пазуху, и ладно, — стояли у школы перед уроками, свободно покуривая, важно говоря о своих важных

делах, мы прошмыгивали мимо них, будто студенты перед профессорами.

Они иначе ходили (а не бегали), иначе опаздывали (не унижая себя враньем и скрываньем по чердакам и уборным), свободно (а не хихикая, краснея или исподтишка) шутили с нашими молоденькими учительницами и с пионервожатой Зоей, разменивали в буфете пятерки и десятки (а не считали медяки). Они главенствовали на школьных собраниях, и мы голосовали за предложения, которые они выдвигали. «Десятый «а»-дель», — шутила наша учительница немецкого Раиса Яковлевна, а «адель» по-немецки «дворянство», «элита». Пока мы «доходили», срывали уроки, упивались сами собой и своей пылкой дружбой — у нас был бешеный и веселый класс, — эти грызли гранит науки.

Они покинули школу, как короли: из тридцати учеников шестнадцать получили медали — невиданно! Все поступили к осени в институты, да не в какие попало, а на физматы, физтехи, филфаки, инязы.

В школе прибили мраморную доску с их золотыми именами, и их примером, их славой, этой доской нас и идущих за нами вечно гвоздили по головам.

Хотелось скорее дорасти, тоже оказаться в десятом!

Но впереди еще был девятый, целый учебный год.

Как, почему я прежде не обращал на нее внимания? Ведь встречались в школе сотни раз, на экзаменах в седьмом она даже сидела у нас ассистенткой, делала вид, что не замечает, когда шпаргалили. Как и у всех, у нее было прозвище: Белая Головка (довольно нежное среди жестоких школьных прозвищ) — так в ту пору называлась дорогая водка, запечатанная белым сургучом, — это из-за ее белых-белых гладких волос, белого лица, светлых глаз; да и вообще ее гладкая голова, стройная, всегда открытая шея, рисунок плеч действительно напоминали линии бутылки. Два ее брата, близнецы Павка и Славка, учились у нас в седьмом. Я даже знал, где она живет: в Малом Хивинском, пять минут от школы, в старом трехэтажном доме — два верхних этажа его зеленели по фасаду старинной керамической плиткой с белыми птичками, — он так и звался: Птичкий дом.

Может, она примелькалась? Или, может, изменился я и в тот день она сама обратила на меня внимание и тем привлекла мое?

Было 1 сентября, мы стекались к школе и толпились перед ней под утренним солнцем. Школа была как школа, и утро, как бывает утро 1 сентября. Но все-таки этот день вечно кажется новым; бежишь, а сердце колотится: вот сейчас увидишь всех, сейчас начнется! Все будет по-другому, другой класс, новые предметы, иная жизнь.

Мы собрались, воплями встречали каждого, мы соскучились, мы изменились за лето. Жали руки, хлопали по плечам: «Братцы, глядите, Амайзе-то, Амайзе!»

У маленького Амайзе выросли отчетливые усы. Строгий наш Капитан (Степка Серабекян) был чисто выбрит, он с осуждением глядел на нашу возню, и, как всегда, следовало ожидать от него новых крутых идей и ни на что не похожих мнений. Саня Яблочкин вернулся из Германии от отца-генерала (часы, зажигалка, заграничные сигареты) и держался чуть свысока, будто знал что-то, чего мы знать не могли. Мой друг Вока показал мне из своих рук маленькое фото губастой и сонной на вид девушки: «Потом расскажу, умрешь!»

Толстый Жека Борисов стал еще толще, на лице его поблескивали очки.

Я тоже изменился — вырос, похудел, волосы выгорели и отросли, я нарочно их не остриг. На мне была новая курточка на «молнии» и новые ботинки. Я жил в деревне на севере, научился косить, работать на молотилке, пас и купал лошадей, мы с бабушкой засушили полмешка грибов. Я много читал в то лето: меня поразила «Саламбо» Флобера, я запоем глотал Сенкевича. «Слушай, ты читал «Камо грядеши»? А ты читал? Кто читал «Камо грядеши»?..»

Глядя на меня желтыми, с поволокой глазами, один Степа Капитан сказал: «Ну, я читал» — и, кажется, готов был сию минуту схватиться со мной спорить.

Народу прибывало, вокруг галдела и строилась по линейкам школа. Явилась Маргоша, наш классный руководитель, своякая, смешная, в шляпке из птичьих перьев, мы обступили ее, и каждый оказался выше Маргоши на голову (кроме Амайзе).

Учеников строили и никак не могли построить. От здания школы пахло ремонтом, солнце сверкало в вымытых стеклах (ни одного разбитого), блестили трубы малосильного школьного оркестра, и оркестранты как один нарядились в белые рубашки и красные галстуки. На тротуаре напротив толпились зеваки-прохожие и родители малышей. Из домика Валентины Ивановны глазели в окна.

Но вот директор, учителя, представители района и родительского комитета цветастой группой поднялись, как на трибуну, на высокое школьное крыльцо. Мы стояли внизу.

— Глядите, Чичкин-то, Чичкин! — зашуршало по линейкам. — А Нос-то, Нос!

Впервые в жизни мы видели нашего директора Ивана Михайловича не в гимнастерке и сапогах, а в гражданском, и даже довольно светлом, костюме. Крахмальный воротник и новенький галстук подпирали его шею. Нос (завуч Иван Иваныч) тоже белел летним пиджаком, хоть и обвисшим, с залоснившимися карманами.

На крыльце мы находили знакомые фигуры и лица: вон физик Голубчик (жив курилка!); вон чахоточный чертежник Жареная Пипетка, застенчивый, словно девушка; вон лукавая улыбка и странная японская прическа Раисы Яковлевны. А дальше, позади, сплошной клумбой — молоденькие наши учительницы, те, что ведут начальные классы.

— А это кто? — спросил я Воку, который стоял позади меня в шеренге, и, пока он отвечал удивленно, уже сам понял: Белая Головка.

И Вока сказал:

— Кто? Да Белая Головка.

Правда, я еле ее узнал: стоит молоденькая, гладко-гладко причесанная, с пучком на затылке, веселая. Платье полосатое, вроде тельняшки, с широким матросским воротником. Стройная. Белолицая даже после лета. Только губы чуть накрашены, как у всех женщин. Белая Головка.

Она шепталась с другой молодой учительницей, Любовью Петровой, своей подругой, обе прыскали со смеху, как девчонки.

Шум не утихал, Чичкин блеснул очками, воздел руку. В другой руке забелел листок с заготовленной речью. Ей-богу, его едва можно было узнать. Но вот он рявкнул: «Ти-ха-а!» — и вздох облегчения прошел по линейкам: «Он! Чичкин!»

Директор еще обернулся назад — среди учителей тоже не совсем затих смех и говор — и, надсаживая горло, стал читать по бумажке речь. Его тут же, с первых слов, перестали слушать.

Я не сводил глаз с крыльца. Неужели это она — Белая Головка, Анна Николаевна, наша учительница? Что ж я не видел раньше, какая она? Да, конечно, Анна Николаевна, Аннушка, Белая Головка, четвертый «б» на первом этаже, почти у раздевалки, бежишь утром, а она стоит в дверях, собирая в класс свою мелкогу...

В линейках слева и справа гудели молодыми басами, восьмиклассник Купцов, прячась за спинами, копировал Чичкина, Вока фыр-кал мне в затылок. Я не обращал внимания. Я глядел в одну точку.

И еще через минуту мы встретились с нею взглядами.

Клянусь, все и случилось в тот миг. Удивленно раскрылись ее глаза, будто спрашивая: «Ты что?» Потом ясный испуг мелькнул в них. Она отвела глаза и опустила, а я...

Чичкин беззвучно разевал рот, потом беззвучно сверкнул трубами оркестр, здание школы качнулось и стало на место. Я где-то побывал и вернулся. Далеко-далеко. Меня ударила, унесла и возвратила назад волна.

Потом, сто раз вспоминая этот день, перебирая все до мелочи, мы с Анной Николаевной сошлись на том, что действительно все решил этот первый взгляд. Мы оба не ошиблись.

Но, может быть, еще важнее было то, что случилось дальше. А дальше случилось то, что Анна Николаевна стала краснеть. Запылала, вспыхнула, залилась красным, как лозунг «Добро пожаловать!» над ее головой.

Я вмиг вспомнил: школьные коридоры, перемены, когда мы подпираем стены, а молодая учительница идет случайно мимо и словно попадает под шпигрутены. И вдруг начинает краснеть. Ни с того ни с сего. Ей бы бежать бегом, но достоинство не позволяет, она лишь опускает голову, совсем низко, идет, бедняга, а мы потешаемся. Еще и шуточку кто-нибудь отпустит в спину.

Даже загадывали, бывало, едва завидев Белую Головку: покраснеет или нет? А нечего было и загадывать — обязательно покраснеет. Такое дурацкое свойство у человека. Даже жалко станет.

А теперь — теперь она краснела на виду всего народа, без причин, да как! Лоб, шея, даже грудь пошла пятнами в белом вырезе — бедная, от стыда за эту краску она краснела еще пуще.

Она наклонилась; она стала притворно кашлять, зажав рот платочком; на нее оглядывались, и первым — Нос. Любовь Петровна испуганно обняла ее и повела острым взглядом по линейкам, догадавшись, что опасность пришла отсюда, от нас.

— Твоя-то, твоя-то, смотри! — зашептал сзади Вока и хихикнул.

Я оттолкнул его локтем.

Что со мной стало! Полуобморок, голова пылает. Я еще не понял, но чувствовал — случилось. Важное, сильное, чего не бывало. Я жалел ее; стыдился себя; боялся поднять глаза: казалось, вся школа обернулась на меня. И вместе с тем победное что-то, ликующее что-то! Неужели? Я — и эта молоденькая, но взрослая женщина, учительница? Непостижимо! Но я же видел ее глаза, видел! Почему она так вспыхнула?..

В ту минуту я об этом не подумал, но вообще подобные истории бывали. Поговаривали, например, что что-то было между красавицей пионервожатой Зоей и Владиком Фигурковым из того десятого, о котором я рассказывал. Но Фигурков был великан парень, кандидат

в мастера по волейболу, атлет, полный покоя и высокомерия. А Зоя все-таки пионервожатая, не учительница.

В прошлом году ходила по району еще история: про одну десятиклассницу и учителя литературы из женской школы. Что будто бы был большой скандал, десятиклассница чуть ли не родила от него, а у него была жена, или жены не было, и его заставили жениться, а он не хотел. В общем, что-то такое было. Что-то некрасивое и скандальное.

Не зря сказал однажды Нос, запретив нам идти на вечер в женскую школу: «Вы не пойдете, потому что у вас появился нездоровый интерес к противоположному полу!» («Здоровый!» — крикнул Вока не своим голосом.)

Наш митинг между тем продолжался. Еще и еще говорились речи — от шефствующей фабрики, которая сделала нам ремонт, от райкома комсомола, от родительского комитета. После каждой речи оркестр нестройно играл туш. В линейках томились и валялись дурака. Купцов продолжал копировать выступающих. Пятиклассники пуляли из резинок в оркестр проволочными пульками. Заговорила представительница районо — все замычали с закрытыми ртами. Чистенький пионер из четвертого класса звонким голосом благодарил всех за заботу и заверил, что мы будем учиться только на четыре и пять. Его тут же обстреляли пульками, одна попала в нос, и он заплакал.

Вока позади бился от смеха, тыкал в спину, но впервые в жизни общее веселье происходило без меня. Когда я снова решился поглядеть на крыльцо, то увидел: Анна Николаевна все еще прижимает ко рту платочек, не смотрит вокруг и лицо у нее теперь блеее ее белых волос.

А я — я уже желал одного: еще раз! еще! такой же взгляд! Ведь он был! Я не ошибся!

Нос сообразил, что пора кончать. Еще минута — и школа будет стоять на голове. Он пошептал на ухо Чичкину, тот кивнул, воздел руку, рявкнул, что торжественный митинг, посвященный началу нового учебного года, окончен. В шеренгах захлопали, закричали «ура», все пришло в движение, оркестр запоздало занял бог знает что, гимн не гимн, и директор с досадой махнул рукой, чтоб совсем перестали. При этом кто увидел его жест, перестал, а кто не понял, продолжал дудеть, вышел полный конфуз.

Учителя задвигались и стали спускаться каждый к своему классу.

Я видел, как торопливо пошла Анна Николаевна, замелькало ее платье-тельняшка; толстая родительница преподнесла ей букет, она приняла, благодаря, но, как мне показалось, рассеянно. Я видел напряжение ее улыбки. И я понимал очень хорошо, что она панически боится поглядеть в мою сторону.

Опять все галдели, строились, смеялись, мелькала шляпка Маргоши из птичьих перьев, потом загремел в недрах пустой школы электрический звонок — тоже новинка. До этого нянечка тетя Галя ходила по этажам и трясла медным ручным колоколом словно бы с небольшого корабля. Чичкин, расплывшись, поднял палец, чтобы все послушали, как славно гремит новый звонок.

Пора было двигаться в школу.

И тут без команд и криков все медленно стихло, сгасло, потом потеснилось и собралось. Что-то произошло в одну минуту. Перестали кривляться, хихикать, щелкать по затылкам. Взрослые стали серьезны, и их неподдельная серьезность передалась нам. Линейки

выровнялись. И все взгляды обратились на одно. Я тоже уловил общее напряжение и забыл ненадолго о себе и об Анне Николаевне.

Вообще ничего особенного не случилось. Просто, как всегда по заведенному ритуалу, первыми должны были войти в школу первоклассники. И их сейчас вела к крыльцу незнакомая молоденькая учительница, рыжеватая, с веснушками, — она рдела от всеобщего внимания.

Обычно вид первоклашек, их марш вызывают умиление, улыбки, потешный почет. Сзади видны были их одинаково стриженные наголо, белые от свежей стрижки головенки и белеющие воротнички. Они крутили шеями, оглядываясь на мам и бабушек. Новенькие портфели доставали до земли. Торчали вкривь и вкось замучившие их пики гладиолусов. Учительница хлопотала, как насадка, шептала, наклоняясь, ласково, и вот уже у крыльца взяла первого за руку.

Это было знакомо как дважды два и, наверное, не вызвало бы такого напряжения, как сегодня, если бы не одно обстоятельство. Стояли вокруг наши линейки, вся школа, и было нас много, больше тысячи человек. И каждый класс был не один: пять вторых, и пять третьих, и пять четвертых, и пятых, и шестых. И четыре седьмых: седьмой «а», седьмой «б», седьмой «в», седьмой «г». (Старшие не в счет.) А вот первый класс оказался у нас в этом году один. Единственный. И линейка его была заметно короче других. Один первый «а».

Учительница с веснушками скомандовала им идти, они двинулись: переваливаясь, отставая или налезая на соседа, волоча по ступенькам портфели, продолжая оглядываться. Старушки на тротуаре запричитали негромко, мужчины нахмурились, Иван Михайлович сдернул очки и промокнул глаза неразвернутым носовым платком. Нянечка тетя Галя в белом ради праздника платочке в мелкий горошек держала настежь дверь и тоже сердобольно кивала, словно кланялась в пояс. Мальчишки втекали в дверь и не понимали, не подозревали, отчего им такой молчаливый и печальный почет.

Это шли мальчишки сорок второго года рождения.

Поэтому их было так мало.

Примерно месяц спустя вечером в пустой школе мы сидели с Анной Николаевной вдвоем в пустом освещенном пятом «а»: я проводил пионерский сбор в ее классе, мы отпустили ребят, а сами остались, заговорились. Та же нянечка тетя Галя заглянула к нам, чтобы убирать помещение, но махнула рукой:

— Сидить, сидеть, у меня еще тама делов!

Анна Николаевна рассказывала о своем женихе лейтенанте Оресте Честнокове: его мобилизовали уже в конце войны, он едва успел закончить училище и погиб за два месяца до победы в эшелоне по пути на фронт. Ей тогда было восемнадцать. Пожениться они не успели.

Мой отец тоже не вернулся с войны. Мало что не вернулся — пропал без вести. По тем временам это считалось хуже, чем погиб. (Хотя что может быть хуже?) И моя мать, тоже молодая женщина, осталась одна. Слушая Анну Николаевну, я подумал о матери; может быть, впервые подумал о ней как о женщине, которая осталась без мужа, а не как о матери. Странно.

Но у нас еще была надежда: все, у кого «пропал без вести», и много лет спустя ждали возвращения своих. И были случаи: возвращались.

Вока поведал мне свою летнюю историю. «Тебе одному, никому больше, понял?» А сам подмигивал и смеялся, будто собирался рассказать смешное. Я верил и не верил, Вока мог и трепануть. Хотя все мы знали, как его кошачья морда нравится девчонкам. На школьных вечерах, когда играли, бывало, в почту, почтальоны пачками носили ему записочки: «От номера 17 номеру 4!», «От номера 39 номеру 4!», «От номера 22 номеру 4!» Правда, потом, как разглядишь номер 17 или номер 22, чуть со смеху не умрешь: все какие-то дуры с толстыми ногами или прыщами на лбу, красные, потные от волнения, хихикают, как маленькие, да и записки дурацкие! «Фи, Вока! — скажет, бывало, Саня Яблочкин (он это умел). — Фи! Середнячок, один середнячок!» Но Вока отвечал: «Сэр, что вы понимаете в середнячке!» И он сортировал записочки, строчил ответы сам в возбуждении и поту, назначал свидания, бегал на них, врал бог знает что и орал: «Выпьем за наши победы над женщинами!»

То, что он рассказал, походило, однако, на правду.

Как обычно, он жил летом на даче под Москвой. Валялся в компании ребят и девчонок на берегу пруда, купался, гонял на велосипеде, «стукал» на пустыре в футбол. Что делать на даче? Вечерами танцуют на пятачке под радиолю, выставленную в окне. Там каждый в кого-нибудь влюблен — атмосфера такая... Я бывал у Воки на даче и, когда он рассказывал, представлял себе и пруд, и дачу, и их компанию, и пятачок, где танцуют: там проходящая электричка делает поворот и вдруг слепит танцующих длинным лучом прожектора, освещает их и облако пыли от их ног. В дождь сбивались у кого-нибудь «на хате» — всегда найдутся бойкие две сестры, или безотказный парень, или молодая, всех постарше, женщина своя в доську, — где никогда не бывает родителей, где комната пуста и просторна и еще терраса и темные углы, и ничего нет поест, и ребята тащат из дому кто хлеб, кто колбасу. Здесь можно курить, галдеть, петь, крутить пластинки, дуться в картишки, играть во флирт цветов или в бутылочку, а то и скинуться на винишко. Под дождем кто-нибудь и сбегает — весело, босиком по глине, накрыв голову плащом — в буфет на станцию или сгоняет на велике по мокрой траве, по чистым лужам. Разопьют на пятнадцать человек бутылку-другую, а веселья, смеху, свободы — куда там! Главное, здесь можно все, что запрещено, все свои, все тебя понимают, и никто не рыкнет, что у тебя еще! молоко на губах не обсохло... Свет выключен, свеча горит, опять заводят все одну и ту же пластинку, и опять танцуют, тесно-тесно, и пары смолкают, затихают к концу танца, и девчонки прячут глаза. А следующий танец — только головку адаптера переставить скорее с конца пластинки на начало, и все ждут, лишь ослабив объятия, не расходясь, — ты опять танцуешь с нею же, а потом еще и еще. Вы с ней давно затеяли переглядки, на пруду ты толкал ее в воду, в общей возне будто нечаянно давил ее грудь, хватал, ныряя, под водою за ноги — игра, что такого! Возвращаясь с пруда, ты непременно ее везешь на своем велосипеде, посадив на раму, — ох этот велосипед! Ты почти касаешься губами ее затылка, пахнущего рекой, ветерок лепит ее волосы на твои щеки, ее спина мягко и тепло вдавливаясь в твою грудь, а твоя правая рука то и дело касается ее груди. Десять минут назад ты краем глаза видел, как она снимает купальник: уже надев на мокрое тело липнущее платье, спускает купальник из-под платья по ногам и чуть топчет его ступнями, еле удерживая равновесие.

Она сидит боком на раме, ее голые коленки, прижатые невинно друг к другу, свисают над дорогой все в одном и том же положении и слепят тебя своей округлостью, ореховым загаром, пятном зеленки — это ты сам вчера замазывал ей ссадину на правой ноге: перекувырнув пузырек, мазал мокрой пробочкой, а она сидела на вашем крыльце, чуть подняв над коленкой сарафан, больше, чем надо, ойкала, что щиплет, пока ты не наклонился совсем близко и не стал дуть на ссадину, как дуют на ранку ребенку.

А потом сенокос, мужики окашивают каждый овражек, канавы, берег пруда, остро пахнет травяным соком, а на завтра — вянущей на жаре травой; росы падают, вылезает вдруг багровая луна за трубой и крышами кирпичного завода, а вы сидите на краю канавы, за поселком, под нависшей бузиной, велосипед блестит рядом на земле, твоя рука у нее за пазухой, она сжалась, ни слова, уже час ни слова и другой, только это стискивание, горящие лица, оторопь, неизбежность...

Вока влезал в три часа утра в окно своей дачи со всеми предосторожностями, но к нему выходил отец в длинных трусах, светил в лицо уже ненужным на рассвете фонариком и говорил: «Это ты, идиот? Кто тебя родил, я или Мопассан? Я сожгу этого Мопассана к чертовой матери!» Вокина мама всхлипывала в другой комнате: «Он гибнет! Он гибнет!»

Дня через три сметали в копны сено, можно было повалиться в него — сидеть, сидеть под копной, а потом повалиться. «Она слова никогда не сказала, — рассказывал Вока, — я еще чего-то побормочу, неудобно вроде, а она... ну дерево! сосна!.. Лежим уже, все такое, целоваться не дает, мычит, головой крутит, я думаю: нельзя ничего, а потом смотрю — можно... Если молчит человек...»

То, что случилось на сене, повторилось еще два раза, а потом они чуть ли не возненавидели, избегали друг друга, середь бела дня не глядели в глаза, и все кончилось так же молча, без объяснений.

Впрочем, о том, как все кончилось и как коротко продолжалось, Вока рассказал после, а поначалу вышло так (тем более что он фото показывал), будто это и теперь продолжается. К тому же в сентябре Вока еще раз два-три мотался на дачу. «Я завтра на дачу, — говорил он и подмигивал, — поехали?» Я только фыркнул в ответ. Хотя мне страшно хотелось поглядеть на эту его Наташу: так и тянуло, будто к замочной скважине.

После этого рассказа (там было еще две-три подробности, которые не шли у меня из головы и даже приснились) Вока сделался как-то неприятен мне, даже физически. Что-то было не так. Не зря он утаил, как все кончилось. Услышь его Степа Капитан, он поглядел бы на Воку с отвращением.

Вока преступил черту, нарушил обет. Он ушел туда, куда и нас тянуло, но мы преодолевали, мы утаивали. Мы были как девушки и ждали Любви. А это что? Правда, идиота кусок! Будто мы дураки, а он взял и обвел нас вокруг пальца.

Я еще и ревновал: моего лучшего друга будто бы украли. Подержали в чужих руках и вернули. Кого вернули? С чем?

И еще помимо воли я завидовал: как это он, негодяй, легко и просто все сделал? Он отдалился, но, странно, не вниз, не в сторону, а вверх. Даже не знаешь, как теперь с ним. Будто он большой, а ты маленький. Будто ты всегда был умный, а он дурак, а оказывается, в дураках-то ты!

И еще я думал: как Вока теперь будет жить? С этой раскрытой тайной, с этим открывшимся ему миром Женщины? И отчего в нем ничего не переменялось? Кажется, в с е должно измениться. А Вока как Вока, весел, говорлив, душа общества, хихикает, получает пятерки. Что было бы, если бы эту историю узнали в школе?

Всю жизнь взрослые боятся этого как огня. Считается, что мы ничего не должны знать. А раз не должны, то и не знаем. Не знать морально, а знать аморально. И мы со страху делаем вид, что не знаем. Ханжество.

Уже прочитано сто романов, пересмотрено сто фильмов, изучены по музеям скульптура и живопись; тайком в читалках перелистаны энциклопедии и тяжелые тома с холодящим названием «Мужчина и женщина». Еще вон когда, в шестом, что ли, классе, когда таскали в школу на показ и обмен мелкое трофейное барахло — кресты, монеты, финки, пули, погоны, — мелькнули под партами в чьих-то руках немецкие офицерские коричневые картинки на твердом картоне: там было сфотографировано нечто вовсе дикое для детских глаз.

Как же не знать? Куда деть соседей, сестер, матерей, пьяную бабу возле пивной, разводы, сплетни, драки, свадьбы, вечерние рассказы во дворе инвалида Жоры по прозвищу Сопля? Куда деть войну? Нет ничего острее наблюдающего детского взгляда и слушающего детского уха. Куда деть себя, свое собственное тело, пугающее неуправляемыми процессами?..

Все думают, что мы ничего не знаем и не должны знать. А ведь как просто проверить: взять и вспомнить, когда и что ты знал или видел сам. С каких лет?

Странно это было сознавать: что ложь всех устраивает, а правду лучше скрывать.

Или стыд выше правды?..

Утром мы встречаемся в школе.

Увидеть ее, увидеть хоть на минуту, иначе, кажется, дня не прожить! Все мысли об этом.

Чичкин и Нос диву давались, что со мной стало: я не опаздывал, не болел, не прогуливал (почти), я целыми днями болтался в школе. Недоумевали учителя, так и нюхала-нюхала-нюхала носом Маргоша, усмехался мой класс: я в охотку мчусь за журналом в учительскую, за мелом, тряпку намочить, исчезаю минут на пять, опять возникаю, таю прерывистое дыхание.

При этом я почти завалил четверть и начал заваливать другую.

...Бегут, бегут со всех сторон во тьме зимнего утра к порогу школы фигурки с портфелями, большие и малые. Малых за руку волокут. Стекаемся к одной точке из пространства, как пчелы к летку. Тяжелая дверь ходит туда-сюда. Крыльцо обколото от льда, посыпано песком. Все окна горят желтым светом, как ночью, и свет лежит квадратами на истоптанном снегу.

По заведенному порядку учителя ожидают нас в вестибюле. Холодно, гулко. Кто в платке, кто в пальто внаброску — дует, грязный снег тает на кафельном полу, хотя мы со старанием колотим ногами о веревочные половики. Где она?

В дверях, в коридоре, в раздевалке идет первая утренняя разминка, дурацкая школьная возня: портфелем его! дави масло! подножку! оплеуху! тычок! скачок!.. Вались в раздевалке в кучу малу! — Не бе-гаты!

Иван Михайлович, по-прежнему, по-будничному, в гимнастерке и сапогах, рассказывает по площадке лестницы, точно капитан по мостику. Чтобы мы не гоняли спозаранку по коридорам, нас опять-таки выстраивают в шеренги и организованно ведут по классам. Обожают Чичкин, чтобы строем, шеренгой, руки по швам. «Руки по швам! — гремит он на переменках. — Не бе-гать! Сто-ять! Как фамилия? Ти-ха!»

У перил притулился Нос, положил на перила кипу классных журналов и таинственных папок со шнурочными завязками, придерживает их локтем, а сам заносит кого надо в книжечку. Ежится от сквозняка, носом своим знаменитым шмыгает, а стоит, все видит, ничего не пропустит.

За ними на площадке — бюст вождя, выкрашенный серебряной краской, на кумачовом пьедестале. Понизу горшки с зелеными кустиками, без цветов, каждый горшок обернут в цветную бумагу зубчиками. Сверху скрестились пыльные знамена с кистями.

А мы кипим внизу, как море, вздутое ветром.

— Ти-ха! Не бе-гать!

— Здрасс, Ивмих! Здрасс, Ва-чч!

Издали, от дверей, я нахожу ее фигуру, белую гладкую голову. Она кутается в платок, сутулится, лицо у нее бледно, полузаспанно — что она, нездорова? Она машинально покрикивает на своих, собирает их в шеренгу — теперь у нее пятый «а», страшные люди, — и разговаривает со своей Любой, Любовью Петровной, или с другой учительницей. Наверняка речь идет о продуктах, сговариваются, у кого когда окно и кто побежит среди уроков в магазин. Или просто стоит, покрикивает, здоровается, отвечает ученикам, а сама словно отсутствует, кутается в платок.

Я вижу ее, и у меня колотится сердце. Ну посмотри, посмотри!.. Я примчался без пальто, красный с мороза (раздетые не считаются опоздавшими, мало ли, в раздевалке застрял, а кроме того, шик!). Она взглядывает на меня коротко, тут же отводит глаза, выражение ее не меняется, она продолжает строить ребят. Ни Носу, никому нечего заметить.

Но я успеваю угадать что-то: смущение, легкую-легкую краску, выступающую на щеки. «Ах, я все вижу, вижу, рада, только проходи, пожалуйста, не медли».

Если она стоит с Любой и увидит меня при Любе, то Люба, хоть и не сказано ничего, тут же проследит за ее взглядом и обернется на меня. А потом к ней. А Анна Николаевна чуть пожмет плечами: мол, я-то что?.. Но чуть усмехнутся обе.

Смейтесь, смейтесь! Подумаешь, девятиклассник в учительку врезался, не он первый! Но я-то тоже не слепой!

— Приветик, Любовь Петровна!

— Приветик, приветик, — скажет Люба с усмешечкой. — Простудиться хотите? — И она еще посмотрит на Анну Николаевну, словно та должна не пускать меня без пальто: мол, ты-то что не скажешь?

Пятый «а», ломая шеренгу, тянется ко мне, кричит, здоровается, я машу им — потом, мол, братцы, потом — и бегу дальше, на ходу пожимая руки своим. И вдруг хлопаю кого-то по спине, или пуляю шапкой, или подпрыгиваю с вытянутой вверх рукой: в коридоре в одном месте остался после ремонта висеть с потолка кусок электрошнура и все мы прыгаем здесь, кто достанет.

Я — ее — люб-лю!

За минуту до звонка вестибюль должен опустеть. И — горе опоздавшим!

— Па-а-чему? Как фамилия? К стене! Пишите объяснительную!

— Звонок же, Ив Михальч!

— Ти-ха! Пишите!

Я опоздал. Как это я опоздал? У мамы был отгул, она не проснулась вовремя, не разбудила меня, я проспал. И еще мать велела натаскать дров, собиралась стирать. Я огрызнулся, она разозлилась. Пришлось бежать в сарай, носить мерзлые поленья.

— Пишите! — рявкнул директор.

Скорчишь рожу,строишься на подоконнике, вырвешь нахально на глазах у Носа, который этого терпеть не может, лист из тетради и пишешь какую-нибудь чепуху («Согласно пункту 6 школьных правил, ученик должен являться в школу чистым и опрятным. Не обнаружив утром пуговицы в одной части своего туалета, я стал искать иголку с ниткой. Должен заметить, что в нашем доме найти иголку так же нелегко, как в стог сена...») И так далее). Пишешь, а сам проклинаешь себя, представляешь, как она поглядывала на дверь до последней минуты, как повела по лестнице класс, нарочно отставая, пропуская мимо себя ребят на повороте лестничного марша, как еще раз посмотрела на дверь, на часы... Черт! Теперь она будет думать, что со мной что-то случилось. А я? Я же урока не высижу!..

Проклятый Нос без улыбки читает твое объяснение, развязывает тетемки, укладывает листок вместе с другими в папку.

— Зайдете после уроков.

— Я не могу после уроков, у меня бабушка...

— Зайдете после уроков.

— Да чего я? Чего я сделал-то?

— Зайдете!

Взглянешь на его физию с ненавистью, а ему хоть бы что! Гад! Серый кардинал! Чтоб тебя еще разнесло!.. Фигурка тщедушная, костюм залоснившийся, будто на него постное масло вылили, войлочные боты, галстук свернулся в трубочку, а — нос! У него на мелком лице носище сидел, как у истукана с острова Пасхи. Мало того, еще и поражен был каким-то воспалением — завуч его мазал то ихтиолокой, то пастой Лассара, то еще черт знает чем, заклеивал, пудрил, прижигал, отчего нос вовсе имел тот вид! Раиса Яковлевна с таким выражением, что она этого, мол, не говорила, сказала однажды, что другой бы человек с эдаким носом и носа на улицу не высунул. Правда что! Но Нос и думать не думал, что его вид может быть кому-то неприятен. Как же! Как это без него! По его мнению, не приди он день в школу — и здесь все развалится, рухнет, падут два великих столпа: Дисциплина и Успеваемость. Порядок превыше всего!..

Чичкин все-таки был лучше. Хоть грозен, но отходчив. Не будь, например, сейчас Носа, наверняка бы отпустил, особенно малышей. А тут стой, жди, почти пятнадцать минут прошло.

Чичкин сам разводил опоздавших по классам. Раз, два, вперед! Бодро рванет по лестнице, еле угонишься, хотя у самого пузо выпирает из гимнастерки. (Он не гнушался и бегать за нами по коридорам.) Малыши совсем не поспевают за ним: пыхтят, глаза перепуганные. Мы-то хоть посмеиваемся, а на них глядеть жалко.

— Ти-ха! Стоять!..

Распахивает настежь дверь, отступает на шаг — и с ходу, вроде с разбегу, влетает в класс! Учитель пугается, класс вскакивает, гремя

крышками (а все уже пригрелись, размякли, подремывают), а он толкает тебя перед собой и ставит на середину: мол, вот смотрите на этого понурого негодяя, как он нарушает учебный процесс и порядок!

— На место!

Волочишься на место, спина выражает вину и покорность, а сам уже подмигиваешь классу и рожи корчишь. Не успеешь пройти по проходу, плюхнуться на парту, а Чичкина след простыл, марширует дальше.

— Ты чего? — спрашивает Вока.

— Да ну их к черту! Все Нос!

— Тише, тише! — говорит от доски учитель, который уже пришел в себя и готов продолжать урок. — Опоздываете, понимаете, да еще. Итак, на чем мы остановились?

«Ты-то еще! — скажешь ему про себя. — Молчал бы, жук очкастый!» И сидишь потом мрачный, как Демон лермонтовский, ничего не слушаешь и не хочешь. Как бы удрать, как бы отпроситься?.. Раз обернешься к Сане, другой (у Сани часы): «Сколько там? Скоро ли? И не высидишь в конце концов, тянешь нервно руку:

— Ой, извините, я дома утюг не выключил! Можно, сбегаю, со сдьям позвоню? (А у нас и телефона нет!)

Школа — не самое лучшее место для свиданий, но влюбленным как говорят, бог помогает. Чего я только не вытворял, лишь бы поглядеть ее! Летишь по пустым коридорам и лестницам — страшно опасно, — а надо спуститься на два этажа, никого не встретить. Двери закрыты, за ними гудят голоса, но любая может открыться в любой миг. Нет, нет, пронесло!.. Вот и пятый «а»! Сейчас как раз ее урок Рискнем, приоткроем! Каждая секунда на счету.

Когда приоткрывают на уроке дверь, это всегда означает вызов к дверям учителя. Заглядывать нельзя — засекут с первых парт. Учитель идет к двери, а класс тут же отвлекается, начинает галдеть. Слышу ее шаги, в нос бьет спертый воздух класса. Остановилась.

— Ягодкин! Сядь на место!

Подходит. Я вжался спиной во вторую, неподвижную створку. Вот она, чуть выступила в проем. Так близко! Глаза вспыхнули, не ожидала, деловая шила, раздраженная — и вдруг не может улыбнуться. Но тут же поворот к классу:

— Ягодкин! Я кому сказала!.. Васькин! Смогри у меня, Васькин!

Я шепчу:

— Доброе утро, Анна Николаевна! — А лицо тоже расплывается в улыбку.

— Ты что, зачем? Уходи!

— А я сказал, что у меня дома утюг включенный!

Она едва не прыскает со смеху. Не бог весть какая шутка, но ей нравится все, что я ни скажу, как мне нравится все, что она и сделает или ни скажет.

Класс между тем галдит все громче, взвизги пошли, стуки, что-то они чувствуют. А это опасно: дверь открыта, на шум может кто-нибудь явиться. Она оборачивается к классу, а руку кладет на эту створку к которой я прижался. Совсем близко ее рука. Маленькая, с тонкими коватыми милыми пальцами, без маникюра. На перепонке между большим и указательным синяя жилка, словно короткая река географической карте, и белый детский шрам величиной с обрезанный ноготь.

— Уходи, слышишь?

— Ухожу, ухожу! Я Носу такую объяснительную написал!

— Потом, потом... Ягодкин! Да что ж такое, в самом деле!

— У вас пять уроков сегодня?

— Четыре, но я еще останусь...

Она перехватывает мой взгляд, смотрит на свою руку, опять на меня и убирает руку.

— Иди, пожалуйста.

— Иду, иду. Вы не уйдете после четвертого?

— Нет, нет, я сяду в библиотеке тетради проверять.

— А, ну отлично!

— Чудак! — У нее вот какой вид: мол, это все глупости, но мне забавно, мне нравится, что ты не боясь прибегаешь сюда среди урока.

Продолжая глядеть на меня, она затворяет дверь.

А я длинными шагами, но на цыпочках бегу обратно. Мне весело, мне легко!..

И потом целый день мы встречаемся в коридорах, в буфете, в библиотеке. Я кручусь возле учительской, я прибегаю на большой перемене в пятый «а», я ловлю ее где могу. Счастливое, невинное время!

Тогда, после 1 сентября, было несколько мучительных дней. Она избегала меня. Я с ней здоровался — она еле отвечала. Я искал ее взгляда — она прятала глаза. Я смотрел вслед — она не оглядывалась.

10-го числа заседал комитет комсомола, распределяя нагрузки на зиму, на весь учебный год: кого в редколлегию, кого на культмассовую, кого вожатыми в младшие классы. Никто не хотел вожатыми.

— Нечего дискутировать! — строго говорила пионервожатая Зоя. — Пока мы предлагаем выбирать: кто хочет четвертый, кто пятый, кто шестой? А то назначим, и все!

— Как это назначим? — шумел Вока. — А если у меня нет педагогических способностей?

— А я в том году был вожатым! — подхватывает Амайзе. — Вот! — И он задирает рукав и показывает шрам от зубов: мальчишка один укусил.

В конце концов, когда Зоя зачитала список кому куда, мне достался пятый «в», а Косте Лашкову, тоже из нашего класса, пятый «а».

— Махнемся, Костя? — сказал я.

— Чего это? — сказал Костя. — У меня там братишка.

— А у него сестренка! — заблажил Вока.

Все засмеялись.

— Давай монетку бросим, — сказал я Косте. Я словно испытывал судьбу. — Мне — орла. (Я знал, что будет орел.)

Костя положил пятак на ноготь и бросил.

Все ждали, даже Зоя. «Пятак покотился, звеня и подпрыгивая», как пишут в учебнике. Мы наклонились — монета лежала вверх орлом.

Потом, много времени спустя, я часто говорил: «Ты молчи, я тебя вообще в решку выиграл!» Или она говорила: «Помнишь, как ты меня в решку выиграл?»

Через два месяца я стал самым лучшим вожатым на свете. Какие я проводил сборы! Какие придумывал игры!

А что такое пятый класс? Это действительно страшные люди. Тридцать семь пацанов! Тридцать семь! Все равно что тридцать семь

мартышек в одной клетке! Они не в состоянии высидеть спокойно две минуты, уж какие там сорок пять! Их мысли коротки, как у обезьян, а внимание рассеивается, как у сорок. Их энергия подобна энергии плазмы: она колоссальна и неуправляема. Тридцать семь пятиклассников, дай им волю, могут за день разрушить небольшую цивилизацию.

Что они творят! Они волокут в школу все: огонь, воду, землю, дерево, металлы и минералы, фауну и флору. Живых и дохлых животных и птиц, порох и табак, ножи и инструменты, стекло, свистки, рогатки, картинки — все, что валяется в доме и по дороге на улице. Целый день они визжат, дудят, блеют, пуляют, плюют, режут, выкальвают, брызжут, ковыряют, выковыривают, отковыривают, выдергивают, запихивают, жгут, мотают, разматывают, приклеивают, отклеивают. Мало разрушить, разъять, испортить, мало сделать больно — нет, если ущипнуть, то с вывертом, позаковыристее, и со зверской рожей наслаждения глядеть, как жертва вопит и бьется. «А чего я? Я ничего». Они швыряют в лампочки шапками, бьют друг друга портфелями, мокрыми тряпками, они запирают двери стулом, приклеивают папироску оскаленному скелету в кабинете биологии и рвут на части бублики друг у друга на завтраке в буфете. Они приходят утром дети как дети, а вылетают после уроков, будто их пять часов черти драли.

По-моему, я совершил подвиг. Я не жалел себя, я вложил в них душу. Лучший способ вызвать любовь — это любить. И опять-таки, если истинно вкладываешь душу, уже нетрудно найти средства, как именно это сделать.

Мы читали, лепили, стреляли в тире, ходили в музеи и кино, бегали вместе на коньках, встречались с героями войны. Их любовь и привязанность — дети все равно дети — были так же неистовы, как их неприязнь или жестокость. Они висели на мне, не давали прохода, теперь только я мог ответить на все вопросы, осуществить или отбросить все идеи.

Ребятам повезло: у них был отличный вожатый и замечательный классный руководитель. Анну Николаевну глубоко интересовало, как идет пионерская работа. На сборах она садилась на заднюю парту и терпеливо слушала, хотя могла бы уйти. Мы бегали на коньках — она стояла на снегу или сидела на скамейке в белом платке и белых валеночках, смотрела и смеялась. Мы лихо, со скрежетом взрывая гагами лед, тормозили напротив нее и кричали:

— Ан-на-Ни-ко-лав-на-и-ди-те-к-нам!

Она махала нам белыми варезками, глаза у нее сияли.

Она ходила с нами в кино, она призналась, что сроду не бывала в египетских залах Пушкинского музея; мы пошли на экскурсию в типографию — типографий она тоже никогда не видела.

Я додумался до простого принципа: нельзя в с е х тащить в планетарий или в зоопарк.

— Кто хочет в планетарий? Только честно!

Лес рук. А пять или шесть не поднялось.

— А ты куда хочешь?

— В тир!

— Хорошо, в следующий раз, кто захочет, пойдет в тир... А ты куда хочешь?

— Не знаю.

— Ну все-таки? Подумай.

— Не знаю.

— Ну, не знаешь, значит, пойдешь с нами в планетарий, может, понравится.

Анна Николаевна была самой покладистой. Ей с нами везде нравилось. И в планетарии, и в зоопарке, и в тире.

— Постреляйте, Анна Николаевна!

— Я не умею.

— Но вам же хочется.

— Нет, у меня не выйдет.

— Ну смотрите, вот вы берете ружье, вот, приклад сюда, в плечо, так-так... Прищурьте левый глаз. Левый, левый!.. («Левый!» — кричали со всех сторон.) Видите прорезь? Вот, вот так смотрите...

Наши лица рядом, белые волосы из-под вязаной шапочки рядом, даже слышен запах помады, отлетающий от ее губ. Я беру руками ее слабо послушные руки, чтобы показать, где что держать, как нажимать на спуск. И вижу голубую жилку.

— Спокойно, спокойно, не волнуйтесь, видите, как у вас ствол ходит, тверже держите. Ну!..

Выстрел! Анна Николаевна роняет ружье, мальчишки хохочут, белый листок мишени даже не царапнуло, она тоже смеется и говорит:

— Да ну вас!

А глаза у нее сияют.

В начале ноября, под праздники, мы впервые отправились в театр.

Ехать с нашей окраины в центр города, да еще вечером, в черном трамвае, — уже событие. Широкие улицы, большие дома, магазины, машины... Горят кое-где на пробу разноцветные праздничные лампочки. На фасад огромного здания, оградив тротуар, втягивают на канатах гигантский портрет, и сильные прожекторы освещают его снизу. Мы спешим от Дзержинки к Театральной площади, переходим улицу на углу «Метрополя», и нам видны торжественно освещенный Большой театр, и гостиница «Москва», и Малый театр, и Дом союзов. Нам надо в Центральный детский. Мы переводим ребят через улицу. Анна Николаевна впереди, я в конце подгоняю последних, машины ждут и освещают нас фарами. Скорее, скорее!

Театр! Горит огнями подъезд, у раздевалок водовороты, одни уже разделись, другие еще нет, «Ягодкин, прекрати, ты где находишься?», чужие чопорные девочки расправляют перед зеркалами умявшиеся под шапками банты, а мальчишки уже крутятся рядом, дергают их, толкают. Почему их разделили по разным школам? Почему нас разделили?..

Наши места в бархатном первом ряду второго яруса. Пятый «а» сияет чистыми ушами, белыми воротничками, шуршит программками, меняется местами, роняет номерки, развинчивает бинокли, что-то уже пошвыривает вниз сквозь оградительную сетку. Слитный гул голосов в теплом зале, море голов. Звуки настраиваемых инструментов и вид самих музыкантов в оркестровой яме уже и тебя настраивают, приговаривают к чему-то особенному. Мы приближаемся, мы стоим на той самой границе между жизнью и сказкой. Это мы, а это — Театр.

Мы сидим рядом с Анной Николаевной, она справа от меня. На ней темное незнакомое платье с брошкой-бабочкой, иная прическа, без пучка, в раздевалке она передела туфли, от нее пахнет духами. На коленях сумка-планшетка с длинным ремешком, которую она носит, обычно забросив ремешок на плечо. Планшетка не очень идет к ее наряду, но другой сумки у Анны Николаевны я не помню. Ре-

мешок такой длинный, сумка лежит у нее на коленях, а я могу играть ремешком, крутить в пальцах.

— Крепкий. А хотите, перегрызу? — вдруг говорю я и кусаю ремешок.

Она смеется и тянет ремешок к себе. Ее светлые глаза кажутся сейчас темными. Ремешок пахнет старой кожей и чуть духами. Я не отпускаю его.

Третий звонок, меркнет свет, секунда полной темноты, лишь слабо освещен оркестр и горят красные фонарики с синим словом «выход». Последняя возня, придушенный вскрик — должно быть, проклятый Ягодкин дал кому-то прощального тычка.

Она продолжает тянуть ремешок к себе, а я к себе. Оглушительно бьет в голову: бум-бум-бум.

Играет музыка, раздвигается занавес, с преувеличенными движениями выбегают артисты и говорят преувеличенными голосами. Маленькая женщина изображает мальчика, и весь зал шепчет: «Тетка! Тетка!» Я все вижу, все слышу обостренными зрением и слухом, но плохо понимаю. Я тяну к себе ремешок и чувствую, что подтягиваю ее руку. Неужели я могу коснуться ее руки? Ничего я так не желаю сейчас на свете! А что будет, если коснусь? Я уже читал Стендаля, я помню, что это значит — коснуться, взять ее руку. Страшно. Невероятно. Напряжение между нами растет по секундам. Но ведь она могла бы просто выпустить ремешок, не играть в эту игру, не так ли?.. Я медленно подтягиваю ее руку.

На сцене один исключительный мальчик, но эгоист, противопоставил себя коллективу, ничем не выдающемуся, но хорошему. Коллектив сначала обиделся, а потом, когда мальчик совсем ушел, да еще в дурную компанию, решил за мальчика бороться и спасти его. Артисты много бегали и много кричали. Но в креслах шла возня и ерзанье, внимание пятого «а» отключилось, и надо было чего-то ждать. Но тут, правда, стали показывать дурную компанию, где курят, играют в карты и даже одна не совсем хорошая девочка разговаривает грубым языком, и все опять заинтересовались, прокатился смех.

Я сделал самое смелое движение, и наши пальцы соприкоснулись. Мы замерли. Я вспомнил синюю жилку, похожую на короткую реку, и белый шрам величиной с ноготь. Сердце стучало. Я ждал, что будет. Она не убирала руки. Я дотронулся до ее пальцев. Они были как лед. Вокруг хохотали.

В антракте мы не сказали ни слова и не глядели друг на друга. Она осталась сидеть, а я повел ребят в буфет.

На втором действии все повторилось. Я держал в своей руке ее пальцы. Потом едва-едва сжал их. И услышал слабый-слабый ответ. Это было невероятно. Счастье.

...Летит, сыплется снег с дождем. Ходят ходуном черные деревья, мотаются фонари, вспыхивают рябью под ветром лужи. Мы вымокли, пока разводили по домам ребят, лица наши холодны и мокры, у нее на плечах и груди нашлапки мокрого снега. Я ее провожаю, мы чуть не бежим. Пожалуй, впервые мы оказались вдвоем так поздно, почти среди ночи, на пустых улицах.

Вот и Птичкин дом. Мы вбегаем в подъезд, в ее подъезд, стряхиваем с одежды снег и воду долго и тщательно, будто это важнее всего. Смеемся приглушенными голосами, греем руки, прижав ладони к высокой, в человеческий рост, батарее парового отопления. Радиатор нехотя отдает слабое тепло. На вентиле висит на длинном ремне сумка.

Горит тусклая лампочка, темные ступени идут вверх и вниз, в полуподвальный этаж, пахнет кошками, двери увешаны почтовыми ящиками разной масти с фамилиями жильцов и приклеенными названиями газет — кому какую. На косяке созвездие звонков, тоже с фамилиями. Народу живет много, но, странно, в этот час никто не вошел и не вышел.

— Иди, — говорит она. Она едва взглядывает на меня. — Поздно.

— Иду, иду, — отвечаю я. — Сейчас.

Наши руки так близко на ребрах рыжей батареи, и синяя жилка мне видна, но здесь, при свете, я не решаюсь повторить то, что было в театре. Да, пожалуй, мне и достаточно, я и без того переполнен, лицо мое, должно быть, сияет, потому что она взглядывает на меня ласково, чуть снисходительно.

Мы молчим. В голове тысяча слов, кажется, сумею я и осмелюсь, я бы говорил и говорил. Ей тоже надо что-то сказать. Но мы молчим. Мы молча говорим друг с другом. Отчего-то мы делаем вид, что ничего не было. А что, если бы погасла тусклая лампочка?

Она отстраняется от батареи и вздыхает. Странный вздох. Чуть исподлобья глядит на меня. И меня охватывает паника: я что-то упустил, чего-то не сделал. Она ждала, а я проворонил.

— Все, — говорит она, — пока. Спокойной ночи.

— Анна Николавна!

— Все, все, я ушла.

— Ну Анна Николаевна! Ну минутку!

— Да что ж минутку, что ж минутку? Странный ты! — Она вступает на лестницу.

Я замираю от ее тона, от слов. Что я сделал? Передо мной совсем другая Анна Николаевна — не та, которая стреляет в тире, смеется на катке, сидит на задней парте во время сбора, отдает мне в театре свою руку.

Я стою, потупясь, я не знаю, как быть!

— Ну что ты? Вот смешной! — говорит она, будто жалея меня. И уходит.

— Спокойной ночи!

Я бегу потом по темным улицам один-одинешенек, нет больше ни театра, ни счастья, снег, дождь, ветер, паника фонарей. Только что было хорошо, счастье, и вдруг все изменилось. Отчего?..

На другой день было воскресенье, потом праздники. Как я мучился! Я не находил себе места. Каждую минуту я думал только о ней. Как я хотел ее увидеть! Как я хотел в школу!

В праздничный вечер я убежал от ребят, я пошел к Птичкиному дому. Я ходил осторожно по другой стороне, таясь за деревьями, я глядел на освещенные окна третьего этажа — хотя бы силуэт! Из форточек неслись песни, парни в рубашках и женщины в платьях выбегали на улицу. Сердце холодело и падало всякий раз, как открывалась дверь подъезда. Приближалась издали женская фигура — мне мерещилась она. Я замерз и промочил ноги, я курил папироску за папироской, пока не кончилась пачка. Я ее не встретил.

Прошел еще день. Утром после праздников я прибежал в школу, ни свет ни заря. И первое, что увидел, — ее лицо, обращенное к дверям. Ко мне. Вестибюль был почти пуст, в стороне три-четыре мамы раскутывали полусонных малышей, стоял боком на полу раскрытый мокрый зонтик, как черный цветок. Не было еще ни Чичкина, ни Носа, чертежник Жареная Пипетка, повернувшись спиной, читал расписание.

Она сидела вдалеке на скамье, у лестницы, у окна, кутаясь в пальто, с таким видом, словно сидит здесь день-два, сидела всю ночь или дежурит. Она ждала меня, она скучала.

Я чуть не умер от радости. Я готов был броситься и распластаться перед ней. Как мне было хорошо — видеть ее!

В следующую секунду она встала и быстро пошла вверх по лестнице, поправляя спадающее с плеча пальто. Я огляделся и пошел за нею. На ходу поздоровался с чертежником. Он удивленно поглядел мне вслед.

Я догнал ее почти у дверей пятого «а». Она шла быстро.

— Анна Николаевна!

— Нет, нет! — Она махнула на меня рукой не оборачиваясь. — Пожалуйста!

И скрылась в классе.

Я еще оглянулся, никого не было, и вошел за ней. Закрыл дверь и остановился. В пустом классе горел голый свет. Она сидела на своем учительском стуле за столом, закрыв ладонями лицо. Пальто упало с плеч. Я не знал, как мне быть. Я не знал, что это. «Анна Ник...» — хотел я сказать и не мог.

— Боже мой! — сказала она, не изменив позы. А потом быстро, обернувшись ко мне: — Уходи, уходи, ты что, ты зачем? Потом...

Мы успели поглядеть друг на друга, и мне показалось, что я могу приблизиться, взять за руку, что-то сделать.

— Пожалуйста, — сказала она пугаясь, прося меня уйти.

И я вышел.

Я просидел потом на первом уроке, ничего не видя и не слыша.

— Ты что, больной? — шептал мне Вока.

— Отлепись! — отвечал я, видя только одно: как она сидит в пустом вестибюле и ждет меня.

Что было потом?.. Потом я получил записку от нее. Настоящую записку, в десять раз свернутую, на бумаге в клеточку. Записку передала она мне сама на второй перемене в буфете. Там размашисто стояло: «Приди, пожалуйста, в десять на Калитниковский. Это необходимо. А.».

Я почувствовал, что записка плохая, что ждет меня нерадостное, и встревожился. Но это «А.» в конце, «А.» с точкой, а не «А. Н.» или что-то другое и сама записка — в них было школьное, почти детское, равняющее нас с ней.

Я прибежал к десяти на Калитниковский сквер, в глухое, возле кладбища место, где по вечерам не встретишь ни души. Шел мелкий холодный дождь, под ногами было месиво из грязи и мокрых листьев. Она уже ходила здесь под единственным не разбитым хулиганами фонарем, под зонтиком. Зонтик заслонял свет, скрывал ее лицо.

Она стала говорить быстро и нервно, почти не глядя на меня, без предисловий: что я должен перейти вожатым в другой класс, что нам не нужно друг друга видеть, что все должно быть как прежде, когда мы только здоровались. Что я должен дать ей в этом слово. Что я все исполню.

Я был убит.

— Так будет лучше. Для нас обоих, — говорила она жестко.

Я молчал.

— Ты даешь мне слово?

— Меня не переведут в другой класс, — сказал я робко.

— Я сама попрошу Зою.

— Но... это будет странно...

— Не странней, чем сейчас. Ну, даешь?

Я молчал.

— Я прошу, просто прошу об этом. Я не могу всего объяснить...

— Конечно, если нужно, — сказал и тут же спросил: — А как же ребята? — Мне даже жарко стало на самом деле от этой мысли: как? я от них уйду? буду рядом, в другом классе? — Я лучше совсем уйду из вожатых.

— Ну, — она держалась все так же безжалостно, на себя непохоже, — тогда вообще можно не появляться на нашем этаже...

Это было совсем обидно. Что ж я такого плохого сделал на их этаже? Я молчал.

— Не обижайся. Ты потом все поймешь. Потом. Когда-нибудь...

Тут что-то заныло, как в трубе, со стороны кладбища, и будто тень мелькнула.

— Ой! — сказала она. — Пойдем!

Мы пошли, скользя по грязи и листьям. У меня капало с козырька кепки, а у нее с зонтика. Возле сломанного железного турникета у входа в сквер она сказала:

— Я пойду вперед. До свиданья.

Я остановился. И она тут же скрылась, растворилась в темноте.

Да, я был убит.

Но потом я подумал, что она забыла взять с меня слово.

Она забыла взять с меня слово, а очередной пионерский сбор в пятом «а» должен был состояться через два дня. Я не пошел к Зое, не стал ни о чем просить. Я не ходил в пятый «а», не бегал туда на уроках, по утрам опаздывал, а среди дня старался с ней не встречаться. Мы, конечно, все равно встречались то в раздевалке, то в буфете, но лишь здоровались издали. Я видел — она не совсем понимает, что происходит: неужели я так легко послушался?

В назначенный день перед пятым уроком я спустился вниз. И сразу попал в толпу ребят, которая ходуном ходила вокруг Анны Николаевны. Они запрудили весь коридор.

— А-а! О-о! И-и! — взвыли они и полезли на меня, как лилипуты на Гулливера.

— Тише! Тише! Тише! — кричал я, и обнимал их, и трепал по остриженным, измазанным чернилами головам. Я посмотрел на Анну Николаевну, потому что она глядела прямо на меня.

— Они не дают мне проходу, — сказала она, — может, стоит сегодня провести сбор? Хотя бы один?..

— Стоит! Стоит! Стоит! — заорал пятый «а».

— Да тише вы! — сказал я. Мы больше не глядели друг на друга. — Тише! Сбор будет!..

Мол, вас я оставил в покое, вы видели, а их не оставлю, они здесь ни при чем.

Она хмыкнула и быстро пошла назад в класс.

Пятый «а» стал с ног на голову.

Когда сбор начался, она пришла и села на заднюю парту. Выложила тетради и стала проверять. Я видел ее белую склоненную голову, пучок на затылке и готов был умереть ради этой женщины.

...Набережная, закат. К вечеру ударил морозец, мутное зимнее солнце красно садится за Кремлем. Могэс дымит, как броненосец, над всем Замоскворечьем висит черный дым, белый пар, все окрашено багрянцем. По тротуару то лед, то сухой асфальт зимнего грязного

цвета, снегу нет. Мы идем здесь давно и не встретили ни души, только машины несутся рядом по мостовой.

Нам не холодно, нас разогрела ходьба, мы смеемся. Щеки у нее как яблоки, она мотает планшеткой на ремне и гонит перед собой мелкими ударами ноги грязную льдинку. Я несу ее авоську с завернутыми в газету тетрадками.

О чем мы говорим? над чем смеемся? — сами не знаем. Нам весело оттого, что мы вдвоем, что пуста набережная, что ударил мороз, что клубится черно-красный дым и мы идем и идем, сами не знаем куда.

Разве у меня не было знакомых девушек или женщин чуть старше меня? Например, моя двоюродная сестра Валерия или ее подруга? Ничего особенного! Очень даже легко я с ними болтал, потешал, и им было интересно — это уж точно! И теперь я испытывал что-то похожее, и говорить мне было легко. Во всяком случае, я говорил-говорил, разговорился. А она слушала.

...Мы греемся в метро, ей надо позвонить, она стоит в автомате, а я держу ее сумку, варежки. Она улыбается мне через стекло, глядит на меня, и глаза у нее замечательные.

...Забор. Длинный забор вдоль Рязанки. Он тянется километра на полтора. Глухой, каменный, грязно-желтый. Я в жизни не видел такого длинного забора. За ним дровяные склады Москвы-товарной. Их охраняют тулупы с винтовками. Москва еще отапливается не газом, не электричеством, а дровами и торфом, и кубометр дров стоит денег.

На той стороне шоссе — дома, остановки, прохожие, а здесь не бывает никого, и даже автобусы не останавливаются. Можно пройти вдоль забора туда и обратно и встретить лишь одну-другую парочку да у единственных ворот — въезжающую или выезжающую машину. Больше никого.

Мы стали встречаться и гулять здесь вечерами. И она рассказала, усмехаясь, что первый раз обратила на меня внимание здесь, у этого забора.

Когда же?..

За войну забор совсем обветшал, дыры были забиты досками. К восьмисотлетию Москвы, когда город ремонтировали и красили, забор исправили тоже. И покрасили в желтое с белым, в ампирные московские тона. Заасфальтировали тротуар, а вдоль него решили посадить молоденькие липы, тоже классическое московское дерево. Вот они дрожат, бедняги, на морозе, те, что прижились и остались целы... Мы сами сажали липки: окрестные школы, мужские и женские, вышли тогда на субботник. Я вспомнил тот день: мы были в телячьем восторге, что нас сняли с уроков, что горит над городом весенний ветреный день, что повсюду вокруг миллион девочек в гимназической форме, без пальто, с непокрытыми головами. Мы говорим с ними, шутим, смеемся, как нормальные люди.

С нами наши учителя и молоденькие учительницы своей группкой, тоже с лопатами, с красными руками — от холода, от стывших стволов саженцев, лежащих горой, от мокрой земли. Было редкое ощущение простоты, равенства, удивительного невзрослого их озорства и еще — престижа своей школы; повсюду чужие, а мы — свои. Всех, конечно, забивал знаменитый десятый «адель» (они еще были в школе), но и мы перемешались с ними, тоже остряли, смеялись, и осталось чувство доступности, единения, легкости, — так и вижу фигуры с лопатами на фоне ярко-желтого забора, цвета желтого карандаша. Не знаю, может, и я был тогда в ударе, раз она меня запомнила,

А когда она рассказывала, то и мне уже казалось, что я помню взгляд, улыбку, белую непокрытую голову. Надо же, как давно!

Наш забор с той весны молодежь выбрала себе местом гулянья. Мы, школьники, и ребята-ремесленники, и «вояки» из музыкального военного училища, и шпана с Таганки — все стекались сюда светлыми и долгими весенними вечерами. Здесь покипели страсти! Здесь царили признанные красавицы (свита дурнушек подруг), здесь роняли и поднимали записочки, сюда врвался некий Рудик в красном свитере, с золотой «фиксой» во рту, окруженный своей «шоблой» в кепках-макозырочках и в голенищах гармошкой. Здесь дрались ремнями, пряжками, рождая в битвах своих героев и своих трусов, здесь курили в открытую, а девочки приходили с подкрашенными губами, в тонких чулках. Здесь было много всего.

А следы этой бурной и сложной жизни хранили на себе квадраты забора: мелом, углем, кирпичом, краской на нем писали что хотели. «В 49 школе все шмакодявки!», «Сами вы псы!», «Боярину — темную!», «Бей вояк!», «Люблю Васю!» (приписка: «дурака»), «Лиза, мы пошли в ДТ на 7.30», «Провоторова — воючка!» — и так далее, на целый километр!

Интересно, что по негласному уговору здесь никогда не писали похабщины.

Потом, как всегда бывает, место встреч переместилось куда-то еще, вдоль забора стали прогуливаться только парочки. Вернее, «четверочки»: в те времена она непременно тащила с собой на свидание подругу, а он друга. И, как правило, подруга и друг не закрывали рта, а он и она молчали, проглотив язык, и только вскидывали помутненные любовью взгляды.

Поубавилось и надписей. Старые слиняли.

Но уже в третий раз, когда мы встретились с Анной Николаевной на Рязанке, я увидел вдруг яркую свежую надпись мелом: «Голубь! Имей совесть! Мы у Сани». (Голубь — мое почему-то прозвище.)

Я покраснел. Я не хотел, чтобы Анна Николаевна увидела надпись. Но она увидела. Мне пришлось объяснить, в чем дело. Тем более что уже в эту пору она стала очень бояться, чтобы нас никто не встречал вместе. А надпись, конечно, говорила, что ребята знают, где меня найти.

Дело же было в том (очень просто), что я совсем их забросил. Я откололся. И их обида на меня из шуточной становилась серьезной.

В прошлом году мы учредили тайное «Общество февралистов». Идея пришла на дне рождения Степы Капитана, в феврале, ему и принадлежала.

До этого мы жили вполне беспечно. Собирались обычно у Сани Яблочкина: его мать и младший брат жили с отцом в Германии, а Сания и его молодая тетка Тамара хозяйничали в большой генеральской квартире. Тамара, между прочим, в войну была летчицей, а теперь заканчивала авиационный институт.

Квартира была забита и заставлена вещами дорогими и нерусскими. Мы, как бароны, валялись в низких кожаных креслах, на плюшевых диванах, попирали своей мокрой и рваной обувью роскошные ковры, нисколько не понимая и не обращая на них внимания, пили дешевый портвешок из хрусталя, который пел при одном прикосновении к нему. Мы безжалостно давили педали и дергали фарфоровые трубки старинной фисгармонии, залепленной призовыми медалями и эмалевыми табличками с готическими буквами. Мы непристойно ржали, тыча пальцами в розовозадых нимф — они улыбались нам через

плечо из золотых багетов; мы давили окурки в огромной бронзовой чаше в виде негритянки — она лежала на спине, охватив руками колени. Сам Саня презирал «барахло» и резал, бывало, колбасу на инкрустированной столешнице уникального стола из красного дерева, куски страшной ветчинно-рубленой удивительно гармонировали с розовой инкрустацией.

Мы хмелели от свободы, от портвейна, от пылкой дружбы, мы орали песни, затевали возню на ковре и непременно что-нибудь калечили, разбивали, роняли. В конце концов из недр большой квартиры являлась Тамара с обмотанной полотенцем головой и командовала: «А ну выходи строиться!»

Степа Капитан сурово твердил нам, что так жить нельзя, что мы катимся по наклонной плоскости, что в стране и в мире происходят исторические события и процессы, а мы даже не думаем, как в них участвовать. Сам Степа учил китайский язык и собирался отдать жизнь объединению народов Советского Союза, Китая и Индии.

Мы признавали свою вину: нас действительно мало что интересовало, кроме нас самих. Но что было делать? Собирать металлолом? Переписываться, как Степа, с нашими китайскими друзьями? Читать газеты?.. На войну мы не успели, на гражданскую тем более, работать мы не могли, нашей комсомольской задачей было одно: учиться. Что еще?..

Нам самим надоело, самим хотелось чего-то необыкновенного, нас всю жизнь воспитывали на примерах героев, отдавших жизнь за родину. Но что мы-то могли?

Степа придумал «Общество февралистов». Что ж, мы ухватились и за это. Хотя с самого начала было ясно, что это так себе, игра, подмена. Не «Молодая гвардия».

Идея же заключалась в том, чтобы овладеть культурными ценностями. Девизом общества стали слова Чернышевского о том, что чем человек образованней, тем он полезней своему отечеству. Мы выработали устав и нарисовали от руки членские билеты. В общество мог вступить каждый, кто интересовался какой-либо областью науки, техники или культуры и мог сообщить другим то, чего они не знали. Посыпались заявки: ядерная физика, история Наполеона, графология, китайская живопись, «Что такое стихи?». Один Жека Борисов попросил записать ему тему: «Развитие черепах».

Степа почти обиделся.

— Послушай,— сказал он толстому Жеке,— речь идет о том, что больше всего интересуется человека в жизни.

Жека добродушно кивнул: я, мол, понимаю.

— Неужели тебя больше всего интересуется развитие черепах? Каких черепах? Зачем?

— А что? — сказал Жека. — Представь, если не будет черепах?

— А почему ему нельзя про черепах? — вступился Саня. — Ты, Капитан, не дави. Каждый выбирает что хочет.

— Да на черта мне его черепахи? — закричал Степа. — Вы профанируете идею! Польза отечеству — и черепахи!

— Мало ли, — загадочно сказал Саня.

Все это происходило еще в прошлом году: общество было создано, было прочитано три-четыре доклада, но потом пришла весна, экзамены, стало не до графологии и черепах. С осени мы хотели взяться как следует.

Но вот она пришла, эта осень... Я пропустил одно заседание, другое, третье.

Теперь я рассказал об этом Анне Николаевне, чтобы успокоить ее. Рассказал, иронизируя, смеясь, и думал, что она посмеется тоже. Но она не смеялась.

Она посмотрела на часы и сказала, что я еще успею к ребятам. Что я не должен их бросать из-за нее. Потом она вдруг обеспокоенно спросила, знает ли кто-нибудь о нашем обществе. Я удивился.

— Нет, — сказал я, — оно же тайное.

— Вот именно что тайное! Вам надо немедленно прекратить, это не игрушки!

— Да что такого-то?

— Вы как дети! Знаешь, что было в одной школе? — Она назвала номер. — Там тоже ребята придумали какую-то тайную организацию, выпускали газету...

— И что?

— Что? Поснимали всех, и директора и... А некоторых ребят вообще... Вы должны все это прекратить, я серьезно говорю. И никаких билетов, программ, ради бога!..

Она встревожилась. А я никак не мог понять почему.

К ребятам я, конечно, не пошел, мы гуляли, хотя на обратном пути меня снова резанула по глазам надпись: «Голубы! Имей совесть!..» И я пообещал Анне Николаевне и себе, что больше не буду бросать ребят.

Но потом закрутились, побежали один за другим странные дни. Мы говорили одно, и собирались делать одно, и рассуждали разумно, а делали совсем другое.

Еще через день мы впервые встретились с ней днем, на другом краю города, в другом районе и пошли в кино. На дневной сеанс, в чужой кинотеатр.

Да, это было странно! Я ехал один на трамвае и на метро, а она — странно! — той же дорогой, туда же, тоже одна. И я стоял у кино среди бела дня, а она вышла из-за угла, проходила за зимними голыми, но густыми кустами, и я видел только ее голову, вязаную коричневую шапку, ее лицо — странное, городское, общее лицо, потому что она еще не заметила меня. Я уже взял билеты и держал синюю бумажку в руке, а руку в кармане, и у меня не было ни тетрадей, ни учебников, и у нее тоже, даже планшетки, — вроде мы и не ученик и учительница.

Народу было едва на треть зала, киношка старая, зал холодный, и мне все казалось, что на нас смотрят билетерша, две старушки, парень лет двадцати с забинтованным глазом. Мы сели одни в целом ряду, ждали, когда погаснет тусклый свет.

А она все время говорила — пока мы входили, и стояли в фойе, и садились, и сели — довольно громко и оживленно, будто для других, как ей хотелось посмотреть этот фильм, как хорошо, что мы его посмотрим, как у нее никогда не выдавалось другого времени его посмотреть. Я даже сам ей поверил. И мы просмотрели почти полфильма, ничего не понимая, пока я не решился и не взял ее за руку. Странно!

А потом была поездка в Котуар, тоже странная.

Утро, воскресенье, семь утра, темно и Киевский вокзал в огнях, как ночью. Мы садимся в поезд, и я все никак не могу поверить, что нахожусь в этакоей компании: едут Анна Николаевна, Любовь

Петровна, приятель Любви Петровны Глеб, длинный и худой летчик, мой Саня Яблочкин и его тетка Тамара! И еще Петр Антоныч, отец Любы, нестарый оживленный человек в длинной шинели и в шапке с длинными ушами, какие носят дети.

Оказалось, что Тамара давно знакома с Любовью Петровной (через Глеба), а у Любви Петровны родители живут за городом, в Котуаре, там свой дом, сад, лес рядом, снега навалено, и они уже бывали, ездили туда, прекрасно провели время. Можно отдохнуть, на лыжах побегать. И как просто все! Любовь Петровна пригласила свою подругу Анну Николаевну, потом Глеба и Тамару, а Тамара предложила поехать с ней племяннику Саньке, а уж Санька взял да позвал меня. Очень просто. Оказалось, что и Глеб знает Анну Николаевну и Тамара, у них вроде давно одна компания, и в это утро на Киевском вокзале мне впервые приходит в голову, что у «моей» Анны Николаевны, кроме школы, пятого «а», кроме меня и воспоминаний о погибшем Оресте Честнокове, есть и должна быть еще другая, неизвестная мне жизнь. Дела!..

В поездке всем командовала Любовь Петровна. Я был смущен, Анна Николаевна, как я чувствовал, тоже. Я, например, никогда не дружил особенно с Саней, и, честно говоря, странно, что он меня пригласил, а я приглашение принял, но никому больше о том не сказал: почему хотя бы не позвал с собой Воку, лучшего друга?..

В отличие от меня Саня вел себя со взрослыми запросто: смеялся анекдотам, сам вставлял анекдотик, летчика называл Глебом, Петра Антоныча — дедуля.

Итак, мы едем. Сумки, авоськи, у Сани и Тамары лыжи, Петр Антоныч везет два новеньких цинковых ведра (вокруг все время спрашивают: где ведра брал?), и ведра тоже набиты всякой всячиной. Взято, как я догадываюсь, выпить, закусить, даже везем пластинки.

Анна Николаевна в белом полушубочке и белом вязаном платке. Ей очень идет этот наряд, а без каблучков, в валенках, она совсем мала ростом, на полголовы ниже меня.

Едем мы не в электричке, а в стареньком поезде с небольшими старыми дачными вагончиками. Народу неожиданно много, сесть всем вместе не удастся, лыжи надо везти в тамбуре, и постепенно мы все набиваемся в тесный тамбур. Один Петр Антоныч остается в вагоне — он встретил своих котуаровских. В тамбуре холодно, накурено, стоят еще чужие люди, хмурые парни, видно, с ночной смены, и наша веселая компания вроде не к месту. Кажется, кто-то так вдруг и спросит: ты-то, парень, как сюда затесался, зачем?

Нас потешает Любовь Петровна, она здесь как рыба в воде. А меня и это смущает: то, что я вижу учительницу Любовь Петровну простой и веселой, в обнимку с летчиком, с папироской в зубах. Она весело рассказывает:

— Да я в войну два года на этом поезде молоко в город возила. Вон отец не даст соврать. К первому поезду в пять часов шлепаешь с бидонами. По квартирам носила, постоянные покупатели были. На шестой, на седьмой этаж тащишься. А все продашь, разнесешь, бидоны в последней квартире оставишь до вечера, а сама в училище. Сроду не опаздывала!..

Она смеялась, Глеб обнимал, тискал ее плечи, говорил:

— То-то ты такая круглая, молошница!

Саня ловко ввернул историю, как его в детстве заставляли пить молоко, а он его выливал в горшки с цветами. Тамара рассказала про корову, которая жила у них на аэродроме в авиаполку. Я тоже мог

бы рассказать, как этим летом в деревне выпил залпом двухлитровую крынку молока, но не решился.

Так мы ехали, потом приехали. Весело выгружались, долго шли вереницей по утоптанной в снегу тропе, и Люба тут же столкнула в сугроб своего Глеба. Зимний день только начинался, стоял вдали кружевной белый лес, ровно дымили трубы над заваленными снегом крышами, бегали собаки, и красивые сороки с длинными хвостами перелетали с забора на забор.

Мы пришли в чистый, натопленный дом, нас встретила Любина мать, молодая и полная, скорее похожая на сестру Любы, чем на мать. В доме пахло молоком, а в сарае нам показали корову. Мы разулись и ходили в носках по теплым половичкам. Видеть Анну Николаевну без обуви, по-домашнему, тоже было так странно, что у меня замирало сердце.

Потом мы завтракали, гуляли. Саня с Тamarой ушли на лыжах, а Люба пристала к деревенской ребятне кататься на санках с горки. Съезд был крутой, санки вылетали вниз, к основанию железнодорожной насыпи, поверху шел поезд, и люди глядели в окна, как мы, взрослые, и среди нас военный в форме, растопырив длинные ноги, мчимся с ребяташками на санях.

Анна Николаевна поначалу боялась, но Люба чуть не силой усадила ее, толкнула в спину, и Анна Николаевна со смехом полетела вниз. А мы с Любой бросились вдвоем на железный грохочущий лист с загнутым вверх передком и полетели следом с воем и визгом.

И вот там, внизу... Мы, двое мальчишек, сбитых нами, собака Дамка, пристающая к нам с утра, санки, железный лист — все повалилось в одну снежную кучу, в кучу малу, Анна Николаевна валилась навзничь в сугробе, раскинув руки, задыхаясь и изнемогая от смеха, снег залепил ей лицо, волосы, платок слетел. Я стоял на четвереньках, руки ушли в снег, голова без шапки упиралась ей в грудь, я отфыркивался, как собака. А Люба тоже ушла головой в сугроб, подмяв под себя мальчишку. Дамка, заливаясь от счастья, прыгала вокруг, на горке ребятня помирала со смеху, и Глеб, хохоча, бил в ладоши.

Ее лицо, губы — вот они, мы коснулись друг друга холодными щеками. Чтобы вытащить руку, мне пришлось опереться на ее плечо. Хохот, вопли, все можно, — как было бы просто, само собой поцеловать ее вдруг! Не слишком ли долго она лежит так, незащищенно, расслабляясь, будто ожидая, что будет?..

Но я не посмел. Как я мог? Кто я и кто она? Да еще на людях! И без того слишком близко, подозрительно близко. И хотя весь этот непозволительный день к чему-то вел, к чему-то шел, зачем-то был выстроен нашей судьбой, я еще не верил, не поддавался.

Потом мы обедали, вышивали, Петр Антоныч угощал жареным зайцем, а мне опять было странно: как это мы сидим за одним столом, чокаемся гранеными стаканами?

Нам с Саней налили было меньше всех, но Саня хмыкнул: мол, мы, да я!.. Саня любил порассказать, какие с ним происходили приключения: о-го-го! (Правда, мы никогда не могли его проверить, поскольку все приключения случались в Германии, на побывках у отца.)

За столом было весело, лица у всех горели, Люба вдруг стала подшучивать надо мной, намекая про Анну Николаевну.

— Люба! Ну! — сказала Анна Николаевна и покраснела.

Кажется, от этих слов можно было провалиться сквозь пол, но компания словно и внимания не обратила: все говорили наперебой, каждый свое и будто забыли тут же. Через две секунды Люба уже говорила о другом.

Но мы после этого боялись друг на друга поглядеть.

Люба, Глеб и, разумеется, Петр Антоныч оставались в Котуаре ночевать, решили ехать завтра на работу ранним поездом. Тамара, наоборот, заторопилась, тормозила заснувшего на сундуке Саню. Анна Николаевна несколько раз спросила меня, знает ли моя мама, где я, не будет ли волноваться. Она часто, между прочим, о ней вспоминала. Я, конечно, лишь отмахнулся. Кажется, и мы могли бы остаться, так все складывалось.

Но я видел, что настроение у Анны Николаевны испортилось, Любиным шуткам она не смеется и тоже, как Тамара, хочет скорее ехать.

Люба и Глеб уже в полной темноте проводили нас на станцию, мне было неловко на них смотреть, я понимал, для чего они остаются. Мы опять ехали в набитом битком вагоне, стояли в тамбуре. Народ на каждой остановке все вдавливался и вдавливался. Тамару утеснили в вагон, Саню прижали лицом к стеклу второй двери, которая не открывалась. А мы оказались в давке плечом к плечу, спинами в стену, а перед нами тоже были спины, пахнущие морозом, старой бедной одеждой, пригородной дорогой. Чтобы нас не растащило в стороны, я взял Анну Николаевну за руку. И не выпускал больше, тихо гладил шрам в форме ногтя, и мы ехали, ехали — странно быстро и странно долго...

(Окончание следует)



А. БОЧКИН

★

С ВОДОЙ КАК С ОГНЕМ*

Рассказ гидростроителя

Самым трудным для нас на иркутской стройке оказался бетон. Бетон — это три, по крайней мере, проблемы: нужно было построить бетонный завод, решить вопросы сырья, найти оптимальный способ укладки.

Когда я впервые приехал на строительство бетонного завода, я увидел большой транспарант: «Товарищ Рудометин! Сроки строительства завода давно прошли. Завод не готов. Что скажут о вас даже ваши дети?»

Как я убедился потом, Павел Матвеевич Рудометин был честным, порядочным человеком и никак не заслуживал, чтобы его так позорили. Не всегда нужно бить людей сроками. У Рудометина не было специалистов, которые умели бы скомпоновать сложные агрегаты. Теперь заводы получают готовыми металлические конструкции и бетономешалки. Тогда все приходилось делать самим. А главное — тогда не было опыта строительства крупных бетонных заводов в таких резко континентальных условиях. И тут опыт нужно было создавать нам самим: собирать его по крупинкам.

Рядом с Липендиным, потягивающим толстым коротким носом у самосвала со свежим бетоном, в памяти другой замечательный специалист по бетону — Сергей Данилович Малиновский. Оба работали на строительстве здания ГЭС, где и шла укладка бетона.

Если Липендин детство провел в лаптях, то Малиновский по происхождению дворянин. Революция лишила его отцовского состояния. Барчуки тогда бежали за границу, а Малиновский бросил строительный институт, так как учиться ему было не на что, и пошел рабочим на Волховстрой. Сначала возил тачку, потом стал мастером, диплом получил значительно позже. Там-то, на Волховстрое, и встретились эти два человека — Липендин и Малиновский. Трудно себе представить людей более разных. Липендин был прост и прямодушен, Малиновский несколько замкнут и насторожен. Липендин во всех случаях не скрывал своих мнений, Малиновский мог иной раз воздержаться — понять причину этого, конечно, нетрудно: находились охотники, которые давали ему понять, что он тут «не свой».

Разные они были люди, но уважали один другого: любили поспорить, поговорить о тонкостях дела, спросить друг у друга совета. Любопытно, что «аристократ» Малиновский, которого многие считали большим гордецом, чаще обращался к Липендину за советом, особенно когда речь шла о цементации пористого бетона (он любил говорить: «Тимофей Яковлевич — в цементации бог») или

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

об устройстве опалубки («Тимофей Яковлевич, какую врубку сделать в опалубку?»).

Лично я многому научился у этих двух ветеранов. Вот потому-то иной раз скажешь: «Я строил» — и сразу себя оборвешь.

Был момент, когда один не в меру ретивый товарищ предложил мне снять Малиновского с работы. Я не сдержался:

— Ты что, обалдел? Кто ж увольняет таких специалистов?

— Он дворянин.

— Он дворянин и вечно в цементе. А ты? Ты что, бетон знаешь лучше, чем он?

В стиле работы у них было много общего: оба прошли школу Графтио, Винтера, Веденева, основоположников советской гидротехники. Опыт сделал этих различных людей в чем-то очень похожими: оба были вдумчивы и неторопливы, презирали суету и поспешность. Некоторые из молодых инженеров, работающих с ними, считали, что старики слишком много думают, а надо, мол, проще: давай вперед и никаких. Карьеристы, желающие поскорее отличиться, уходили от них и, думаю, ничего на этом для своего продвижения не заработали, а умные ребята учились у этих инженеров.

Рядом с ними и выросал Юра Фриштер, товарищ Саши Степанова.

Юра тоже попал на стройку прямо из института: он кончал Московский энергетический. Должно быть, в студенческие годы и Юра мечтал о карьере ученого — везло нам на этот народ. Потому-то свою деятельность в качестве лаборанта в лаборатории по бетону он начал с того, что вдруг, к всеобщему удивлению, приступил к чтению теоретических лекций по бетонному делу. И не кому-нибудь он читал, а своим же коллегам, инженерам, тоже недавно окончившим вуз. Любопытно, что на лекции эти ходили и новоявленного пророка слушали. Вот, думаю, какой академик на нас свалился, и решил для начала, для профилактики, по этому академизму ударить. Вызвал я его и говорю:

— Это хорошо, что ты читаешь товарищам лекции. Но не рано ли? Может, сначала тебе самому изучить производство? И кому ты читаешь? Уж коли читать, так, может, лучше начинать с мастеров? С рабочих?

В общем, с небес его немного сдернул к земле, точнее, к бетону, такому, какой он есть, когда трешь его между пальцами, это совсем не то, что лекции о нем с кафедры произносить. Он меня выслушал, вспыхнул, не утаил, что обиделся. Вижу, паренек еще щупленький, в толпе за подростка может сойти, а порох в нем есть. Посмотрим, думаю, что дальше с ним будет.

А дальше как-то незаметно — требовала того сама жизнь — стал Юра «серьезнеть», втягиваться в практические дела. Я заметил: где сойдутся Липендин и Малиновский, заведут разговор о деле, там и Юра в сторонке стоит, слушает, старается слова не пропустить. И чувство юмора вдруг обнаружил, а это руководителю важно: умел другого высмеять, если нужно, умел и над собой посмеяться, если попадал под перекрестный огонь. Вначале у него этого не было. Скоро он был уже не лаборантом, а начальником лаборатории по бетону.

Таких ребят передерживать ни к чему. Тянет — значит, давай дорогу ему: чем больше ответственности, тем быстрее растет человек.

Когда бетонный завод наконец-то построили, встал вопрос о сырье.

Бетон — это цемент, песок, гравий, вода.

Песок и гравий для этой цели мы должны были тоже взять из реки — Ангара нас снабжала всем, в чем мы нуждались.

Есть определенные рецепты бетона, в которых определяется соотношение отдельных частей. Важно, чтобы было больше разных фракций гравия и песка, отличающихся друг от друга диаметром. Кроме того, имеет значение форма

гравия: галька бывает обкатанной, но цемент крепче схватывает остроугольные, неровные камешки.

В русле, ближе к левому берегу, мы нашли смесь, в которой песок и гравий различного диаметра содержались в нужном отношении и форма гравия к тому же была идеальной. Требовалось только добавить крупный песок. Это была чистойшей, отмытая сильным течением смесь. Пока «МАЗы» везли эту смесь к заводу, вода уходила, смесь растрясалась и была готова к употреблению.

По инструкции полагалось смесь разделить по фракциям, очистить ее от остатков растений, промыть и только тогда соединить все это снова. Мы решили нарушить инструкцию — употреблять смесь такой, какой ее нам давала река, лишь добавлять крупный песок и цемент. Приготовление бетона по-прежнему оставалось узким местом на стройке: из-за отсутствия автоматики бетонный завод время от времени останавливался. Упрощение технологического процесса могло нам серьезно помочь.

Лаборатория нас проверяла. Юра Фриштер этим как раз и занимался.

Все обошлось бы благополучно, но у нас был директор будущей ГЭС, наш заказчик, или хозяин, если так можно сказать. Он-то и поднял тревогу:

— Бетон в трещинах, никуда не годится.

Полетели письма в Москву. Из Москвы шли телеграммы: нас обвиняли в неграмотности, в нарушении правил. Мы были уверены в своей правоте и продолжали работать. Нам прислали комиссию во главе с инженером Ш. Этот Ш., министерский работник, был «великий» знаток бетона: на станции, которую он когда-то построил, бетон получился как решето, станция текла целых пять лет, после того как была сдана.

И вот этот «специалист» приостановил бетонную кладку и начал массовую проверку. То мы боролись за каждый час — теперь пошли долгие, бесконечно долгие мертвые дни, недели и даже месяцы.

Обычно от каждого блока мы оставляем два кубика: один давим, определяем прочность, марочность, другой сохраняем в архиве. Стали проверять кубики, оказалось, что наш бетон прочнее проектного. Ш. рассердился — не зря же летел он в Иркутск. «Ах вот что, — решил он, — так я вас проверю в кернах».

Ставили буровые станки, сверлили бетон плотины. Так было добыто сто пятьдесят кернов из тех блоков, на которые указывал Ш. Бетон, в котором была использована естественная речная смесь, был признан лучше, чем тот, который мы приготавливали обычным способом.

Юра Фриштер азартно выкладывал перед Ш. пробные кубики, с особой лихостью пристукивал ими по крышке стола, пытался доказать Ш. правоту нашего метода, и видя, что тот непробиваем, он, начинающий инженер, не имеющий за спиной ничего, кроме школьной скамьи, обрушивал на высокого чиновника жаркий гнев:

— Вы не умеете считать, не умеете видеть, не умеете слышать! Какой вы контролер?

Тот самый порох, который я заметил сначала на пустячке, был уже в деле...

Но ни считать, ни видеть, ни слышать Ш. все равно не начал. Он знал только одно: «Я вам покажу! Так или иначе, вы не имеете права действовать против инструкции».

Мы пошли на массовый опыт, а он поехал в Москву с докладом: нарушают инструкцию.

Дмитриев, заместитель министра, смелый, знающий инженер, сказал контролеру:

— Вот так, Ш., век живи, век учись...

На том и кончилось.

А сколько времени мы потеряли! И какой нервотрепки стоило это!

Вот какие ситуации возникают, когда опыт и здравый смысл заставляют отступать от инструкций.

Я сказал: стройка начинается с забот о жилье, потом поправил себя — с раздумий строителя над проектом. Пожалуй, нужно еще раз поправить себя: стройка начинается с создания крепкого коллектива. Только в жизни все это происходит одновременно и отделить одно от другого возможности нет.

Рабочие у нас собрались отовсюду.

Любят говорить, а еще больше писать: на стройку едут романтики. Конечно, романтики тоже едут, но на стройке собирается разный народ. Были здесь и девушки с Брянщины, Черниговщины, хлебнувшие лиха оккупации и поехавшие по вербовке в Сибирь, потому что в колхозах голодно было после войны. Они были разными, эти девчата; одни приехали, чтобы без капризов трудиться и зарабатывать, другие хотели сладкого без труда — приходилось учить их тому, что так не бывает.

В конечном счете трудиться приходилось и тем и другим. На всех основных работах — а основными были у нас земляные работы и кладка бетона — заняты были в ту пору девушки. Недаром японские корреспонденты фотографировали их на укладке бетона. Что верно, то верно: нелегкая это была работа при технике, которой мы пользовались тогда.

Зато женщины в работе исполнительней, аккуратней. Я всегда говорил молодым инженерам: «Идите в блоки, присматривайтесь к приемам бетонщиц».

А бетонщицы делали свое неженское дело, но про себя, думаю, каждая таила надежду, что найдет на стройке себе жениха. В колхозах в ту пору совсем не осталось ребят — вот что еще девчат гнало на стройку. Но, как на беду, и у нас не хватало мужчин: только прошла война, а новые женихи вырасти еще не успели.

Мы их искали всюду, охотно принимали и тех, кто побыл «дальше Ангары», пользуясь словами Твардовского. Эти хоть знали дело — в лагерях их чему-то учили. Были среди них и честные люди, случайно оказавшиеся в беде, были такие, которые хотели начать честную жизнь. Мы их ставили на плотницкие работы — девушке не подходит висеть на высоте над рекой, крепить опалубку поднимающегося здания ГЭС.

Ездили мы и по воинским частям, звали на стройку ребят, кончающих службу. Сам я тоже ездил немало — так нужны были хлопцы! — но кисельных берегов не сулил.

— Приезжайте к нам, только у нас тяжело. Жилья у нас нет.

Тут уж и правда был расчет на романтику. Самый храбрый народ на свете — матросы. Они не пугались трудностей и приезжали. Но моряки непривычны к будничному труду: и на войне не хотели прятаться в землю, и здесь осторожности не признавали. Жизнь, однако, учила.

И девчата, повидавшие всяческого лиха войны, и ребята, отслужившие службу, и даже мужики, за плечами которых был срок, — все это был отчаянный прямой народ, и все они уже чувствовали себя сибиряками. И ничего не стоило девчонке из блока врезать любому чину: «Ты чего, начальник, цемента не подал? Не загорать сюда приехали за тысячу верст». И крепкое слово добавит, чтоб было наглядней. А механизатор скажет: «У тебя, начальник, время идет — зарплата идет, а у меня нет горючего — нет и зарлаты. Ну черт с ней, с зарплатой, — дело стоит! Что же мне делать? Пьянствовать в рабочее время?»

У нас иногда говорят: рабочая сила. Пишут объявления: «Нужна рабочая сила». Сейчас это выражение никак не пригодно. Рабочий человек — не рабо-

чая сила, это именно рабочий человек, и по-другому не скажешь. Он еще и за шкуру тебя возьмет и выставит тебя за порог, если ты ему мешаешь работать.

Различные этапы гидростроительства требуют рабочих различных профессий.

Есть профессии высокой квалификации, которые на стройке нужны не всегда, потому, кроме основного, постоянного состава рабочих, на строительстве используют рабочих специализированных организаций. Они, как резерв Главного Командования на войне, придаютя то одному, то другому объекту, там, где подходит срок для таких работ, и кочуют с места на место.

Таких организаций существует четыре.

Первой появляется на стройке организация Гидроспецстрой. Гидроспецстроевцы занимаются подготовкой фундамента, забивкой шпунта, цементационной завесой, им доверяют взрывные работы. Они приезжают с самого начала строительства и во всем начинают с нами, во всем разделяют нашу судьбу.

Одновременно с Гидроспецстроем, с самого начала, на стройку приезжают работники треста Гидроэлектромонтаж. Выработка электрического тока — конечная цель гидростроительства, но электричество нужно стройке с первых шагов. Привести на стройку чужой электрический ток, без чего невозможно начало работы, и увести ее собственный ток, когда он будет добыт, — вот задача этой организации.

Когда начинают возводить здание ГЭС и нужно ставить щитовые устройства, затворы, словом — водозадерживающие сооружения, на стройке появляется третья организация — Гидромонтаж. Эта работа требует не одного только мастерства, но и немалой смелости, а кроме того, и здоровья: монтировать часто приходится и под водой, это и опасно и трудно.

Четвертая организация — Гидроспецэнергомонтаж — появляется на стройке, когда дело близится к концу и предстоит работа самой высокой сложности — монтаж агрегатов.

У каждой из этих организаций свои задачи. Иной раз между ними возникали противоречия. Это случалось и при распределении обязанностей и фонда заработной платы, и когда речь шла о жилье.

Острее всего обстояло всегда дело с жильем. Монтажники чаще остальных гидростроителей переезжают с места на место. Особенно это касается спецэнергомонтажников. Я понимал: соберут они нам агрегаты и их сразу пошлют туда, где подоспела новая ГЭС. Семья еще здесь осталась, а они уже в новом месте, и когда получат там комнату для семьи, пора будет снова ехать на новую стройку.

Я старался, чтобы они жили все-таки по-человечески. Поставил вопрос на профкоме:

— Если вы мне доверяете, дайте десять процентов площади в директорский фонд.

Эти десять процентов мне дали, и я придерживал их, поджидая монтажников, хотя не всем, естественно, это нравилось.

Противоречия возникали порой и между людьми.

Совсем не просто создать коллектив, чтобы это действительно был коллектив. Приходилось иногда в интересах дела жертвовать кое-кем.

Строительство плотины возглавлял Антон Мельниконис. Он строил Свирь, потом ему пришлось пережить большую беду, войну он прошел в саперных частях. Человека более преданного делу, чем Антон, я, может быть, даже не назову. Если он видел, что кто-то доску со стройки взял, горсть гвоздей в карман положил, опоздал на работу, вычертил небрежно чертеж, просто равнодушен к работе, он не мог пройти мимо:

— Ты что зарвался? Знаешь, как следует тебя наказать?

Мне приходилось порой его ограничивать:

— Не за все можно наказывать. Равнодушия — такого преступления среди наказуемых нет. Уймись ты, Антон.

Но унять его было трудно: он горячился и нередко впадал в крайности. Не все его понимали, не все хотели считаться с тем, что к себе самому он был еще беспощадней. Словом, с людьми ладить он не умел. Не поладил он и с нашим главным инженером, позволял себе говорить ему при рабочих:

— Все ты боишься, все чего-то боишься. А почему? Да потому что только чертежи умеешь чертить. Руки у тебя хоть когда-нибудь были в цементе? Ты, наверное, и гайку толком не завернешь. Кабинетный ты человек...

Так это было или не так, но главный инженер Моисеев, специалист, сильный в теории, хорошо знающий земляные плотины, нужен был стройке — Антон этого почему-то не видел. А человек он был прямой, скрывать ничего не умел. Снова я ему говорил:

— Уймись ты, Антон.

Не унимался.

Кого не встретишь в таком большом коллективе, однако ни одного человека со стройки мы не уволили. Когда дело шло о рабочем, мы всегда говорили: «Давайте его потрясем на собрании». А вот Антону, которого я очень ценил, пришлось мне сказать:

— Знаешь, придется нам с тобой проститься.

Позже мы встретились с ним в Красноярске, и я снова мог убедиться в том, какой, несмотря на свои недостатки, это чудеснейший человек. Наверно, другой на его месте обижался бы на меня, но Антон не испытывал ни малейшей обиды, а когда я попал в трудное положение, был мне опорой. Но это я забегая вперед, а пока мы расставались и оба едва удерживались от того, чтобы проститься без слез. Вот на что приходится иногда идти, чтобы коллектив был единым.

Да, приходилось прилаживать, подгонять одно к одному и целые организации и отдельных людей.

И все же не это прежде всего делает коллектив. Коллектив создается атмосферой общего дела. Люди на стройке чувствовали себя не просто инженерами, не просто рабочими — они были участниками трудных творческих поисков, это не для красного слова.

Помню момент, когда мы оказались в отчаянном положении. Краны, установленные на эстакаде, не могли дотянуться до центра здания ГЭС. Мы объявили конкурс на решение этой проблемы. Предложений посыпалось множество. В этот раз победителем конкурса, как я уже говорил, оказался старый Липендин: он предложил построить еще одну временную эстакаду над зданием ГЭС. На эстакаду установили однорукий подъемный кран, он подавал и укладывал в центр бетон.

Помню, опять был тупик: уже возвели стены здания ГЭС, не было только крыши, отсыпали земляную плотину, а пазухи между ГЭС и плотинной еще не закрыли — изготовление стальных диафрагм, соединяющих плотину со зданием ГЭС, опаздывало на целый год.

Нужно было начинать монтаж агрегатов, но прежде требовалось доставить детали в здание ГЭС, а «детали» весом доходили до шестидесяти тонн. Мы не располагали подъемными кранами, способными выполнить такую задачу, — краны были рассчитаны на груз в десять тонн. Сидели как-то подряд шесть часов — искали решение и найти его не могли. Время от времени Илюша Гуревич и Саша Фесенко вставали и уходили куда-то, молча возвращались и опять уходили. Я уж хотел было сделать им замечание — вдруг они возвращаются оба очень веселые и заявляют:

— А что нам мучиться? Ребята говорят: давайте, мол, шагающим экскаватором что надо забросим.

Оказалось, что, пока мы совещались, наши экскаваторщики уже кое-что примеряли...

Никто не рассчитывал экскаватор на работу подъемного крана — было предусмотрено, что он перебрасывает десять кубов земли, то есть всего двадцать пять тонн. Завод отказался гарантировать безопасность того, что мы задумали. Оставалось рискнуть.

Собрались все инженеры стройки, рабочие. Мы с Батенчуком и Гуревичем забрались наверх, к экскаваторщику в кабину. Фесенко остался отдавать распоряжения снизу. Для начала подняли тридцатитонную балку, потом тридцатипяти-тонную, сорокатонную — так постепенно достигли веса нужного груза. Подцепили шестидесятитонную втулку, экскаватор поднял ее, занес над пропастью пазухи — у всех, кто это видел, замерло сердце — и щелкнул точно на место. Одну втулку, за ней другую, третью. И все точно на место. На этом мы сэкономили целых полгода.

Нестандартное, творческое использование стандартного оборудования — это явление технической революции. Механизмы должны быть универсальными, выполнять многие функции, а зависит это не только от механизмов, но и от нас самих.

Трудно сейчас перечислить все, над чем мы ломали головы. Можно было за полночь подойти к окошку начальника земляной плотины Михайлова и увидеть его в белых подштанниках за столом перед листом бумаги. Вооруженный справочниками, Егор Михайлов, мой однокашник, с которым мы встретились здесь после долгой разлуки, мечтал ускорить движение падающей на турбины воды. Мы были в том состоянии, когда непрерывно задаешься вопросами, непрерывно что-то решаешь.

Потому-то и можно было всегда обо всем договориться с людьми.

Помню, однажды в непогоду водителям трудно было въезжать на плотину. Колеса буксовали, груженные машины катились вниз, я не имел права заставить людей работать в таких условиях, а прекращать работу было никак нельзя. Тогда горяча, не подсчитав, я пообещал особое сверхурочные в многократном размере. Водители стали работать, а когда пришли получать зарплату, в ведомости стояли цифры поистине астрономические. Бригадиру первому дали ведомость — расписаться и получить то, что положено. Он пошептался с ребятами и сказал:

— Нет, столько получить не могу. Это грабеж.

Бухгалтер объяснил ему, что все рассчитано согласно обещанию начальника стройки. Бригадир колебался.

— Начальник у нас горячий, на все идет, когда выхода нет. А ему за такое шею намылят.

Он еще посоветовался с рабочими и задал вопрос:

— А сколько он сам получает?

Услышав ответ, бригадир твердо сказал:

— Больше начальника мы получать не будем. А его зарплату на этот раз получить придется. Передайте ему, чтоб больше он так не горячился.

Для меня это снова был хороший урок.

Вот что значит рабочий человек!

Я инженер, всю жизнь имел дело с техникой. Мне ли не верить в неограниченные возможности научно-технического прогресса! Но когда говорят, что робот отменит рабочего человека, я улыбаюсь и вспоминаю рассуждения Льва Толстого, который высмеивал прусских военачальников, умевших высчитать, когда какая колонна выйдет на марш, но забывавших, что есть еще некий икс, учету не поддающийся: настроение войска, идущего в бой, человеческий дух.

Человеческий дух, настроение, совесть, все, что составляет душевный мир

человека, — это в робот не заложишь, и, по правде сказать, я этому рад, несмотря на то, что уже сорок лет решаю технические вопросы.

Но вернемся к предмету нашего разговора.

В такой атмосфере люди быстро растут.

Приехала к нам из Чувашии скромная девушка Даша Васильева. Через несколько лет она стала прославленным на всю страну бригадиром. Никто не тербил меня так, как Даша, никто не умел так добиться того, что необходимо для дела. Она любого начальника могла, если нужно, поднять среди ночи — поэтому-то ее бригада и не знала простоев.

Всех, кто обрел себя в эти годы, не перечислишь.

Росли и молодые инженеры.

Поработал Саша Степанов под началом старого практика Петухова в грунтовой лаборатории и как-то мне говорит:

— Что же, так я и буду до конца присыхать в лаборатории?

А я только и ждал, когда он попросится непосредственно на производство.

— Верно, — говорю, — в лаборатории ты уже посидел. Иди-ка, брат, на плотину.

Вижу, с людьми он по-человечески, делом увлекается — сделал его прорабом, а потом, присмотревшись, выдвинул его на должность начальника технического управления плотины. Тут главным направлением были земельно-кальные работы, он уже это знал и не боялся принимать собственные решения, пусть сначала ему и случалось быть опрометчивым.

Да, молодых не нужно задерживать. Справляется человек с делом, не ноет — значит, тащи его, нагружай больше.

Так они и двигались с Юрой Фриштером со ступеньки на ступеньку, поглядывая один на другого. И став начальниками, не чурались простой работы, не размышляли, идти или не идти на суботник.

Я видел у обоих большие возможности, потому колотил за любую провинность, бросал с места на место, не давая им ни засиживаться, ни зазнаваться, порой снимал их, если они заслуживали того, чтобы потом поднять еще выше.

А теперь о человеке, который был душой нашего коллектива, я имею в виду секретаря нашей партийной организации Николая Францевича Салацкого.

Салацкий пришел на стройку с открытой улыбкой и таким прошагал через все эти годы: доброжелательным к людям, чутким, умным, обладающим даром внушать к себе симпатию и доверие. И сейчас я вижу, как он идет, высокий, статный, полный жизни и сил, и, встретив человека, кто бы он ни был, спешит поздороваться первым: «Привет, привет, дорогой» — и обязательно руку протянет.

Когда он замечал, что какая-то Дарья, в летах уже, работает на сквозняке (а кому, кроме него, это могло прийти в голову, если гидростроительство — это сплошь сквозняки), и когда он заменял ее парнем, он это делал, даже не думая о деловом эффекте: просто не мог пройти мимо человека, которому плохо. Бывало, идет куда-то и видит — девушка натянулась как струнка, устала, остановится, отберет у нее лопату и скажет: «Посиди отдохни».

Он умел соединять разных людей, умел помочь им обойти взаимно углы и найти контакт, умел найти свое собственное место на стройке, что вовсе не так уж просто, если ты не строитель. Есть тут такая грань: перейди ее — и будешь смешным, не дойди — потеряешь свое лицо. Он не терял ни лица своего, ни достоинства, не лез в вопросы, в которых не разбирался, а при этом на стройке чувствовалась его рука, он нужен был и каждой Дарье, у которой что-то неладно, и мне, Бочкину, человеку с отнюдь не лёгким, как говорят, характером, — многому мне у него приходилось учиться.

Где он, сравнительно молодой еще человек, постиг эту науку такта?

В сорок первом году он окончил всего лишь девятый класс, пошел на войну и прошел ее от начала до конца, получив около десятка ранений, лежал изрядно в госпиталях и каждый раз снова возвращался в бой. Должно быть, он на войне это понял, что учат примером, и потому не заседал, когда другие трудились, а просто всегда был с теми, кому трудней.

Нужно снять опалубки над водой — Николай Францевич вспомнит знакомые с военных времен слова: «Коммунисты и комсомольцы, за мной», улыбнется и первым полезет в воду. И шли за ним люди независимо от партийной принадлежности, от возраста и ранга. Или нужно улицу озеленить, сделать посадки — Николай Францевич первым выходит с лопатой (это бывало по воскресеньям), а за ним выходят из домов рабочие и инженеры, их жены и тещи. А когда случался прорыв на бетоне, он шел к бетонщикам, учился у них работать и с ними работал.

При этом Николай Францевич был совсем не колобок; не был он кругл, обтекаем, смело, если нужно, и резко ставил вопросы, не боялся идти на конфликт. О людях судил по тому, как они трудятся, а не по тому, что записано в их личном деле: в тюрьме ли сидел ты до нашей стройки или где-то уже был в почете — важно, какой ты сейчас, в нашем общем труде.

До Салацкого на стройке был человек, который не столько работал, сколько думал, каким ему быть, и просто играл в парторга. Ходил по котловану в выутюженном костюме, выполнял намеченные мероприятия и отмечал их в своей тетради. Сходит с бригадой в театр и запишет это в графе культпоходов. Но люди всегда чувствуют, от души ты с ними или по форме. Позовет эго рабочий на октябрины или на свадьбу — он подумает и не пойдет: боялся есть с рабочим за стол. А Салацкий этого не боялся. Мог с рабочим зайти в ресторан или в кафе, посидеть с ним один на один, если считал, что это на пользу делу.

Помню, как он ходил по общежитиям, где жили молодые рабочие. Видел грязь, беспорядок и не кричал, не произносил громких слов, просто советовал — Подойди ты к зеркалу да посмотри на себя — чем ты не парень? Хоть немножко себя самого полюби для начала.

За то и любили Салацкого, что он такой.

Левобережная плотина должна была пересечь линию действующей железной дороги.

Прошел уже год с тех пор, как мы, гидростроители, провели новую железную линию от Иркутска на Слюдянку через горные выработки, минуя Бай-Эту дорогу тогда же приняли, по ней ходили пробные поезда.

Я сам не раз проезжал по трассе, да и пешком по шпалам ходил — видел, все в порядке. Однако Министерству путей сообщения было удобнее по-прежнему пользоваться старой дорогой. Собственно говоря, и удобства особого там не было — скорей была косность. Наши бесконечные протесты, письма, и в Москву положения не меняли. Мы не могли отсыпать левобережную часть, а сроки нас поджимали.

Когда я решился на крайность. Работал у нас на стройке мой фронтовой друг Володя Солопов. Вот ему-то, поговорив сначала с Салацким, я и сказал:

Я тебе напишу приказ: сегодня с двенадцати ты дежуришь. Как увидишь — идут составы, поднимай тревогу: «Путь закрыт! Путь закрыт!»

Вот так он и сделал.

Сначала в дежурной комнате на ГЭС не смолкая трезвонили телефоны:

Где Бочкин?

Бочкин не было.

Тогда составы пустили по новой трассе.

Сначала я сам пошел к первому секретарю обкома с повинной — признался в нарушении дисциплины. Да и выразился я, пожалуй, неверно: скорее

партизанщиной было то, что путейцы, имея новую колею, продолжали гнать свои поезда по территории стройки. Первый секретарь меня поддержал:

— Не пустил — и не пускай. Хватит в игрушки играть!

Приехал начальник дороги, с ним еще десятка четыре разных начальников. Мне не очень хотелось встречаться с ними, но все же пришлось.

— Что вы себе позволили? А если бы катастрофа?

Но я знал, что катастрофы быть не могло, — слишком досконально я изучил новую колею. Я им сказал:

— Не занимайтесь перестраховкой. Дорогу вам выстроили — начинайте эксплуатировать: должна же она себя окупить. А пока идемте чаю попьем.

На этом дело и кончилось. Поезда начали ходить по новой дороге, а мы стали снимать железнодорожное полотно и отсыпать плотину.

Почему я вспомнил этот, в общем-то, малозначительный эпизод? Он был для меня как бы уроком, точнее сказать, репетицией более серьезных решений, которые позже мне пришлось принимать. Нередко в работе возникают ситуации, когда за неуспех ты можешь не отвечать: от тебя ничего не зависело, тебе помешали. И наоборот, если на свой риск и страх ты вступишь в борьбу с обстоятельствами, тебя обвинят в партизанщине. Но — еще раз — это не партизанщина! Это только чувство ответственности. На самом же деле если тебе помешали и ты, понимая то, что не понимали другие, дал себе помешать, ты виноват больше других!

Ответственность — это и есть понимание того, что в интересах дела кто-то должен тяжесть решения взять на себя.

Теперь большая часть плотины была готова. Подняли и ее бетонный участок — напорную стенку здания ГЭС. Но правое русло было еще открыто: Ангара шла своим естественным путем, хотя мы ее уже потеснили.

Чтобы построить плотину через правое русло, нужно было осушить для нее пространство, создать котлован. Для этого Ангара должна была быть перекрыта временной перемычкой по течению выше.

Перекрыть реку — значит, загородить ей естественный путь и пустить ее по новому руслу. Таким новым руслом для Ангары должны были стать вогсливные отверстия в напорной стене бетонного здания ГЭС, расположенные выше отверстий, через которые вода падает на турбины. Пройдя эти отверстия, вода должна была по углубленной протоке возвратиться в основное русло реки и будущей русловой плотины, строительство которой нам предстояло. Подготовкой к перекрытию было все, что делали мы до сих пор. На Иркутской перекрытие произошло на завершающем этапе строительства. Бывает и иначе.

Непосредственно к перекрытию как к операции мы готовились год. Только отбирали личный состав участников: придется на трое суток проработать с семьями, трое суток жить в напряжении боя.

Начальником специального отряда перекрытия был назначен инженер Станислав Шуликовский, начальник автотранспортного управления, в прошлом мандир роты, подвозившей боеприпасы к переднему краю. С самого начала Станислава дело было поставлено так: кончается смена, водители могут садятся за круглый стол — он по очереди спрашивает каждого, как прошла смена. Если кто-то допустил нарушение, вопрос о взыскании решали тогда. Сам Станислав собственной волей выговоры не выносил, но порядок в управлении был строжайший. Он даже заставил прижать язык матерщице. В это трудно поверить, но водители у него совсем не ругались.

Вот ему-то мы и доверили командовать перекрытием.

Получив список выделенных людей, он каждого вызывал отдельно:

— Вы добровольно идете? Жена согласна?

Или, если парень еще не успел завести жену:

— Мать согласна? Отец согласен?

С отобранными водителями, экскаваторщиками, трактористами занимались, как занимаются перед особой боевой операцией. Собирали их по тревоге, задавали каждому каверзные вопросы:

— Что будешь делать, если рядом с тобой опрокинется «МАЗ»? Что будешь делать, если увидишь, что берег начинает сползать? Если во время перекрытия грянет дождь?

Предусмотрены были всевозможные варианты осложнений.

Удивительно, но вопросы все были такие, будто мы в воду глядели...

Как же будем перекрывать Ангару?

Я предполагал отсыпать русловую перемычку пионерным способом, с двух берегов. Нам предложили следовать инструкции; на этот раз я спорить не стал, это не имело значения.

Стали готовить понтонный мост — металлические лодки, связанные одна с другой, покрытые деревянным настилом.

Перекрытие должно было совершиться в мае, но к маю мы не уложились с бетоном.

Беляков, патриарх энергетиков, старейший работник министерства, кричал по телефону:

— Что, слюни текут? Смелости не хватает?

Он хотел меня разозлить, подзадорить. Я в азарт не входил:

— Да, не хватает. Приходится повременить.

Тогда нам прислали из министерства комиссию. Пока они всюду лазали и все изучали, мы занимались делом: завершали бетонную стену, заготавливали бетонные кубы для перемычки, собирали камень, гравий, песок, еще и еще раз проверяли «МАЗы» и экскаваторы, готовили на всякий случай мешки с песком, багры, цепи, буксиры, а главное — снова и снова проверяли людей.

Наконец к августу все было готово.

Чтобы отверстия бетонного здания ГЭС могли принять Ангару, оставалось снять перемычки, окружающие здание ГЭС, иными словами, ликвидировать котлован в левом течении.

Но как это сделать? Снять перемычки так же непросто, как их возвести. Это был единственный случай, когда я не нашел понимания у своих товарищей по работе.

Наши инженеры в своем большинстве не были на войне — одни были для того слишком молоды, другие слишком стары. А на фронте мы прошли хорошую школу взрывной работы. Лично для меня такой школой прежде всего был, конечно, подкоп под Гангашвару.

Война вообще толкнула вперед взрывную науку. Стали появляться статьи о том, что взрыв может служить не только разрушению, что возможно мирное использование взрывчатки, что с помощью взрыва можно перемещать огромные земляные массы и таким образом создавать плотины, не отсыпая их.

Мне это было понятно: я помнил, что на фронте в воронках всегда стояла вода. Почему? Да потому что взрыв уплотняет грунт. Значит, остается рассчитать, сколько требуется положить взрывчатки, рассчитать силу и направление взрыва. И вот я разработал схему снятия перемычки с помощью взрывов.

Как и следовало ожидать, из министерства я получил взбучку за эту идею. Приехал представитель, на месте ознакомился с моим предложением, и мне было заявлено, что я непонимающий человек. Непонимающий, неграмотный — уже не первый раз я это слышал. И вот ведь что интересно: я не слышал подобных упреков в первые годы своей инженерной работы: это были ученические годы, я помнил, чему меня учили, и старался применять это на практике. Неграмотным я стал только с тех пор, как наступила моя инженерная зрелость, с тех пор, как я понял, что книжки пишутся жизнью.

Может быть, я стал бы отстаивать свое предложение, поехал бы сам в Москву или к академику Лаврентьеву, который занимался проблемой взрыва, но мои соратники, мои друзья, которых я так ценю и любил, говорили:

— А вдруг детонирующей волной мы подорвем основание плотины?

Я предлагал:

— Давайте где-то рядом с сооружением, которое должно быть все равно уничтожено, сделаем опытный взрыв.

Нет! За мое предложение стояли только парторг Салацкий, не инженер, и еще один сравнительно молодой инженер — оба фронтовики. С начальством спорить я уже научился. Но трудно вступать в конфликт с подчиненными, если это такие люди, как Липендин, Малиновский, Горлов. Слишком я их уважал, и мне не хотелось пользоваться преимущественным правом, которое давало мне мое положение начальника стройки. Видно, не пришло еще время для внедрения в строительную практику метода взрывов, хотя ученые этим вопросом уже занимались.

Перемычки разобрали обычным путем.

К взрывам как к эффективному инженерному методу мы вернулись через несколько лет — на строительстве Красноярской гидроэлектростанции. Об этом я расскажу позже. Но даже в Красноярске мы перешли на этот метод не сразу и использовали вовсе не все возможности, которые он таит.

Взрыв может стать не подсобным, а основным строительным методом. Взрыв окончательно покончит с физическими усилиями на земляных работах, даст огромный экономический эффект и выигрыш времени.

Все-таки я как строитель прожил долгую жизнь: начинал с грабарей, вооруженных лопатой, кончил взрывами. Еще на Невинномысском канале порою меня охватывала тоска: а хватит ли моей жизни, чтобы прорыть этот канал? С сегодняшней техникой этот канал был бы построен совершенно в другие сроки.

А пока пусть не методом взрыва, но перемычки мы все-таки сняли и теперь уже полностью были готовы к перекрытию Ангары.

И вот подошли к последнему рубежу.

Как раз в эти дни к нам приехал Твардовский, и я буду прибегать к его помощи, рассказывая о том, что у нас тогда происходило: строчки его поэмы настолько слились с тем, что осталось в моей памяти, что мне теперь невозможно без них обойтись.

В день перекрытия к реке отовсюду шли люди.

С утра, с утра
В тот день воскресный
.....
И городской народ и местный,
И свой на стройке и безвестный,
.....
Ломился грудью, чтоб места
Занять поближе у моста.

Кстати, Твардовский облюбовал себе камень у самой воды, сидел и пылливо всматривался во все, что происходило вокруг.

Я волновался — Ангару перекрывали впервые.

На мосту цепочкой стояли принаряженные девчонки с флажками — совсем как регулировщицы на фронтовых дорогах, ведущих в Берлин. Оперативная группа командования, или штаб, как мы ее называли, собралась в тесовой будке, расположенной у самого берега. Я выслушал последние рапорты и сказал, что пора...

И — началось.

Машины вошли на мост, покачали бортами и сбросили в реку первый каменный груз.

Прежде всего нужно было отсыпать банкет — выровнять дно.

Главной фигурой в этот момент был Станислав Шуликовский. Он стоял на мосту, как Наполеон на Поклонной горе. Ему было видно все — от самых карьеров сколько хватало глаз стояла замершая, готовая ринуться в бой очередь самосвалов.

Рванулся вниз флажок сигнальный,
И точно вдруг издалека
Громовый взрыв породы скальной
Толкнулся в эти берега.

Так первый сброс кубов бетонных,
Тех сундуков десятитонных,
Раздавшись, приняла река...
Она грядой взметнулась пенной,
Свернула радугой мгновенной
И, скинув рваную волну,
Сомкнулась вновь.
И видно было,
Как этот груз она катила,
Гнала по каменному дну.

Действительно, бетонные сундуки относило течением. Поэт увидел в этом величие Ангары и, конечно, был прав, но нам не время было в тот час восхищаться противником: мы были в схватке.

Не знаю, заметил ли Твардовский в том общем грохоте и движении такую деталь: кроме регулировщиц, которые стояли на своих постах неподвижно и строго, уверенные в том, что каждое движение их руки — непреложный закон, на мосту были и другие девчата — работницы лаборатории. Эти, наоборот, непрерывно бегали, и, думаю, со стороны трудно было понять, что они делают, а они замеряли скорость течения. Каждые полчаса мне подавалась новая сводка, и в соответствии с ней я давал команду, какие глыбы опрокидывать в Ангару — мельче или крупнее. «МАЗы» уже стояли груженые: в одном большие кубы и камни, в другом средние, в третьем малые. Одних водителей приходилось придерживать: «Ты пока подожди, помолчи». Других, напротив, пускали чаще: «Давай-давай, проезжай». Это было почти как в оркестре, когда одному инструменту приказывают замолчать, другому вступить...

Были такие моменты, когда скорость возмущенной реки превосходила то, что мы ожидали, тогда-то бетонные сундуки и катились по дну, вместо того чтоб оседать там, где их бросили. Но у нас была управа на Ангару: мы сбрасывали глыбы еще крупнее, приготовленные ради страховки, на всякий случай...

Приходилось маневрировать.

Работам ночь не помешала,
Забыто было есть и пить,
И смена смене не желала
Добром штурвалы уступить,

Конечно, сутки сидеть за рулем никто бы не смог. Люди сменялись, мыли руки, получали горячие щи и котлеты, ложились в постели, еще не остывшие после тех, кто был сейчас на мосту, кто-то шел к медикам перевязывать стертую руку...

Салацкий и работавшие с ним эти дни Саша Степанов и Егор Михайлов успевали быть всюду: и в полевых общежитиях, и на мосту, и в карьере, и на дороге, по которой шли самосвалы. В штабе тоже сменяли друг друга дежурные инженеры: Горлов, Батенчук, Липендин, Малиновский, Фриштер, Медведев.

Пожалуй, только одному человеку во время перекрытия смены предусмотрено не было. Это я говорю опять о Твардовском. Конечно, у каждого было свое дело в те дни, и я за ним не следил, но только взглянешь на камень, им облюбленный, а он все там. Кто-то ему приносил на камень обед и даже че-

кушку, словно он и правда был на таком посту, который нельзя оставить. С виду он был как будто бы даже мрачный, сначала трудно было понять, доволен он или нет, что взял на себя этот наряд. А вокруг все грохотало, трещало и было, я думаю, так: смотрел он, смотрел — и вдруг ему открылась эта поэма:

То был: порыв души артельной,
Самозабвенный, нераздельный. —
В нем все слилось — ни дать ни взять:
И удаль русская мирская,
И с ней повадка заводская,
И строя воинского стать,
И глазомер, и счет бесспорный,
И сметка делу наперед.

Ангара была в бешенстве. Она рвалась на берег, грозила затопить мастерскую, медпункт и штаб...

А на другой день произошло то самое, чего я боялся: левый берег, подмытый напором воды, стал уходить у нас из-под ног в Ангару.

Я помню миг, как тень беды
Прошла по лицам командиров,
Не отходивших от воды.

В бой были брошены «МАЗы», груженные землей и песком.

Слова команды прозвучали,
Один короткий взмах флажка —
И точно танки РГК,
Двадцатитонные «минчане»,
Качнув бортами, как клечами,
С исходной, с грузом — на врага,
И ни мгновенья передышки —
За самосвалом — самосвал,
Чтоб в точку!

В душу!

Наповал!

Так путь воде закрыл завал.

Тут-то во время этих работ и случилась беда.

Водитель Середкин, добросовестный, старательный человек, слишком близко подъехал к краю берега, откинул заднюю стенку и, отсыпая землю, стал пятиться задом. Колеса скользнули, и машина опрокинулась в Ангару. Кто-то крикнул, раздался свисток. Буквально через мгновение на месте беды оказалась аварийная служба. Два рослых мазиста вытащили из машины не на шутку испугавшегося Середкина.

В огромной панораме развернувшихся работ, в общем грохоте и движении это был лишь один эпизод, какой-то короткий миг, но и это не прошло мимо Твардовского.

Не веря сам, что он живой,
Водитель вылез из кабины,
Как из-под крышки гробовой,
И огляделся виновато.
Тут смех и ругань:
— Эх, тулуп! —
И вывод, может, грубоватый:
— Механизация, ребята,
Проходит тоже через пуп...

Тут, должно быть, у нас и был с ним тот единственный за эти дни разговор, о котором он написал:

Начальник подошел.
— Ну, как?
Поэма будет? Чем не тема! —

И я, понятно, не простаю,
 Ответил:
 — Вот она, поэма! —
 Он усмехнулся:
 — Так-то так...

* * * * *
 Тем часом мост махал флажками,
 Не остывая, длился бой.
 Вслед за кубами-сундуками
 Пошел в отгрузку дикий камень,

* * * * *
 Уже слабел напор в запруде,
 Но день тревожен был и труден,
 Дождем грозился тяжкий зной.
 Как на лугу, сгешили люди
 С последней справиться копной.
 Курил начальник, глядя в воду,
 Предвещьем скрытно удручен,
 Он знал, что не бюро погоды,
 Нет, и за дождь ответит он.
 Седой крепыш, майор запаса,
 По мерке выверенной сшит,
 Он груз и нынешнего часа
 Нес, как солдату надлежит.

Тут ради ритма поэт немного в чине меня понизил: я был подполковник запаса, а не майор. Но я на него не в обиде. Ритм в стихе — первое дело. И даже не в этом суть. Тут же он меня и солдатом назвал. Это я считаю уже повышением, почетней звания я не знаю.

Трое суток было уже за плечами. Приходил новый рассвет.

Победа шла с рассветом ранним,
 Облитым с ночи тем дождем,
 Река еще текла в проране,
 Но тихо было под мостом.
 Теперь она была похожа
 На мелкий, в каменистом ложе
 Разгон теряющий поток.
 Потом —
 На горный ручеек,
 Что мог перешагнуть прохожий,
 Не замочив, пожалуй, ног.
 Осталось двум бульдозеристам
 Завалом влажным и зернистым
 Угломонить и тот ручей,
 Что был меж них чертой ничьей.

Митинг мы провели тут же в пять утра, не стали откладывать.

Перекрытие было авралом, боевой операцией, и все же это был праздник, одна из вершин нашей стройки.

Потом опять пошли рабочие будни: отсыпали нижнюю перемышку, осушали образовавшийся котлован, наконец приступили к сооружению русловой плотины. Снова вскрывали и чистили обнаженное дно, вбивались в него шпунтом, заливали пространство между рядами шпунта цементом и суглинком, возводили гравийно-песчаную насыпь.

Но не буду скрывать наши просчеты. В самом начале работ по строительству русловой плотины нас подстерегала совершенно не предвиденная нами неприятность. Проектировщики допустили ошибку, которую мы, строители, к стыду своему, тоже не заметили вовремя.

Плотина строилась по течению выше того места, где на правом берегу

была расположена водокачка, снабжавшая водой почти весь Иркутск. Пока мы отсыпали плотину в левом течении, это никого не тревожило. Но когда мы начали отсыпать русловую плотину, выбирать речной грунт, возить его на шаландах, из водопроводных кранов в Иркутске потекла коричневая, с песком в осадке, вода.

Санинспектор города Миллер приехал ко мне верхом на коне крайне взволнованный:

— Вы, товарищ Бочкин, своим песком травите население.

Я говорю:

— Ладно, давайте я поставлю вам водокачку вверх.

Я готов был на три месяца прекратить работы по отсыпке плотины и построить городу водокачку выше плотины. Но тут в дело вмешались проектировщики: мало того что они ошиблись — они и не давали еще исправить ошибку. Возможно, имела значение честь мундира — проект утвержден Гидэпом, а тут какой-то Бочкин все хочет менять.

Иркутское гидросооружение было задумано совмещенным: через плотину должны были проходить трубы насосной станции, снабжающей город чистой водой из верхнего бьефа. Совмещенный гидроузел означает экономию цемента и бетона. Все это, конечно, прекрасно, но при условии, что пока этот проект будет осуществляться, население не пострадает. Проектировщики же действовали по принципу «первым делом, первым делом самолеты...». Тогда у них еще не было такого высокого здания, как нынешний дом Гидропроекта на Ленинградском шоссе, но чувствовали они себя уже достаточно на высоте.

Приехала из Москвы Шестернева, заместитель главного инженера проекта. Я говорю ей:

— Вы со своим начальством добьетесь, что вас посадят.

А она слушает и как будто не понимает. Вытащили нас с ней на заседание Иркутского исполкома. Я стою на своем:

— Давайте прекратим отсыпать плотину и в три месяца поставим новую водокачку.

Но это значит, что меняется характер плотины. Шестернева уперлась:

— Мое начальство считает, что это позор.

Я не выдержал:

— Ваше начальство привыкло не считаться с людьми!

Так мы и не сдвинули эту глыбу — имею в виду Мосгидэп. Продолжали мутить Ангару. Когда я проезжал по Иркутску, люди останавливали машину:

— Товарищ Бочкин, откажитесь от этого дела!

Своею волей я отказаться не мог, но душа у меня болела. Мы собирали население, разъясняли, что это временно, просили воду пока отстаивать. Делали для города бачки, отстойники, наладили хлорирование воды на самой водокачке. Миллер в эти дни со своей инспекцией работал как на страде.

А проектировщики просто боялись появляться в Иркутске. Когда наконец плотина была отсыпана, вода снова стала обычной ангарской водой, а нет на свете воды вкуснее и чище воды из Байкала. Теперь меня в городе чуть не качали, а мне до сих пор неприятно, когда я вспоминаю эту историю. Неприятно, что я не заметил раньше этой ошибки проекта и потом не сумел отстоять решение, которое было в интересах людей.

Неприятности, однако, на этом не кончились.

Итак, перекрытие означало, что Ангара пошла новым путем — через отверстия в бетонном здании ГЭС.

В отводной канал, а это, по сути, левая протока реки, специально углубленная нами, вода попадала еще не успокоенной, скорость течения пока была достаточно велика, дно и откосы канала могли оказаться размывыми. Чтобы

этого не случилось, обычно укрепляют дно и берега. Такое укрепление называется рисбермой и решается в зависимости от обстоятельств по-разному.

У нас проектировщики решили рисберму так: из-под турбин вода попадала в бетонированный водобойный колодец. На протяжении двадцати метров дно и откосы канала покрывались бетоном, затем шестьдесят метров дна укреплялось ряжами, срубами, вбитыми в дно, заполненными камнями. Опыт говорил за то, что двадцати метров бетона для ангарской воды, выходящей из-под турбин, наверняка недостаточно. Помню, когда принимали Невинномысский канал, с приемной комиссией приехал старый гидротехник профессор Костюков, мой институтский преподаватель. Стоило ему взглянуть на течение воды за Свистухинской ГЭС, увидеть жгут волн, как он сразу возвел это в интеграл, представил, что будет здесь при полном расходе, и тихонько шепнул мне: «Андрюша, а ты рисберму после нас удлини, а то будет мыть!». Я на всю жизнь запомнил этот урок, может быть, именно потому, что замечание было сделано дружески, с полным ко мне доверием...

Мы написали докладную записку начальнику Мосгидэпа, просили пересмотреть иркутский проект в этом пункте и бетонное покрытие удлинить — дать не двадцать, а все восемьдесят метров бетона вместо ряжей, набитых камнем. Ответ из Москвы был неожиданный: нам писали, что мы предполагаем худшее, опираясь на древние инстинкты, а не на знания, — словом, нас опять упрекали в неграмотности. А чтоб избежать угрозы размыва, нам предлагали пускать воду только через половину отверстий. Мы снова задали вопрос: «А что, если сильный паводок?» Ангара — река с ровным, хорошим характером, а все же весна может быть разной: уравновешенный человек тоже способен иногда рассердиться. Нам ответили коротко: «Исполняйте проект». Проектировщики считали, что они экономят бетон и цемент.

Сильный — для Ангары — паводок наступил как раз в ту весну, когда накапливали Братское водохранилище; из министерства пришел приказ: открыть все восемь отверстий. Ну, думаю, смотрите, мы вас предупреждали. А приказ есть приказ. Дали полную дорогу воде, проработали так две недели, и, как и следовало ожидать, течение воды за бетонным зданием ГЭС стало подозрительно беспокойным, появились воронки... Камни в ряжах стали ворочаться, и наконец ряжи поплыли... Именно это мы и имели в виду, когда писали свою докладную. Пришлось отверстия снова закрыть.

Телефон не смолкал. Братчане кричали:

— Что вы держите там? Воду давайте! Спускайте воду!

Но мы не могли спустить воду, не построив снова рисберму. Теперь только нам разрешили забетонировать дно канала на протяжении восьмидесяти метров. Бетонные кубы мы укладывали под водой — кубы были с вырезкой, входили один в другой, как столбы шпунта.

Проектировщикам тогда указали на легкомыслие.

Люди, разрабатывающие проект, порой далеки от производства, от жизни, бывает, что они создают чертеж, не представляя себе реальности. Но дело не только в этом. Ситуация иногда складывается так, что сами обстоятельства толкают проектировщиков на неправильное решение. Многое, например, обходилось бы дешевле, если бы проектировщики не получали премий за экономию. Тогда бы не составлялись сметы с расчетом на минимальный паводок, не было бы таких неприятностей, как та, которую мы пережили в эту весну, не было бы многого из того, что я пережил позже на Енисее...

Бывает, что экономия обходится слишком дорого.

Теперь, вспоминая эту историю, я недоволен собой: все же не должен я был подчиняться неумным приказам, должен был настоять на том, в чем был убежден. Что там ни говори, приказ приказом, а ты отвечаешь за то, что делаешь.

На будущее это меня кое-чему научило.

Казалось бы, все неприятности, все волнения позади. Плотина построена, заканчивается монтаж электростанции, скоро пойдет ток.

Я поехал в Москву на сессию Верховного Совета. Сажу в зале, вдруг в президиуме произносят мою фамилию, просят срочно пройти в комнату номер такой-то. Не понимая, в чем дело, встаю, иду искать комнату номер такой-то, захожу и вижу Логинова, гидростроителя, которого я всегда уважал за его умение дать отпор всем, кто ему мешает работать, и снизу и сверху. Теперь Логинов был министром.

Каково же мне было услышать не от кого-нибудь, а именно от него самые обидные слова, какие может услышать руководитель гидростроительства: — Андрей Ефимович, мне сообщили, сегодня в ночь ваша русловая плотина дала беспорядочную фильтрацию. — Логинов сочувственно посмотрел на меня и добавил: — Самолет заказан уже. С вами полетит Беляков.

Иными словами, он сказал, что плотина течет. Как она может течь? Я был убежден, что это совершенно немыслимо, но не станет же он говорить без оснований... В моем распоряжении оставался час. Я позвонил в Иркутск, и городские власти мне подтвердили: от русловой плотины вода идет мутной.

На аэродроме у самолета уже стоял Беляков, растерянный, с непокрытой головой, с белыми развевающимися кудрями.

— Опять напелели, — сказал Беляков, — а я должен лететь.

Я на него не обиделся, он был так пришиблен, как если бы ему, а не мне отвечать за такой позор.

Прилетели в Иркутск рано утром, на машине, которая ждала нас на аэродроме, поехали прямо к плотине. Действительно, от русловой части плотины вода шла красноватой. Такой цвет мог дать только суглинок. Но суглинок — это ядро плотины. Что же, размывает ядро?

Преодолевая такую плотину, как наша, вода должна потерять скорость и силу — не протачить ей тяжелый суглинок сквозь песок и железо.

В чем же тогда дело?

Мы перебирали в уме всевозможные варианты. Всем версиям, которые выдвигались, мы говорили «нет». Но что же все-таки «да»? Может, не убрали суглинок, когда расширяли ядро? Может, песок и гравий были недостаточно чистыми?

Я стал расспрашивать, и молодой мастер Маша Раззоренова подтвердила мою догадку:

— Когда расширяли ядро, забыли убрать остатки суглинка, а он тянулся полоской от ядра плотины до бьефа. Георгий Михайлович распоряжение отдал и куда-то по делу уехал.

Вот оно что! Как Егорушку Михайлова не узнать!

Не раз ругал я его за излишнюю доверчивость. Приедет председатель колхоза, начнет у него выпрашивать что-то из техники, конечно на время, он и даст по-соседски и, ясно, обратно никогда не получит.

И здесь поручил и доверился, не проверил, а река живет своей жизнью. Вода в нижнем бьефе то опускается, то поднимается. Вот она и добралась до места, где остался этот забытый суглинок, и стала его лизать...

Вызвал Михайлова. Он был так убит, что ругать его, как он того заслуживал, я не мог. Махнул только рукой:

— Да, надо было, Егор, тебе в науку идти, формулой Шэзи заниматься. Никакой ты не руководитель!

И зло на него берет — столько из-за него волнений. И жаль его, как провинившегося ребенка.

Пришлось экскаваторщикам перебросить как от нечего делать тысяч триста кубов. Нашли не на месте суглинок, вычистили его, и через несколько дней вода пошла чистой.

Беляков во всем разобрался, успокоился и улетел в Москву.

Наши волнения и на этом не кончились.

В том пятьдесят шестом году мы должны были пустить две первые турбины. Первая турбина дала промышленный ток 29 декабря. Нужно было пустить и вторую турбину до Нового года.

Все уже, казалось, готово. Второй генератор, посаженный на турбинный вал, вращался бесшумно и мягко — по выражению одного иркутского журналиста, так вкрадчивая кошка движется по ковру. Бесшумность — свидетельство точности, с какой установлена эта машина.

Оставалось последнее: включить обмотку генератора. Во вращающемся роторе возникнет электрический ток, а статор снимет с него ток, как пчелы снимают мед, и отдаст в медные шины.

Но медные шины, проводники, которые должны были принять первый ток и передать его в общую сеть, до этого находились на морозе и изоляция сильно промерзла. В таких случаях обычно считают, что внутри изоляции возможно обледенение и существует опасность короткого замыкания. Чтобы просушить провода, нужно дать генератору поработать какое-то время на холостом ходу.

Представители новосибирского завода, где делали генератор, именно об этом и заявили в письменной форме. Осторожные люди слово свое сказали и ответственность с себя сняли. Они были правы, и упрекнуть их никто не мог. Но кто-то всегда должен взять ответственность на себя — это и в крупном и в малом и об этом я уже говорил, — иначе невозможно, если то, что вы делаете, до вас никто никогда не делал.

Помню эту последнюю ночь. Мы пошли на риск, но риск этот был обоснован, так что вряд ли стоит даже называть его риском. Мы решили: в Сибири, в условиях сорокаградусного мороза, можно считать, что провода сушатся не только при положительных температурах, отрицательная температура тоже должна сушить! Все уже вымерзло в этих шинах! А если и нет — дав высокое напряжение, мы создадим такую температуру, при которой лед, если он даже остался, превратится немедленно в пар. Словом, генератор решили пустить без холостого хода. Если же изоляция все-таки загорится, у нас все было наготове, чтобы залить горящие провода.

Конечно, что говорить, жали нас сроки — до Нового года оставались считанные часы, — но, кроме того, это был и эксперимент.

Махину, сборка которой завершала собой огромный и долгий труд многих тысяч людей, включала хрупкая девушка — дежурный техник. Стоит ей всего раз повернуть регулятор — все сразу придет в движение и загорится табло. Вместе со мной у генератора был Мнациканов, начальник треста Электромонтаж, приехавший из Москвы. Мы дали девушке знак, она повернула регулятор — и ничего не случилось... Вращение есть, а ток не идет!

Что же такое?

А новогодняя ночь уже накатывалась на нас. Люди устали, и мы всех отпустили домой встречать Новый год.

В зале электростанции остались только монтажники и мы с Мнацикановым. Снова и снова проверяли соединения, сверяли со схемами — все как будто на месте, а ток не возникает... И вот наконец нашли. В одном месте шины соединили не теми концами!

Снова девушка — дежурный техник по нашему знаку дала оборот регулятору, и по гирлянде лампочек пробежал голубой свет. Что это было? Молния? Северное сияние? Не знаю. Может быть, это и было счастье. Две первые турбины Иркутской ГЭС были в ходу. Они давали самый дешевый в мире для той поры электрический ток. Мы подсчитали: один киловатт-час нашей энергии стоил дешевле коробки спичек.

Я взглянул на часы: 23 часа 23 минуты... До Нового, пятьдесят седьмого года оставалось еще тридцать семь минут.

Я не ушел из зала. Чтобы убедиться, что изоляция не загорелась, что все в порядке, нужно было пробыть здесь еще какое-то время. Но дело не только в этом. Не было в ту новогоднюю ночь другого места на свете, где я был бы еще так счастлив. Не ушел и Мнациканов, монтажники тоже остались.

Кто-то догадался: нам принесли сюда шампанское и коньяк. Здесь и встречали мы Новый год. Это была одна из лучших новогодних ночей в моей жизни.

А дальше — сборка и пуск остальных турбин, и с каждой свои заботы, свои волнения.

Наконец мы подошли к отделке здания ГЭС.

Теперь, когда все капитальные вопросы были уже решены, можно было подумать и о деталях: приводили в порядок потерны (так называют галереи, идущие через тело плотины), покрывали краской бетон, устанавливали лифты, выстилали мозаикой пол машинного зала.

Так случилось, что отделочные работы на ГЭС совпали с тем временем, когда нас, гидростроителей, назвали гидроакулами за высокую стоимость строительства электростанций, когда в масштабе страны шла борьба с архитектурными излишествами в строительстве. Мы понимали справедливость заботы о том, чтобы жилья для людей было больше, пусть даже дома пока будут выглядеть проще, но понимали также другое: наша Иркутская ГЭС уникальна и потому должна стать самой красивой.

На свой страх и риск — экономия кое-какая у нас была — мы позаботились и о максимуме архитектурной отделки внутри и снаружи, и о подборе соответствующих колеров, о красивых бесшумных лифтах, а кроме того, не смогли удержаться, заказали в Ленинграде художественное литье — чугунную ограду, не уступающую знаменитой решетке Летнего сада.

Наконец-то в последний раз все чистили, мыли и натирали.

Тут нам сообщили, что неожиданно, проездом, к нам нагрянуло из Москвы высокое начальство. Ох, думаю, влетит нам сейчас за излишества, а сам берусь за метлу, вместе с уборщицами выметаю последний строительный мусор. И только мы отложили метлы и вынесли мусор, действительно появилось начальство.

Нет, нам не влетело. Всем было ясно, что Иркутская ГЭС должна выглядеть именно так.

Внизу, у пульты управления, — солнечный свет (это мы тоже отвоевали у проектировщиков, они хотели строить здание ГЭС без окон, как блиндаж военных времен), все сверкает, вокруг кибернетика и работают молодые девчата, красивые все до одной, в нарядной форме небесного цвета, выпускницы московских вузов. А вверху, на гребне, чувствуешь себя прямо под небом, прямо под солнцем, и плещется перед тобой синее море — это сам Байкал пришел к иркутской плотине.

Я увидел в тот день все это так, будто впервые сюда приехал. Не верилось, что и действительно все это сделали мы, что этот сегодняшний день не в далеком будущем, а сегодня.

НА ЕНИСЕЕ

Мы не сдали еще Иркутскую ГЭС, когда заместитель министра спросил меня, согласен ли я взять на себя строительство Красноярской ГЭС. Я понимал, что стройка на Енисее сулит огромный размах, но не успел пока отойти от тревог, пережитых на Ангаре, и ответил, что, пожалуй, устал я уже от всех этих страстей-мордастей и что дело близится к пенсионному сроку — стоит ли начинать такое большое строительство?

Тем не менее в Москву меня вызвали и Секретариату Центрального Комитета представили. Тот, кто обо мне докладывал, правда, заметил:

— Товарищ Бочкин идет на эту стройку без большого энтузиазма.

И верно, большой охоты братья за Енисей я не испытывал. Насколько я знал, Красноярская ГЭС начинала строиться скверно: одного начальника сняли, потом другого...

Меня стали убеждать, что я еще человек здоровый, могучий, что Енисей я одолею. Мне кажется, тут имело значение то, что написал о перекрытии Анггары, и в частности обо мне, Твардовский. Кто-то даже и вслух произнес:

— Крепыш, майор запаса, по мерке выверенной шит.

Раз, мол, по мерке, значит, подходит. Ничего мне не оставалось, как попросить два месяца на недоделки. К этому прибавили еще месяц на отдых.

И вот я приехал на Енисей. На языке древних народов, населявших когда-то эти места, Инесси означает «большая вода».

Тайга, заваленная снегами, местами круто поднимается в гору, между высоченными обнаженными скалами неожиданно розового цвета видишь остановившуюся ледяную лавину реки.

Был конец апреля. Енисей еще спал, но по всему было видно, что скоро ему уже просыпаться.

Место для створа было выбрано в глубокой скалистой теснине у деревни Шумиха. Будущая плотина должна была встать между отвесных, близко сошедших берегов так, как вставляется пластинка в фотоаппарат старого типа.

Приехав на стройку, я решил сначала все увидеть своими глазами. Прежде всего пошел в землянки, где жили рабочие; деревянных домов для рабочих тогда почему-то не строили в этом океане лесов. Заглянул в одну землянку, в другую: кто-то спит на узлах, кто-то, выпив, ругает жену. В столовой грязь, в больнице печка разваливается, в двухэтажном здании школы нет отопительного котла. Одно дело клетушки, которые я застал в Иркутске, тогда за плечами была недавняя война и люди мирились с трудностями, верили, что все обойдется; другое дело — землянки на пороге шестидесятых годов.

Зато огромный кабинет начальника строительства, до которого я добрался только на третий день, был на самом высоком уровне: современная мебель, мягкие кресла, дорогие портьеры, телефоны, коммутатор, кнопки для вызова и в довершение на двери уже кем-то услужливо прибитая пластинка из оргстекла с надписью «А. Е. Бочкин» и даже часы приема. Забегая вперед скажу, что за все те десять лет, что я провел на строительстве, в этом кабинете сидел я мало, думаю, что и двух часов в день тут не провел, а когда приходил сюда, секретарша с ужасом смотрела на мои сапоги, они были вечно в глине, в бетоне; поймав на себе ее взгляд, я тут же у входа в углу спешил переобуться.

Конечно, я испытывал досаду в те первые дни, видя свою фамилию на дверях этого пока совсем неуместного здесь кабинета.

Посидел на приеме рабочих в отделе кадров, чтобы иметь представление о коллективе. Спрашивал:

— Как ты попал на стройку? Кто приглашал? Где работал до этого?

Сначала здесь не было ни железной дороги, ни шоссе, ни подъездов. Летом до стройки добирались рекой, попутными грузовыми машинами по бездорожью. Ехали издалека. Выяснилось, что из первых молодежных отрядов, приехавших на красноярскую стройку, здесь осталось не больше трети, и это понятно: ребята вслед за первым начальником стройки ехали с юга и привыкнуть к жизни в Сибири им было непросто.

Первой трудностью, с которой столкнулись на Енисее строители, оказалась летучая нечисть — гнус, комары. Были и случаи энцефалита. Мне рассказали, что летом парни работали, а девочки ходили за ними с хлыстами, отгоняли от них комаров.

Заглянул в технический отдел — вижу, подымается из-за стола не кто иной, как Антон Мельниконис. Была какая-то секунда неловкости, но Антон в мгновение смял ее: налетел на меня, тискал в своих огромных ручищах, был так счастлив, что в искренности его сомневаться не приходилось. А ведь все же я пусть в интересах дела, но обидел его тогда, на Иркутской ГЭС!

На душе сразу у меня полегчало. Антон сообщил, что, пока я отдыхал, сюда приехали иркутские ветераны: Малиновский, Липендин, Михайлов, Степанов, Карякин, Даша Васильева, Валя Черниговская, Леонид Назимко, Саша Маршалов, много рабочих. Что касается Липендина, то здешний главный инженер, оказывается, брать его не хотел на том основании, что у Липендина нет диплома.

— Еле ему растолковал, — рассказывал мне Антон, — нам, мол, с вами жизни не хватит научиться всему, что знает Липендин.

В комнату вошел молодой человек, чрезвычайно озабоченный чем-то. Оказалось, что это сантехник и огорчен он перерасходом зарплаты. Я взял у него наряды, пересмотрел их, пометил грунт пятым разрядом, а не четвертым. Присутствовавший при этом деятель управления был озадачен:

— А вы смелый, однако.

Я ответил:

— Это не жест. Должен же он рабочим платить, грунты здесь тяжелые, а какой нужно поставить разряд — и вам неизвестно.

Деятель не преминул доложить об этом случае в банк, но там меня поддержали.

На складе снова пришлось приуныть: все было завалено металлическими конструкциями совершенно непонятного мне назначения. Кладовщик сообщил, что эти железяки гонят и гонят, неизвестно куда их девать и на что нужны они — никто не знает.

Главный инженер Севенард объяснил мне, что укладка бетона на плотине Красноярской ГЭС должна происходить новым непрерывно-поточным способом, или попросту «непрерывкой», о которой все говорят, что она пока нереальна, зато является последним словом науки; новое оборудование для этого и предназначено. Я спросил:

— Зачем же вы это принимаете?

— Шлют. Приказ есть приказ.

— А что говорят проектировщики?

— Директива идет сверху. Вслух возражать никто не решается.

— Ну а вы?

— Я тоже молчу. Есть инженер Б., который проталкивает непрерывную подачу бетона как прогрессивный метод. Б. поддерживают, и вам не придется спорить. Кто против «непрерывки», тот против прогресса — чуть ли не так.

Я промолчал. Теперь-то я вспомнил, что главный инженер строительства Братской ГЭС говорил мне о новом способе укладки бетона, от которого он сумел отвертеться. Я поглощен был тогда другими заботами и в суть дела не вник. Все это было теперь для меня как гром среди ясного неба.

К способу, предложенному инженером Б. и названному им «непрерывкой», мне, к сожалению, придется еще возвращаться в своем рассказе. Сразу оговорюсь: этот способ, несмотря на свое название, не имеет ничего общего с системой мероприятий по усовершенствованию организации жилого строительства, которая сейчас получила название непрерывки.

Еще до моего приезда проложили дорогу к месту будущей стройки, провели первые линии высоковольтных передач, сбросили в Енисей первый негабарит с надписью «Покорись, Енисей!». Сколько таких глыб с этой надписью ушло потом на дно Енисея!

В те дни, когда я приехал, посреди реки на воображаемом пока углу бу-

дущего котлована воздвигался бетонный оголовок. Туда-то я и направился с правого берега. Мне сказали, что, пожалуй, уже опасно — вот-вот, глядишь, и тронется лед, — но мне показалось, что лед еще крепкий, и я пошел.

Посреди скованного льдами Енисея я увидел впервые человека, память о котором до сих пор греет меня. Начальником первого участка стройки был Василий Иванович Гладун, немолодой уже и тогда. Гладун обосновался на песчаной косе, идущей от левого берега до середины реки. Здесь у него стояла землянка, похожая на фронтовые, здесь же была установлена кессонная камера. Когда я пришел, смена вытаскивала грунты, а вечером в кессоне начали укладку бетона.

Посидели мы с ним в землянке, поговорили. Гладун рассказал, что в воду они вошли в августе, а в ноябре, в ночь на 6-е, Енисей вдруг остановился. Как назло, в эту зиму он остановился раньше обычного. Пришлось отбивать лед толщиной в два метра, загонять баграми отбитые льдины под несдвинутый лед, а они тут же примерзали; тогда льдины растаскивали тракторами и валили между ними в проран негабариты — обломки скал. Тут же Гладун показал мне на баян, скромно примостившийся в углу блиндажа, и сказал:

— В мокрых сапогах ходим, зато живем с музыкой, это наш бригадир Коля Смелко нас тешит.

Скоро появился сам Коля Смелко, совсем молодой еще, только из армии. Он принес тревожную весть:

— Рабочие говорят, что ночью обязательно будет подвижка льда.

Мы решили, что за ночь нужно закончить укладку бетона.

В сопровождении бригадира я спустился в кессон посмотреть работу ночной смены. Дышалось в кессоне трудно — вспомнился тоннель, который мы вели под Гангашвару. После меня в кессон спустился Гладун. Рабочие меняли друг друга, и мы с Гладуном тоже менялись, даже выспаться успели по очереди на соломенных матрацах в землянке. Успели и кое-что друг о друге узнать.

Оказалось, что Гладун в прошлом капитан дальнего плавания, служил на Тихом океане. Сюда он приехал одним из первых, поселился в Шумихе, подобрал среди местного населения первых рабочих для стройки. Я сразу его полюбил: увидел, что он из тех ясных и чистых людей, которых рабочие всегда и во всем поддержат. Таким он и был все эти десять лет, словно на весь этот срок действовал в нем такой особый завод, что он мог в шесть утра, за час до начала первой утренней смены, уходить на работу и возвращаться домой только в двенадцать часов ночи, после того как заступит третья, ночная смена, — и так изо дня в день годами, будто и не надо было ему таскать на себе груз своего большого тела и груз своих лет.

Все эти десять лет Гладун был начальником первого участка, оставался на месте, только вместе с плотиной все выше и выше поднимался его участок. Зато его первому бригадиру Коле Смелко здесь, на строительстве, предстояло пройти много ступеней: стать инженером, руководителем, главою семьи, первым из строителей получить правительственную награду; он был еще в самом начале пути, и ему повезло — он попал в хорошие руки.

Встреча с ними обоими была для меня в тот день как живая вода.

Утром ребята сварили чай на костре, я позавтракал с ними в землянке, пора было уже возвращаться на правый берег — меня ждало совещание; называлось оно техсоветом, и приехать на него должны были главные проектировщики.

Лед уже двинулся, видны были трещины. Вместе со мной шел Юра Севернард, сын главного инженера. Оба мы с ним вооружились шестами, каждый раз трогали лед перед собой, перед тем как ступить. Одолели половину пути, я говорю:

--- Давайте, Юра, возвращайтесь назад, я сам дошагаю.

Пошел дальше один. Приближаюсь к берегу, вижу, образовалась уже за-

краина: лед от берега отошел на несколько метров, вода черная, быстрая, злая, струи набухают, как обнаженные мускулы, набегают одна на другую, отталкивают в сторону закраину льда. Так вот ты какой, Енисей, как проснешься...

На берегу меня поджидали — перебросили с берега на льдину несколько досок, едва я перешел этот мосток, льдина, на которой я только что стоял, оторвалась и двинулась. Течение подхватило ее, понесло...

На техсовет я так и пришел в телогрейке, в вымокших сапогах — переодеться времени не было, — в общем, попал с корабля на бал. «Бал» и правда был представительный: проектировщики, приехавшие из Москвы и Ленинграда, привезли с собой целый вагон референтов — уверенных, во всем на свете осведомленных людей. Обсуждался характер плотины, способ укладки бетона, сроки перекрытия Енисея.

Здесь придется вернуться назад.

Первый проект плотины был разработан Ленгидэпом, в частности Филимоновым, и, на мой взгляд, удачно. Этот проект был утвержден. Филимонов запроектировал гравитационную монолитную бетонную плотину, которая должна была врезаться в отвесные берега.

Это было как раз в то самое время, когда стали говорить об экономии в строительстве, а нас, гидростроителей, один руководящий товарищ, как я уже вспоминал, назвал гидроакулами за то, что мы поглощаем немалые капиталы. Может, просто он пошутил, этот товарищ, но слово было подхвачено и люди, легкие на скорые повороты, стали подстраиваться к конъюнктуре.

В любом деле найдутся охотники снять личный навар, использовать ситуацию для своей карьеры. Вот и вышли на сцену лихие молодцы-удальцы и в соответствии с общей погодой стали отважно сокращать смету строительства.

А за счет чего ее сокращать?

Одну из причин дороговизны нашли в типе плотины.

Был предложен проект плотины облегченной, ажурной, арочной. На первый взгляд проект ажурной плотины выглядел довольно эффектно: тут и современность, тут и экономичность. Взято это из американского опыта, но, очевидно, плотины подобного типа ставились не на таких реках, как Енисей.

Филимонов отказался признать проект облегченной плотины и был отстранен.

Теперь на совещании представлялся «ажурный» проект.

Мне было ясно, что такая плотина не сдержит напора Енисея. Плотина должна быть тяжелой, даже, может быть, тяжелей, чем запроектировал Филимонов. Расчетов на этом совещании я, разумеется, представить еще не мог, но был убежден, что на Енисее строить облегченную плотину нельзя, мне говорил это опыт. Свое мнение, конечно, я высказал: строить плотину облегченного типа значит рисковать и самой плотиной и Красноярском. Мне отвечали, что я стою на консервативных позициях и не чувствую времени. Я же считал, что чувство современности и погоня за модой — понятия разные.

В Иркутске, в условиях первого сибирского гидростроительства, я вынужден был все время бороться за новое. Здесь я попадал в непривычную для себя ситуацию — становился «консерватором». Нужно сказать, что я никогда не ставил себе задачи быть непременно, любой ценой «новатором». Всю жизнь принимал решения лишь в интересах дела, так что не это меня огорчило. Огорчило, что много сил придется потратить не на дело, а на борьбу... Что ж, и это, на верное, дело...

Ни к какому решению о типе плотины на этом совещании мы не пришли.

Позже я советовался со своими товарищами по Иркутску — с ветеранами гидростроения. Некоторые отвечали уклончиво: конъюнктура, она давит, конеч-

но, что заставят, то и построим, не перебеешь. Антон Мельниконис, Горлов — о нем я еще расскажу — мнение свое выразили определенно:

— Плотина должна быть тяжелой.

Молодежь в решение этого вопроса я особенно не вовлекал — пусть посядут пока и послушают. Молодым часто хочется новую рубашку надеть да пощеголять в ней перед людьми.

Вопрос пока оставался открытым.

До работ на плотине еще нужно было вскрыть котлован.

Второй вопрос — вопрос о способе укладки бетона — оказался еще труднее. Товарищи, приехавшие от Оргэнергостроя, категорически поддерживали идею «непрерывки», которую предлагал инженер Б. Он был тут же.

Существовало решение техсовета, в котором было записано, что укладка бетона на Красноярской ГЭС будет проводиться только непрерывно-поточным методом, и проблема «непрерывки» звучала на совещании как директива.

Тут впервые я познакомился со схемами, чертежами, с технологией этого способа. Предполагалось построить завод на самой высокой в данной местности точке — на вершине четырехсотметровой скалы правого берега, — провести туда железные трубы: туда подавать воду, цемент, гравий, песок, оттуда с завода по трубе прямо в плотину будет непрерывно — как манна небесная! — валиться бетон. Так вот каково назначение конструкций, забивших помещения складов!

Заманчиво, конечно, обойтись без самосвалов, исключить все промежуточные инстанции и операции между бетонным заводом и плотиной... Однако чем дальше я слушал доклад, тем сильнее сомневался. Бетон помчится с головокружительной высоты. Не растрясет ли его по пути? Не распадется ли он, не достигнув цели, на свои составные части, останется ли бетоном? Не замерзнет ли, пока дойдет до плотины? И как непрерывный сплошной поток сочетать с секционной нарезкой плотины?

Дело в том, что проектировщики предложили разделить плотину на семьдесят две секции. Секция — это бетонный столб, идущий от основания плотины до ее верха. В Красноярске годовая температура колеблется от плюс сорока пяти до минус пятидесяти семи. В этих условиях бетон, как всякое тело, то расширяется, то сжимается, поэтому технически необходимо, чтобы плотина состояла из отдельных частей, соединенных температурными швами. Швы эти заполнены не цементом, а битумом, одетым нержавеющей сталью, — этот материал мягче, пластичнее, он дает возможность дышать отдельным частям плотины. Кроме того, если один столб оседет, это не затронет всей остальной плотины.

Плотина должна наращиваться последовательно и постепенно, по такому же принципу вырастает и секция. Секция состоит из блоков, это как бы отдельные кирпичики, первоэлементы плотины. Каждую секцию, каждый блок в условиях красноярской зимы придется выхаживать, как ребенка, совершенно особо. Как же сочетать это с «непрерывкой», при которой плотина заполняется сразу, целиком, без учета последующей жизни бетона?

Словом, у меня было много вопросов, ответа на которые я пока не находил.

Из приехавших только Роман Петрович Носов, опытный гидростроитель, возражал против непрерывной подачи бетона. Из работников стройки на этот раз проявил решительность Севенард: он тоже отважился выступить против. Проектировщики сидели будто в рот воды набрали. Промолчал в этот раз и я. Севенард потом меня упрекнул:

— Что ж вы меня не поддержали?

Мое молчание не было дипломатией: я был полон сомнений, но веских доводов пока не имел. Тут я не мог положиться на одну интуицию: нужно было хоть что-то увидеть своими глазами, хоть бы что-то прочесть...

Оказался спорным на этом совещании и вопрос о том, когда целесообразнее перекрывать Енисей.

Новый, назначенный после Филимонова, главный инженер проекта, позже смененный, свою деятельность начал именно с графика. В этом-то графике сроком перекрытия и был записан октябрь шестьдесят второго года. Стройка тогда располагала несколькими экскаваторами, сотней разбитых машин, бетонными заводами, существующими только в проекте, и бетономешалками, которые давали мало бетона. Этот график можно было назвать необдуманым мечтанием или попросту легкомыслием. Я сразу сказал главному инженеру проекта:

— То, что вы написали, нежизненно. Вы просто не понимаете, что такое перекрытие.

Когда я познакомился с характером Енисея, извездил его от створа до самых верховьев, я подошел к оценке срока перекрытия еще и с другой стороны. Ведь задача не только в том, чтоб перекрыть,— задача в том, чтоб сделать это предельно малой ценой.

Достаточно посмотреть на табличку помесячного расхода воды в Енисее, чтоб убедиться: наименьший за год расход воды в Енисее падает на март, а если быть еще более точным — на конец этого месяца. Если в октябре Енисей проносит четыре с половиной тысячи кубометров, то в конце марта всего пятьсот — в девять раз меньше; кажется, что имеешь дело с другой рекой. К концу марта Енисей если не засыпает вовсе, то как бы дремлет — дремлет перед тем, как проснуться. Зато в мае наступает грозное пробуждение, ломается лед, затем начинается паводок, и до следующего марта пощады от Енисея ждать не приходится.

Октябрь выбран был наобум, без знания гидрологии этой реки.

Я говорил, что на сибирского медведя бесполезно идти с дубинкой, нужно его перехитрить.

Март — месяц наименьшего расхода и, значит, напора воды, вот когда он задремлет, тогда-то его и брать. Однако то, что март не только реальнее, но и рентабельней, чем октябрь, нужно было еще доказать.

Словом, строительство Красноярской ГЭС начиналось при одних неизвестных, без какой бы то ни было ясности в том, что и как будет дальше.

Позже говорили, что Красноярскую ГЭС возвели без технического проекта. Это справедливо в том смысле, что спор о правильном решении проекта шел до конца строительства. Проект вырастал в борьбе, вместе с плотиной и ГЭС, вместе с вырастающим опытом.

Время, однако, не ждало. Расставив силы, мы стали делать то, что можно было делать пока: продолжали работы по созданию левобережного котлована, строили подсобные предприятия, в семи километрах от створа против горы Монах вырастали первые дома для строителей. Сначала через всю великую Русь к нам в тайгу везли финские домики, потом мы воспротивились этой нелепице, начали сами заготавливать лес.

Имея в виду опасность энцефалита, связались с учеными — над тайгой закрутились вертолеты и самолеты, квадрат за квадратом опылялись огромнейшие пространства.

Когда я почувствовал, что все на ходу, я поехал в Москву в министерство и прямо сказал:

— Пошлите меня в Канаду, чтоб я своими глазами увидел, что же такое эта «непрерывка» в реальности, потому что по главному вопросу своего мнения я не имею.

Мысли мои все время были заняты этой проблемой.

В Канаде прежде всего я попросил показать гидростанции, где бетон уложен по новому методу. Нас повезли на реку Святого Лаврентия. Там, на гра-

нице между Канадой и Соединенными Штатами, построена бетонная плотина, правую часть которой укладывали американцы, а левую канадцы. Двенадцать американских отсеков уложены порционным, или обычным, способом, двенадцать канадских отсеков — способом ременно-транспортной подачи бетона, другими словами, непрерывно-поточным способом.

Провели нас в потерну, сначала предложили разуться и дали шерстяные носки. Мы благополучно дошли до середины плотины в той части, которая строилась порционно.

Следующая часть была отделена несколькими водонепроницаемыми перегородками. Нас предупредили, что теперь нужно обуться, дали резиновые бахилы. Мы захлюпали по колено, а где-то оказались и по пояс в воде — здесь можно было вполне проехать и на небольшой лодочке, — хотя мы слышали безостановочную работу насосов.

Так фильтровал бетон, уложенный способом транспортной подачи.

Сомневаться больше ни в чем не приходилось — теперь в моем распоряжении были веские доводы.

Поинтересовался я и плотинами ажурного, облегченного типа. Тут, как я и предполагал, все зависело от того, какая река. В погоне за немедленной прибылью некоторые строители шли на авантюру, кончавшуюся катастрофой, а потом, не имея возможности уплатить фирме убытки, садились в тюрьму.

Словом, все было ясно.

Из Канады я привез и положительные впечатления: многое показалось мне интересным в организации производства.

Как я уже говорил, у нас проекты иногда разрабатываются людьми, далекими от производства, не отвечающими за конечные результаты своей работы. Недаром наш известный гидростроитель Жук так ставил вопрос: «Если я главный инженер строительства, значит, я и руководитель проекта». Именно такой постановки дела Жук и добивался для строительства, которыми руководил, но системой это не стало. Проектировщики и строители отделены у нас и пространством, и временем, и степенью ответственности.

В Канаде проектные организации возглавляются инженерами опыта. Начальник проекта автоматически становится начальником стройки, это, конечно, повышает ответственность и качество работы проектировщика.

Обратил я внимание и на подготовку специалистов. Человек шесть лет учится в институте, кончает его, может устраиваться на работу, но диплом инженера и металлическое кольцо на мизинец правой руки — знак отличия инженера — он получает, только когда проработает не меньше трех лет на производстве, и то лишь в том случае, если администрация даст ему хорошую характеристику.

Итак, из Канады я приехал убежденным противником ременной транспортировки бетона в блоки — то есть так называемой «непрерывки» — в том виде, в каком я ее видел. О выводах, сделанных мной, я рассказал своему инженерно-техническому активу, и товарищи меня поддержали. Самую горячую поддержку я нашел у Мельникониса, который на первых порах, до моей поездки в Канаду, увлекся было «новаторскими» идеями «непрерывки». Антон никогда ничего не делал наполовину. Если он сажигался какой-то идеей, он становился ее самоотверженным рыцарем. Теперь он всего себя подчинил борьбе с «непрерывкой». Именно Антон помогал мне в этом больше всех остальных: по собственной инициативе готовил расчеты, схемы, материалы — ночами сидел над этой работой.

Свое мнение мы аргументировали и сообщили в нужные инстанции.

Группа Б., однако, и не думала отступить: не каждый способен признать, что ученая степень получена за пустячное дело. Б. исписал тонны бумаги, в

связи с чем меня без конца отрывали от работы, вызывали и требовали объяснять то, что в объяснениях не нуждалось.

Такие молодые инженеры, как Степанов, Долгинин, Евграфов, правильно разобрались в этом вопросе, но кое-кому из еще более молодых стало казаться, что я и вправду противник нового, может, уже по возрасту. Если Б. и его группа старый вертикальный транспортер, в общем-то известный еще и до Канады, объявили новым и за это мнимое новое боролись из личных соображений, то находились наивные молодые люди, честные романтики, которых действительно прельщала прелесть мнимой отваги и новизны. Только время открыло глаза этим ребятам.

Проектировщики нам сочувствовали, но хранили молчание. Мне они объясняли:

— Андрей Ефимович, вы нас поймите. Мы и так вам помогли. Мы вам сделали столбчатую разрезку плотины, это, по существу, исключает «непрерывку». А способ укладки — этого, сами знаете, наш проект не касается. Тут уж чья возьмет — Б. или ваша.

Другие специалисты соответствующих московских инстанций, встретив меня в коридорах, спрашивали с улыбкой, говорящей о понимании:

— Ну как, воюете?

Но в кабинетах они же разводили руками:

— Ничего сделать не можем.

Антон Мельниконис все чаще и чаще запевал свою любимую фронтовую «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». Это значило, что он очень расстроен.

Забегая вперед скажу, что в связи с моим отрицательным отношением к «новому», «прогрессивному» методу в Центральный Комитет партии несколько раз представлялись материалы на снятие меня с работы как консерватора, но Центральный Комитет всякий раз эти представления отклонял — конечно, это давало мне силы.

Однако единственное, чего мы добились на том этапе, о котором идет пока речь, это решения, что лишь половина плотины будет строиться по способу Б. Тогда и такое решение было благом: по крайней мере, оно нам давало возможность строить большой бетонный завод. Кроме того, который строился для «непрерывки». Пока этого было достаточно, потому что до массовой укладки бетона время еще оставалось.

Возвращаюсь к повседневным делам на строительстве.

В Иркутске после отъезда Мельникониса начальником строительства плотины работал Георгий Тихонович Горлов. Это был человек удивительно надежный и основательный. Так же как и Гладун, массивного телосложения, неторопливый, немногословный, он происходил из шахтерской семьи и обладал истинно шахтерским характером: был собран, сдержан и точен. Дело он знал, знал цену словам. Если в банке иногда говорили: «Подписано Бочкиным? Значит, можно не проверять», то этим в значительной мере я обязан именно Горлову. Думаю, за всю свою жизнь он не подписал ни одного документа, в котором хоть какая-то цифра была бы завышена, зато уменьшить то, что действительно сделано, мог. Молодежь побаивалась его, хотя он никого не уволил, никого ни разу не наказал. Должно быть, чего-то да стоил один только взгляд его бывалых выцветших глаз.

Случалось и ему заходить по колено и глубже в воду, под водой закручивать гайку, если требовалось помочь молодому рабочему. Он делал что нужно, потом вылезал из воды и говорил, отдуваясь: «Вот так Бутусов и забивал голы» — большой он был знаток и болельщик футбола!

Правда, и у него была своя слабость: не выносил он приезжающих ревизоров, проверяющего начальства и всегда в нужный момент умел куда-то ис-

чезнуть. Все такие контакты он переключал на меня. Бывало, конечно, что я сердился, но, в общем, я прощал ему эту странность. Зато когда Горлов брался за что-то, я мог быть спокоен.

Года за два до окончания нашей иркутской стройки его отправили на работу в Китай. Теперь он возвращался к себе на Украину и думал уже об отдыхе, а в Красноярске оказался проездом. Я сказал ему:

— Давай, Георгий Тихонович, поставим еще одну ГЭС... Силы у тебя пока есть...

Он повидал Липендина, Малиновского, давно перешагнувших пенсионные сроки, посмотрел на Енисей и... дал себя уговорить: стал начальником строительства плотины.

Как и было задумано, перемычка от оголовка пошла по течению, затем повернула поперек Енисея, к июню шестидесятого года достигла левого берега и образовала четырехугольник — пространство будущего котлована, предстояло еще его осушить. Эту перемычку, временное сооружение, мы отсыпали точно так, как отсыпали иркутскую плотину.

Чтобы уменьшить фильтрацию, сторону, обращенную к течению, прикрыли слоем гравия и песка. Вода вгоняла, вжимала в гравий песок и создавала относительно непроницаемый для воды защитный экран.

Однако ядра в перемычке, естественно, не было и она все же давала большую фильтрацию. Фильтровало дно, то и дело из скального основания будущей плотины выбивались струи воды. Водоотлив был священнодействием: круглосуточно действовали три насосные станции, одна на понтонах, но оказалось, что этого мало. Внутри котлована приходилось отсыпать локальные перемычки, создавать локальные котлованы и в них снова ставить круглосуточно действующие насосы. Лишь после этого можно было приниматься за дело; снимать верхний наносный слой, негодную рыхлую скалу. Пока вы не откачали воду, вы не имеете права пустить в котлован рабочих. Однако могло случиться, что перегорит трансформатор, выйдет из строя мотор, рыба забьет трубы — и в котловане снова вода.

Обнаружилось, что через дно реки наискось проходит поперечная трещина тектонического происхождения. В связи с этим проектировщики несколько изменили направление плотины, и трещина через левую часть плотины прошла по касательной.

Это было, однако, еще не все, что нам суждено было узнать о Шумихинском створе.

Когда пересматривали проект и сокращали смету, решено было основание плотины особенно не заглублять.

Но вот мы вошли в котлован, начали снимать скальный грунт и добираться до твердого гранитного основания: скальный грунт бурили перфоратором, потом отбивали кайлом и лопатой, работая часто по колено в воде, а то и по пояс. Снимали, бесконечно снимали камень кайлом. Ударь по скале — и она издает фальшивый пустой звук. Значит, в породе микротрещины или пустоты. Снова снимали камень, уходили все глубже и глубже под дно реки, прикладывались ухом к скале, а она все бухтела. Работы велись там, где предстояло уложить рисберму, и уже было ясно, что водоотбойный колодец должен уйти много ниже речного дна. Потом оказалось, что мы заглубились на три-четыре метра ниже проектного уровня. Уравновешенный Горлов выходил из себя и кричал на проектировщиков:

— Вы не предусмотрели того заглубления, которое требуется!

Проектировщики виновато молчали, на ходу вносили поправки в проект. Поправки в проект вносила природа.

А потом случилось нечто обратное: проектировщики впали в противоположную крайность: скала уже не бухтела, давно уже можно было остановиться, а им все еще слышалось, что она бухтит. Незадолго до этого упала напорная стенка Воткинской ГЭС, и молодые ребята, не имевшие опыта, теперь перетрусили:

— Бухтит! Не подпишем! Снимайте-еще!

Я видел, что это уже перестраховка.

— Да где же она бухтит?

— Бухтит! Вы просто не слышите!

Молодому тогда Юре Григорьеву, руководившему группой проектировщиков, тоже слышалось, что скала бухтит. Я говорил ему:

— Юра, дружок, ну чего ты перетрусил? Все же в порядке!

Вообще-то я его понимал: это была даже не столько перестраховка, сколько отсутствие опыта. Теперешнему Юре Григорьеву, уже зрелому специалисту гидростроения, не мерещилось бы это бухтение.

И директору-заказчику слышалось, что скала бухтит (а скала давно уже глухо молчала):

— Снимайте еще, я заплачу!

Я тоже выходил из себя:

— Кому нужны ваши деньги? Нужна инженерная совесть. И не ваши это деньги, а государственные. Их надо беречь. Зачем же зря мучить рабочих? К чему такая перестраховка?

Если бы можно было взорвать весь этот камень! Нет, видно, тогда не прашью еще время для взрывов в строительной практике, в этом пока я по-прежнему был без поддержки.

Наконец, когда уже никому не казалось, что камень бухтит, мы начинали добиваться абсолютнейшей гладкости — драили дно Енисея, как палубу: считалось, что плотина должна ложиться на гладкое основание. И не только гладкое, но и абсолютно сухое. Наши женщины тряпками, до ярчайшего блеска, натирали каждый квадрат розового донного гранита, прежде чем на него опросткинут бетон. Я с горечью смотрел на эту египетскую работу. Да, нужно делать навечно, но все же это можно было делать дешевле, проще. Не говорю уж о том, насколько взрыв проще ручной разработки, не хочу повторять, что мы сняли много лишней скалы, но и гладкость такая совсем не требовалась: бетон даже крепче схватывается с неровной, бугристой поверхностью. И сухость тоже совсем не была нужна. Если бы тогда во главе проекта стоял опытный Филимонов, мы бы, конечно, договорились сразу. Впрочем, молодым ребятам тоже нужно расти — во втором котловане мы обо всем с ними договорились, но для этого должно было пройти какое-то время. Пока получилась накладка: трудов вложили больше чем нужно.

У кого можно было учиться выдержке и терпению во время этого адского труда, так это у Гладуна, до конца стройки оставшегося начальником первого участка левой плотины. Никто не спустился так глубоко под Енисей, как Василий Иванович со своим участком, и он же с участком первым забрался на верхнюю отметку плотины, всего уложив в тело плотины более двух миллионов кубов бетона. Так он и протащил себя и под дно реки и под самые небеса. Подъемников тогда не было — все пешком, все торопясь, не обращая внимания на одышку, которая потом появилась, не жалуясь, не повышая голоса, ни на ком не срывая усталость, досаду.

С точным, организованным Горловым, человеком верного слова, они удивительно подходили друг к другу в деле. Только отдыхали они по-разному: для Горлова отдыхом было поболеть за футбол, а Гладун всему предпочитал рыбалку. Работал он, не признавая никаких выходных, но когда я видел, что он на пределе, я не то чтобы отпускал — прогонял его порыбачить.

Рыбачил он не ради добычи, а ради того, чтобы почувствовать мир и покой в себе, походить по пустынному берегу вдоль Бирюсы, о которой немецкие актеры, приехавшие сюда с киносъемкой, говорили: «О, это лучше Альп!» Насидится он в тишине у реки, пополнит запасы терпения — и снова в пекло первого котлована.

Приезжали писатели, и я всегда представлял им Гладуна, но они не могли найти с ним общего языка, и я их не виню — такого молчуна, как Гладун, встретишь не часто, в этом соперничать с ним мог только Евграфов, начальник другого участка левой плотины, который мы организовали несколько позже.

Одному литератору, правда, удалось захватить Василия Ивановича в момент, когда на участке только что произошло ЧП. В перемышке лопнула труба, одна из тех, по которым из котлована под давлением насоса уходила вода. Найти приборами место повреждения в подобной ситуации тогда не умели. Через шесть часов котловану грозило полное затопление. Гладун собрал свой народ, спросил:

— Что будем делать?

Нашелся один сварщик, Горячев Андрей, худенький, невысокий. Он сам вызвался пролезть сквозь трубу найти повреждение. Нашел, полез в трубу второй раз с горелкой. Сверху ему стучали: «Дышишь?» — нагнетали в трубу воздух. Конечно, это была опасная операция, но ничего другого не оставалось. Только вылез Андрей из трубы, появился писатель:

— Говорят, у вас только что совершен настоящий подвиг.

Гладун решил, что это инспектор по технике безопасности, мрачно ответил:

— Я рад, что вы опоздали, спросите все у Андрея.

Но Андрей успел убежать.

Так и не наладились у Василия Ивановича отношения с прессой.

Пошел первый бетон, а главные вопросы все еще не были решены.

Пока мы укладывали бетон ниже речного дна, в водобойный колодец, который примет воду из водосливных отверстий плотины, но не за горами было то время, когда мы подыдемся над уровнем дна и начнем возводить саму плотину.

Какой же она будет? Тяжелой, монолитной или ажурной, арочной? Весь этот год, пока шли работы по возведению перемычек, по скрытию левого котлована, мы занимались и этим вопросом.

Теперь я был не только убежден, что плотина на Енисее должна быть гравитационной, тяжелой, но и мог убедить в этом тех, кто должен был сказать свое последнее слово. Между прочим, в этом вопросе неожиданную поддержку мы получили от наших противников, от тех, кто стоял за непрерывно-поточный метод.

«Непрерывщики» думали, что ажурная плотина — дело более тонкое, ювелирное, а, мол, в монолитную плотину бетон можно укладывать их способом — без контроля и без ухода за каждым блоком. Это было по меньшей мере наивно, чтобы не употребить другие слова, но так или иначе монолитная плотина устраивала «непрерывщиков» больше, и за то им спасибо.

И только наполовину решенным, то есть, по существу, открытым все еще оставался вопрос о способе укладки бетона.

Конечно, допустить, чтобы половина плотины была ненадежной, мы не могли.

Нам оставалось одно: пока группа Б. разворачивалась с проектами, с конструкциями своей «непрерывки», нужно было выиграть время, как можно скорее подниматься из блоков, которые мы укладывали в бывшее дно Енисея, активно двигаться вверх — словом, стараться как можно больше секций плотины

уложить испытанным способом, гарантирующим высокое качество бетонных работ, а потом уж пусть разбирают, половину или больше чем половину плотины мы уложили на совесть.

Такие решения нужно понимать как готовность взять на себя полную меру ответственности — когда этого требует дело, нельзя загоразживаться чужими ошибками.

Я был уверен, что в конечном итоге вопрос о способе укладки бетона решится правильно, значит, нельзя было продолжать эту игру в бирюльки, тратить время на пустое.

Работали мы в тесном контакте с речниками Енисейского пароходства, начальником которого был Иван Михайлович Назаров.

Я еще только начинал работать на иркутском строительстве, когда он появился в моем кабинете — очень официальный в тот день, подтянутый, одетый строго по форме речного флота. Он представился и довольно сухо сказал:

— Прошу ознакомить меня как начальника Енисейского пароходства с вашими планами: когда и сколько вы будете задерживать воду, в какие месяцы? — Он положил передо мной аккуратно расчерченные, исписанные листы. — Вот наш график, вот государственный план навигации, мы должны его выполнять. Для этого нам нужна определенная глубина, определенные скорости.

Ангара дает сорок процентов всех расходов Нижнего Енисея, а на Енисее много порогов, суда по Енисею идут крупнотоннажные, с большой осадкой. Вот он и тревожился, не окажется ли задержка ангарской воды губительной для эксплуатации енисейского флота.

Я успокоил его, сказав, что будем считаться.

Любой вопрос может решаться ведомственно и может решаться государственно, широко. Дело не в одной ситуации, дело и в людях. Море свое Иркутское мы наполняли, конечно; они, водники, сидели, смотрели, вздыхали, терпели пока могли, потом приезжал Иван Михайлович и строго смотрел на меня. Это означало: дашь воду или не дашь? Теперь уже мы вздыхали: ясно, в июне начинается навигация, речникам требуется вода, нужно ее задерживать меньше.

Недавно я видел в одной из газет фотографию: плавучий состав Енисея задержался в Игарке, не успев вернуться на базу, — застыл во льдах, и пришлось отсыпать плотину, чтобы весной с половодьем суда не ушли в океан. Это, думаю, устьилимцы забрали слишком много воды, наполняя свое Усть-Илимское море, не посчитались с флотом. У нас с Иваном Михайловичем так не случилось.

Назаров был коренной сибиряк, из крестьян, в годы гражданской войны руководил ревкомом, потом стал матросом, был направлен в Академию речного флота, окончил ее и вернулся в Енисейское пароходство. Он знал весь свой личный состав и, конечно, весь флот свой до последней лодочки, умел от людей требовать, наказывал за любое нарушение дисциплины; о том, что сам себе никогда ничего не позволил, и говорить не нужно. Потому на енисейском флоте был твердый порядок, одни любили начальника, другие уважали, третьи боялись, а были такие, что и роптали: «Наш Назаров ни себе, ни людям».

К моему удивлению, этот поразительно организованный, внешне сухой человек, сильный администратор, оказался еще и поэтом, певцом Енисея.

Пока я работал на Ангаре, все у нас с ним было просто, сложнее стало, когда я оказался на Енисее.

Здесь наша первая встреча произошла не в кабинете.

В самом начале моей работы нам прислали с Черного моря удобный адмиральский катер. Я решил посмотреть верховье реки, знал, что там сейчас секретарь крайкома и Назаров (его привлекли к приему каких-то машин), заодно, думаю, и их там увижу. Поехали мы и недалеко от Минусинска сели на мель — лоцманской карты у нас с собой не было. Повернулись направо-налево,

согнули винт, а сдвинуть катер не можем. Решили Енисей переплыть (было нас на катере четверо).

Ивана Михайловича нашли в минусинском порту.

— Выручай, — говорю, — адмирал, посадил нас на мель твой Енисей.

А он отвечает:

— И поделом, не надо лезть куда не положено. Твое дело по суше ходить.

Колесный пароходик подошел к нашей мели, зацепил кагерок, исправили погнувшийся винт, и Иван Михайлович нас отправил обратно. Прощаясь, он поглядел на меня и сказал не очень-то весело:

— Тебя Енисей на мель посадил, а вот что ты сделаешь с ним — и думать не хочется.

Он вздохнул, а я потом только понял смысл его слов: четверть века работал Иван Михайлович начальником Енисейского пароходства, они, водники, считали себя хозяевами реки, они были единственными, кто пользовался его энергией, они следили за Енисеем, берегли его сколько могли, они им гордились. И тут являемся мы, и претензии у нас ни больше ни меньше как его покорить, и это не просто слова.

У нас все только еще начиналось, а Назаров уже понимал, что это значит: пока мы только бетонируем водобойный колодец, а потом перекроем течение, разрежем Енисей на две части, нарушим судоходство (и правда, судоподъемник построен только теперь), затопим лес, неизвестно что станет с рыбой, а главное — нарушится водный режим реки. Наполняли море на Ангаре — и то навигация на Енисее страдала, тут наполнять будем море на самом Енисее, часть воды неизбежно задержим, а плана навигации никто не подумает снизить (скорее наоборот, на них, на речников, лягут еще и многие наши нужды). Все это было еще впереди, и мы сами так далеко не глядели, но Иван Михайлович сразу увидел, к чему идет дело, и отнесся к нам поначалу ревниво.

Скоро он появился в моем кабинете — человек он был не мелочный, не считался, кто к кому с ответным визитом придет:

— Ну как, Дед, поладим мы с тобой в этот раз? (Меня здесь уже Дедом начали звать.)

Неофициально он был настроен на этот раз, но настороженности своей не скрывал. Я стал его успокаивать: ничего, мол, против Енисея не замышляется, — но на меня смотрели умные, понимающие глаза, и я пошел напрямую:

— Да, Иван Михайлович, приходит конец старому Енисею. Красноярск — это начало, а там будут Саяны, а там весь его зарегулируем до самого Ледовитого океана, как Волгу. Будет Енисей не река, а череда морей, пойдут по нему самые крупные океанские пароходы без боязни наткнуться на мель. Чего ж ты печалишься? Тебе не печалиться надо, а засучивать рукава и помогать нам.

Радовала ли его эта перспектива? Боюсь, что не очень, он любил именно тот Енисей, на который мы наступали. Но помогать нам он стал. Именно речники доставляли на стройку цемент, гравий, песок и ни разу ни в чем нас не подвели. И мы, перевезя огромное количество грузов, ни разу не заставили себя ждать: подходит к причалу баржа, ее немедленно грузят и баржа сразу отходит. Вот где у нас действительно были поточность и непрерывность.

Раз в месяц мы собирались: кто подготовлял инертные материалы — песок и гравий, кто грузил баржи, кто разгружал, кто вел суда. Эти совещания без Назарова и без меня не проходили — то соберемся в нашей конторе, то у них в пароходстве. Бывал он разным, Иван Михайлович, но на эти совещания приезжал веселый. Разговор у нас шел деловой и вместе с тем праздничный, с шуткой, с игрой. Обычно он начинал:

— Ну, орлы, как дела у вас?

— А у вас как дела?

— Что ж вы нам реку так портите?

Этого не сказать он все же не мог.

— Наоборот, мы ее вам улучшаем.

Усаживались, и я его спрашивал:

— Кого будем слушать сначала, Иван Михайлович, твоих капитанов или моих начальников?

— Давай сначала твоих начальников, чтобы знать, какие сюрпризы они нам готовят.

Мы выкладывали им свои планы, свои претензии, если они бывали, договаривались о перевозках на следующий месяц.

Бесперебойность подачи сырья сыграла огромную роль в работе бетонных заводов.

Пока укладывали бетон в водобойный колодец, ухотивший на восемь метров ниже речного дна, мы использовали камские мостики — плиты, которые устанавливались на еще не убранных скальных выступках, — с них бадьями вниз подавали бетон.

Но вот мы поднялись до уровня дна, и плотина стала расти дальше. Встал вопрос: как поднимать бетон на высоту? Строительство над плотиной эстакады или моста, с которого подается обычно бетон, нам было запрещено. Об эстакаде мы не могли даже думать. Весь материал был уже забран и израсходован на конструкции, обеспечивающие организацию подачи бетона по способу Б.

Для укладки бетона нам предложен был кабель-кран.

Кабель-кран установили в октябре шестьдесят первого года, только над левобережным котлованом, но главный недостаток его был даже и не в том, что он не охватывал всей плотины: темпы работы крана были такими, что он задерживал нас. Мы подсчитали, что если бетон укладывать этим способом, на одну только левую часть плотины уйдет несколько лет. Может быть, нам снова пришлось бы выдерживать дебаты по этому поводу, но тут мы опять получили поддержку и снова оттуда, откуда никак не ждали: свое слово сказал хиус — ветер с Саян. Налетая с верховьев реки, он так начинал все вертеть, что мы не знали, куда пойдут вагонетки. Стало понятно, что кабель-кран может работать только при незначительной скорости ветра, значит, использовать его для работы, которая должна идти бесперебойно, на Енисее никак нельзя.

Позже, в конце шестьдесят шестого года, установили большой кабель-кран с четырьмя нитями тросов, идущих с берега на берег. Мы приспособили его для переброски крупных металлических конструкций и крупных деталей, но для укладки бетона и он был негоден: как только синоптики предупреждали о приближении ветра, кабель-кран прекращал работу.

Итак, хиус помог нам доказать и без того очевидную непригодность кабель-крана для укладки бетона.

Но как же все-таки возводить плотину?

На расширенном совещании штаба я как-то сказал:

— Давайте подумаем вместе, как укладывать дальше бетон, объявим конкурс, посидим с рабочими, послушаем, что они скажут.

Не раз мы объявляли конкурс, когда заходили в тупик, и всегда получали от рабочих подсказку — получили ее и на этот раз.

Мы стали штрабиться. Выштрабка — это выемка, углубление в растущей бетонной плотине. В этой выштрабке устанавливается кран КБГС. Кран подает бетон на расстояние в двадцать метров по вертикали и вверх и вниз (кстати, мы несколько удлинили его металлический трос). На следующем ярусе снова остается такая же выштрабка. В ней тоже устанавливается кран КБГС. Краны поднимают друг друга, правда для этого приходится их разнимать на три части и поднимать в три приема.

Так и взбирались краны, поднимая друг друга на плотине все выше и выше, вместе с ними поднималась плотина, а выштрапки, которые оставались внизу, заделывались позднее. По всему фронту плотины было поставлено тридцать кранов.

Мне трудно сказать, кто именно из наших рабочих первым высказал эту идею, так и бывает обычно: один что-то скажет, другой добавит, третий оспарит — и вдруг в этом общении всем раскроется истина, пусть пока и не очень четко.

Над технической разработкой этой идеи работали Антон Мельниконис, Долгинин, Горлов, Степанов, механики Кравцов, Хлопков, Гарсия, Красин.

Итак, левая водосливная часть плотины, или гребенка, которой предстояло после перекрытия правого русла принять в себя воды всего Енисея, выходила из-под речного дна и с каждым днем становилась все выше и выше. Пока что она состояла из отдельных бетонных столбов, это и определило ее название.

Как я уже говорил, вся плотина согласно проекту была нарезана по горизонтали на семьдесят две секции, соединенные температурными швами, на семьдесят два столба, из которых каждый должен был достигнуть высоты в сто двадцать восемь метров, а каждый столб по вертикали состоял из блоков, которые вырастали один над другим. Блок, грубо говоря, это коробка, в которую укладывается бетон. Кстати, размеры блоков тоже были предметом дебатов. Пробовали навязать нам идею гигантских блоков. Но слишком высокие блоки искривлялись, не выдерживали нагрузки. Нам удалось отстоять оптимальный размер — блок высотой в три метра, кое-где и в четыре, а у основания прискальные блоки мы укладывали вообще не выше двух метров.

Все блоки и секции по плотине укладывались одновременно, одни отставали по каким-то причинам, другие вырывались вперед, но каждый блок приходилось выхаживать отдельно, это мы и имели в виду, защищаясь от способа инженера Б.

Уход за бетоном начинался уже на пути с завода. Еще в Иркутске водители стали вкладывать в самосвалы второе днище, а сверху покрывали кузов брезентом, чтобы бетон зимой не остывал в пути, но в Иркутске проблема выхаживания бетона не стояла так остро: там-то, во-первых, бетонным было только здание ГЭС, во-вторых, в Иркутске мы имели дело с железобетоном. Здесь же все решалось монолитом самого бетона. Здесь водители провели в кузовах самосвалов между двумя днищами, или, как они говорили, между рубашкой и телом, еще и змеевики, идущие от моторов, чтобы бетон не только не терял в дороге тепло, но и разогревался. Если бетон в дороге все-таки остывал, его отправляли обратно. В любую, самую лютую, стужу бетон подавался в блок только с плюсовой температурой, не ниже восьми градусов Цельсия.

Зимой деревянный блок утеплялся. В Иркутске мы делали двойные стенки опалубки, промежутки набивали опилками; здесь стали готовить специальные съемные щиты с прокладкой из шлаковаты. Над конструкцией этих щитов потрудились Долгинин и все тот же Антон Мельниконис. Вспоминаю и сам удивляюсь: была ли хоть одна свежая, живая идея, которая оставила бы безразличным Антона, очень молодого уже человека?

Мало того что зимой блок утепляли, его еще и прогревали. Я сторонник парового, а не электрического прогрева блока — это меньше сушит бетон. Еще в Иркутске для прогревания блоков мы подгоняли старые, снятые с эксплуатации паровозы — от паровых котлов пар поступал в блок и проходил здесь по калориферам. В блоках было парко, как в кухне, — здесь и верно шел процесс кулинарии бетона, готовили мы его, как хорошее тесто. Начинался процесс схватывания, твердения. Дело в том, что в процессе твердения, или консолидации, бетон резко повышает температуру, разогревается иногда до

шестидесяти градусов, а оптимальная температура для консолидации плюс восемь — плюс двадцать один градус. Этот резкий скачок-изотермия, как криз у больного, длится пять или шесть часов, а лаборант еще три дня после этого измеряет температуру бетона, как измеряют температуру больному.

Быстрое твердение бетона и слишком высокая температура ведут к разрывам и трещинам, а плотность гидробетона даже важнее, чем его прочность. Чтобы замедлить схватывание бетона, по совету научных работников Института гидротехники мы прибавляли к бетону шлак.

Наступал момент, когда бетон следовало охлаждать. Охлаждали бетон водой, идущей по трубам, которые протягивали, по мере того как шла укладка блока. По инструкции бетон следует охлаждать и зимой и летом, но зимой мы смотрели, какой цемент идет и в какой степени это нужно. Искусство в любом деле в том-то и заключается, чтобы знать, как и когда пользоваться средствами, которые имеются в нашем распоряжении. Бетон наш действительно получился сплошным монолитом, без единой трещины на всем протяжении.

Правда, теперь, оглядываясь назад и вспоминая трубное охлаждение, я испытываю то же чувство досады, с каким вспоминаю, как в левом котловане мы вручную выравняли основание плотины и как женщины тряпками натирали до блеска дно Енисея. Нужно искать что-то более дешевое и простое.

Но все же так или иначе бетон приходится выхаживать пядь за пядью — во всяком случае, при современном уровне знаний и я до сих пор не могу понять, на что рассчитывали сторонники «непрерывки», предполагавшие, что бетон можно валить сразу во весь массив.

Гладун и Евграфов зорко следили один за другим — сколько уложено за сутки кубов, сколько принято блоков. Это было безмолвное соревнование — оба они были редкие молчуны. Какой план им ни дать, они примут и выполнят, ничего не сказав. На совещаниях они усаживались обычно в заднем ряду, и чтобы вытащить из того и из другого слово, нужны были усилия. Гладун еще мог сказать мне что нужно один на один — мы же были ровесники, а потом и друзьями стали, — а у Вали Евграфова и по возрасту не могло быть таких простых отношений со мной.

Первый раз, когда я на совещании поставил его доклад, все смеялись: как это он будет делать доклад, когда от него и пяти слов подряд не услышишь? Пришел он на совещание, сел по привычке назад, я ему говорю:

— Нет, ты сегодня докладчик, садись на первое место.

Доклад он сделал самый короткий из всех, какие я до этого слышал:

— Уложил сто пятьдесят кубов бетона, надо двести. Бетона не дали, гвоздей не дали. Сколько ни звонил в штаб — не отвечали. Диспетчер слона водил по телефону. Вот разбирайтесь.

Пока шло совещание, я позвонил куда надо, на участок сразу все привезли. Рабочие потом говорили Евграфову:

— Ты бы почаще сигнализировал начальнику.

А он отвечал, как мне передали:

— У него и без меня дела. Сам догадается.

И я догадался. Стал систематически ставить его доклады, потому что без этого он сам разговор все-таки не начинал.

Краснощекий, красивый парень, кровь с молоком, все девчата на него заглядывались, а он все молчал. Как-то я вызвал его на разговор по душам и понял все. Когда ему было лет семь, отца его, инженера, арестовали — сказал где-то лишнее, а времена были крутые. Мать внушала мальчику, что говорить нужно меньше, вот и вырос Валя Евграфов таким молчуном.

Позже, когда он все же обзавелся семьей, жена мне жаловалась:

— И дома молчит.

Я еще чаще стал вытаскивать его на доклады — другой раз и утром и вечером заставлю его докладывать. Болтуном он не стал, и не надо, а сколько-то разговорить его все-таки удалось.

Теперь он руководит всеми работами на основных сооружениях Саяно-Шушенской ГЭС.

Вырастающая плотина — это не только место работы, это и место жизни. На войне складывается особый, военный быт, на плотине тоже возникает свой быт — ни с чем не сравнимый, ни на что не похожий.

Чем выше растет плотина, тем труднее становится за всяким делом спускаться вниз. Каждая бригада постепенно обрастает своим хозяйством: строят будку — в ней стол, скамейки, чтобы было где сдать и принять смену, обговорить все дела; в каждой будке обязательно телефон. Строят склады для инвентаря. — там хранится все, что нужно для смены и еще кое-что в запас: начальник левой плотины Горлов любил кое-что подзажать, подзапасть кое-чем — мало ли какая возможна задержка. Мои заместители его за это ругали, он отмалчивался — Горлов под стать своим подчиненным Гладуну и Евграфову, — а делал по-своему, и это без слов передавалось на участки, в бригады, звенья.

Сюда же, в будки и блоки, поднимали обед в термосах, свежие газеты, журналы. Строили на плотине даже уборные — куда же здесь денешься. Целая улица будок выстраивалась по фронту плотины. Поднимается вверх плотина, тащат друг друга краны за шиворот, и вместе с ними лезет, карабкается вверх по плотине улица будок. Так и росла вся эта деревня.

И пока подымалась плотина, все время всех выше — на ласточкином гнезде — располагался Гладун со своими бригадами. Это понятно, он ведь и начал раньше, а на пятки ему наступал Валя Евграфов.

О том, какво людям работать в блоке, хорошо рассказал красноярский писатель Иван Сибирцев: тесная коробка блока, полусвет лампочки в густой пелене пара, шум и гул енисейской воды где-то совсем рядом у тебя за спиной. Именно бетонщики чаще всего оставались с глазу на глаз с Енисеем, ежесекундно готовым подстеречь самую малую оплошность и вырваться из узды.

В блоках я бывал ежедневно. Собrania, совещания — это одно, но рабочие не всегда говорят на собраниях (не очень-то удобно ставить в неловкое положение своего начальника), когда же поговоришь с рабочим один на один, он тебе все расскажет.

А на участке Евграфова нередко бывало так: где начальник смолчит, там его бригадир Дарья Васильева голос подаст. Дарья умела вырывать и доски и гвозди, умела пригрозить там где нужно, и все знали, что это не только угроза: ей ничего не стоило снять трубку в будке Евграфова, соединиться прямо со мной, изложить все свои жалобы, да и меня самого в чем-нибудь еще упрекнуть. Я у нее за все был в ответе, даже за то, что в Москве продаются красивые шерстяные жакеты, а в ОРСе нет ничего, — приходилось мне заниматься и этим. Дарья знала, что я всегда приду ей на помощь, а Валя Евграфов в этом смысле как у Христа за пазухой был со своим боевым бригадиром. Что ж, у каждого своя сила и слабость, люди все разные, они дополняли друг друга, а плотина была одна. Так она и росла.

И чем выше поднималась плотина, тем сложнее становился быт людей, живущих и работающих на высоте. Тут нужны были и дежурные электрики, и механики, и медики, а другой раз могло случиться, что и дежурных мало. Кто-то руку поранил, у кого-то перелом, у кого-то кран вышел из строя, самосвал остановился, прекратилась подача энергии и — самое грозное — отказали насосы. И все сконцентрировано на плотине, что бы ни случилось, страдает плотина, а на плотине все зависят один от другого. Кроме того, на плотине уже работало много различных подрядных организаций — то и дело возникали спор-

ные ситуации, требовалось тут же, по ходу дела координировать работу различных групп.

Как сделать управление этим организмом более оперативным?

Работа на плотине идет круглосуточно, в бригаде три смены. Дирекция не может работать круглые сутки, диспетчер не имеет такой власти, которая необходима, чтобы не только увязывать, но и управлять. И тогда нам пришлось в голову: штаб! Штаб не контора, которая работает с девяти до пяти, штаб — боевое, оперативное, круглосуточное управление стройкой. В его власти оперативное решение всех текущих вопросов. Штаб — это тесовая будка у створа, в ней стол, диван, несколько телефонов. Дежурный по штабу — это фактически оперативный начальник стройки, руководитель стройки на сутки, облеченный всеми правами. Дежурный по штабу может отдать любое распоряжение в пределах строительства, больше того — он может отдать приказ любому руководителю стройки, может кого угодно, и кладовщика, и любого начальника, в том числе и меня, посреди ночи поднять на ноги и вызвать на плотину, если в том будет необходимость. Штаб — это, по сути, диспетчерская, но со всеми полномочиями и правами.

Дежурный должен быть в курсе дел любой точки строительства, он отвечает за то, чтобы подан был транспорт, чтобы вовремя приехали и уехали смены, чтобы была спецодежда, инструментарий, бетон, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, чтобы все семь-восемь тысяч людей, которые одновременно трудятся на плотине, вовремя были накормлены и обеспечены всем необходимым, чтобы своевременно приходили сводки погоды, сводки о расходе воды, чтобы за два часа до того, как налетит на плотину хиус, краны были повернуты по его направлению, чтобы разместили туристов, чтобы были приняты должные меры, если случится авария, катастрофа, несчастье. Словом, дежурный в ответе за все — за воду, за погоду, за ветер, а главное, за механизмы и за людей. В распоряжении дежурного — целая оперативная группа, целиком подчиняющаяся ему.

Дежурствами ведали два Саша — Саша Степанов и еще более молодой инженер Саша Мукоед, начальник производственного отдела. Впоследствии оба стали моими заместителями. Саша Мукоед со своей изумительной памятью был кладом для штаба и очень вырос на этой работе.

Дежурными назначали всех руководящих работников стройки, начиная с меня и кончая экономистами, бухгалтерами, снабженцами, представителями субподрядных организаций. Одни шли на дежурства охотно, чтобы воспользоваться правами калифа на час, в интересах той службы, за которую они отвечают, раздобыть себе лишние доски, гвоздей, инструментов, другие старались от дежурств увильнуть. Не хотели дежурить ни экономисты, ни субподрядчики, но освобождения от дежурства не получал никто — освободить мог разве что бюллетень. Нужно было всех, кто работал на стройке, заставить заболеть гидротехникой, почувствовать все ее нужды, преодолеть узкую ведомственность, а побыть дежурным по штабу — это все равно что побывать в шкуре начальника стройки. Дежурства в штабе нужны были не только для оперативного управления стройкой, но и для того, чтобы коллектив стал единым.

Первое время у штаба была еще одна функция. Именно сюда сходились самые свежие сведения о том, что происходит на стройке за сутки, и вот я вспомнил свой политотдельский опыт и предложил двум Сашам, Степанову и Мукоеду, использовать эту информацию и выпускать ежедневные бюллетени: как прошла смена, как работали крановщики, бетонщики, шоферы, речники, железнодорожники, кто отличился, кто проспал, кто не явился на работу совсем или замечен был пьяным, какой прораб отсиделся в будке и прозевал аварию, какой кладовщик не обеспечил звено инструментом. И так каждый день! Конкретно, без лишних слов.

Небольшую типографию мы раздобыли, листки-бюллетени совали на самосвалы, на баржи, в поезда, работавшие на стройку, поднимали вместе с обедами на плотину, в бригадные будки, крановщикам.

У нас рабочий, особенно молодой, часто оценивает себя не по тому, что он сделал, а по тому, сколько получил. Рубль — это, конечно, мера, но мы хотели разбудить профессиональную честь, честь рабочего человека, умельца, мастера своего дела: как ты сделал, что у тебя получилось.

Только позже газета «Огни Енисея», которая тоже была на бюджете стройки, выпуск этих бюллетеней взяла на себя: они превратились в «молнии» «Огни Енисея».

Для одних стройка была первым трамплином, с которого начинался их путь, прямой и стремительный как стрела. Вот Саша Степанов — побыл инженером у Гладуна, я назначил его в техконтроль.

— Поразмысли, — говорю, — в чем соль работы.

Он принимал бетон, следил за качеством. Потом его сделали технологом, поработал — выдвинули главным технологом стройки, только после этого он стал моим заместителем.

Другие приходили сюда с грузом уже искривленной судьбы и здесь выпрямлялись. Так появился на стройке плечистый рыжий плотник из Кемерова. Он стал работать на участке Евграфова. Заметили, что у него хорошие руки, поручили ему делать опалубку, стали давать разбирать чертежи. Сначала он в них даже глядеть не хотел, просил растолковать просто на пальцах. И вдруг оказалось, что у него не только хорошие руки, но и хорошая голова, хотя до сих пор он не имел привычки ее утруждать. Он стал не только читать чертежи — стал их критиковать. В общем, этот малограмотный умелец оказался настоящей инженерной косточкой. Долгинин, человек с самым живым, пожалуй, на стройке инженерным мышлением, вцепился в рыжего плотника как в находку. Когда что-нибудь не клеилось в деле, он вызывал его или сам к нему шел.

— Как, Миша, ты смотришь на этот чертеж?

— Дай поглядеть, помозговать.

Один был намного старше по должности, другой по возрасту, словом, одно на одно — они были на ты.

Рыжий не торопился. Сидел над чертежом и чесал затылок, забирал чертежи иногда домой, утром приходил, тыкал прокуренным пальцем:

— Вот как смотрю. Видишь, здесь...

Долгинин настоял на том, чтоб его внештатный советник сдал за десятилетку и поступил в вечерний строительный техникум, который к тому времени мы организовали на стройке. Так вырос у нас на стройке бригадир Лесников.

Кстати сказать, бригадир — это первый рабочий, центральная фигура строительства. Недаром на всех производственных совещаниях за моим столом рассаживались всегда бригады — такой у нас был порядок, — а инженеры-прорабы садились чуть дальше, на стульях, поставленных вдоль стен. Первое слово в любом отчете держали всегда бригады, прорабы добавляли только, если бригадир что-то забыл. Мне важно было прежде всего выслушать бригадира, поскольку он сам непосредственно оставался рабочим, важно было, чтоб он почувствовал свою особую роль в коллективе.

Вот и попал плотник Михаил Лесников в первые люди на нашей огромной стройке, а когда мы подошли к финишу, он получил звание Героя Социалистического Труда.

Как я уже говорил, место для рабочего поселка выбрали в семи километрах от створа вниз по течению, там, где когда-то был старый монашеский скит. Кстати, существует предание, что именно здесь высадились когда-то и провели

ночь у реки Владимир Ильич и Глеб Максимилианович Кржижановский, плывшие на пароходе «Святой Николай» к месту своей ссылки.

Берег подымается здесь террасами вверх. Проектировщики считали, что нужно строить поселок на второй и на третьей террасах, вверху, на высоте трехсот пятидесяти метров, при этом они настаивали на том, что улицы должны вырастать перпендикулярно реке. Внизу, на первой террасе, их пугали предполагаемые туманы, которые якобы должны здесь появиться, после того как мы создадим Красноярское море.

Я понимал, что это решение с точки зрения архитектурной, быть может, неплохое, с точки зрения геологии просто опасно. Енисей, как и любая река, питается и сточными водами, которые движутся как раз в том направлении, в котором были запроектированы улицы. Я предлагал строить дома внизу вдоль реки. Этот спор я до сих пор вспоминаю с болью: убедить проектировщиков в своей правоте вовремя я не сумел, повторилось то, что мы уже пережили в Иркутске с рисбермой и водокачкой, но здесь все обернулось серьезней.

В шестьдесят первом году временное строительство было прекращено. Поселок стал вырастать наверху, на второй и третьей террасах, улицы спускались к реке, как и было намечено, перпендикулярно ее течению, вдоль оврагов, пробитых вешними водами. Фундаменты ставились не всегда на твердую скальную породу, иногда они попадали на перегной. Когда весной с гор побежали талые воды, они подмыли фундаменты и ночью, перед рассветом, два дома сдвинулись с места и поползли в овраги. Были жертвы, погиб ребенок. Проектировщики получили взыскание, и лишь после этого мы добились изменения проектировки. Победой счесть это, конечно, нельзя: нужно было добиться правильного решения не такой дорогой ценой.

После этого поселок уже выстраивался внизу, на первой террасе, вдоль Енисея. Прежде чем ставить дом, забывали сваи, доходя до гранита. Кстати, туманы, которых боялись проектировщики, нас миновали. Позже, когда город (уже город, а не поселок) стал разрастаться, он снова поднялся вверх, но теперь с учетом того, что здесь когда-то произошло: улицы не идут вдоль оврагов, они выстраиваются параллельно реке, строители доходят до крепких гранитов и все дома ставят на сваи.

Искали название городу, как всегда объявили конкурс. Вырастал город в красивейшем месте, против скалы Монах, и сам удивительно вписывался в ландшафт. Где-то в монашеских записях здешние скалы были названы Дивными горами. На этом и остановились.

А пока на будущих проспектах —
Щель домишек, солнце да трава,
Но я вижу город. Он прекрасен,
В соснах и березовом дыму,
И безоговорочно согласен:
Дивногорск — название ему.

Так высказался член нашего литобъединения Каменецкий.

И возведение бетонной гребенки, и создание Дивногорска, и проведение дорог и мостов — все это вело нас к перекрытию, с которого любое строительство вступает в совершенно новый этап. Что же касается споров по поводу сроков перекрытия, то их было не меньше, чем по поводу характера красноярской плотины и способа укладки бетона.

После того первого совещания, когда обозначились все спорные вопросы, я попросил Мельникониса посидеть подсчитать все цифры, подумать над сроком сколько до перекрытия нужно уложить бетона, земли, скалы, какая у нас механизация, какая производительность. Антон проделал это с той добросовест-

ностью, на какую он был способен: октябрь не получался даже независимо от того, что март наиболее выгоден с точки зрения экономии наших затрат. С этими материалами отпразднелись мы в Москву.

Нас попросили более точно высчитать, какие материалы, какие фонды нужны, чтобы создать сооружения, без которых перекрытие невозможно. Мы снова засели за цифры. Работали вместе с группой производства работ Ленгидэпа, которой руководил Колышев. Сколько мы ни считали, октябрь выпадал. Получалось, куда ни кинь — везде клин. Колышев во всеуслышание сказал, что об октябре нужно забыть. Его группа приехала к нам на строительство для уточнения графика производства работ: дело в том, что внутри Ленгидэпа тоже были разные точки зрения на этот вопрос.

Против марта были не только соображения срока. Никогда до сих пор реки не перекрывались зимой. Лед идет по поверхности, а на дно каньона может сесть много шуги: отсылая перемычку зимой, мы даем возможность шуге войти в основание, под перемычку, это грозит стать причиной усиленной фильтрации.

Это возражение было серьезным, но у нас был опыт Иркутска, когда мы отсыпали земляную плотину и лето и зиму. Я считал, что мы задавим шугу, выдавим ее тяжестью перемычки и она уйдет вместе с водой. Меня поддерживали мои верные старики: Мельниконис, Малиновский, Горлов, Сычов. Молодежь обычно тянет к успеху, а опыта нет — вот и пойдя угадай, где этот успех зарыт, чью сторону взять. Нужно сказать, что инженер Хлебников, который через какое-то время стал главным инженером проекта, тоже понял меня и поддержал мартовский срок.

За это время у нас созрела еще одна коварная по отношению к Енисею мысль. Хитрость заключалась не только в том, чтоб взять зверя во время его зимней спячки, а еще и в том, чтобы подобраться к нему исподволь. Мы пришли к выводу, что пока идет укладка бетона в левобережную плотину, нужно, не ожидая марта, снова входить в воду и от оголовка постепенно, пионерным способом, отсыпать перемычку, «идя за волной». А что такое «идти за волной»? Это значит следить за постепенным уменьшением расходов реки и действовать соответственно с этим. Соображений тут было много и субъективных и объективных.

На Ангаре я понял одно: в перекрытии есть элемент праздника, это демонстрация, показ нашей работы, если хотите — представление в лучшем смысле этого слова. Отовсюду сходятся люди, съезжаются, слетаются корреспонденты, а серьезный поединок со стихией не терпит никакой суеты: чем меньше показного, тем лучше. Прошел тогда дождь над Ангарой, оказался подмытым берег, перевернулся Середкин — сколько было волнений. Не лучше ли большую часть необходимой работы проделать без света прожекторов, без вспышек молний, предельно сосредоточиваясь на деле, чувствуя себя на работе, а не на сцене? И даже отвлекаясь от того, что в будни работать легче, чем в праздник, просто меньше зависимости от капризов стихии, когда перекрытие совершается постепенно, когда имеешь в запасе время, можешь позволить себе мелкую уступку погоде, другим обстоятельствам, — короче, когда у тебя есть возможность маневра. Но когда начинать?

В то время Енисей был изучен значительно меньше, чем Ангара. Мы уже убедились, что открыт он и ветрам с Ледовитого океана и ветрам с верховьев реки, хиусам, которые, хотя идут с юга, холодней, чем ветра, идущие с севера; убедились, что все здесь бывает: и безветренное высокое небо, и дикие штормы, и страшная сушь, и непрерывные ливни — чуть ли не сто градусов Цельсия разделяют максимальную и минимальную температуру в течение года. Река зависела от всего, и все было неизвестно — взаимосвязи, предельные пики. Гидрологическим изучением Енисея всерьез никто пока не занимался — нам

предстояло организовать эту службу. Запись явлений, связанных с жизнью реки, прежде вели только священники да речники.

Назаров открыл мне сейфы своих архивов, где хранились журналы с многолетними записями расходов воды. Листая эти журналы, уже в первые дни своего приезда я понял, что Енисей имеет второе дыхание.

Река питается и грунтовыми водами, и снегами и льдами гор и долин. В долинах ее притоков ледяной покров сходит в конце апреля — начале мая, за ледоходом идет первый весенний паводок, а потом весна развивается неторопливо — в горах, расположенных на высоте двух километров над уровнем океана, все еще холодно. Воздух прогревается здесь не сразу, и только в июне наступает таяние снегов. Свою настоящую силу Енисей показывает в конце июня. Этот июньский паводок бывает опасным.

И это еще не все. В конце августа — сентябре — октябре (зависит от года), в Саянах начинаются осенние ливни, и это дает еще один паводок, третий. Его речники называют третьим дыханием Енисея. (Странно, что именно это время было выбрано для перекрытия Енисея.)

Я вызвал молодого инженера Бориса Кадыкова, работника нашего технического отдела.

— Хватит, Борис, — говорю, — штаны на кальках просиживать. Твоя задача теперь — изучение Енисея в конкретных особенностях этого года. Сможешь?

— Смогу. Книжки какие-то есть?

— Иди в библиотеку, посиди, поройся, приди и доложи, как думаешь налаживать службу.

Через два дня он изложил мне план действий и приступил к делу. Посты были расставлены вдоль всего Енисея — от створа до самых верховьев. Два раза в сутки замеряли, сколько идет воды, два раза в сутки на мой стол ложилась оперативная сводка.

Прошел ледоход и за ним первый паводок, расходы стали идти на убыль, но мы сидели качали воду из котлована — ждали, когда услышим второе дыхание Енисея.

Конечно, это только так говорится — сидели: темп бетонных работ на столбах гребенки нарастал с каждым днем, все было брошено на бетон, через Енисей строился мост, в скалах гремели взрывы — шла работа в карьерах, мы нарезали из гранита десять тысяч тетраэдров. Но в воду с перемычкой не лезли. В июле и правда пошло двадцать тысяч кубов — мы не трогались, только замеряли расходы воды.

Снова стал стихать Енисей, но мы уже знали, что и этому верить нельзя. В сентябре опять дохнули на нас Саяны: пошли осенние ливни. И вот конец октября. Начинается истощение, все резервы осадков истрачены, остаются резервы грунтов. Уже не двадцать, уже пять—семь тысяч кубов, но это еще не те пятьсот, которые ждут нас в марте.

В конце октября потихоньку начали отсыпать перемычку. Начальником земляных работ был назначен молодой Севенард, он находился в подчинении Горлова. Гидрологи непрерывно сообщали изменение скоростей, это давало возможность маневрировать габаритами: когда течение становилось сильнее, в ход шли самые крупные глыбы.

Наступила зима. Енисей сковало двухметровой корою льда. Как его взять, когда он так упрятан? Но тут был уже опыт: мы взрывали лед, каменные глыбы и щебень валили в проран. Всю зиму к прорану шли самосвалы. Походные мастерские выезжали к фронту работ, располагались на льду в палатках. На льду горели костры.

В январе я подписал приказ: перекрытие было назначено на 25 марта, бетонные работы должны были быть закончены за десять дней до этого срока.

Теперь все дело было в гребенке — высота ее достигала уже пяти метров, но у нас не хватало сил дотянуться до берега. Тогда мы снова пошли на хитрость с рекой. Под защитой верхней перемычки левого котлована пятый столб соединили с берегом временной стенкой и за ней продолжали укладку четырех последних столбов. К 15 марта бетонные работы, необходимые для того, чтобы начать перекрытие, были закончены.

Собственно, главное уже было сделано. То, что мы называли перекрытием, по существу было только его завершением.

Проектировщики считали, что ко дню перекрытия Енисей останется проран в двести метров. Мы отсыпали перемычку буквально до последнего часа, и когда я подписал приказ о перекрытии, оставалось всего тридцать три метра.

Не нужно было специально заниматься тренировкой водителей, подымать их по учебной тревоге — тренировкой для них была вся зима. Енисей — река более грозная, чем Ангара, но мы теперь были старше. Перед перекрытием Ангары я волновался, теперь был спокоен.

И все же перекрытие есть перекрытие, это качественный скачок, меняется русло реки, и перед тем как его совершить, нам еще предстояло многое сделать.

Чтобы бетонная гребенка могла принять и пропустить через себя Енисей, нужно было взорвать верхнюю и нижнюю перемычки левого котлована и затопить котлован. Здесь, в Красноярске, нам было разрешено снять перемычку взрывом. В Иркутске я этого не добился, но время прошло все же не даром.

Последний раз проверялись те участки бетона, которые навсегда скроются под водой. Очищали котлован, на продольную перемычку вывозили прорабские будки, крохотные домишки, принадлежавшие службам, уже отслужившим свое.

К нам в штаб перекрытия (так теперь стал называться наш штаб), в небольшой синий домик, который мы расположили на самом краю насыпи, окнами на проран, то и дело поступали донесения о том, что сделано.

В ночь накануне затопления в Дивногорске не спали, от прожекторных вспышек у створа было светло как днем.

Служба водоотлива уже не работала, и от верхней перемычки по котловану сначала робко, потом все сильнее, сильнее струилась вода.

Зачистку перемычек перед взрывом заканчивал Саша Маршалов, экскаватор № 54. Саша мог вскарабкаться со своим экскаватором на самый крутой выступ скалы, мог свести машину на дно по самому неровному склону. Время открыло и другие его способности, но об этом потом. Он первым спустился в котлован, когда мы только начинали работу, и последним покинул его.

Теперь все зависело от взрывников, от группы Тони Калининой — они готовили на перемычке шурфы для взрывов. Вспоминаю Тоню — в ту пору это была молодая стройная девушка, светловолосая, зеленоглазая, очень строго тогда смотрели ее глаза. Глядя на нее, я всегда думал: откуда эта отвага, мужество, собранность у такого хрупкого существа, созданного природой, казалось бы, совсем для другого? Тоня и сама-то не сразу узнала себя. Поехала поступать на отделение точных приборов — чистая, спокойная работа — в Индустриальный подольский техникум, а там, оказалось, набора нет. Пришлось идти на только что открывшееся отделение мастеров бурно-взрывных работ. Просто хотелось чему-то учиться, иметь профессию. И вот тоненькая девушка — бригадир бурильщиков и вскоре мастер участка. В ее распоряжении сто пятьдесят мужчин, буровые станки, автомашины, взрывчатка, бикфордовы шнуры, в ее власти скалы, которые она подымает в воздух.

Мы договорились с ней о последних деталях, она направилась на перемычку проверить, все ли готово к взрыву, и многие смотрели ей вслед. Она шла в своем зеленом платке, должно быть, под цвет глаз выбирала, в сапо-

гах, полушубке — богиня взрывов, как ее называли на стройке. Действительно, все зависело сейчас от нее.

Я снова спросил, не осталось ли кого-нибудь в котловане. Саша Степанов ответил, что котлован уже пуст — он проверил все лично. На всякий случай еще раз послал двух наших Саш, Степанова и Мукоеда, удостовериться в том, что котлован действительно пуст. Скоро они вернулись: все обшарено, все осмотрено, ни одной живой души в котловане!

Затопление котлована должно состоять из двух операций. Сначала взрывается нижняя перемычка. В ее промерзшем теле взрывники пробурили двести восемьдесят шурфов, в них заложили тонны взрывчатки. Буря, которая налетела в последний день, не помешала этой работе.

В пять тридцать утра состоялась короткая пресс-конференция. В следующем номере «Правды» я прочел, каким было это утро, узнал, что рассвет был сиреневым, что по льдам Енисея бежали трепетные отсветы зари, что все серебрилось, искрилось снегами и светом. Наверное, так все это и было. Я, по правде сказать, сам этого не заметил.

С шести утра стали давать предупреждающие гудки.

Пришли взрывники, перепачканные землей, сказали, что все готово. Тоня Калинина и Геннадий Кравченко уже находились в специальном блиндаже у нижней перемычки.

В семь утра раздался двойной протяжный гудок — боевой сигнал. По приказу Калининой Кравченко повернул ручку взрывной машинки. Со стороны было видно, как перемычка вздрогнула, приподнялась и тут же в середине ее образовалась прорезь. К небу взлетело облако гари и черного дыма, песок, камни, комья снега, земли и огромное полотнище огня. Лед на мгновение загорелся. Грохот взрыва сменился вдруг тишиной, и в этой тишине было слышно, как зашумела вода, втекающая в котлован, сначала робко, как будто в сомнении, потом все уверенней и сильнее.

С двух сторон к перемычке подтянулись, как танки, бульдозеры Лапина и Умрихина, за ними испытанный экскаватор Ивана Пойды. Они расширяли горловину прорана, расчищали дорогу потоку, стремительность которого нарастала. Экскаватор вылавливал из воды камни, крупные льдины.

Енисейскую воду заставили сделать то, что воде совершенно не свойственно: вода вступала в котлован, пятясь назад, она шла навстречу собственному течению! Ведь котлован затоплялся с тыла, со стороны нижней перемычки.

К двенадцати дня все завершилось: котлован был затоплен, сквозь бетонную гребенку вода подошла к верхней перемычке, горизонты верхнего и нижнего бьефов почти сравнялись.

Это было 23 марта шестьдесят третьего года.

Котлован заполнился енисейской водой, но еще не стал Енисеем. Зайдя снизу и достигнув верховой перемычки, вода остановилась — образовалось озеро, и за день оно успело уже затянуться ледком.

Взрыв верхней перемычки произошел на другой день.

В двенадцать двадцать снова раздался протяжный гудок, и через десять минут снова вздрогнула перемычка, вырвалось красно-бурое пламя, взлетел султан камней и песка, донесся грохот взрыва, и в образовавшийся разрыв перемычки яростно бросился Енисей: он тащил за собой огромные льдины, швырял их, дробил и прогонял сквозь столбы бетонной гребенки, которая открылась реке. Но перепад уровней был небольшой — хорошо, что мы с нижнего бьефа уже зашли в котлован!

Енисей на глазах раздваивался, шел и через проран правой перемычки и через бетонную гребенку.

В черное горло прорана устремился белый игрушечный кораблик — с его помощью наши гидрологи замеряли скорость течения в верхних слоях воды. Уже

через два часа расход воды в проране с пятисот пятидесяти уменьшился до трехсот, упала также и скорость течения.

И скорость течения и напор воды — конечно, все это относительно. Енисей всегда Енисей. Журналисты, описывая перекрытие, старались рассказать о кипении, о неистовости реки, желая силой противника подчеркнуть значительность нашей победы. Но победа наша на самом деле заключалась как раз в другом: в момент перекрытия мы имели в прорыве дело с водой, которая была обессилена и временем года и открытием бетонной гребенки, да и фронт наступления оставался уже небольшим — всего тридцать три метра! Наша победа прежде всего заключалась в том, что была победой «малой кровью» — перекрытие Енисея было совершенно эффективно и экономно.

Но расскажу по порядку.

Итак, теперь оставалось закрыть проран и пропустить весь Енисей через гребенку, то есть совершить собственно перекрытие. И тут под самый конец еще один спорный вопрос. Это был, пожалуй, наш предпоследний спор с проектировщиками — все-таки в правом котловане мы с ними уже совсем породнились, ребята были они молодые и быстро росли, да и дело за себя говорило.

О чем же шла речь?

Хотя от недели к неделе Енисей становился все тише и тише, рядом шел противоположный процесс: чем дальше, идя за волной, двигалась перемычка к правому берегу, чем уже становился проран, тем сильнее возрастали скорости проходящей через него воды. Бывало, присядешь на краешке насыпи, посмотришь вперед и видишь: вода в проране все больше убыстряет свой ход и заливают водой бережок, потихоньку начинает его вымывать — она ищет выход. Да ведь то же самое и случилось на Ангаре, когда правый берег подмыло и Середкин со своим «МАЗом» опрокинулся в воду. С этим же нам предстояло потом встретиться и на Саянах.

Я решил, что при перекрытии нужно отсыпать обязательно с двух сторон, взять Енисей в клещи. Но перекрывать с правого берега было сложно: берег здесь обрывается круто, к воде нет удобных подступов. Проектировщики считали: дешевле отсыпать с одной стороны. Время уходило на споры, и я снова решил взять ответственность на себя. У нас уже было организовано Управление Правого берега, руководил им старый гидротехник Сычов, прорабом у него был Тарасенко, тоже работавший на Ангаре, оба давно уже рвались в бой. С ними я обо всем и договорился.

От карьеров мы провели дорогу, по которой пройдут самосвалы, на уровне будущей перемычки сделали прижим, равный ее ширине: взрывали скалы, валяли их в воду, между ними сыпали щебень, сверху песок и землю, получилась насыпь — плацдарм для наступления. В этот плацдарм и упиралась проложенная дорога.

Когда проран сузился до семидесяти метров, стали готовить кубы и тетраэдры.

О решении перекрывать Енисей с двух сторон мы доложили в штабе вечером 24-го. Встал Сычов и заявил:

— Хочу встретиться на перемычке с Горловым.

Все уже было сделано, и проектировщики были поставлены перед фактом, им ничего не оставалось как согласиться.

На этом же заседании штаба мы в последний раз проверили нашу готовность. Мне оставалось лишь подвести итоги:

— Перекрытие начинается завтра в десять утра. Ответственные за перекрытие Горлов и Сычов, начальники участков перекрытия Севенард и Тарасенко. Вначале будем отсыпать малыми габаритами. По мере сужения прорана скорости

возрастут. Соответственно будем увеличивать и габариты. Доведем проран до двадцати метров, остановимся, замерим и, если обстановка позволит, закроемся.

Я не сомневался, что обстановка позволит, сказал это, просто чтоб люди были спокойны. Судорожность тут не нужна.

Не успело закончиться заседание, в штаб вернулся Саша Степанов, выполнявший какое-то мое поручение.

— Вы тут сидите, не знаете, что делается вокруг. Люди идут, идут. Откуда их столько? В валенках, в тулупах, даже с детьми на руках. Костры на горах разжигают.

И в эту последнюю ночь самосвалы продолжали идти на перемышку, остановили их лишь на рассвете.

В три часа ночи я ушел домой отдохнуть, оставил в штабе двух своих усталых Саш — Степанова и Мукоеда, им время было привыкать к бессонным ночам, а мне уже отвыкать. Крепко выспался и вернулся в штаб только в девять утра вместе с дочерью, которая приехала на перекрытие. По дороге мы зашли с нею в карьер. У машин возились водители, прогревали моторы, все в белых рубашках и галстуках под телогрейками, они сегодня герои дня. Заглянули на склад негабаритов — в каждую глыбу вмонтирован крюк, чтобы удобнее было поднимать ее на автомашину, на многих тетраэдрах надпись: «Покорись, Енисей!» Эта же надпись за ночь появилась на вершине высокой скалы — кто забрался туда? как прикрепили там эти огромные буквы?

Людей на горах было действительно много. Должно быть, и тут имело значение то, что написал Твардовский о перекрытии Ангары, вот все и ждали необычайного зрелища, мерзли тут целую ночь. Мне даже жаль стало всех этих зрителей: я-то знал, что все будет просто, буднично.

Домик штаба состоял из трех комнат: одна для дежурных, другая для полевой лаборатории, третья — самая большая — для корреспондентов, для различных гостей. Мы их ждали, конечно, к этому дню, но я не думал, что их будет столько. Многие столичные писатели и журналисты приехали в эту последнюю ночь. Какой-то иностранный корреспондент задал вопрос:

— Скажите, пожалуйста, какую сенсацию вы нам сегодня готовите?

Я ответил, что в том-то и дело, что никакой сенсации сегодня не будет, обычный рабочий день. Действительно, как раз в этом-то и была единственная наша сенсация. Сказал, что по плану на перекрытие дано трое суток, но мы тихоньку, особенно не торопясь, пожалуй, за десять часов управимся.

Я еще раз вышел из штаба, посмотрел на правую сторону. Енисей как Енисей. Машины готовы — до самого карьера стоят.

В десять часов по радио был объявлен приказ о перекрытии, и я пошел к перемышке, где уже разворачивались тяжелые «МАЗы». Первым стоял «четвертак» Леонида Назимко. Назимко с иркутской стройки приехал со своим старым «МАЗом», предложили ему работать механиком — отказался, считал, что недостаточно грамотен: «Буду учить предметно». Практически именно он подготовил всех молодых мазистов на красноярской стройке.

Право первым бросить бетонный куб на перекрытие было особой честью.

По машине Леонида Назимко можно было судить о темпе работы — он успел за перекрытие съездить на карьер и обратно примерно раз двадцать. На кубе, который громоздился на его самосвале, было написано:

Великий день в ряду великих дней,
Сегодня покорится Енисей.

Это журналисты, должно быть, успели. Журналисты вообще были вездесущи в этот день. Один из них, Игорь Бузылев, сидел в кабине самосвала «85-57» рядом с Назимко. Потом в своей корреспонденции он написал, что когда Леонид первым во главе колонны самосвалов направился к прорану, прежде чем нажать

стартер, он взволнованно произнес: «Поехали!» — слово, которое сделал знаменитым Юрий Гагарин.

И вот наконец десять ноль-ноль. Назимко приблизился к краю, почти коснулся задними колесами кромки, кузов машины приподнялся, и в воду упала глыба, за нею другая. И вот уже за ним слева и справа к прорану подходят самосвалы и приподнимают свои кузова. В перекрытии принимало участие двести машин.

Пересматривая сейчас старые газетные подшивки, я натолкнулся на описание, как в тугую волну падали бетонные глыбы и камни с крюками, вбитыми в диабазовые бока.

В одиннадцать часов пятнадцать минут к прорану снизу реки подошел катер наших гидрологов — им нужно было сделать определенные гидрологические исследования прорана.

А над прораном, над катером кружил вертолет. Он опускался так низко к реке, что под ним на волнах вскипала белая пена. Сверху виднее. Самое справедливое наблюдение в тот день сделали корреспонденты, проникшие в вертолет. Они заметили, что по сравнению с перекрытием Ангары здешнее перекрытие выглядит не слишком внушительно: нет длинного моста, вдоль которого сразу поднялись бы на дыбы десятки машин, к узкому прорану самосвалы подходят по одному. И сделали верный вывод: значит, инженеры отыскиали путь дешевле и проще.

Мне пришлось вернуться в помещение штаба, потому что непрерывно звонила Москва. Москва за нас волновалась, и мне было даже неловко, что я так спокоен. Я-то знал, что главное уже сделано.

В двенадцать часов я объявил обеденный перерыв. Кто-то из гостей удивился: «Зачем?»

После перерыва в проран опять полетели справа и слева бетонные и каменные глыбы — все крупней и крупней, по мере того как проран сужался и скорости возрастали.

После перерыва я почти все время был у прорана, своими глазами видел, как вода приподымалась и начинала делиться: часть ее по-прежнему шла в проран, а часть изгибалась валом и заворачивала в гребенку.

В три часа из штаба перекрытия послали очередную сводку в Москву: осталось всего восемнадцать метров прорана.

К пяти часам река пробивалась уже через узкую щель. Если утром перед перекрытием через проран проходило триста кубометров воды в секунду, а через гребенку двести, то к пяти часам через проран шло всего сто сорок кубов, а через плотину четыреста.

Вот уже всего полтора метра отделяли берег от берега.

Шли последние минуты, последние машины валили глыбы и скалы. Вот, кажется, вода уже остановилась, но сильная струя снова прорвалась сквозь камни.

Подъехал Назимко, сбросил очередную глыбу, и я поднял руку:

— Хватит! Теперь гравийно-песчаную смесь!

Назимко был очень доволен:

— Первая глыба моя и последняя тоже! Такого счастья за сто лет может не быть!

Берега сомкнулись. Справа образовалась запруда, а слева за бетонной гребенкой гремел водопад. Вот уже бульдозер наехал на границу двух только что сомкнувшихся насыпей. Вода еще пыталась прорваться между грудками крупных камней, а люди по острым, пока неустойчивым каменным глыбам бежали навстречу с правого и левого берега, хватали друг друга за плечи.

И среди молодежи на вздрагивающих камнях стояли два грузных, очень молодых человека — начальник управления левого берега Горлов и начальник

управления правого берега Сычов. Они долго держали друг друга за руки, забыв, что находятся под обстрелом фотоаппаратов и кинокамер.

Все! Это случилось через шесть с половиной часов после начала работы.

Но это было совсем не все. Спустя три года Енисей отплатил нам за легкость победы, одержанной над ним 25 марта 1963 года. Впереди была контратака, попытка реванша, бунт покоренной, но не покорившейся еще реки. Пока никто об этом не знал, однако недаром чувство если не тревоги, то, во всяком случае, постоянной боевой готовности никогда не покидает гидростроителя. Гидростроитель всю жизнь как солдат, который спит, не снимая сапог даже тогда, когда он как будто бы победитель.

Она ни на мгновение не остановится, эта мягкая, шелковая вода.

Константин Симонов, тоже приезжавший на перекрытие, справедливо сказал: перекрытие — это праздник в пути.

Еще долго к перемычке шли самосвалы, повышали и расширяли ее, отсыпали перед ней предохранительный экран.

В полночь я пошел посмотреть уширенную перемычку, заметил, что на ней уже наледь, и успокоился: значит, река не идет. Конечно, какая-то фильтрация обязательно есть, но фильтрация — это все-таки не река!

Было темно и тихо. Горы спали. Только машины непрерывно катили навстречу друг другу. Меня окликнули. Я всмотрелся в темноту и узнал. Борис Полевой! Разыскал-таки на правах земляка... Он стал расспрашивать, что я тут делаю, о чем теперь думаю, и так получилось, что разговор у нас зашел о Саяно-Шушенской ГЭС, следующей гидростанции на Енисее, тогда мы еще называли ее Саянской. Я уже знал, что ее начнут строить в следующем году в Карловом створе, не раз бывал там, принимал участие в выборе створа, догадывался, что и ею займемся мы...

Значение этого перекрытия заключалось в том, что впервые в истории гидротехники перекрытие совершали зимой, впервые с учетом естественных расходов реки, постепенно. Это дало нам около десяти миллионов экономии по сравнению с тем, что мы затратили бы, если бы перекрывали Енисей в октябре. Если, несмотря на множество непредвиденных трудностей, мы уложились в Иркутске и Красноярске в смету, то лишь потому, что всегда искали нешаблонные решения и старались привлечь к этим поискам всех, кто работал на стройке.

Что же до сроков, то почему срок должен стать самоцелью?

Наше мышление иногда оказывается в плену у каких-то условностей, созданных нами самими. Конечно, чем раньше, тем лучше, но если мы видим, что в марте обойдется дешевле, чем в октябре, почему непременно настаивать на октябре? Самое важное для нас — это хозяйский подход в интересах дела, а не отчета.

Буквально на другой день начались работы по созданию котлована второй очереди, где должны были подняться с речного дна стационарная плотина и здание ГЭС. Для этого нужно было до ледохода и паводка нарастить верхнюю перемычку до проектной отметки, чтобы она выдержала максимальный напор воды, отсыпать нижнюю перемычку, откачать котлован, нарастить бетонный гребень водосливной плотины. Возможный во время паводка перелив воды через верх перемычки был чрезвычайно опасен. Все обошлось благополучно. Основные сооружения — бетонная гребенка и перемычка — выдержали этот экзамен.

Еще до ледохода мы откачали второй котлован, и перед нами открылось его дно. То, что мы увидели здесь, было неожиданностью и для нас и для проектировщиков. Трещина в донной породе, которая начиналась от левого берега ниже плотины, шла наискось, как бы навстречу течению. Здесь, в правой части русла, она проходила по диагонали через весь котлован, то есть через будущее

основание правобережной плотины и примыкающей к ней электростанции. Это можно было предполагать по ее направлению. Неожиданностью было другое: от этой трещины пучками, веерами отходили радиальные трещины, ими было изрезано все основание котлована, и в довершение бед из них били фонтаны.

Тратить время на переживания не приходилось.

Выручил всех нас Горлов. Он предложил крупные трещины расширять или углублять еще больше и цементировать их. Он давно уже знал этот способ.

Мысль проектировщиков работала в другом направлении: раз речное дно оказалось не монолитным, следует уменьшить давление плотины на донный грунт. Некоторые молодые проектировщики предлагали уширить периметр основания плотины, что значительно удорожило бы все строительство. Главный инженер проекта Хлебников предложил решение более смелое и необычное: сделать одну бетонную подошву под здание ГЭС и под плотину, соединить их фундаментами. Результат получался тот же — давление плотины распространялось на большую площадь.

Мы решили предложения Горлова и Хлебникова совместить: превратить фундаменты ГЭС и плотины в один бетонный массив и через уширенные и углубленные трещины, которые мы наполняли литым бетоном, срastить плотину с рекой, а в мелкие трещины нагнать под давлением цемент, как это делали мы в Иркутске. Но как осуществить вскрытие котлована, расширение и очистку трещин?

Одно было ясно: вскрывать второй котлован вручную, как мы вскрывали первый, немыслимо, тем более что здесь все осложнялось. Тут я решил стоять насмерть: слишком мы все пострадали, глядя на египетскую работу, которую проделали наши рабочие при вскрытии первого котлована.

Нельзя было допустить, чтобы рабочий человек опять лез по колено в воду со своим перфоратором, а из-за трещин предстояло спуститься метров на двадцать ниже речного дна; нельзя было допустить, чтобы женщины снова не разгибая спины мыли и досушили тряпками дно Енисея. Нельзя было увеличивать количество рабочих, занятых на строительстве, и, наконец, нельзя было удлинять сроки работ — все это удорожало строительство.

Давно уже думал я о созидательной силе взрывов, но, как я уже рассказывал раньше, в Иркутске в споре по этому вопросу я остался один. Не сумел отстоять я этой идеи и при вскрытии первого котлована. Теперь я воспользовался своей властью начальника стройки. На расстоянии четырех, шести и восьми метров мы включали буровые станки, в образовавшиеся отверстия вкладывали мешочки с взрывчатым веществом и прикрывали плитой, чтоб взрыв был ограничен и не распространялся дальше того участка, на который был направлен. Когда взрыв расширял трещину, подгоняли скалозачистную машину.

Эта машина была нашим детищем и представляла собой переконструированный экскаватор с обратной лопатой, для чего потребовалось изменить и стрелу. С просьбой создать такую машину, мы обращались на завод «Уралмаш» и получили отказ. Тогда за дело взялись все тот же Антон Мельников (проходило ли мимо Антона хоть одно новое дело?), механики Чинский, Кравцов и экскаваторщик Саша Маршалов. Саша много дельного внес в работу над экскаватором — уж эту машину он знал лучше чем кто бы то ни было. Через два с половиной месяца скалозачистный механизм был готов и приступил к работе.

Итак, мы расширяли крупные трещины, освобождались от рыхлого грунта путем направленных взрывов, а скалозачистная машина удаляла обломки скал. Казалось бы, задача решена — можно приступать к цементированию и бетонным работам.

Но нет! Проектировщики — и это был наш с ними последний спор — считали, что наши взрывы опасны для основных сооружений. Они отказывались принимать нашу работу, и нас не оплачивала дирекция. Не первый раз наши

объекты не принимались и не оплачивались, потому что мы действовали не по инструкции.

Пришлось обратиться к академику Лаврентьеву, давно уже я думал о нем. Лаврентьев принял нас хорошо, сразу отобрал молодых ученых, дал им задание: обследовать котлован и окружающие его скалы, выслушать все за и против, найти со строителями общий язык и, когда мнение будет выработано, немедленно вызвать его на Красноярскую ГЭС. Взрывы в левом котловане возобновились — теперь они назывались опытными и за ними стоял авторитет академика.

Безопасности ради решили котлован поделить на квадраты, взрывы производили в шахматном порядке, минуя квадрат, затем возвращались к тем квадратам, которые сначала были пропущены; заряды закладывали строго по расчету.

Приехал из Новосибирска Лаврентьев, приехали представители Гидропроекта, представители местных партийных организаций. Составили документ: донную породу левобережного котлована можно рвать с помощью взрывчатого вещества, с применением пороха, взрывы производить в шахматном порядке, под прикрытием плит. Под документом академик поставил подпись, теперь и проектировщики стали на сторону взрывов — им нужна была эта школа. Больше ни одного спора с ними по этому поводу мы не имели, дальше они оказывали нам поддержку и во всех остальных вопросах.

Получив документ с подписью, которая всех примирила с нами, мы взялись за дело. Трещины расширяли иногда на пять метров. Расчистка второго котлована шла темпами, о которых прежде невозможно было мечтать. Это была революция, отменившая тяжелый ручной труд, кувалду и лом.

С особой благодарностью, когда речь заходит о взрывах, вспоминаю от важных работников Гидроспецстроя Редреева, Васильева и Тоню Калинину.

Вслед зачистным машинам приходили мощные гидромониторы, они промывали скальные породы: граниты блестели как зеркала. Уже было дико вспомнить, как ходили когда-то женщины с тряпками, досуха протирали речное дно — точнее, гранитное основание под бетон.

На отмытый, готовый к приему бетона гранит опрокидывалась бадья.

Впрочем, и тут вовсе не все было просто. И тут нам пришлось пойти — правда, уже никто с нами не спорил — на некоторое нарушение старых инструкций, или, другими словами, на их отмену.

Когда раскрывают котлован, фундамент заглубляют, чтобы поставить его на устойчивый монолит. По инструкции считалось, что при вскрытии котлована сразу обнажать монолит нельзя: нужно оставить полметра защитного слоя, чтобы предохранить монолит от влаги, от воздействия воздуха. Этот защитный слой полагалось снимать в последний момент перед укладкой бетона. Мы решили теперь пренебречь этим правилом — промышленный метод укладки бетона давал возможность укладывать бетон сразу, как только расчищается котлован, и не было нужды делить подготовку основания на два этапа.

Строительство вступило во второй этап, «утро стройки», как выразился один журналист, было уже позади, а мы продолжали искать и учиться. В частности, мы искали новые, наиболее подходящие для красноярских условий марки цемента. Дело в том, что различный цемент по-разному реагирует на температурные колебания и на состав воды. В конце концов наша лаборатория создала свой красноярский замес, новую марку, назвали ее «КрасноярскГЭСцемент».

Жизнь потребовала, чтоб мы решили еще один специальный вопрос.

И бетон имеет различные марки. По проекту мы должны были пользоваться двадцатью разными марками. Это было для нас чрезвычайно сложно. Помню, как покойный Жук говорил: «Не идите на разномастный цемент. Кажется, что это дешево, а выйдет дороже».

Жук учитывал экономику, организацию производства работ. Мы решили ограничиться всего тремя марками.

Когда вспоминаешь второй котлован, в памяти возникают новые имена — имена молодых инженеров, выросших на гребне той революции, которую мы здесь совершили. Рассказать обо всех я здесь не могу, но хочется хотя бы назвать имена Скляренко, Портнова, Денисова. Теперь это испытанные капитаны гидростроения, но стартом их был наш второй котлован.

Начинался большой бетон, теперь на двух флангах плотины — слева и справа.

Как раз в это время к нам на стройку приехал Юра Гагарин, надел рабочую рубу, сапоги, бросил первую лопату бетона в первый блок правой плотины и уже не оставил лопату, пока не был уложен весь блок. Кстати, эту лопату наши строители увезли с собой на Саяны и ею бросили первый бетон в основание плотины Саяно-Шушенской ГЭС.

Первый космонавт оказался открытым, жизнерадостным парнем, он без усилий справлялся с бременем ранней славы. Я поделился с ним тем, что меня тогда беспокоило. После перекрытия мы приобрели известность в стране, со всех концов ехали к нам молодые люди. Их нужно было учить, и не только по книжкам. Опыт рабочего человека лучше всего передается в личном общении, на личном примере, но от руководящих комсомольских органов шла в то время идея молодежных бригад. Я был против чисто молодежных бригад, я считал, что в такой бригаде, среди молодых ребят, обязательно нужны опытные строители, пусть хоть несколько человек, иначе опыт старых рабочих уйдет вместе с ними, а молодым не у кого будет учиться. Слово «наставник», мне кажется, в нашу жизнь тогда еще не вошло, но именно это я и имел в виду. Когда мне заявляли: нам, мол, нужны молодежные бригады, мы вам покажем, — я всегда спрашивал этих «энтузиастов»: ну и что вы нам покажете? Настроение, которое создавалось раздуванием фальшивой идеи чисто молодежных бригад, привело к тому, что молодые рабочие стали относиться с недоверием к ветеранам.

Был у нас старый, честнейший мастер, он подсчитал сделанную новичками работу, оказалось, что для начала им причитается за месяц по девяносто рублей. Ребятам показалось, что это мало:

— Он нас обманывает, не будем работать, пусть начальник придет.

Я взял с собой расценки и нормы, пошел к ребятам, доказал им, что старик поступил справедливо, заодно рассказал и о том, что мастер сам был на войне и трех сыновей на войне потерял. Тут же ребята побежали перед ним извиняться. Были это совсем неплохие парни, только не нужно было голову им мутить.

Вот об этом я и рассказал Гагарину. Он меня сразу понял. Пошел по бригадам. У нас тогда создавались бригады имени Рубена Ибаррури, Александра Матросова, Лизы Чайкиной, Зои Космодемьянской. Везде у Гагарина получался живой разговор, без обиняков. Многие жаловались ему:

— Хотят нам трех стариков навязать. Зачем они нам?

Юра смеялся:

— А чего вы бахвалитесь? Чего вы стоите без стариков? Тридцать нулей без палочки.

Юра и сам был молодой, и был уже он Гагарин — слово его было веским.

В ту пору наш коллектив вырос вдвое. Спрашивали каждого новичка:

— Кем хочешь работать? Где?

Случалось и такой услышать ответ:

— Там, где заплатят больше. Я приехал сюда на пальто заработать. Мне б одеться — и я сразу уеду.

Пройдет какое-то время, давно он одет и обут, а глядишь — совсем позабыл, зачем сюда ехал, напомним — и не поверит.

После того как мы перекрыли реку и должны были пропускать ее через свои сооружения, особенно важным стало изучение природных условий бассейна.

Каждый паводок был как экзамен.

Мы добились того, что Центральный метеорологический институт создал специально для наших нужд гидрометеорологическую лабораторию в Дивногорске. Печатался бюллетень: в каком пункте наблюдается нарастание или снижение снежных покровов, расходов воды; этот бюллетень я просматривал ежедневно, но опыт, давний опыт, о котором я уже говорил, научил меня эти данные проверять. Я представлял себе, как это может быть: сидят на метеопункте две девчухи, Маша да Даша, в лучшем случае из десятилетки. Натопят печку в избушке и греются, и не всегда им охота выйти на лед или спуститься в овраг, а иной раз и страшно бывает уйти в непогоду далеко от избушки. Могут они и на глазок цифру в сводку вписать, а потом эти цифры, взятые порой с потолка, будут прокручиваться в арифмометрах и по формуле Качерина переводить снег в воду. Получится нечто текучее, действительно что вода, плюс-минус сто, а нам нужна была точность. Эти данные мы проверяли, перед каждым паводком обращались к речникам и старожилам, а кроме того, перед каждым паводком сами летали к верховьям реки — в Абакан и выше, в Туву. Аэрофлот шел нам навстречу.

В красноярском аэропорту выросла вся полярная авиация, через Красноярск во время войны переправлялись американские самолеты, летчики здесь были как на подбор: в воздухе не смотрели на карту, летали без штурмана.

Давали нам такого орла, а то и не одного — и мы получали возможность облетать весь бассейн. Перед вылетом на утреннем совещании я спрашивал у своих:

— Кто хочет лететь со мной?

Поднимался лес рук, и я выбирал.

Самолеты снижались, а вертолеты садились. Ребята выскакивали из вертолета, замеряли глубину снежного покрова; Саша Степанов, а то Сережа Король взбирались на кручи, без всяких приспособлений брали альпинистскую крутизну и замеряли снег наверху.

А когда начинали таять снега, мы снова летели, наблюдали, как весна приходит в долину, а позже и на вершины: с самолета видны были появляющиеся проталины. Если же вертолет приземлялся, видели своими глазами, как закраины снега начинают источать каплю за каплей.

Ледоход и паводок весны шестьдесят третьего года, первой весны после перекрытия Енисея, мы без труда пропустили через гребенку будущей водосливной плотины. Но за год восемнадцать промежутков между бетонными столбами гребенки закрылись бетоном. Паводок и — что серьезнее — ледоход должны были быть пропущены через восемь донных отверстий, которые только и остались для сброса воды в водосливной плотине. Но не заклинит ли лед отверстия? Не станет ли громоздиться и подпирать плотину? Перед плотиной могло скопиться ни больше ни меньше как двадцать миллионов тонн льда. Не снесет ли эта громада плотину?

Не так-то просто взрывами размельчить такую огромную массу льда. Той весной шестьдесят четвертого года впервые в истории гидротехники с помощью Ленгидропроекта нам удалось использовать законы гидравлики и без взрывов уничтожить лед, стоящий перед плотиной. Что же мы сделали?

Работники Ленгидэпа посоветовали нам заранее, не ожидая ледохода, сократить сброс воды через донные отверстия плотины. Вода ударяется о стенку плотины и отталкивается обратно; здесь, у плотины, она постоянно в движении

и потому никогда не замерзает: в самые большие морозы на пятьдесят — шестьдесят метров перед плотинной водное пространство свободно от льда.

Регулируя сброс воды, можно значительно поднять ее горизонт у самого створа. Это образует, говоря на языке гидрологов, кривую подпора, или, говоря простым языком, уровень воды будет постепенно повышаться к плотине, образуется как бы водяная горка, если так можно сказать, вода сама станет преградой воде, идущей с верховьев, а тем более льду.

Так рассуждали наши гидрологи, так мы поступили, и все именно так и получилось: изменился уклон, вода замедлила ход, лед остановился на почти-тельном расстоянии от плотины, не имея силы одолеть кривую подпора, или по-просту водяную горку, несмотря на ее пологость. Льдины громоздились одна на другую, трещали под собственной тяжестью, весеннее солнышко их припекало, и они таяли, как тает сахар в стакане чая. Дней через десять смягченными, рыхлыми, разваливающимися кусками, а то и просто водой лед благополучно прошел через отверстия водосливной плотины, нигде даже не оцарапав облицовочных поверхностей донных отверстий.

Воду мы одолели водой. Первая весна не оказалась комом для водосливной плотины — вот что значит иметь свою гидрологическую службу!

Все больше звеньев, бригад, различных субподрядных организаций работало на основных сооружениях. Одни укладывали бетон и ставили опалубку для нового блока или, наоборот, снимали ее, другие устанавливали арматуру, пьезометры, датчики — через плотину должно пройти семь горизонтальных потерн. Всем подают инструменты и материал, обеды в термосах и завтраки в целлофановых пакетах — их приносят в корзинках девушки из нашего ОРСа, — у всех над головами стрелы кранов и тросы, на которых повисли бадьи, наполненные бетоном. Работа ведется одновременно на уровне сорока пяти этажей: кто-то под самым небом, а кто-то и под водой. Три раза в сутки сдаются дежурства.

Постороннему человеку, попавшему на плотину, могло показаться, что здесь полный хаос: всё в огне; всё в пожаре, все лезут вверх, а кто и под дно речное. Хаоса, конечно, тут не было, но тот порядок, который необходим на плотине, давался не так легко. Кто оставил бадью на мостке? Кто, уходя со смены, забыл на рабочем месте вибратор? Каких только бед не наделает самый невинный предмет, если он упадет вдруг с такой головокружительной высоты, притом что работы ведутся на разных уровнях. Начинались поиски виновника — одни валили вину на других. Как-то на летучке в момент досады у меня сорвалось нелепое, несуществующее словечко — его сразу поняли, и оно прижилось.

— Что вы спихиваете один на другого? Не занимайтесь тут спихитизмом! «Спихитизм!» Это было нашим бичом. Создали специальный рабочий контроль. Вопросы безопасности касались всех работающих на стройке.

Уже был виден конец второго миллиона кубометров гидробетона, уложенного в основные сооружения, — мы должны были уложить его за год, в то время как первый миллион укладывали три года. Тогда мы на ходу учились, теперь был уже опыт.

Гладун по-прежнему с шести до двенадцати работал на своем первом участке, не признавая никаких выходных.

Его участок был как гнездо, из которого вылетают птенцы. Вся наша молодежь, которая вышла потом в начальники, прошла школу у Гладуна. Особенно держался за него молодой инженер Витя Плисов. По всему было видно, что быть ему партийным работником. Где бы ни появлялся он, везде обрастал людьми, такой был дар у паренька, люди к нему тянулись. Его уже несколько раз выдвигали на руководящую работу, он всякий раз обращался ко мне:

— Я ничего не знаю пока, только что начал.

Я ходил по инстанциям:

— Дайте ему укрепиться, а то пустолайной станет.

Словом, подержали его у Гладуна, дали ему пройти эту школу, теперь он секретарь Красноярского крайкома партии по строительству, а Красноярский край сейчас — одна гигантская стройка.

Все выше и выше поднимался гладунский участок, опережая все остальные, все больше ступеней приходилось преодолевать Василию Ивановичу, чтобы подняться на свое рабочее место.

Когда я уставал от бесконечных споров, от напряжения, я шел к нему и мог с ним откровенно, по душам всем поделиться, спросить у него: «Так что показывает барометр, Василий Иванович?» Мог он подсказать, а мог и промолчать. Просто поделишься с ним — и то на душе становится тише. Гладун никогда не жаловался, но я понимал, что и более молодой человек не выдержит той нагрузки, какую он раз навсегда взвалил на себя и так и тащил без передышки. Мне по-прежнему приходилось выгонять его иногда на рыбалку.

С первых дней нашего существования наш «адмирал», начальник Енисейского пароходства Иван Михайлович Назаров, дал нам три грузовых судна и вместе с ними опытного водника Степана Афанасьевича Ощепкова, славного человека наших примерно лет, честного и веселого. Постепенно наша флотилия выросла, потом у нас уже было, не считая мелочи, пятнадцать крупных речных судов для перевозки груза. В Ощепкове был какой-то особый секрет привлекательности: к нему переходили лучшие капитаны и лоцманы Енисейского пароходства. Назарову, хоть мы и были друзьями с ним, это не очень нравилось. Я говорил Ощепкову:

- Ты сам не бери людей, пусть он тебе даст.
- Он мне даст таких, какие ему негодны.
- А ты не бери.
- Не могу. Он мне двадцать лет начальником был.

Назаров считал, что свой флот нам необязателен: речники действительно прекрасно справлялись с перевозкой грузов, необходимых для стройки, — но дело в том, что наша флотилия выполняла задачи еще и совсем особые. Позже, когда мы наполнили водохранилище и подняли уровень воды в верхнем бьефе, мы сдирали опалубку, подходя к плотине на этих суденышках, ими же пользовались, когда какой-то блок загорался.

У Ощепкова на причале стоял старый, потрепанный пароход, в нижней части этого парохода, у самой воды, была небольшая кладовка, которая всегда готова была принять Гладуна — рыбалка сдружила его с командиром нашей флотилии. Изгнанный мной на двое суток с плотины, Гладун рыбачил или просто сидел в этой каморке и, как ребенок, играл крючками, блеснами, поплавками, грузилами. Я тоже, когда в голове начинало гудеть, приезжал вслед за Гладуном к нашему капитану и шел в гладунскую каюту. Гладун хвалился:

- Смотри, Андрей Ефимович, какие крючки я достал.
- Ох, не до крючков. Вся голова в крючках.

Гладун миролюбиво вздыхал: «Не в кон попал» — и продолжал возиться с рыболовными снастями. Я доставал из кармана книжку. Так и сидели мы с ним, пока голова не освободится от гуда. Иногда вслед за нами приезжали Степанов и Мукоед.

— Ну, собрался совет старейшин.

Я отвечал:

— Скажи просто, что стариков.

Ребята не соглашались:

— Какие вы старики! Такую плотину тащите к небу.

Ощепков приносил нам в котелке уху. Гладун заглядывал в котелок и говорил:

— Разве это уха? Знаешь, как уху архiereйскую варят наши хохлы? Портвейн прибавят туда, курицы, сала.

Ощепков, чтобы разговорить молчуна, начинал выражать недоверие, и иногда на обычно немногословного Гладуна находило. Он приносил в каюту огромный чайник — чай он любил, — раскраснеется, пьет чашку за чашкой и рассказывает и как уху архиерейскую варят, теперь уже со всеми деталями, и как он бывал в Японии, и как там едят рис, и какие женщины на Мадагаскаре. Это значило, что Василий Иванович в настроении — надо слушать. Как моряк виды видал он всякие. Иной раз бывал у нас на столе и не один только чай. Так посидим вечером, и опять можно вкалывать — тащить плотину под небеса.

Потом, между прочим, стало известно, что как раз та самая нижняя часть старого парохода, где мы собирались, принадлежала когда-то пароходу «Святой Николай», который и вез Владимира Ильича и Кржижановского к месту их ссылки. Разыскали верхнюю часть, восстановили весь пароход, теперь «Святой Николай» стоит на причале как часть Ленинского мемориала, открытого в Красноярске.

По-прежнему выхаживая каждый блок как ребенка, мы все время старались наращивать темпы. Бригадир Лардыгину пришлось в голову работать сразу двумя бадьями: одна разгружается, другую в это время нагружают бетоном. Просто, как колумбово яйцо! Не пойму, почему не додумались до этого раньше.

А крановщик Полежаев стал перед сменой обследовать каждое сочленение своего механизма, так врач-ортопед обследует каждый сустав. Убедившись, что все в порядке, он совершал на своем кране КБГС-101 одновременно две или три операции.

На этом этапе проектировщики были лучшими нашими друзьями: они немедленно подписывали нужные документы, помогали прорабам разбираться в чертежах и конструкциях.

Плотина росла буквально не по дням, а по часам, но тут нас, как воров, схватили с поличным:

— Куда вы лезете? Ваша была половина, а вы сколько уже уложили? Что же останется для «непрерывки»?

Опять начались бесконечные торги, в результате которых для непрерывно-поточного способа было выделено три секции.

Завод, рассчитанный на непрерывно-поточный способ, так и не был еще закончен, а наш завод с горизонтальными мешалками, рассчитанный не на непрерывную подачу бетона, а на непрерывное производство, уже давно был на ходу. Нас заставили обслуживать «непрерывку» за счет этого завода. Бетон самосвалами привозили к плотине, сначала его спускали в бункер, потом поднимали вверх, затем с большой высоты по жестяной трубе он летел вниз, как это и предполагалось по схеме Б.

Хрестоматийно-наглядным оказался этот горе-эксперимент! Все произошло именно так, как мы и предвидели. Пока бетон летел с высоты, цемент отделялся от гравия и песка, отдельно проливалось цементное молоко, отдельно выпадали песок и гравий. В блок попадала неоднородная масса. Бетонщицы, работавшие на этой системе, говорили нам:

— Что вы делаете? Бы ж не бетон — вы навоз в плотину кладете.

Думаю, что никакие невзгоды, ни война, ни те проклятые часы на рифе среди чужого моря, ни просто неумолимое течение времени, не унесли у меня столько здоровья, сколько эти вырастающие у нас на глазах негодные секции. Работники министерства по-прежнему спрашивали у меня, когда я бывал в Москве:

— Ну как?

И улыбались, вместо того чтобы сказать свое мнение.

А я был связан по рукам и ногам. Не выдерживал и опять начинал писать по инстанциям, чего уже давно не делал. Меня вызывали и снова — в ко-

торый уже раз — объясняли мне, что я потерял чувство нового, погряз в те-
кучке, отстал как инженер.

Б. писал больше, чем я, — все же времени у него было больше. И вот даже задорная, молодая «Комсомольская правда», которую я любил и люблю, объявила, что я консерватор.

Все это нужно было перетерпеть, не упуская из виду остальных ежедневных забот строительства.

Но, к счастью, всему приходит конец. И укладка трех секций плотины непрерывно-поточным способом была наконец закончена. Чашу эту испили мы до конца. Три секции были завалены неоднородной массой, рябой снаружи, дырявой внутри. Бетоном назвать это при всем желании было бы невозможно.

Заведующая лабораторией Галина Федоровна все время высказывалась за «непрерывку». Я видел, что она-то не карьерист, а просто наивный, неопытный человек, увлеченный новой идеей. Ее я и поставил на проверку «бетона», уложенного по способу Б. Заключение лаборатории было таким: этот участок плотины негоден, его необходимо лечить цементом, или, другими словами, все начинать сначала.

Теперь поддерживали меня уже все — и старые, и молодые; и проектировщики, и местные партийные власти, и простые бетонщики, и, думаю, никто не отказался бы поставить свою подпись на составленном нами акте, но я уже знал: кто-то должен взять ответственность на себя. Подписал акт, послал его в Москву вместе с письмом на имя министра, а пока, не дожидаясь ответа, мы взялись за дело на свой страх и риск.

До паводка осталось всего два месяца, а предстоял грозный паводок шестьдесят шестого года. Впрочем, «бетон» Б. не устоял бы ни перед какой водой. Словом, мы начали исцеление больного бетона. Через метр пробуривали плотину сверху до основания и по трубам под высоким давлением нагнетали цемент. На каждый кубометр бетона затратили цемента в два с половиной раза больше обычного. Работали в лихорадочном темпе — весна не ждала!

Практически мы создавали второй бетон — даже железобетон: трубы, через которые вдували цемент, оставались в бетоне. Отвечали за лечение бетона Долгинин и Степанов, самые энергичные наши инженеры. Во время этой работы приехал представитель из министерства. Много их уже приезжало, но этот приехал и разобрался. На третий день он бросил на стол кипу чертежей, подготовленных группой Б., и спросил инженеров из этой группы:

— Ради чего вы всё это делали?

Стали проверять залеченные блоки: они стояли теперь как бронированные.

Так мы выскочили из этой истории. Но какой дорогой ценой! Сколько ушло металла, цемента, времени. «Новаторская» затея стоила нам свыше пятнадцати миллионов рублей!

А если бы мы где-то заклинились, если б не успели уложить основной бетон до начала осуществления «непрерывки»? Три секции мы смогли залечить. Но как бы мы залечили половину плотины? Это же как воздвигать две плотины!

Возможно, непрерывно-поточный метод укладки бетона с другой конструкцией механизма подачи когда-нибудь оправдает себя, но для этого требуются эксперименты в лабораториях, на полигонах, а не на плотине, да еще через такую реку, как Енисей.

Много воды в Енисее утекло с той поры, но я не могу не волноваться, когда вспоминаю эту историю.

Быть может, здесь место и без волнения, отвлекаясь от пресловутой «непрерывки» инженера Б., подумать о том, что же такое лженоваторство и откуда оно возникает.

Новое не должно быть самоцелью, вовсе не всякое новое лучше, чем старое. Во все не важно, нов или стар предлагаемый способ, — важно, насколько он це-

лесообразен для дела. Никаких других критериев для оценки предлагаемых способов нет. Способ сам по себе — это не больше чем способ, не больше чем средство, чем путь к достижению цели.

Но бывает порой, что мы путаем средства и цели, фетишизируем средства, забываем при этом о целях, об интересах дела. И тогда различные операции, тот или иной способ укладки бетона, тот или иной способ уборки хлеба, обогащения почв, чередования агрокультур становится самоцелью и уже перестает быть тем, чем он должен быть. В основе этого лежат личные соображения, желание выдвинуться, сыграть на моде, на конъюнктуре.

К лженоваторству толкает именно карьеризм.

Если же ты занят исключительно делом, тебе все равно, назовут ли тебя консерватором или новатором, тебе важно только одно: как твои действия сказываются на деле.

И даже из личных соображений следует помнить, что моды меняются и конъюнктуры меняются, мнимое новое очень скоро становится старым, и кто, преследуя личные цели, гонится за конъюнктурой и забывает при этом о деле, скоро садится в галашу, потому что в конце концов о человеке судят только по тому, что он сделал, как и какую цену. Нельзя не вспомнить известную сказку Андерсена о новом платье для короля, смысл ее действительно вечен.

В декабре шестьдесят пятого года выпал большой, небывало большой снег. Старики старожилы говорили, что такого снега на своем веку они не видали.

Прошел Новый год, а снег все валил. Наши гидрологи расширили фронт своих наблюдений, но данные их мы проверяли и чаще обычного летали к верховьям реки.

Горный край, где рождается Енисей,— это черные скалы, черные камни. В ту зиму до самого лета все было так завалено снегом, что с самолета все виделось белым, даже горные леса были закрыты снегом до самых верхушек. По всему было видно, что паводок будет большой, значительно больше, чем можно было судить по бюллетеням, которые мы получали.

Той зимой я особенно часто обращался в речное пароходство к Назарову — и по телефону ему звонил и так приезжал.

- Иван Михайлович, ты мне честно скажи, какой будет нынче паводок.
- Ах ты, боже мой, ты же умнее меня.
- Ты давай ветеранов своих собери, я приеду.

Собирались, старались вспомнить, было ли когда-нибудь столько снега.

Я усаживался в кабинете Назарова, снова раскрывал журналы с записями расходов воды за многие годы и погружался в чтение. У меня со студенческих лет была страсть к таким предметам, как гидрология, метеорология, недаром я приезжал в институт, разыскивал профессора Марцелло, когда работал в политотделе. Теперь я был заинтересован вдвойне.

Назревал паводок шестьдесят шестого года, паводок, какне бывают не чаще чем раз в столетие.

Мы создали комиссию из гидрологов, гидротехников, инженеров. Учтя все данные, комиссия пришла к выводу: реален паводок, при котором пойдет двадцать шесть тысяч кубометров воды в секунду, а пропускная способность донных отверстий только восемнадцать тысяч кубометров. Значит, нашим сооружениям, чтобы предотвратить катастрофу, придется начать сбрасывать воду раньше, чем наполнится водохранилище.

Угроза такого паводка еще раз подтверждала, как были неправы те, кто, идя за конъюнктурой, провел сокращение сметы, кто настоял на уменьшении перемычек, запроектировал высоту перемычки над горизонтом воды всего в тридцать восемь метров, а не в сорок пять, как предполагалось первоначально. Для шести лет из десяти такая уменьшенная перемычка годилась, четыре раза за десять лет она могла оказаться затопленной.

Я понимал, что это значит: за плечами у меня был паводок, пережитый мной в тридцать девятом году на Кутулукке, генеральная репетиция того, что нам теперь предстояло.

Была опасность перелива воды через плотину и затопления котлована и даже срыва плотины, была угроза людям, механизмам и, наконец, угроза самому Красноярску.

В предположении, что все это возможно, паники не было, была решимость бороться, действовать, гарантировать невозможность того, что было возможно.

Готовясь к встрече такого паводка, мы предусмотрели необходимость поднять бетонную плотину на восемь—двенадцать метров выше, чем предусматривалось в проекте, поднять обе песчано-гравийные перемычки; стали проводить тренировочные занятия, создавать аварийные запасы. «Все как один готовьтесь к паводку!» — такой был на стройке лозунг. Сообщая об этом в министерство, мы вместе с проектировщиками, конечно, били тревогу.

Бумажки складывались в ящики чьих-то столов. По министерству пошло:
— Бочкин бесится, паникует!

Так иногда получается: бить тревогу значит беситься, смотреть правде в глаза — паниковать. Есть еще такие казенные оптимисты страусовой породы, которые готовы лишиться себя обыкновенной способности видеть, слышать и думать, только бы не увидеть и не услышать что-то такое, что не влезает в ворота, о чем и подумать страшно.

Строительство Красноярской ГЭС под угрозой срыва — разве можно даже мысленно, про себя, произнести такие слова?

Нам помогла «Правда». Правдисты, видевшие Енисей в дни перекрытия, когда он показал только самую малую толику того, на что он способен, тревогу мою поняли: напечатали мою статью, в которой я рассказывал о том, что нас ожидает.

Нужна была санкция на повышение и уширение перемычки. Проектировщикам, с которыми теперь у нас уже был полный контакт, пришлось ехать за этим в центр; конечно, потом все это было подписано, согласовано, приведено в полный порядок, но тогда время не ждало — посылаешь одну телеграмму, другую, приезжает работник аппарата, начинает тебя поучать. Сколько уже всего этого я пережил по самым различным поводам!

Я давно уже знал: если ты прав, дело само тебя защитит, тем более нельзя было терять времени в этот раз.

С февраля мы приступили к уширению перемычки, к ее повышению, не ожидая, что поправки, внесенные нами в проект, будут утверждены. Снова приходилось брать ответственность на себя.

Диктовал Енисей.

Бетонные работы шли по всему фронту плотины темпами, которых стройка еще не знала. На плотине работало в ту пору восемь—десять тысяч человек.

Стандарта не было, поиски инженерной мысли продолжались на всех этапах строительства. Например, с помощью каких механизмов опалубить блок? Не всегда это выполняли краны КВГС, иногда опалубку поднимали мелкие экскаваторы и автомобильные краны.

Работа по установке опалубочных щитов вообще дело опасное: кран держит щит, который висит над водой, прежде чем встать на место, и рабочий тоже на весу, над водой. Того и уважали в бригаде, кто умел висеть над водой в любом положении, часто даже вниз головой, и при этом точно работать руками.

По мере того как паводок приближался, работы сосредоточивались у верхнего бьефа, где нам предстояло встретить паводок грудью плотины.

Произвели общую переадресовку кранов, изменили подъезды к ним, заранее убрали краны, которые могли быть затоплены, устанавливали дополнительные откачивающие устройства, укрепляли береговые устои.

Говорили, что я всех пугаю. Это можно назвать иначе — всеобщей мобилизацией. Все должны были разделять ответственность за исход схватки, которая нам предстояла, недаром позже, в разгар событий поистине катастрофических, я нашел у себя на столе презабавный документ:

«Начальнику строительства Красноярской ГЭС
Андрею Ефимовичу Бочкину

Расписка

Прошу Вас сильно не беспокоиться. С паводком 1966 года справимся так же, как в 1965 году.

Лардыгин».

В этой шутиливой расписке было не только желание подбодрить меня, но и нечто другое: личное чувство ответственности Лардыгина и за меня и за исход нашей борьбы.

Я вспомнил сейчас об этом, читая дневник, который вел той весной наш диспетчер Олесь Грек, наш летописец, променявший судьбу журналиста на судьбу гидростроителя. Его дневник помог мне восстановить в памяти события той грозной весны, слившейся для нас в непрерывные «дни и ночи».

В конце апреля еще стояли почти пятидесятиградусные морозы, и Енисей был в самой глубокой дреме: в секунду через створ проходило всего триста — пятьсот кубометров воды; в первых числах мая у берегов чуть сдвинулись льды, а 6-го река пошла на таран. Под напором воды, прибывающей сверху, льды как бешеные сразу сорвались с места, в мгновение опрокинули перемычку, ограждавшую наши суда, стоявшие на верхнем бьефе, поодаль от плотины. Баржи понесло на плотину. Капитан нашего флота Степан Афанасьевич Ощепков с помощью теплохода сумел вернуть баржи на место.

На другой день в опасности оказалась продольная перемычка, а там размещалась центральная распределительная станция, столовая, кабели. Ряз перемычки подмывало течением снизу. Водолазы опускали мешки с цементом на восьмиметровую глубину, складывали мешки один на другой, и за сутки цемент превращался в камень. Но скорости воды возрастали, водолазов стало относить в сторону, от этого способа пришлось отказаться. Вернулись к испытанному: самосвалы повезли на перемычку скальные глыбы.

Енисей рвал береговые откосы, угрожал складам. Вдоль левого берега мы строили укрепления: укладывали массивные бетонные кубы.

Кривая подпора спасла нас от основной массы льда. Как и прошлые годы, большой лед задержался по течению выше, но лед береговой, находившийся в зоне перемычек, ночью со стоном и скрежетом ринулся на приступ плотины.

Наша левая плотина, на которой даже в эти минуты не прекращались работы по укладке бетона, наша правая перемычка, защищавшая правую часть плотины, где тоже продолжались бетонные работы, стояли как несокрушимые бастионы, выдерживая удары громоздящихся друг на друга зеленоватых льдин. Налетев на бетон, льдины растрескивались, распадались на части, устремлялись в донные отверстия и, пролетев восемьдесят метров под плотинной, вылетали из нее уже ледяным кружевом.

Когда ледовая атака кончилась, Долгинин сказал, как вспоминает Олесь Грек:

— Можно кричать: «Ура! Кончился ледоход!»

Кто-то ответил ему:

— А можно кричать: «Караул! Начинается паводок!»

Да, все было еще впереди.

В Ленгидропроекте все еще тянули с решением вопросов, связанных с перемычкой. Наши проектировщики делали все, что от них зависело, но нужных инструкций от своего начальства так и не получили. Смешно было бы ждать эти инструкции в такой обстановке.

Все выше, с каждым часом все выше на свой риск мы поднимали плотину и верховую перемычку, устанавливали дополнительные насосы, крепили берега.

Вдруг опять повалил снег — снег в середине мая, — а за снегом дождь. Потом приморозило, и Енисей присмирел, но мы ему не поверили.

В конце мая весна снова взяла свое, Енисей опять прибывал.

Работники штаба докладывали на совещании. Александр Мукоед:

— Верховая перемычка наращена на шесть метров.

Александр Степанов:

— Низовая — на два с половиной метра.

Георгий Тихонович Горлов:

— Берега укреплены.

Владимир Павлович Аверченко:

— У электриков все в порядке.

И так все службы.

Двенадцать постов метеослужбы день и ночь сообщали данные о напоре воды. 6 июня рабочие заметили, что в котлован через нижнюю перемычку проникла вода. Дежурный прораб скомандовал:

— Отвести поток от котлована! Направить его вдоль защитной стенки!

За перемычкой бушевал Енисей, готовый затопить и котлован и строящееся здание ГЭС. Снова самосвалы повезли к перемычке скалу.

В столовой, расположенной на продольной перемычке, качало, как на пароходе во время шторма, волна била волну.

9 июня стали рушиться берега. В опасности оказались и бетонный завод и контора с документацией. Насыпали вал и тем спасли и то и другое.

У продольной перемычки волны белыми жгутами стегали дорогу. Как заметил Олесь Грек, радуги над Енисеем висели так низко, что их можно было тронуть рукой.

В верховьях половодье сорвало лес, на плотину летело пятьдесят тысяч кубов древесины.

Снова вступил в бой флот капитана Ощепкова.

Вода достигала таких скоростей, что ее нельзя было видеть. Это была разорванная вода — уже не вода, а водяная пыль. Она взлетала на воздух как брызги шампанского и стояла над плотиной огромной белой шапкой, точнее — шатром тумана. На верху плотины ничего не было видно. Сделай неверный шаг, оступись — и сорвешься в пучину. Бетонщики надевали на каски лампочки и работали, как шахтеры.

На бетонном гребне плотины горели костры, чтоб было виднее, а где-то за пределами этого шатра из тумана, так же как во время паводка на Кутулуке, светило всюду солнце: оно-то и было причиной всех бед.

Вода прибывала, догоняла плотину. Бывало, что отдельные блоки отделяли от прибывающей воды всего каких-то полметра, а в этих блоках ни на минуту не прекращали работу люди. Туда им доставляли бетон, пищу, бюллетени, спали они в будках и снова сменяли друг друга. На стройке было объявлено особое положение: с рабочих мест не уходили.

Если на Кутулуке плотину наращивали мешками с песком, то здесь делали то, что и так должны были делать, — клали бетон.

Вопрос стоял так: что быстрее подымается — плотина с перемычкой или Енисей, набирающий с каждым часом новую силу?

Подвергаясь смертельной опасности оступиться и сорваться в ревущую во-

ду, на плотине работало в те дни шесть с половиной тысяч людей. Бетон шел непрерывно, и такой производительности труда, как в те дни, стройка не знала: в этих необычных условиях бетона уложили в полтора раза больше того, что требовал план.

Гладун командовал на самом верху плотины — у него там были и телефон, и кузнец, и своя кладовая, — он подымался все выше и выше. Горлов тоже не уходил с плотины.

Прежде штаб помещался в тесовой будке на верхнем бьефе. Тесовую будку штаба перенесли с верхнего бьефа в нижний, тут не было ничего, кроме стола, скамеек, схем, развешанных по стенам, да телефонов. Если я отлучался из штаба, то лишь для того, чтобы выйти на плотину, полазать по бетонным столбам, посмотреть, как схватывается бетон, посмотреть, обеспечены ли всем необходимым рабочие в блоках. Это было совсем как в бою.

В те дни не было на плотине писателей, но поэтами становились сами строители. Один из наших ребят, Вячеслав Назаров, тогда написал:

Паводок!
Паводок!
Слово-пароль
Тело плотины
Мучает боль.

12 июня расход притока достиг без малого двадцати трех тысяч кубометров в секунду. Вода в Енисее поднялась на восемь метров. Это был пик.

В один из тех дней в штабе раздался звонок из Красноярска. У провода был приехавший из Москвы товарищ:

- Андрей Ефимович, ты понимаешь, какое дело?
- Пока не понимаю.
- Ты можешь нас затопить, весь город, весь Красноярск.

Я промолчал. И в трубке помолчали, ожидая ответа. Потом мне был задан вопрос:

— Если сорвет плотину, сколько времени нужно воде, чтобы дойти до Красноярска?

Это был конкретный вопрос, и на него я мог ответить:

- Два с половиной часа.
- Ты что — смеешься?

— Нет, не смеюсь. А если точность нужна до секунд, мы проверим после паводка.

Тревога была понятна. А когда я заранее предупреждал об опасности, кому-то казалось, что это паника.

Конечно, если бы плотина сдала, Енисей затопил бы город.

Как-то приехал я в те дни в Красноярск, зашел в горсовет, а водителя моего обступил народ:

- Уж не Бочкина ли привез?
- Водитель оробел — не признался.
- А то этот Бочкин чудит со своей плотинной. Затопит он нас.

Я был убежден, что плотина не сдаст, но сказать, что я нисколько не волновался, было бы, конечно, неправдой. Именно в те дни я нашел у себя на столе записку бригадира Лардыгина, в которой он ручался за Енисей, за плотину, за себя и за меня... Такое греет и остается в душе.

Конечно, внутри все было собрано как в пружину, а еще и играешь — шутишь. Это и для себя и больше, конечно же, для людей: мол, не весь порох растрочен, еще есть запас...

По-прежнему ежедневно собирался штаб. Каждый бригадир вставал и докладывал:

— Люди сыты. Гвозди кончились. Фонарей не хватает. Солнце занавесили, работа идет в потемках!

Это звучит в моей памяти звонкий голос Лардыгина — веселый он был, остроумный и прямой человек, любил пошутить, но всегда говорил что есть, никакой дипломатии.

Судьбы плотины и города решались прежде всего на рабочих местах.

Бой продолжался.

Енисей объединился с небом: над Саянами загремел гром. Блеснули зигзаги молний, молнии безошибочно отыскивали кабели электролиний, и насосы верхнего водоотлива немедленно вышли из строя.

Вода в котловане начала подниматься. Если бы так продолжалось час, и котлован и ГЭС исчезли бы под водой. Положение осложнялось тем, что в таких условиях техника безопасности запрещает работу электриков. Однако наш главный электрик Аверченко и его ребята вышли на линию под ливнем, под стрелами молний.

Через четверть часа водоотлив был переключен на резервную линию. Вскоре молния ударила по центральной распределительной станции, ее тоже переключили на резервную линию. Молния ударила и сюда. Теперь нагрузку принял последний резерв. Это было крайне опасно в таких условиях, но выбирать не приходилось.

После 12 июня, когда Енисей сбрасывал в нашем створе уже только по девятнадцать с половиной тысяч кубометров в секунду, приток к створу гидростанции начал спадать, но уровень в верхнем бьефе еще нарастал. Через донные отверстия проходила двадцать одна тысяча кубометров.

Откуда же эта разница?

Во время паводка плотина пропускала меньше воды, чем ее прибывало. В верхнем бьефе скопилось свыше полутора миллиардов кубов, теперь постепенно уходила и эта вода.

По сути, мы спасли Красноярск.

Опасность катастрофы была позади.

И все же, конечно, не бесследно, прошел этот паводок. Ниже плотины вдоль Енисея было поставлено много водозаборных сооружений, которые строились без учета максимальных расходов реки. Особенно много таких водокачек, поставленных наспех, появилось во время войны. Одни насосы и фильтры паводок забил принесенным с верховьев песком, другие затопил и вывел из строя, а третьи и вовсе стащил так, что их потом не нашли; оказались затопленными и некоторые строения. Жители нас ругали:

— Это всё гидростроители!

Если бы я узнал в то время, что моим именем пугают детей, я бы не удивился. Люди не понимали, что, напротив, мы задержали воду и этим спасли их.

Меня, однако, не покидала мысль, что, накопив водохранилище, мы целым морем повиснем над городом — а что, если произойдет все же сброс воды? Требовалась проверка того, как быстро проходит волна, где она расплывается, на какие отметки может поднять уровень Енисея, как будут реагировать сооружения, что будет затоплено, сдвинуто с места, как разместить сооружения и населенные пункты, чтоб гарантировать их безопасность.

Такую проверку мы, строители, и решили произвести. Наверно, этим должны были заниматься другие организации, но мы считаться не стали. С нами вместе в этой проверке участвовали молодые работники Ленинградского гидротехнического института. Назвали мы это испытание, или эту репетицию, не знаю уж, как сказать, операцией волны, так это и закрепилось. Договорились с заводами, стоящими вдоль реки, которым принадлежали водозаборы, договорились с поселковыми и городскими властями, разместили по течению реки от нижнего бьефа до Красноярска гидротехнические посты, поставили всюду приборы для замера, сколько через данный створ проходит воды в секунду.

Предупредили город: «Даем волну, смотрите, что у вас понесет». А про себя шутили: держитесь, мол, будем топить Красноярск!

Этот эксперимент я считал обоснованным, потому что правде нужно смотреть в глаза: море будет, значит, нужно научить людей считаться с волной.

Дали сначала три тысячи кубов (потому-то мы и назвали это операцией волны, что воду давали не сразу, а порциями — волнами). Дали волну и остановились: проверяли скорость ее движения, когда она проходит через отдельные пункты, как подымает уровень, что затопила, всё ли на месте. Дали шесть тысяч. Опять остановились — замерили.

Девять тысяч.

Двенадцать.

Восемнадцать.

Предел! Дальше можно уже рассчитывать по результатам этой проверки.

Эту операцию мы провели в течение суток — собрали все данные, составили картограмму, диаграммы, перечень затопленных, снесенных объектов, записали красные отметки — отметки возможного затопления по всему течению от створа плотины до Красноярска. Затем, поработав над материалом, сделали выводы: какие водозаборы должны быть перестроены — укреплены или подняты на эстакаду, — какие населенные пункты и отдельные здания должны быть перенесены выше. Соответственно этим рекомендациям многие села, склады, предприятия перенеслись в более высокое место или защитились от угрозы воды. Дали рекомендации и для эксплуатационников ГЭС — как спускать воду, когда, в каких ситуациях.

Это было существенной добавкой к проекту.

В шестьдесят шестом году мы вместе с краевой парторганизацией решили войти в правительство с предложением пустить первые агрегаты к пятидесятилетнему Советскому Союзу. Министерство нас не поддержало — сроки показались им нереальными, — пришлось обратиться в Центральный Комитет. 25 февраля было принято соответствующее постановление правительства.

Руководитель, человек с инженерным образованием, охватывает всю стройку в целом, с самого начала работ видит и то, что есть, и то, что здесь будет, как военачальник представляет себе сразу всю операцию. Из солдатского окопа видно лишь то, что видно. В блоке, ограниченном со всех четырех сторон плотной опалубкой, тоже поневоле кругозор ограничен. Вот что я прочел в дневнике одного из наших строителей: «Вал из песка и гравия, уходящий к середине реки и лишь на сажень поднимающийся над водой, — вот первый этап стройки. А в пургу и морозные туманы и это реальное видение терялось, исчезало, и реальным становились лишь отбойный молоток, лопата да лоскут земли, что твердел под ногами». Как это мало, чтоб найти в себе силы и восемь часов подряд действовать этим молотком, этой лопатой, как важно увидеть реальность цели.

Уже чуть ли не десять лет люди строили эту плотину, работали в три смены, то и дело наталкивались на неприятности, огорчения, неожиданные сюрпризы — и вот наконец цель у всех на виду. Тут просто нужно понимать психологию рабочего человека. Мы далеко ушли от времен «Дубинушки», но это вечное начало в нашей душе: «Эх, дубинушка, ухнем!» С азартом и на миру легче работать, это в самой природе людей. На стройке развернулось горячее соревнование. Недаром шестьдесят шестой год оказался у нас рекордным годом по укладке бетона.

Первый кубометр бетона в здание ГЭС был уложен еще в январе шестьдесят пятого года.

В том же году на Ленинградском металлическом заводе была изготовлена для нас первая в мире гидравлическая турбина, рассчитанная на пятьсот тысяч киловатт. Таких мощных машин в мировой технике не было, создавалось уникальное оборудование. Приходилось опираться на эксперименты, про-

водившиеся в заводских лабораториях. Главный инженер завода Чернышов подобрал группу конструкторов, которые дали оригинальное решение многих возникших по ходу дела вопросов. Об особенностях этих турбин и генераторов, изготовленных для нас на ленинградском турбинном заводе «Электросила», я расскажу позже, когда речь пойдет о пуске этих машин, потому что машина истинно проявляет себя все же, конечно, только на производстве.

Пока перед нами и перед заводом встал другой важный вопрос: как доставить рабочие колеса турбин с Ленинградского завода на Енисей? Если отправить колеса железнодорожным путем, придется строить специальные уширенные платформы, мало того — останавливать встречное движение поездов. Решили отправить колеса на специально построенной для этого барже «Лодьма».

Баржа отчалила от пирса Ленинградского металлического завода 18 июля 1965 года, взяв курс на Архангельск, Северным морским путем прошла Ледовитый океан до устья Енисея и стала подниматься по Енисею вверх. Вели пароход капитаны-наставники. Назаров выделил для этого маршрута лучших людей.

Под вечер 9 августа над одной из дивногорских скал в небо поднялся высокий столб дыма. Костер был сигналом «вижу «Лодьму». Прибытие двух первых колес было праздником, таким же, как начало бетона, как затопление котлована.

Постепенно «Лодьма» перевезла все нужные для наших турбин колеса. За одну навигацию можно сделать всего один рейс; однажды мы попытались сделать два рейса, и «Лодьму» затерло во льдах у Игарки.

Снова ждали спецэнергомонтажников, и я снова берег квартиры для них, вызывая этим множество нареканий. Я понимал, со стороны это выглядит странно: на стройке такая нехватка жилья, а квартиры, на которые наложил свою руку начальник, стоят пустые под замком. Но понимал я и другое: у монтажников всегда душа не на месте — жены с детьми остаются на прежней стройке в ожидании, пока тут дадут квартиру, а люди всегда есть люди, жены начинают не верить, подозревают, что муж намеренно не торопится с переездом семьи, часто семьи у монтажников распадаются лишь оттого, что вся жизнь — одни расставания.

Спецэнергомонтажники, которые собирали Иркутскую ГЭС, закончили к этому времени работу на Братской ГЭС. Из Братска я получал уже письма. Одно из них у меня сохранилось: «Дорогой Андрей Ефимович, рад с вами встретиться, но имейте в виду, у меня теперь трое детей». А если у него уже трое, то меньше трехкомнатной ему не предложишь.

Появился Затовский, начальник Братского участка Гидроспецэнергомонтажа. С первых же слов заявил:

- Устройте наших рабочих сразу по-человечески, чтоб ехали с семьями.
- Сколько вам нужно квартир?
- Семьдесят.
- Есть у меня квартиры для вас, но сразу семьдесят трудно.

Решили, что он будет постепенно снимать с Братска рабочих, а кроме того, я разрешил ему подбирать себе и наших рабочих, кто ему приглядится.

За монтажниками, которые должны были приехать из Братска, решили оставить название Братский участок, чтобы сохранить им коэффициент за восточность: важно было не растерять эти кадры.

И вот наконец стали приезжать спецэнергомонтажники — они появляются, когда плотина уже на взводе, их работа венчает дело.

Мы, строители, в график обычно уложиться не можем: то цемента нет, то металла, а последние сроки жестки и монтажникам приходится обычно покрывать наши грехи, наверстывать время, а при этом работа их требует абсолютной точности. Вал агрегата должен быть установлен строго вертикально, чтобы не бы-

ло ни малейшего перекося, так же точно должны быть насажены на него турбина и генератор. Имеют они дело с «детальками», вес которых исчисляется сотнями тонн, а точность, требуемая от них, исчисляется в долях микрона.

Для определения того, под каким углом следует опускать деталь, геодезисты ведут сложнейшие вычисления, на которые уходит иногда несколько дней, а таким мастерам, как Иван Иванович Палатин, — я это еще по Иркутску помню — ничего не стоило посадить краном деталь с большой высоты точно на место, показывая одним лишь движением пальца направление крановщице.

Приезжали старые любимцы мои. Никто из них моложе, конечно, не стал: тут не одно только время — каждая стройка оставляет зарубки. Иван Иванович Палатин только увидел меня, сразу предупредил:

— Имей в виду, начальник, глазомер у меня уж не тот.

Но он это сказал скромности ради: вот уже сорок лет он ездил по станциям, но все еще был в прекрасной рабочей форме и за работу взялся уверенно, хотя агрегаты здесь были сложнее и массивней, чем на Иркутский ГЭС.

В генераторе триста шестьдесят болтов в скрепляющем колесе (рабочие называют его «обычайкой»), столько же выемок. Надо, чтобы болты попали именно в эти выемки. Девушки-крановщицы драночками показывали Палатину выемки в колесе, он краном брал генератор, стрелой направлял его, сам шел следом по залу. Прищурится, сделает знак и точно опустит генератор на место, спросит напарника:

— Ну как, Саша, в центре? — Потом повернется ко мне и скажет: — Готово, начальник, сидит!

Он с Иркутска еще знал, как я люблю смотреть на его работу.

Кроме глазомера и смелости, было еще кое-что в работе Палатина. Потребовалось однажды поднять из кратера уже установленный агрегат для доработки и профилактики. Палатин решил поднимать его более укрупненными блоками, чем делают это обычно. Чтобы осуществить свой замысел, он придумал приспособление, которое по его чертежам выполнили на Ленинградском заводе.

Между прочим, когда он устанавливал рабочие колеса седьмой и восьмой турбин — было это уже несколько позже, — ему как раз исполнилось шестьдесят. Только поставил он колесо, вытер пот рукавом, и тут сразу фотографии, музыка. Он сначала даже не понял, что происходит, — стоит невидный такой, в рабочей одежде, никак не похожий на юбиляра, а машинный зал наполнился сразу людьми, и Затовский, начальник участка, объявил юбилейный вечер открытым. Чествовали мы Ивана Ивановича тут же, у его рабочего места.

Вспоминая те дни, вижу перед собой Василия Сахатыря.

Он специализировался на монтаже подпятников — это один из важнейших узлов агрегата, с которым сочленяется вал. Подпятники прошабриваются вручную: важно создать идеальную поверхность, которая, вращаясь, не даст ни трения, ни разогрева. Это и делал Сахатырь своими руками, и мало того — собирал вокруг себя молодых рабочих и показывал, как это делать.

Но Сахатырь знал не только подпятники. Он тонко чувствовал взаимодействие частей в любом механизме и у нас на стройке заткнул за пояс не одного инженера. Помню, что-то не ладилось на большом кабель-кране. К Сахатырю обратился старший прораб, человек с инженерным дипломом:

— Василий Яковлевич, кран никак не идет, может, посмотришь?

Сахатырь несколько не удивился, только сказал:

— Договоритесь с моим начальником, чтоб отпустил дня на два. Надо ведь разобраться.

И никаких сомнений в том, что разберется.

Посидел на кабель-кране ровно два дня, поменял местами некоторые детали, кое-что изменил в схеме, и кран пошел.

И было так не раз и не два — он никогда не ремонтировал просто, обычно что-то менял на ходу, считая, что иначе даже и быть не может.

Рядом с Сахатырем работали бригадир Деревенко, в прошлом учитель Сахатыря, кроме всего остального научивший его не держать рабочих секретов в кармане, турбинист Калинин, знавший турбину так, что стоило ему не глядя, кончиками пальцев коснуться детали, как он мог заявить: «Брак, пусть построгают еще». Тут же работал и бригадир Жданович, на которого Затовскому однажды пожаловался представитель завода-поставщика: «Устал я от придирок Ждановича к заводским чертежам. Его дело сборка узла, а не критика». Затовский ответил ему, что наши рабочие головой работают в той же мере, что и руками. Такая у нас подобралась гвардия рабочих-спецэнерго монтажников — специалистов высшего класса.

А о том, как знал монтаж сам Затовский, можно судить по тому, что рабочие, даже такие корифеи, как Палатин и Сахатырь, за глаза его звали «папой», хотя было ему в ту пору всего сорок пять.

Обычно монтаж машин до Красноярской ГЭС шел под шатрами, во временных помещениях легкого типа. Помню, как в Иркутске монтажники затягивали тысячи металлических гаек на сорокаградусном морозе. На Красноярской ГЭС монтаж впервые производился в теплом помещении машинного здания ГЭС — оно-то само и было монтажной площадкой.

К моменту монтажа мы довели здание ГЭС до крыши только на небольшом участке. Одна из торцовых стен была катучей, она должна была продвигаться домкратами, по мере того как вырастали новые секции здания и крыши над ними. Идея катучей стенки принадлежала рабочим здания ГЭС, ее техническая разработка инженеру Пупкову.

Монтажники не просто работали — они жили в монтажном цехе. Работа шла круглосуточно, смены менялись три раза в сутки, но бывали моменты, когда такие рабочие, как Палатин, уйти со своей сменой домой не могли. Часто не уходил домой и Сахатырь. Тут же выспится, не снимая сапог, как на казарменном положении, и снова за дело. И турбинист Калинин нередко после смены оставался в своей преисподней. Крикнет только: «Пива бы дали!». Ему и пива туда принесут и обед. В столовую его позовешь — он отмахнется только.

Все это были люди уникальные в той же степени, что и узлы агрегатов, которые они собирали.

Сам же Затовский работал по особому расписанию, известному только ему самому. Он так точно чувствовал ход монтажа, что всегда был на месте именно в тот момент, когда без него обойтись не могли — не важно, день это, ночь или утро.

Конечно, бывало, что должны бы монтажники сами вытащить сор за собой или вымыть, но надо же было понимать, какого напряжения требует их труд. Я во многом шел им навстречу. Меня упрекали:

— Бочкин увлекается. Сколько еще бетона осталось, а он монтажников балует, носит их в своем левом кармане.

Насчет «балует» — это как посмотреть, а что касается «левого кармана», то есть близости к сердцу, так это верно. Их работа была в то время самой важной и самой сложной. Я встречался с ними несколько раз в день, делал для них много такого, чего не обязан был делать: помогал, например, им транспортом, дал сначала один специальный автобус, потом другой. Я знал, что не всем это нравится, но это была нацеленность: мы должны были в срок пустить агрегаты.

Пришла пора наполнять Красноярское море.

Ту весну я встретил в больнице — такое впервые случилось со мной. Не знаю уж, как это вышло, но Енисей обманул тогда наших гидрологов. Паводок опроверг их прогнозы и оказался серьезнее, чем ожидалось. К середине июня уровень воды в верхнем бьефе возвышался над нижним бьефом на пятьдесят

шесть метров, вода грозила перелиться через плотину и затопить котлован нижнего бьефа, где еще продолжался монтаж электростанции. Открыли все восемь водосливных отверстий. А по графику, составленному задолго до паводка, подошел срок разбирать нижнюю перемычку. Во время такого сильного паводка, при том что монтаж агрегатов еще продолжался, разбирать нижнюю перемычку, конечно, было опасно. Но наши инженеры решили действовать так, как того требовал график. Самостоятельного аналитического мышления, умения подойти к вопросу конкретно, с учетом всех обстоятельств им не хватило. Такое решение было типичнейшим формализмом — люди прятались за бумажку. Однако от Енисея за бумажку не спрячешься! Уровень реки все нарастал: снизу войдя в котлован, вода могла попасть в отсасывающие трубы и в турбинные камеры, где еще шла работа. Мне в больницу позвонили механизаторы. Позвонил и диспетчер стройки Олесь Грек. Трудно передать, как я был взволнован: если бы отсасывающие трубы оказались затоплены, монтаж задержался бы на год. Ни о каком лечении думать я, конечно, не мог: у меня был первый в жизни гипертонический криз, и вряд ли я выдержал бы, если б остался в бездействии.

Приехав, я не стал вести никаких разговоров, собрал механизаторов и отдал приказ:

— То, что вы за неделю сняли, нужно нарастить за десять часов!

Не буду называть здесь имена всех, кто принял это нелепейшее решение, скажу только, что непосредственное руководство разбором нижней перемычки поручили Саше Степанову. Это мой воспитанник, его промах считаю своим промахом, потому только его и называю. Нет, наверное, слов, выражающих негодование, которых я тогда на него не пожалел, правда только после того, как опасность, что вода попадет в камеры ГЭС, уже миновала.

В ходе монтажа возникали трудности, решить которые было не просто даже таким мастерам, как наши монтажники, потому что оборудование было уникальным, сделанным впервые для нас.

Я считал, что заводы должны доводить монтаж уникального оборудования до конца, во всяком случае принимать участие в решении сложных вопросов сборки, но порядок сдачи оборудования и его монтажа остался таким, как обычно. Тут, кстати, стоит напомнить, что в Канаде монтаж даже самых обычных, стандартных машин производят заводы. Нам приходилось самим искать выход из положения, находить человеческие контакты с руководителями заводов.

И до этого по многим вопросам приходилось договариваться лично. Поделится с тобой директор своими бедами — не хватает людей, не хватает леса, — ты и людей оторвешь для него от стройки и лес пошлешь, лишь бы они выполнили в срок наше задание. Бывает, заметишь, что оборудование прислали некачественное — необязательно штрафом бить, все ведь можно решить на ходу, в рабочем порядке. Иногда приходилось и обойти какой-то параграф. Так, создав комплексные бригады, мы обошли несправедливость в оплате «основных» и «подсобных» рабочих — так сохранили коэффициент за восточность, чтобы не растерять кадры монтажников. Конечно, всегда найдутся чиновники, которые подкараулят тебя. Отвечать я не боялся. Главное — молва, которая идет о тебе в народе: чтоб понимали люди, что стараешься не для себя, а для дела.

Есть и другой, более правильный путь: не обходить параграфы, которые мешают, а с каждым из них бороться. Это я тоже делал по мере сил. Но если всякий раз ждать, когда поднятый тобою вопрос решится в общем масштабе, ГЭС не построишь. Дело не только в том, что есть официальные сроки, — темпы гидротехнику диктует природа, а кроме того, нельзя расхолаживать людей, которых собрала стройка.

Но тут вопрос был слишком принципиальный, и мы не ограничились тем, что решили его между собой. Мы добились в конце концов официального при-

вания того единственно нормального положения, когда, присылая уникальное оборудование, заводы присылают и своих специалистов и отвечают за сборку.

И вот пришел этот день, как в фокусе собравший все наши помыслы.

Было 13 октября шестьдесят седьмого года, три часа двадцать две минуты.

Председатель государственной комиссии Беляков, человек, с которым у меня уже было съедено вместе немало соли, принимал рапорты начальников служб:

- Турбина готова!
- Генератор готов!
- Затворы подняты!

Достаточно стар был тогда уже Беляков, чтобы суметь не обнаружить волнение. Видно было, как бьется жилка у седого виска, и когда он сказал: «Пуск разрешаю», голос у него дрогнул.

Еще какое-то мгновение было тихо — и вдруг в зале возник гул, он усиливался, как будто приближался поезд. Это Енисей с высоты тридцатизэтажного дома упал в глотку водовода, достиг рабочего колеса и медленно повернул стотонный турбинный вал, а тот увлек за собой гигантский ротор. Турбина набирала скорость, гул усиливался, плиты под нашими ногами стали подрагивать. В глубине кратера стремительно и легко вращалась стальная махина чуть ли не в две тысячи тонн, а снаружи, над полом машинного зала, возвышалась только небольшая башенка генератора-возбудителя.

Уже не первый агрегат входил в строй у меня на глазах, но это всегда как впервые. А эта турбина была уникальной — другой такой не было в мире.

Затовский и его люди ни на минуту не уходили из зала. Думаю, в этом зале никто так не волновался, как те, кто собирал агрегат. Наконец я что-то преодолел в себе, решился, шагнул к машине и прижался ухом к корпусу генератора. Так я услышал когда-то фальшивые звуки в работе одной канадской машины. То, что я слышал сейчас, было чисто по звуку. Машина шла, шла хорошо!

Агрегат работал пока на холостом ходу. Дежурный инженер станции сообщил по телефону дежурному в Красноярск о том, что первый агрегат готов к подключению в сеть красноярской энергосистемы. Подключение было разрешено. Дежурный подошел к пульту, вставил в скважину ключ, подождал, пока стрелка синхронизатора показала, что напряжение генератора уравновесилось с напряжением сети, и наконец повернул ключ. Было семь часов сорок минут.

Опять все волновались, будто все это впервые. За бетонной стеной ГЭС загудело. Трансформатор взял на себя ток и направил его в распределительное устройство. Электричество двинулось в путь.

Казалось бы, все свершилось, победа. Но до победы было еще далеко: нас подстерегали никем не предвиденные серьезные неприятности. Гудели трансформаторы, шел ток двух первых машин. Сначала, пока ток шел на небольшое расстояние — до Красноярска — и напряжение его было всего двести двадцать киловольт, все было в порядке. Но когда в строй стали вводиться следующие агрегаты и напряжение тока, который был предназначен для Кузбасса и Новосибирска, значительно поднялось, агрегаты один за другим начали выходить из строя. Понять, в чем дело, никто не мог. Полетели выговоры, не миновали они двух министров, директоров заводов и нашего бедного директора ГЭС (у нас есть порядок: если машина проработала семьдесят два часа, она считается принятой и директор за нее отвечает).

Каждый вел себя в этой ситуации в соответствии со своим характером: одни старались свалить вину на других, а эти другие брали вину целиком на себя и приходили в отчаянье. Но как ни летели выговоры, как ни кипели страсти, новые агрегаты, входившие в строй, вели себя так же. Была замечена закономерность: агрегат выходил из строя, как только напряжение достигало пятисот киловольт.

О причинах пока только гадали. Информация попала в иностранную прессу, по всему миру пошло, что Красноярская ГЭС, претендующая на то, чтобы стать самой мощной гидроэлектростанцией в мире, не больше чем блеф.

Создали комиссию по изучению наших машин. Работала она в течение месяца. Завод настаивал, чтобы мы продолжали монтаж седьмой и восьмой турбин, кроме того, мы еще клали бетон, наращивали плотину.

Комиссия состояла из крупнейших специалистов, работали различные секции, в том числе секция, изучавшая изоляцию статора. Именно в этой-то секции и докопались до сути дела.

Оказалось, что как только напряжение повышается до пятисот киловольт, изоляция стержней, составляющих статор генератора, перегорает. Перегорала иногда изоляция стержней и в ходе сборки. Не усмотрев в этом закономерности, монтажники просто меняли изоляцию, директор же такой возможности не имел. И одно дело, когда это происходит кое-где, как бы случайно, другое дело, когда явление становится массовым.

Однако установить перегорание изоляции было лишь половиной дела. Почему же изоляция перегорала? Объяснялось это чьей-то небрежностью, плохим качеством изоляции, или причины крылись в чем-то другом? Почему изоляция стержней не перегорала при меньшем напряжении?

Ответ на эти вопросы нашли вовсе не сразу. Возможность возникновения некоторых отрицательных побочных явлений при прохождении тока была известна и раньше. Но при возрастании мощности старые формулы расчета оказались непригодными: побочные явления возрастали не в простой геометрической прогрессии, а в каком-то другом, до сих пор еще неизвестном соотношении. Мировая гидротехника еще не имела дела с мощностями такого порядка. Новые мощности рождали новые закономерности.

Нет, это не было чьей-то небрежностью. Это вставали новые технические задачи, вызванные к жизни новой техникой. Решение этих задач означало серьезный шаг в общем движении технической мысли. Нужны были новые расчеты, новые формулы, новое сочетание изоляции с охлаждением.

С завода «Электросила» приехал инженер Романов, другие специалисты и целый отряд рабочих. Дал я им и своих рабочих. Я понимал: надо не кивать друг на друга, а скорее делать общее дело. Рабочие перебирали все триста шестьдесят стержней, из которых состоял каждый статор, меняли изоляцию, исходя из новых расчетов, полученных тут же, по ходу дела. Пересматривалась и система охлаждения.

Машины заработали на проектную мощность. Специалисты различных стран, приезжавшие после на Красноярскую ГЭС, внимательно изучали проблему борьбы с вредными побочными явлениями на генераторах такого масштаба. Теперь эти агрегаты весом в тысячу семьсот пятьдесят тонн, сделанные по специальному заказу Красноярской ГЭС, считаются лучшими в мире и их покупают у нас в Канаде, Бразилии, Аргентине — всюду, где есть мощные реки, требующие мощных машин.

Достоинство наших машин не только в том, что теперь они выдерживают высокие мощности. Есть в них и другие качества — существуют машины большего веса, но они не обеспечивают таких скоростей вращения вала. Эти машины 1750, как их теперь называют, дают наибольший коэффициент использования водной энергии. Дело решает удачное сочетание гидравлических элементов турбины — наклона лопаток, шлифовки поверхностей.

Для турбины существенно явление так называемой кавитации, оно приводит к тому, что вода, бьющая по лопаткам рабочего колеса, нарушает гладкость поверхностей, появляются выбоины, щербины. Недаром говорят, вода точит камень, а металл тем более. Это явление нейтрализовали за счет патоновского метода уплотнения металла направленным взрывом.

Снова я столкнулся с этим явлением: взрыв не только разрушает — он уплотняет. Мы еще у самых истоков науки о взрывах, я убежден, что взрывы будут создавать не только плотины — сразу всю целиком! — но и сверхплотные материалы.

И снова я прихожу к тому же: какую долгую жизнь прожил я в гидротехнике, если столько изменилось у меня на глазах. Или не такая уж долгая жизнь у меня, а просто время движется быстро?

Прощаться с Красноярской ГЭС было, конечно, трудно.

ГЭС работала, а на строительстве все уже замерло. Одни краны демонтировали и увезли, другие стояли в ожидании.

Здание Красноярской ГЭС снаружи — это мрамор, гранит, сверкающее стекло. ГЭС стоит за плечом могучей плотины прозрачная, легкая. Главный инженер проекта Хлебников, его заместитель Чулкович, старший нашей проектной группы Юра Григорьев проявили большую широту в этом вопросе. К этому времени мы с проектировщиками жили так, что водой не разольешь, недаром Юра Григорьев как-то шутил сказал:

— Бочкин меня долбил и растил.

Совсем седым дедом стал Бочкин к этой поре, потому-то долбежку от него получать было, наверно, уже не обидно.

Я последний раз прошел по машинному залу. До чего он красивый: огромные зеркальные стекла вставлены в алюминиевый каркас, потолки из нержавеющей стали, пол из метлахской плитки. Во всем зале всего три человека. Заглянул в комнату, где расположен пульт управления (это совсем небольшой щит), — сидит около него девушка в голубой спецодежде, рядом с ней телефоны.

Я смотрел на все это уже чуть-чуть со стороны, такое же чувство я испытал, прощаясь с Иркутской ГЭС. Это верно сказал писатель Иван Сибирцев, что Красноярская ГЭС потрясает своим масштабом, а в то же время ничто здесь не подавляет: пропорции так точны, что кажется — все это выросло как на одном дыхании.

И как всегда, когда прощаешься с тем, что строил, стало немного горько: ведь вот бьешься тут десяток лет и дум нет других, не смеешь себя ничем отвлекать, а придет человек со стороны — больше чем три четверти сделанного ушло навсегда под воду, а то, что видно, так совершенно, так лишено самых малейших следов усилий, что и подумать об этом в голову не придет. Разве что гость головой покачает и скажет: «Ах, как красиво!» Бетонная плотина и ГЭС так естественно вписываются в этот скалистый каньон, что кажется — это было всегда. И только если спуститься в турбинный зал, в самые недра станции — но посторонних обычно туда не пускают, да и желания нет ни у кого идти в преисподнюю, — только тогда можно почувствовать труд, сделанный здесь.

Покидаешь светлый машинный зал, по нескончаемым винтовым лестницам спускаешься ниже, ниже, все гуще становится мрак, и вдруг до тебя доходит, что ты много ниже енисейского дна, что над тобой масса воды, бетона, камня и стали. А лестница все быстрее влечет тебя вниз, марши все круче. И вдруг внезапно темнота расступается: перед тобой ревуший огненный столб. И если ты посторонний, тебе станет жутко и ты не сразу поймешь, что это вращается раскаленный турбинный вал. И вот тогда только начинаешь чувствовать, что такое шестьсот кубометров воды, падающей на колесо одной турбины (сила целого Дона!), а турбин тут двенадцать, и что такое усилия двадцати тысяч людей, которые все это воздвигли.

Я тоже спустился напоследок в турбинный зал, оттуда поднялся на плотину. Когда-то мы забирались на плотину пешком, не замечая ступенек, потом количество ступенек росло, плотина росла, а мы потихоньку старели и уже замечали эти ступеньки, теперь есть подъемники, но я еще раз прошел все пешком, почувствовал все ее сто двадцать восемь метров, постоял на смотровой площадке, спустился и постоял просто на берегу.

Последний год — самый тяжелый год моей жизни. Я потерял Варю, Варвару Федоровну, свою «старину», как я звал ее последние годы. Более полувека она делила со мной трудности кочевой жизни строителя, немало страдала и от трудностей моего характера. Все мы люди, и все мы порой на работе, где надо сдержаться, сдержим себя, а дома дадим выход досаде и раздражению, и заплатит за все неприятности твоего рабочего дня, за все эти «непрерывки» и «ажурные» проекты и за собственные твои просчеты самый близкий тебе и ни в чем не виноватый перед тобой человек. Она делила со мной все мои тревоги и огорчения, вместе со мной платила за них жизнью, здоровьем.

Если это горе не свалило меня, то лишь потому, что я еще в деле, что каждый день мой занят заботой, хотя формально я уже числюсь в категории тех, о ком говорят: «Ушел на заслуженный отдых». Именно так, излагая мою биографию, и сказал обо мне на вечере строительных отрядов один паренек из МАИ: а теперь, мол, Андрей Ефимович ушел на заслуженный отдых. Я рассердился, и хотя там было около семисот студентов и целая армия телевизионников, при всех тут же ответил ему:

— Откуда ты взял, что я на отдых ушел?

Действительно, на отдых я не ушел. Телефон в моей — московской теперь — квартире не замолкает, дверной звонок тоже. Я все время кому-то нужен: редактору книги о бетоне, которую я написал в соавторстве с моим другом Юрой Григорьевым; Саше Степанову, приехавшему на несколько дней с Евфрата; все тем же студентам МАИ, с которыми у меня постоянный контакт с тех пор, как первый строительный отряд приехал к нам в Дивногорск, — продолжать этот перечень можно было бы долго. Только так и возможно жить.

В этом же году выпало на мою долю и счастье: мне довелось побывать на стройках, в которые вложены куски моей жизни, встретить людей, с которыми много связано.

Сначала меня пригласили на Невинномысский канал.

Я увидел в полном порядке все созданные нами сооружения, увидел старых товарищей. Встретил Фаину Николаевну Яновскую, ту самую, которой здесь, на Невинномысском канале, я вручил когда-то сверток с маленьким человеком. Встретил неожиданно и фронтового товарища — врача Литвака, с которым мы вместе служили в 205-й дивизии. Вспомнили, как когда-то он мне предложил: «Давай, инженер, будем дружить. Я к тебе вшей не буду пускать, а ты хоть иногда бери меня под свои накаты». Мы, саперы, располагались ближе к переднему краю, чем медики, зато у них не было таких блиндажей, как у нас. Он иногда у меня отсыпался, говорил, что хорошо на фронте поспать в безопасности, а мне приносил простыни, на простынях поспать во фронтовой обстановке — это уж вовсе чудо. Почему-то теперь было счастьем все это вспомнить.

А осенью я был в Красноярске.

Правда, и в самолете уже поглотил таблетки, а когда увидел Красноярскую ГЭС, пришлось нитроглицерин доставать из кармана: сердце теперь отвечает не только на горе, но и на радости, а радость я там испытал большую.

ГЭС содержится в идеальном порядке: ни пылинки в залах, похожих на храм. Если директор увидит, что кто-то оставил после себя окурки, непременно найдет виновника, приведет его к месту, где совершено преступление, заставит окурки убрать, и в тот же день весь коллектив будет знать об этом ЧП. Ноги у меня больные теперь — по московской квартире хожу в валенках, а там разулся, по обычаю надел шерстяные носки и так прошел по потернам: всюду исключительно сухо. Посмотрел журналы, где записываются показания датчиков, убедился, что состояние ГЭС отличное и контроль поставлен как следует, а директор не только в порядке содержит ГЭС, но старается сделать ее еще лучше, еще красивее. Конечно, имеет значение, что Растоскуев не посторонний здесь человек, что он пережил с нами годы строительства; знает, чего стоил здесь каждый

блок. Спорили мы с ним немало, пока шло строительство, теперь я увидел, что как эксплуатационник он очень на месте.

В Красноярске я оказался проездом. Ехал же я на второе перекрытие Енисея, на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Ехал по приглашению — ведь это мы когда-то забивали тут первый кол.

Еще в шестьдесят третьем году, вскоре после того, как совершилось первое перекрытие Енисея, мы отправили в Совет Министров письмо, в котором доказывали целесообразность строительства гидрокомплекса на Саянах. Мы писали о комплексе, потому что к Саянам примыкает Хакасия, которая нуждается в орошении, имели в виду, что нужно создавать не только электростанцию, но и оросительную систему, считали, что эта задача по плечу нам — Красноярск-ГЭСстрою: два строительства под одним крылом дают свободу маневра.

Перспектива потом всем вместе ехать строить Саяны как бы видимей делала ближайшую цель. Казалось, что раз уж речь зашла о Саянах, значит, здесь, в Дивногорске, до конца рукою подать. На многих молодежных собраниях в ту пору звучало: «Даешь Саяны!»

Через год было принято правительственное решение о Саянской ГЭС, это строительство поручалось Красноярск-ГЭСстрою, и начальником его становился я.

У Карлова створа, на котором остановились, перебрав все варианты, Енисей прорезает высокий горный хребет. Левый берег — скала высотой в полкилометра. К реке скала обрывается обнаженным мрамором, вверху поросла тайгой, правый берег — точно такая скала, но высотой в километр. Берега близко подходят друг к другу.

Стоишь у реки и чувствуешь себя зажатым между отвесными скалами. С точки зрения гидротехники трудно придумать что-нибудь лучше: высокие берега дают возможность поставить высокую плотину, значит, создать огромный энергетический потенциал, а уозсть каньона определяет экономичность строительства.

Пока проектировщики разрабатывали проект, пока снова шли споры о типе плотины, мы создали новое управление, отобрали добровольцев и, как мы говорили, бросили на Саяны десант.

Там, на Майне, взялись что-то строить в годы войны и так и не достроили. Нам передали то, что осталось от этой стройки: мастерскую, несколько строений, паровую турбину. С этого и начали мы дышать на Саянах. Стали строить дороги, жилье, заводы, без которых к делу не подойти.

А теперь вот пришла пора интенсивного строительства у Карлова створа.

В Абакан мы прилетели в восемь утра по красноярскому времени. Было ясно, солнечно, именно так, как должно быть в такой праздничный день. Встретил нас знакомый еще по Иркутску водитель, а когда мы поехали к дамбе, нас сразу заметили водители «МАЗов», и как только мы повернули обратно, нас уже встречали чуть ли не строем. Водители высыпали на дорогу, сцепились за руки и не пропустили машину.

— Андрей Ефимович! Остановитесь! Скажите нам что-нибудь!

Чуть ли не на руках вытащили меня из машины. Вижу — все знакомые лица, кто по Красноярску, а кто и по Иркутску.

После самолета я еле стоял на ногах.

— Друзья мои, — говорю, — у вас уже повторение. Помните, как я каждого из вас проверял? А теперь вы все знаете сами. Желаю вам успеха, здоровья.

В общем, можно считать, ничего не сказал, но они закричали «ура», и такая горячая волна дошла до меня от них, что хоть в пору опять доставай из кармана таблетки.

У штаба, где толпился народ, снова пришлось поволноваться. Кого только тут я не увидел! Чуть ли не все молодые инженеры, которые работали в Иркутске и Красноярске, слетелись со всей страны, а кто-то и из-за границы приехал.

Были и те, кто постарше. Старые постарели, молодые стали взрослее, а в общем, для меня все они были прежними.

Кто не сумел оторваться от дел, иначе дал знать о себе. Пришли телеграммы от Евгения Никаноровича Батенчука с КамАЗа, от Саши Степанова с Евфрата, от Юры Фриштера из Магадана. Он там теперь начальник строительства крупной ГЭС. После Иркутска работал он на Вилюе, потом его взяли в Москву сразу начальником отдела всесоюзного главка — пост немалый для молодого специалиста, — но у Юры уже был вкус к практической работе строителя, он попросился куда угодно, только на стройку, поехал на Колыму.

Я смотрел на тех, кто приехал, вспоминал тех, кого нет, и думал: вот мой актив! Все остались на производстве, не постарались зацепиться в конторах. Я этим горжусь: место строителю там, где строят.

Это был праздник, смеялись, шутили, но если вслушаться, разговор то и дело возвращался к тому же: к проектам, сметам, типам плотин. Что это? Узость? Делячество? Нет, увлеченность! Без такой увлеченности ничего в жизни не сделаешь: будешь тянуть ляжку, ходить на службу, приспособливаться к моменту, а о человеке, скажу еще раз, в конечном итоге судят по тому, что он сделал.

Но говорят, что одержимость — это талант. Я знал тех, кто здесь собрался, — не все с этим родились, даже не все с этим пришли в Иркутск и Красноярск. Одержимость наживают еще и в труде, была бы честность в работе: влезешь в дело, потому что за него отвечаешь, уйдешь в него с головой — и оно захватит тебя.

Счастливые люди собрались на второе перекрытие Енисея!

Если бы даже не было впереди того, что нам предстояло, только ради такой встречи стоило приехать сюда.

Стали прибегать один за другим, оторвавшись на минутку от дел, чтобы увидеть нас, и те, кто здесь работал: Тоня Калинина, Даша Васильева — она тут теперь старшим прорабом, — Валя Евграфов, вообще чуть ли не самый здесь старший... Подошел и начальник стройки. Прежде всего я спросил:

— Ну как наши кадры? Довольны?

Он сказал, что на Саянах сейчас основное ядро коллектива — те, кто строил Красноярскую ГЭС. Так и у нас ядром были те, кто строил Иркутскую. Сказал, что дивногорцы считаются тут за старших. Поговорили мы и о том, что предстояло завтра. По сути, все уже было сделано — саянцы использовали опыт нашего перекрытия и пошли еще дальше. Проран оставался совсем небольшим — всего двадцать метров, уже четыре дня назад все было готово, ждали только гостей.

Среди почетных гостей был космонавт Береговой. Ему предложили сесть на самосвал лучшего водителя Кожуры и первым бросить куб в Енисей. Береговой отказался:

— Ваш водитель сделает это лучше, чем я. Да и зачем лишать его этой чести? Я могу только сесть рядом с ним.

На том и решили.

Наш молчун Валя Евграфов, начальник всех основных сооружений, рапортовал о готовности к перекрытию. Начальник строительства отдал команду главному инженеру:

— Начать перекрытие!

Взлетели ракеты.

Мы, гости, двинулись к створу. «МАЗы» уже с ночи стояли нагруженные от карьера до самой плотины. Каждому хоть раз бы проехать! Журналисты были разочарованы.

— Это же просто демонстрация, представление! А сделали все без нас!

Я объяснил:

— И молодцы, что сделали. Без посторонних глаз работать спокойней. А это действительно праздник.

Кожура подвел свою машину к прорану, по старой привычке поприветствовал меня и Леонида Назимко, который открывал первое перекрытие Енисея и приехал сюда из Дивногорска.

Упал первый камень. Нужно сказать, что тут обошлись без бетонных кубов. Все нарезали из мрамора и гранита, недаром мы им мраморный завод тут построили. Естественный материал, конечно, дешевле.

Я постоял у прорана и поднялся в гору, где выступ скалы образовал хорошую смотровую площадку. Отсюда видно было, как разворачиваются у берега «МАЗы», как висит в проране лодка гидрологов, замеряющих скорость течения, как вспыхнули и тут же погасли ракеты.

И на соседних скалах было много людей — и приехавших издалека, и таких, что пришли пешком из соседних селений.

Проран был закрыт через три с половиной часа после начала работы. Стоит вспомнить, что первый раз Енисей перекрыли за шесть часов, а на перекрытие Ангары у нас ушло трое суток.

Наш старый знакомец, фотокорреспондент Скурихин, о котором нужно было сказать значительно раньше, в связи с Иркутском и Красноярском, залез со своим аппаратом на такую высокую кручу, что даже смотреть на него было страшно. Этот старик не просто фотограф — это настоящий художник. Ради нового ракурса он может забраться туда, куда ни один молодой не заберется.

Потом, когда мне пришлось выступать, я сказал, что электричество — это только полдела. Саянское море должно дать воду в засушливые степи Хакасии. Тут ко мне подошел один из хакасских работников и неожиданно трижды, по-русски, расцеловал меня за эти слова.

Действительно, у нас иногда получается, что сдают ГЭС и водохранилище, а каналы так и остаются в проектах. А потом каждое ведомство решает свою задачу: одно печется об энергии, другое об орошении, третье о восстановлении рыбоводства. Потому-то в решениях XXV съезда партии употребляется выражение Саянский комплекс: «Продолжить развитие Саянского территориально-производственного комплекса...» Это имеется в виду единое и всестороннее решение экономики края. Не нужно и говорить о том, как отозвалась в моем сердце эта строка.

В то новое утро, что пришло после всех митингов и банкетов, было чувство свершения. С гидротехниками, у которых вечный пожар, потому что вода хуже огня, такое бывает редко — только если ты приехал на стройку в качестве гостя.

Я подумал, что завтра уже все вернутся к себе и каждый снова будет по горло в своих ежедневных, ежечасных заботах, а эта минута покоя и праздника покажется невероятной.

Литературная запись Ю. КАПУСТО.



В МИРЕ НАУКИ

И. ЗАБЕЛИН



МЫ И МИР, КОТОРЫЙ НАС ОКРУЖАЕТ

Есть такое шутивное по форме, но вполне серьезное по существу выражение, придуманное психологами: «Познание структуры атома — это детская игра по сравнению... с детской игрой». Внутренний мир ребенка действительно очень глубок и труден для исследования. Но в неизмеримо большей степени это, конечно, относится к человечеству в целом, к его длительной и нелегкой истории. Однако никогда в прошлом перед человечеством не стояло столько великих проблем и загадок, сколько сегодня: от генетического кода до космоса может быть выстроен их почти бесконечный ряд.

Среди многих явлений, привлекающих к себе пристальное внимание современного человека, одно из ведущих мест занимают научно-техническая революция и экологическая ситуация, которую нередко оценивают как критическую. Темам этим посвящена теперь уже трудно обозримая литература, имеются многочисленные определения и НТР и экологической ситуации. Последняя обычно объясняется несовершенством производства, загрязнением его отходами окружающей среды.

Под НТР же чаще всего понимают качественный скачок в знании и использовании законов природы, позволивший превратиться науке в непосредственную производительную силу общества с последующим за этим переворотом во всей системе производительных сил. При этом подчеркивается, что в отличие от более ранних революций в науке и технике НТР связана не с каким-либо отдельным крупным научным открытием или техническим изобретением, не с переворотом в какой-либо конкретной науке или отрасли производства, — подчеркивается единство научной и технической революции, приводящее к качественному изменению производительных сил в целом.

Такое понимание НТР, разумеется, имеет право на существование, в нем отражены весьма существенные черты НТР. И все-таки многое еще требует дополнительного анализа и раздумий. В самом деле, почему вообще произошла НТР, почему она в корне отличается от прежних революций в науке и технике, почему она происходит одновременно в странах с разными социальными системами, как скажется на дальнейшем развитии человечества?.. Сложен и спорен вопрос о соотношении НТР с общественными науками: ведь революционные изменения претерпело не только естествознание, но и социология. Вопрос этот сейчас актуален как никогда. Напомню, что еще К. Маркс предсказывал слияние науки о природе с наукой о человеке, а с трибуны XXV съезда КПСС было подчеркнуто огромное значение фундаментальных исследований на стыке естественных и общественных наук.

Мне кажется, что многие неясности в проблеме научно-технической революции объясняются тем, что НТР как бы выключена из того реального космического процесса, которым охвачена наша планета и окружающие ее пространства. В литературе встречаются даже высказывания, согласно которым появление человека на Земле — случайность, «игра» слепых сил природы. Но я полагаю, что прав В. Вернадский, утверж-

давший, что жизнь вообще, человечество в частности «являются созданием сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет случайности» (В. Вернадский. «Биосфера». М. 1957).

Но коль скоро человечество вовлечено в космический процесс, то, очевидно, лишь познание этого процесса, выяснение места и роли в нем человечества может подвести нас к более объективному и точному пониманию НТР и экологической ситуации — этих столь злободневных, я бы даже сказал, «газетных» проблем.

Во всяком случае, именно эти две проблемы могут послужить отправным пунктом для некоторых размышлений о нас самих и о мире, который нас окружает. Должен сразу оговорить, что из-за сложности затронутых проблем, необозримости материала, а также ограниченности размеров журнальной статьи некоторые ее разделы вынужденно оказались несколько схематичными и фрагментарными. И конечно же, многие предлагаемые суждения остаются спорными.

1. НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ЭВОЛЮЦИИ

О веществе, которое много миллиардов лет назад послужило исходным материалом для образования Земли, как и вообще о неорганической материи, существуют два взаимоисключающих представления. Так, в науке довольно широко употребляется выражение «косная материя», то есть «мертвая» материя, резко, даже принципиально противопоставляемая живой. В то же время многие философы и естествоиспытатели склоняются к мнению, согласно которому неорганическую природу вообще нельзя определять как живую или мертвую: предполагается, что она находится в особом состоянии, которое чаще всего обозначают понятием «активность» или «жизненность» природы; при этом подразумевается, что любая «порция» материи в принципе способна к сложному эволюционированию.

Ныне ни у кого не может вызвать сомнения факт, что в той части космоса, в которой существует Земля, некогда начался и реализовался космический процесс. Этот участок Солнечной системы, охваченный единым процессом, выделяется как вполне определенная космическая единица (Земля с Луной и их окружение), как конкретный геоуниверсум.

Выглядевшая на ранних стадиях весьма хаотично, Земля постепенно самоорганизовывалась. Выражалось это прежде всего в обособлении внутренних и наружных оболочек, в расслоении планеты, причем особенно важно подчеркнуть выделение земной коры, атмосферы и гидросферы. Эти три компонента образовали целостность совершенно особого типа, невиданной ранее организованности: они образовали комплексную оболочку, в которой сложились условия, пригодные для возникновения жизни, — биогеносферу. Именно в пределах биогеносферы — сферы возникновения и воспроизводства жизни — живые существа стали необходимой и закономерной частью космического процесса. Развитие жизни (биосферы), как известно, увенчалось появлением человека, а человек в ходе своей истории продолжал организовываться во все более сложные объединения (племя, народ, государство). С установлением на всей планете развитого коммунизма человечество достигнет еще одной принципиально новой ступени в собственной организованности.

Разумеется, геоуниверсум развивается по определенным законам, и они могут быть названы. Но сначала мне кажется целесообразным напомнить, что В. И. Ленин, анализируя понятие «закон», выделял как бы различные категории законов: а) «Закон есть отражение существенного в движении универсума»; б) «Закон есть прочное (остающееся) в явлении»; в) «Закон есть *отношение*... Отношение *сущностей* или между сущностями»¹. В том порядке, в котором здесь расположены законы, в определенной степени отражена и их иерархия, хотя она, конечно, весьма условна. Ясно,

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. т. 29, стр. 137, 136, 138.

однако, что максимальной всеобщностью должны отличаться законы, отражающие «существенное в движении универсума».

Из краткого исторического обзора видно, что наиболее существенным в развитии нашего универсума было возрастание организованности, противостоящей хаосу. На мой взгляд, именно возрастание организованности геониверсума и является важнейшим законом, определявшим и определяющим его бытие. Закон этот реализовался путем усложнения среды, а значит и взаимосвязей, и прогрессирующее усложнение природы геониверсума является вторым важнейшим законом его развития. В данном случае важно подчеркнуть, что человечество как планетное явление целиком находится в сфере действия этих двух законов, которые всеобщи по отношению к неживой природе, живой материи и человеческому обществу.

Однако возрастание организованности имело и свою специфику в эволюции различных компонентов природы, в развитии животного мира в частности. Известно, что постепенно усложнялось и совершенствовалось тело живых организмов. Но никакое совершенствование, никакое развитие были бы невозможны, если бы достигнутое не закреплялось и не передавалось по наследству.

Некоторая способность сохранять информацию о прежнем своем состоянии начинается в нашем мире с царства минералов: скажем, растворенные соль или сахар затем вновь образуют кристаллы прежней формы и с прежними свойствами. Наследственным биологическим кодом обладает все живое, и потому родители производят на свет подобных себе живых существ. Иначе говоря, можно констатировать, что в окружающем нас минеральном и живом мире так или иначе действует закон наследования, и закон этот проявляется как «прочное (остающееся) в явлении».

У животных закон этот сочетался с усложнением организации и, в частности (но это чрезвычайно важная частности!), с так называемой цефализацией. Термин этот образован от латинизированной формы греческого слова «кефале» — голова, — а открыл цефализацию во второй половине прошлого века американский биолог и геолог Джеймс Дана. Именно цефализацию прежде всего имел в виду В. Вернадский, когда во многих своих работах писал о направленности эволюции. Вот как он охарактеризовал цефализацию: «В течение всего эволюционного процесса, начиная с кембрия... мы видим... что идет увеличение сложности и совершенства строения центральной нервной системы, т. е. центрального мозга. В хронологическом выражении геологических периодов мы непрерывно можем проследить эти явления от мозга моллюсков, ракообразных и рыб до мозга человека. Нет ни одного случая, чтобы появлялся перерыв и существовало время, когда добытые этим процессом сложность и сила центральной нервной системы были потеряны и появлялся геологический период... с меньшим, чем в предыдущем периоде, совершенством центральной нервной системы».

Следовательно, одной из осевых закономерностей в развитии животного мира является поступательное усложнение центральной нервной системы. Конечно, процесс этот не протекал гладко: действовали и хаосогенные силы, возникали боковые тупиковые ветви (на «вершинах» этих ветвей — осьминоги, дельфины, например), но генеральная линия эволюции прослеживается совершенно определенно. Курс на совершенство мозга, а не на физическую мощь тела (кстати, среди человекоподобных существ были и гиганты) оказался эволюционно прогрессивным и завершился возникновением человека, который, таким образом, появился в природе не случайно, а именно в результате направленной эволюции. Но, конечно же, не целенаправленной, и это следует говорить. Цели создать человека у природы не было и не могло быть. Однако всякая устойчивая система в благоприятных условиях развивается не хаотично, а направленно, в соответствии с ее природными особенностями. Так развивалась и система, которую мы называем биосферой, — она эволюционировала к появлению разума. В. Вернадский справедливо утверждал, что с «научной точки зрения человека можно рассматривать лишь как результат длинного естественного процесса, начало которого для нас теряется, но который длится непрерывно, в течение всего геологического времени». («Биогеохимические очерки». М. 1940).

Итак, мы закономерны в геониверсуме.

2. ЧЕЛОВЕК — ЭТО ВСЕГДА ЗВУЧАЛО ГОРДО!

В истории советской этнографии известна незначительная сама по себе, но любопытная ошибка в установлении самоназвания чукчей: в 30-х годах их вдруг стали называть луораветланами. Чукчи действительно так называли себя в разговорах с приехавшими на Чукотку русскими, но это было не самоназвание, а, так сказать, самоопределение — «настоящий человек» в переводе.

Вспомнил же я об этом вот по какой причине. В литературе, посвященной древнему человеку, своеобразным лейтмотивом проходят рассуждения о бессилии древнего человека перед стихиями, о его подавленности, страхе перед окружающим миром. Не избежал подобных рассуждений, например, автор капитальной монографии «Как возникло человечество» Ю. Семенов. Случай же с луораветланами, хоть он и относится к нашим дням, исторически свидетельствует о противоположном. К жителям крайне сурового района планеты, чукчам, казалось бы, вполне могла подойти формула о «бессилии перед стихиями» и т. п. Но чукчи так хорошо приспособились к родным природным условиям, что только себя и считали настоящими людьми, а русских — уроженцев иных мест — таковыми первоначально не считали и провели показательное разграничение между собою и приезжими, которое и было принято за самоназвание.

Нет, не был бессилён, подавлен древний человек: будь он таким, некому было бы сегодня рассуждать об этом, человек погиб бы. Но дело не в одной лишь алогичности подобных рассуждений. Они неверны прежде всего с эволюционной точки зрения.

В развитии жизни на Земле четко прослеживается закон эволюционной экспансии. Коротко он выражается в том, что на протяжении всей истории развития жизни на Земле эволюционно прогрессивные виды и роды, несмотря на внешнюю «подавленность» могучими современниками (но эволюционными предшественниками), быстро вытесняли последних с лица Земли, захватывая огромные территории и акватории, причем так происходило и с животными и с растениями. Действительно, первые млекопитающие выглядели совсем беспомощными рядом с гигантскими бронтозаврами или динозаврами, однако они одержали верх. И одержал верх первобытный человек, который самым ходом развития жизни на Земле был поставлен на острие эволюционного процесса, выверенного двумя-тремя миллиардами лет. Человек изначально оказался эволюционно могущественнее любого своего соперника в животном мире и объективно был неодолим: он доказал это, совершив подобно своим биологическим предшественникам эволюционную экспансию и став хозяином планеты. Тот факт, что человек произошел от обезьяны, это лишь зафиксированное историческое мгновение. Человек больше чем порождение отряда приматов, больше даже, чем порождение биосферы. Человек — порождение «сложного космического процесса», порождение всего геоуниверсума. Именно в человечестве ныне воплощены самые существенные черты многомиллиарднолетней эволюции, и ныне человечество определяет пути дальнейшей эволюции природы.

3. «ДОБРО» И «ЗЛО»

Эволюционные предшественники человека всегда существовали стадно, то есть в широком смысле этого слова были социальными существами. Возникновение человека — тоже процесс стадно-социальный, человек возник не в одиночку, а, так сказать, «коллективно», и это было проявлением и выражением его человеческой сути. Как только что отмечалось, первобытный человек мог успешно бороться с природой, но чтобы выйти победителем, у него был лишь один путь — укрепление стада, рода.

Известно, что процесс жизнедеятельности на Земле сложился так, что все животные существуют за счет живого, прежде всего за счет растений, с которых начинается пищевая цепь. С точки зрения человеческой нравственности, в природе как будто бы безраздельно царит «зло»: сильный убивает слабого и т. п. Современные натуралисты накопили, однако, немало фактов и о взаимопомощи в природе, то есть с той же нравственной точки зрения в ней имеет место и «добро».

«Зло» и «добро», естественно, особенно интенсивно «взаимодействовали» в стаях, стадах, ордах, и вполне очевидно, что при полном торжестве «зла» общественные животные не смогли бы возникнуть. Но эволюция отбирала не только сильных одиночек — она отбирала и носителей «добра», обретавших жизненную стойкость, силу в стадной организации своего бытия. Все это в полной мере относится и к человекоподобным существам.

В числе первых на большую роль взаимопомощи в животном мире обратил внимание известный революционер и мыслитель П. Кропоткин. «Естественно, что... среди очень многих человекоподобных видов,— писал он в «Этике», — с которыми человек находится в борьбе за жизнь, выжил тот вид, в котором было сильнее развито чувство взаимной поддержки, тот, где чувство общественного самосохранения брало верх над чувством самосохранения личного, которое могло иногда влиять в ущерб роду или племени».

В наши дни с генетических позиций проблему «добра» и «зла» в природе разрабатывает советский биолог В. Эфроимсон, опубликовавший интересную статью «Родословная альтруизма (Этика с позиций эволюционной генетики человека)» («Новый мир», 1971, № 10). По-видимому, многие категории, привычно определяемые нами как нравственные, этические, то есть сугубо человеческие, на самом деле имеют более глубокое эволюционное происхождение.

После победы вида из семейства гоминид, обладавшего наибольшим потенциалом «добра», борьба за существование продолжалась между стадами этого вида. И в этом случае победителями выходили орды с более развитым чувством общественного самосохранения. Поскольку же это были уже человеческие группы, объединения, то различного рода явления взаимопомощи, альтруизма приобрели в них биосоциальный характер и в конце концов получили свое выражение в нравственно-этических заповедях, которые, таким образом, имеют также вполне объяснимое естественноисторическое происхождение.

4. И ПЕНА ВЫРАЖАЕТ СУЩНОСТЬ...

Заголовок этого раздела — несколько измененные слова В. И. Ленина. В точном контексте они звучат так: «...движение реки — пена сверху и глубокие течения внизу. Но и пена есть выражение сущности!»² В связи с проблемой становления человеческого разума мне предстоит сейчас коснуться религии, и тезис этот важен для понимания места религии в общеисторическом процессе. Но сначала несколько общих замечаний.

В диалектико-материалистической философии все явления природы четко подразделяются на явления материальные (общее их название реали, принятое сейчас в естествознании) и явления идеальные (общее их название, по аналогии с предыдущим, идеали). И столь же четко устанавливается первичность материальных явлений и вторичность идеальных: идеальное порождается материальными процессами и существует только в материально зафиксированном состоянии. Но, повторяю, сам факт существования двух сторон бытия — материальной и идеальной и переходов между ними — сомнений не вызывает. Напомню, что В. И. Ленин по этому поводу сказал следующее: «Против вульгарного материализма. Н. В. Различие идеального от материального... не безусловно». И на той же странице: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока: очень важна для истории»³.

В самом широком плане идеальные явления — результат процесса отражения, а отражение вслед за В. И. Лениным советскими философами обычно понимается как всеобщее свойство материи (в этом случае бесполезно вспомнить о «жизненности», «активности» материи). Однако идеальные явления в процессе отражения возникают лишь на высоких уровнях развития материи — они атрибут жизни, жизнедеятельности. По существу, в структуре биосферы обнаруживается несколько идеальных пластов.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 116.

³ Там же, стр. 104.

Первый из них, самый глубинный,— зафиксированный в наследственных материальных структурах. (Интересно, что об идеальной природе передачи наследственных признаков еще в 1825 году писал философ и физик М. Павлов, утверждавший, что все, что потом реализуется во взрослом организме, в половой клетке существует «идеально», «как возможность») Второй пласт — инстинкты, управляющие поведением животных. Третий пласт — сигнальный, позволяющий живым организмам общаться между собой. Наконец, четвертый — образно-мыслительный пласт.

Образное видение мира свойственно и животным. Но ни одно животное не создало ни религию, ни искусство, ни науку. Мир отвлеченной духовной реальности возник на качественно ином этапе развития живого — на человеческом этапе. Событие это важнейшее в эволюционном плане.

Человек начал с сотворения фантастического, искаженного, религиозного мира, но, сотворяя его, человек приступил к освоению второй стороны бытия — к освоению идеального. И еще одно соображение. В «Диалектике природы» Ф. Энгельс писал: «...все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек». И далее: «...человек... вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных...»⁴. Так вот, в примитивных религиях, в магии прежде всего, человек впервые в истории живого на Земле попытался непосредственно силой воли, заклинаниями подчинить себе природу, заставить ее служить своим целям. Разумеется, попытки эти были тщетны. И все-таки «пена» явилась выражением преобразовательной человеческой сущности, «пена» сопровождала эволюционному процессу, его «глубоким течениям».

5. ГЛУБОКИЕ ТЕЧЕНИЯ

Вспомним, что процесс цефализации привел в конце концов к созданию в мире животных человеческого мозга. С появлением же первых людей в их коллективах начался преемственный исторически, но принципиально новый по отношению к цефализации процесс — процесс ноотехнизации (ноос — разум по-древнегречески), то есть процесс накопления знаний, духовных богатств и технических средств, связанный уже не с дальнейшим совершенствованием нервной системы, а в первую очередь с социальным совершенствованием человеческих обществ, с коллективной трудовой деятельностью. Усложнение и увеличение мозга подпадает, правда, под понятие цефализации, но у человека самый ход цефализации стал определяться трудовой деятельностью и взаимоотношениями внутри стада или орды, то есть ноотехнизацией. После возникновения современного человека (*homo sapiens*) цефализация практически сошла на нет.

У Маркса есть важное высказывание: «Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных дорог, ни электрического телеграфа, ни селфакторов (так назывались прядильные машины.— И. З.) и т. д. Все это — продукты человеческого труда, природный материал, превращенный в органы человеческой воли, властвующей над природой, или человеческой деятельности в природе. Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга; овеществленная сила знания»⁵.

Обратите внимание на заключительные слова: «...овеществленная сила знания». В соответствии с этим тезисом главное в ноотехнизации и определяют как производство знания и его овеществление. (Я написал главное потому, что ноотехнизация, ноотехногенез во многом определяют весь сложный спектр материального и духовного мира современного человека.)

В хозяйственной практике знания овеществлялись или материализовались прежде всего в орудиях производства, которым, как известно, принадлежит решающая роль среди других средств производства; они на острие производственной деятельности, они обуславливают ее характер и в конечном итоге характер производствен-

⁴ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 495.

⁵ Там же, т. 46, ч. II, стр. 215.

ных отношений. Таким образом, один из самых глубинных и магистральных процессов, протекающих в человеческом обществе, — о веществе знания, ноотехнизация.

Как дефаллизация наиболее полно выражала суть эволюции животных, так и ноотехнизация наиболее полно выражает суть человеческого развития: со времени появления человеческого общества уровень его знаний и технической оснащенности непрерывно, хотя и с остановками, повышался. Это означает, что развитие человеческого общества характеризуется, в частности, законом возрастания ноотехнизации, а действие этого закона вело ко все более широкому и глубокому овладению природой. Пользуясь выражением В. И. Ленина, можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с законом, отражающим «отношение сущностей или между сущностями» — между природой и человеком.

6. ОГОНЬ И НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Овладение огнем и неолитическая революция — важнейшие события в человеческом бытии — разделены большим отрезком времени, но объединяет их общая черта: выявление преобразовательной, творческой сущности человека.

Пользоваться огнем человек научился очень рано, чуть ли не миллион лет назад, и это был принципиально важный скачок не только в хозяйственном смысле, но и в развитии психики: человек был первым животным, переставшим бояться огня. Но умение сознательно добывать огонь пришло далеко не сразу. Обычно считается, что первобытный человек знакомился с огнем от случая к случаю, например при лесных пожарах. Но мне кажется, что прав Б. Поршнева, который связал освоение огня прежде всего с производственным процессом, с развитием «каменной индустрии»: при изготовлении оружия или орудий, при ударе камня о камень высекались искры, и от них могли загораться — и загорались — какие-либо горючие материалы (сухая трава, шерсть). Постепенно человек увязал причину и следствие: он научился не только поддерживать огонь, возникший при обработке камня, но и сознательно производить огонь. Случилось это примерно сто пятьдесят тысяч лет назад, в эпоху поздних неандертальцев (их еще называют сапиентными, то есть разумными).

Овладение огнем и попытка с помощью магии навязать свою волю природе — явления исторически одновременные и, думаю, в немалой степени взаимосвязанные. Они датируют время появления в биосфере человеческого разума — именно человеческого, творческого (разумом, но качественно иным, наделены и высшие животные). Овладение огнем — это первая производственная революция в бытии человека, имевшая множество последствий. Огонь позволил человеку заселить ранее недоступные суровые районы Земли: приблизительно через сто тысяч лет после его «изобретения» человек расселился по всем пригодным для жизни материкам планеты.

А под неолитической революцией подразумевается возникновение земледелия и скотоводства: этими отраслями производства человек овладел около пятнадцати тысяч лет назад, в самом начале неолита, нового каменного века.

К тому времени, когда совершалась и свершилась неолитическая революция, человек пережил и первую социальную революцию: он взорвал рамки первобытного стада и создал новый тип организации — род, родовое общество. Это важно подчеркнуть потому, что родовое общество — первое в полном смысле слова человеческое общество, ибо с этого времени развитие его начинает определяться почти исключительно социальными законами (а не биологическими или биосоциальными, как было в условиях первобытного стада). Именно эту фазу в развитии человека В. И. Ленин называл «первобытным родовым коммунизмом»⁶.

Земледелие и скотоводство, новая внутренняя организация человеческих коллективов привели и к первой демографической революции: численность людей на Земле стала увеличиваться темпами, до той поры невиданными, хотя, конечно, и неизме-

⁶ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 4, стр. 36.

римо более низкими, чем в наши дни (А. Вишневский, «Демографическая революция». «Вопросы философии», 1973, № 2).

Неолитический человек уже владел и некоторыми видами искусства — например, живописью, устной поэзией, первоначально облаченной, очевидно, в религиозные одежды, мифотворчеством. С неолита человек — уже современный человек не только в биологическом, но в определенной степени и в социальном отношении; во всяком случае, многие племена тропических областей земного шара (преимущественно лесных) до сих пор не превосходили людей неолита по уровню производственной и духовной деятельности; «неолитический уровень» они преодолевают теперь с помощью других, более развитых народов.

7. СНОВА О ГЛУБОКИХ ТЕЧЕНИЯХ

Итак, около десяти—пятнадцати тысяч лет назад человек вышел на очень короткую по сравнению с уже прожитым дорожку, ведущую в наше сегодня, в XX век. Но ему предстояло пережить еще множество качественных скачков, и первый, который мне нужно отметить, — это возникновение на планете классов и государства, а также науки. Произошло это почти одновременно и непосредственно связано со становлением рабовладельческого строя (оговорюсь, что анализ и переходов и самих формаций не входит в мои планы — им посвящена необозримая литература).

Государство, как известно, это система управления и подчинения одних людей (классов) другими. Но в интересующем нас плане возникновение государства — это еще одно проявление закона возрастания организованности. Но не только его. Глубинная суть человеческой природы, ее начало начал, эволюционно связанное с миром предшественников, — это коллективизм; и потому один из фундаментальных законов человеческого бытия может быть определен как закон возрастающего обобществления себя и всего окружающего — вещей, природы, знаний и т. п. Уровень не просто организованности, но социальной организованности все более и более возрастает, и потому мы, люди, становимся все более общественными существами и все настойчивее и шире обобществляем окружающий нас мир. Закон этот первоначально реализовался — да и до сих пор с этим полностью не покончено — через антагонистические формы обобществления, но этот же закон обуславливает и неизбежное торжество коммунизма, то есть торжество общественного в бытии землян. Обобществление в антагонистической форме будет грядущими поколениями восприниматься лишь как небольшой эпизод на долгом историческом пути, хотя и вполне объяснимый эпизод.

Выше было сказано, что неолитический человек уже владел некоторыми видами искусства. Это верно. Однако овладел искусством человек за несколько десятков тысячелетий до неолита, а тем более до появления науки при рабовладельческом строе. И наука и искусство в конечном счете порождены практической деятельностью человека, ноотехногенезом. Но своеобразный временной приоритет искусства перед наукой объясняется тем, что корни искусства уходят глубоко в биосферу. Напомню, что внутренний мир животных — «образный», а не «идейный», и внешний мир воспринимается ими в образах. Конечно, переход от восприятия образов к их созданию — грандиозный в эволюционном отношении и социальный по своей природе скачок. Но подготавливался он в недрах биосферы миллионы лет. Кроме того, в художественном творчестве просто и естественно, как бы «сразу» выявилась созидательная сущность человека: мифотворец, сказочник, живописец, поэт — все они создают, сотворяют свой мир.

Иное дело наука и научное мышление. Так же как философская или юридическая форма мышления, научное мышление не имеет корней в биосфере. Это сугубо человеческий феномен и потому принципиально качественный скачок в бытии живого на планете. Возникновение науки диалектически обусловлено и непосредственной трудовой деятельностью, и освобождением от непосредственного участия в производстве материальных ценностей; подобная ситуация впервые сложилась только при

рабовладельческом строе, когда некоторая (очень небольшая!) часть людей получила возможность заниматься не земледелием, скотоводством или ремеслами, а интеллектуальным трудом. Историческая прогрессивность такого разделения труда выразилась прежде всего во все возрастающем убыстрении ноотехногенеза, который как бы разделился на внешне трудно совместимые, но внутренне взаимосвязанные, порожденные одними и теми же причинами процессы.

В сфере науки или, точнее, античной натурфилософии были разработаны всеобщие категории, ранее не свойственные человеческому мышлению. Возникла идея Вселенной как единого вечного и закономерного процесса (Гераклит), понятие «космос», то есть «мировой порядок», представление о «мировом разуме» («ноос» Анаксагора) и, наконец, о человечестве как едином большом целом. Кстати, сразу же появилось и стремление к мировому господству — явление, неизвестное ранее. Объективно эти процессы отражали законы возрастания организованности и обобществления, неосознанно к этому вели действия даже «великих завоевателей» (и торговцев тоже), исходивших только из своих узкоэгоистических интересов.

Всякий «великий» завоеватель стремился, естественно, покорить «весь мир». В античное и средневековое время этого не могло произойти хотя бы потому, что до XVI столетия народы планеты существовали изолированно на разных континентах и островах. Но глубинные течения истории постепенно подводили народы Земли к организации в единую планетную систему, что и было осуществлено усилиями прежде всего приморских народов (испанцы, португальцы, голландцы, англичане) в эпоху, которая известна под названием Возрождения. Укоренившиеся термины или понятия едва ли целесообразно пересматривать — тем более такого масштаба, — но в данном случае мне важно подчеркнуть, что термин «Возрождение» неточен. Да, тогда заново открыли античную культуру. Но суть эпохи не столько в этом, сколько в том, что тогда были заложены основы современной культуры и науки, и тогда же народы Земли впервые образовали единую планетную систему, стали человечеством. Так что эпоха Возрождения — это скорее эпоха Рождения, эпоха возникновения человечества как нового планетного феномена, антропосферы, иначе говоря (термин «антропосфера» введен в научный обиход в 1902 году известным отечественным географом и антропологом Д. Анучиным).

Возникновение человечества — это грандиознейший революционный скачок в бытии нашей планеты, по значению своему сравнимый лишь с образованием биосферы. Люди, организованные в человечество, именно в то время стали явлением и силой геологического масштаба, и тогда начался процесс всепланетного преобразования Земли. С новой всепланетной формой организации людей совпадают по времени, что, конечно, не случайно, промышленная революция и вторая демографическая революция, начавшаяся в конце XVIII века и в конечном счете приведшая к демографическому «взрыву» в наши дни.

Особенно же важно отметить вот что: организация в единую, хотя и до сих пор чрезвычайно противоречивую систему создала новые возможности для выявления подлинной общественной сущности человека — человечество неодолимо, неостановимо двинулось к коммунизму. Нет и не может быть силы, способной прервать это движение, ибо коммунизм не выдумка гениального ума, а грядущее человечества и планеты, обусловленное всеми законами развития геонуниверсума.

Коротко определить человечество — задача не из легких: очень уж сложный это феномен. Например, можно сказать, что человечество — это естественно-историческая система, способная к производству и овеществлению знаний. Готов согласиться, что это определение выглядит односторонним, но существенной ошибки в нем нет. Выделить же именно этот признак человечества мне важно по особой причине. Да, коммунизм не придуман. Но людям нужно было открыть, понять, что возможно такое социальное явление — коммунизм. И необходимо было осознать, что человечество движется к коммунизму, и разработать стратегию этого движения.

Так и произошло. Человечество только еще продолжало формироваться, когда возник утопический коммунизм, появились «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца»

Томмазо Кампанеллы. Следующий всплеск утопических коммунистических идей в сочинениях Сен-Симона, Фурье, Оуэна и некоторых других приходится на начало XIX века, человечество к тому времени уже организовалось в систему. А несколько десятилетий спустя началась творческая работа основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые и стали первыми стратегами движения к коммунизму.

8. НТР И СНТР

У В. И. Ленина имеется лаконичное утверждение: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его»⁷. Творит, как уже говорилось, прежде всего путем овеществления знания. Но что же все-таки оно сумело сотворить такого, что вписывалось бы в столь грандиозное понятие, как объективный мир? Это явно не просто дом и не просто машина. Вернадский не знал этого высказывания Ленина, но еще в 30-х годах, имея в виду свое время, он писал, что наступила «новая стадия в истории планеты, которая не позволяет пользоваться для сравнения, без поправок, историческим ее прошлым. Ибо эта стадия создает по существу новое в истории Земли, а не только в истории человечества» («Размышления натуралиста». «Природа», 1973, № 6). Сходство раздумий двух гениальных людей очевидно, а с позиций сегодняшнего дня особенно отчетливо видно, насколько многое им удалось предугадать. Во всяком случае, явления, подтверждающие правильность этих высказываний, уже реально существуют и, стало быть, могут быть названы.

И тут — внешне нежданно-негаданно — мы подходим к проблеме НТР. Я знаю, что, по мнению большинства социологов, научно-техническая революция началась после второй мировой войны, но не могу согласиться с этой точкой зрения: убежден, что НТР началась значительно раньше, тогда же, когда возникло человечество. Как самоорганизующая система человечество с необходимостью именно тогда начало ускорять обороты технического и научного прогресса. Развитие же техники не могло не сказаться, в свою очередь, на бытии общества. Как вспоминает В. Либкнехт, К. Маркс, увидев в 1850 году модель электрической машины и имея в виду дальнейшие перспективы технического и социального прогресса, сказал: «Теперь задача разрешена и последствия этого факта не поддаются учету. Необходимым следствием экономической революции будет революция политическая, так как вторая является лишь выражением первой» (Вильгельм Либкнехт, «Из воспоминаний о Марксе». М. 1958, стр. 6). «Пар, электричество и селфактор,— писал К. Маркс,— были несравненно более опасными революционерами, чем даже граждане Барбес, Распайль и Бланки»⁸.

Всестороннее внедрение в производство пара и электричества — это характернейшие черты НТР XIX века, которые привели к коренным изменениям и промышленного процесса и средств связи, столь необходимых человечеству (пароходы, паровозы, радио, телеграф и т. п.).

Соответственно, невиданными ранее темпами развивалось и научное знание. Научный характер приобрели социология, политическая экономия. Было объяснено развитие органического мира и происхождение человека, в науке определенно стал утверждаться эволюционизм, возникали гипотезы происхождения Земли и Солнечной системы, предсказывались и обнаруживались новые планеты, предпринимались попытки сравнительного географического и геологического изучения планет земной группы, спектральный анализ позволил изучать звезды. Л. Морган создал учение о древнем человеческом обществе. Разработал периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеев. Был открыт последний материк на планете, и человек перезимовал на нем. Появилась неевклидова геометрия, была открыта радиоактивность. Революционером Кибальчицем был разработан первый проект реактивного воздушно-космического корабля, а Циолковским — космического...

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 29, стр. 194.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 12, стр. 3.

Но самое существенное заключается в том, что НТР с самого начала была отражением планетной революции, глубокого реального процесса формирования новых планетных феноменов. Терминами «техносфера» и «ноосфера» широко пользуются и в научной и в популярной литературе, и в периодической печати, но трактуются они не всегда одинаково. Мною под техносферой понимается взаимосвязанная совокупность всех механизмов, аппаратов, машин, транспортных, производственных, бытовых сооружений — взаимосвязанная система, уже вписавшаяся твердым каркасом в лик планеты и обретшая объективные закономерности развития; одна из них — необратимая тенденция к усложнению отдельных систем, переход от машин к автоматам, в частности. Подсчитано, что человечеством создано около полумиллиона технических средств, то есть их примерно столько же, сколько существует видов растений на Земле.

Разнообразие технических средств, особенно средств почти мгновенной связи (радио, телеграф, телефон, телевидение, телетайпы, телекопиры), позволило превратиться ноосфере — сфере разума в переводе — также в явление планетного масштаба. Раньше обмен информацией происходил с помощью устного, рукописного или печатного слова. Возникновение науки совпало с развитием и совершенствованием письменности, а превращение науки в производительную силу — с бурным развитием печатного слова и овладением электромагнитными волнами как средством передачи информации. Ноосфера в моем понимании — это реальный непрерывный поток антропоинформации, человеческого знания и духовных богатств, воплощенный в книгах, журналах, газетах, электромагнитных волнах, человеческих языках и человеческих головах, в облике городов и культурных ландшафтов, непрерывный поток умственно-духовной человеческой продукции, охвативший всю планету благодаря все улучшающимся средствам связи; без постоянной включенности в ноосферу ныне невозможна ни экономическая, ни политическая, ни духовная жизнь.

Итак, в прошлом люди или их отдельные объединения обладали индивидуальными средствами труда и индивидуальными, ограниченными знаниями; с началом образования человечества начался все усиливающийся обмен и орудиями труда и знаниями; оформившись в единую систему, человечество создало адекватные самому себе планетные системы — техносферу и ноосферу; корни их в глубине веков, но сами они порождение и принадлежность нашего времени. Вынесенная в заголовок раздела «криптограмма» СНТР не очень привычна, но означает она лишь современная научно-техническая революция. Я бы даже усложнил ее — назвал бы ССНТР — современная стадия НТР, памятью о давнем начале этого явления.

На мой взгляд, именно понимание НТР как внешнего проявления глубинных планетных процессов может объяснить исторически одновременное начало и развитие НТР в странах с различными социальными системами. И такое понимание позволяет объективно оценить экологическую ситуацию, которая застала нас почти врасплох, хотя отдельными учеными предсказывалась еще в прошлом веке.

Известно, что предлагаются разные выходы из сложившейся экологической ситуации, да и возникновение ее объясняется не всегда четко. В связи с этим мне хотелось бы обратить внимание по меньшей мере на два момента.

Первый. Современная тревожная экологическая ситуация зависит, конечно, от технических издержек производства. Но первопричина не в них. Технические издержки в конце концов устранимы, но не устраним процесс встарания, вживания в тело Земли нового планетного феномена — техносферы, окончательно сформировавшейся в нашем столетии (и ноосферы тоже, но ее влияние более опосредствовано). Техносфера не может не влиять на окружающий нас зелено-голубой мир. Она влияла и будет влиять. Но вот до какой степени — это уже зависит от людей, а люди не должны забывать, что они очень и очень зависимы от окружающего мира.

Второй момент. Выше приводилась мысль Вернадского о наступлении новой стадии в истории Земли, а не только человечества. Так вот, эта новая стадия в развитии планеты называется коммунизм, хотя он и не упоминается в работе Вернадского. Коммунизм не только новый общественный строй, но и действительно новая

стадия в бытии планеты. Коммунизм — это прежде всего органичное и гармоническое единство новых планетных систем — человечества, техносферы и ноосферы — с «прежней» природой: с биосферой, атмосферой, гидросферой, литосферой, а говоря шире — с биогеносферой как сферой воспроизводства жизни, нашей в том числе.

Стало быть, современная стадия космического процесса как бы двуедина: развитие техносферы и ноосферы (и как следствие НТР) в результате человеческой деятельности объективно ведет к появлению нового общественного строя, а новый общественный строй, в свою очередь, призван сбалансировать разные грани космического процесса, утвердить новую эру в бытии планеты.

Любопытно проследить, как новые планетные феномены «улавливались» человеческим умом. Я отмечал, что в конце прошлого или в начале нашего века было осознано, что племена и народы стали антропосферой. В 1923 году В. Вернадский писал уже о единой и организованной мировой технике как о новой планетной силе. В 1924 году советский геофизик А. Ферсман ввел понятие о техногенезе как о планетарном процессе. В 1927 году французский философ Э. Леруа размышлял о ноосфере, понимая под ней некоторый не очень определенный синтез производственной и духовной деятельности. А к 1938 году Вернадский пришел к заключению, что научная мысль стала планетным явлением. Таким образом, ни техносфера, ни ноосфера не были предугаданы, но становление их фиксировалось с большой степенью точности.

Полагаю, что первая стадия НТР может быть определена как планетарная. Вторую же (СНТР) можно определить как космическую, ибо очень скоро после своего возникновения и техносфера и ноосфера переросли земные рамки; они по сути своей, так же как и человечество, явления не только планетного, но и космического масштаба.

О космических проблемах я выскажу некоторые свои соображения ниже. Сейчас мне важно напомнить, что цефализация в свое время привела к возникновению человеческого мозга; следовательно, нужно постараться понять, к чему в условиях СНТР может привести ноотехногенез. Вспомним с этой целью приводившееся выше и подчеркнутое самим Марксом определение технических средств: «Все это — созданные человеческой рукой органы человеческого мозга...» Стало быть, по Марксу, человеческий мозг — это нечто большее, чем вещество, заключенное в черепной коробке, хотя подобная мысль пока непривычна. Но в том же плане у Маркса есть еще очень примечательные строки; он не только писал о технических средствах как об органах человеческого мозга, но и ввел понятия «общественный мозг» и «всеобщий интеллект». По Марксу, «условия самого общественного жизненного процесса» должны быть «подчинены контролю всеобщего интеллекта и преобразованы в соответствии с ним»⁹.

Но всеобщий интеллект немислим без развитой техносферы и сложных соединений технических органов человеческого мозга с ноосферой. Иначе говоря, видимо, необходима интеграция общечеловеческого и машинного интеллекта. Развитию этих идей К. Маркса посвящена книга социолога Ю. Шейнина «Интегральный Интеллект» (1970). По мнению этого автора, «Интегральный Интеллект есть не что иное, как огромная бионическая модель головного мозга, центральной нервной системы, порожденных эволюцией природы».

А ноотехнизация и в этом случае принимает эстафету от цефализации: в конце концов, со становлением всепланетного коммунизма человечество действительно может обрести всеобщий, или интегральный, интеллект.

В нем, во всеобщем интеллекте, воссоединятся, надо полагать, искусство и наука. В связи с этим мне хочется напомнить не очень известные строки из письма Чехова к Григоровичу: «...я подумал, что чутье художника стоит иногда мозгов ученого, что то и другое имеют одни цели, одну природу и что, быть может, со временем при совершенстве методов им суждено слиться вместе в гигантскую, чудовищную силу, которую трудно теперь и представить себе...» В какой-то степени показательно, что

⁹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. II, стр. 215.

прямо противоположна этим объединительным тенденциям, отражающим возрастающую мощь человеческой мысли и духа, «энтропология» американских гуманитариев да и писателей-практиков. Некритическое перенесение ими второго закона термодинамики — энтропии — на практику человека и человечества (на самом деле она противоположна энтропии, противостоит ей) привело многих западных ученых к мнению о якобы неизбежном распаде, деградации человеческого общества и личности, что часто находит свое отражение и в литературе (см. Т. Ротенберг, «Американский романист как энтрополог». «Иностранная литература», 1971, № 6).

Представления о всеобщем интеллекте не должны вызывать у читателей мысли о некоем осредненном или даже обедненном абстрактном разуме. Если бы перенести это понятие в нашу современность, то можно было бы сказать, что всеобщий интеллект вовсе не воплощается в безликом «среднем» между высококультурным и неграмотным человеком. Наоборот, он воплощался бы в высших достижениях земной цивилизации. То же относится к будущему, к тому времени, когда интегральный интеллект станет реальностью. Всякого рода осреднение и нивелировка противопоказаны человеческой сущности: возрастание форм «обобщественности», коллективизма означает прежде всего повышение путем взаимообмена среднего коэффициента степени знаний каждого и, следовательно, возрастание высоты «стартовой площадки», с которой начинается индивидуальное творчество. Таким образом, лишь внешне может выглядеть парадоксальным утверждение, что степень нашего обобществления прямо пропорциональна степени индивидуальной свободы, яркости индивидуального проявления. Это не противоположные, а взаимодополняющие черты будущего человеческого бытия. Условием развития всеобщего интеллекта было и будет выявление и всяческое поощрение ярких индивидуальностей — иначе он замкнется в себе и погибнет.

Но ложное знание во всеобщем интеллекте немислимо, и это относится прежде всего к религии. Когда-то ноотехнизация включала в себя и некоторые элементы религии — этапа религиозного мировоззрения не миновал ни один народ на Земле, — но ныне могущество человека столь велико, что отпадает надобность в каких-либо небесных покровителях. Научный атеизм создавался тогда же, когда заканчивалось возникновение человечества, — в XVIII веке. Ныне же, в условиях НТР и тем более СНТР, от идеи бога порой вынуждены отказываться и священнослужители. Так, в Западной Европе довольно широко распространение получило так называемое безрелигиозное христианство, созданное немецким пастором-антифашистом, казненным за месяц до краха третьего рейха. Имя его Дитрих Бонхёффер. Для Бонхёффера бог был просто «рабочей гипотезой», которая себя не оправдала и потому, естественно, сошла со сцены. А в США среди религиозно мыслящих людей развивается течение с весьма характерным названием: «Смерть бога». Как социальное явление религия, очевидно, исчезает в исторически короткие сроки (не путать с обыденным пониманием времени!). Сложнее обстоит дело с религиозным мышлением, то есть мышлением, основанным не на знании, а на вере. Но ему-то как раз и противоположен интегральный интеллект, в основе которого будет лежать понимание сути вещей, а не вера в раз и навсегда данное. Говоря несколько иначе, интегральный интеллект — это по природе своей диалектический интеллект. И он, по-видимому, вернет изначальную эволюционную сущность различным морально-этическим категориям («заповедям»), окончательно убрав с них религиозные привески.

9. СОЛНЕЧНО-ПЛАНЕТНОЕ ПОЛЕ

Становление коммунизма на всей планете можно определить как финиш и старт одновременно: финиширует предыстория, стартует подлинная история человечества. Сколько-нибудь подробно судить о той, еще грядущей истории было бы, конечно, опророчливо. И все-таки мы уже сейчас располагаем объективными данными для обозначения одной ее очень важной черты. Данные эти — космическая природа человечества, техносферы и ноосферы, что сейчас уже не вызывает никаких сомнений. Но чтобы

точнее представить себе, как будут проявляться космические воздействия во внешнем мире, следует дать краткую эволюционную оценку строения Солнечной системы.

Солнце, как известно, шарообразно и радиация уходит от него во все стороны, образуя гигантскую солнечную сферу. В этой сфере по сложным орбитам кочуют кометы, в разных направлениях движутся скопления метеорного вещества, космической пыли. Но все планеты, включая астероиды, расположены в одной плоскости. В огромной, очень редко заселенной небесными телами солнечной сфере четко выделяется качественно особый тонкий слой — солнечно-планетное, или гелио-планетное, поле, резко отличное от остальных участков солнечной сферы. Как бы ни произошли планеты, совершенно очевидно, что эволюционный процесс был локализован, достигал максимального напряжения именно в пределах солнечно-планетного поля, и в нем же он полностью реализовался. Остальная, неизмеримо большая часть солнечной сферы была и остается эволюционно инертной. Земля, таким образом, по происхождению неразрывно связана с другими планетами. И не только по происхождению.

В науке долгое время обращалось внимание лишь на гравитационное взаимодействие планет, то есть учитывались и высчитывались взаимовлияния масс планет друг на друга при вращении вокруг Солнца. Но сами планеты, их твердые или газообразные тела казались настолько удаленными друг от друга, что мысль о каком-то ином существенном влиянии планеты на планету казалась нереальной. Теперь же непосредственными космическими исследованиями установлено, что планеты существуют в теснейшем взаимодействии с окружающими их участками космического пространства, что планеты, в том числе наша Земля, больше, чем их себе представляли, ибо воздействуют на часть окружающего их космоса. Так, Юпитер при диаметре в 143 650 километров, по данным американской космической станции «Пионер-10», управляет потоком заряженных частиц в радиусе 160 миллионов километров. Планета, таким образом,— это не только ее зафиксированное и измеренное тело, но и охватываемый ее влиянием космос, это свой особый мир, свой универсум. По отношению к Земле, как уже говорилось, это геоуниверсум, соседствующий с универсумами Венеры и Марса.

Планетные универсумы имеют, конечно, границы. Но сами они настолько обширны, что серьезно меняют наши представления о солнечно-планетном поле: оно состоит из взаимодействующих универсумов, между которыми происходит обмен материей и энергией. В каждый конкретный момент планеты обычно находятся не на одной линии, а в разных частях солнечно-планетного поля. Но раз в 179 лет — а это происходило сотни миллионов раз за время существования Солнечной системы — планеты «выстраиваются» в одну линию, и тогда их взаимодействие достигает максимума. (Кстати, ближайшее «линейное построение» произойдет в 1982 году, и ученые уже готовятся к этому событию.)

Земля, стало быть, составная взаимодействующая часть единого солнечно-планетного поля, а освоение космоса прежде всего и есть освоение этого эволюционно цельного пространства.

В историческом ряду человечество — техносфера — ноосфера — ноосфера действительно занимает последнее место, но она первой вышла в космос — как только заработали радио- и телестанции, соответствующие виды излучений вынесли информацию за пределы планеты; процесс этот вначале носил стихийный характер и никак не был связан с волеизъявлением человека. Но когда вслед за ноосферой в космос вскоре вышли элементы техносферы и человек, этот процесс уже стал носить целеустремленный, волевой характер.

Перестроенное человеческим трудом и разумом бытие планеты, наше собственное человеческое бытие не могут не сказаться на геоуниверсуме, на всем солнечно-планетном поле. Нельзя, например, не принимать во внимание почти миллионкратное усиление земных радиоизлучений, происшедшее за последние десятилетия: для воображаемого наблюдателя из космоса Земля сейчас выглядела бы «новой» планетой. И нельзя не принимать во внимание, что созданные, организованные и направленные во вне человеком радиоволны, несущие земную информацию, уже распрост-

ранились по всему солнечно-планетному полю и, вероятно, вышли за пределы Солнечной системы. Пока мы знаем четыре способа материализации человеческих знаний: передача информации от человека к человеку, от человека к животному, передача информации человеком машине и машиной (в самом широком смысле слова) машине. Но не исключается, что существуют и другие способы овеществления и что уходящая за пределы планеты информация не исчезает бесследно.

Наиболее точным определением человечества я считаю такое: человечество — это естественноисторическая система, обладающая способностью использовать мысль, знание для изменения природной и общественной среды. Но что-либо изменять сознательно, во благо означает разумно управлять. Эта функция и уготована объективно человечеству структурой геоуниверсума, ходом космического процесса.

Если мысленно расположить планетные универсумы в один ряд и обвести условной границей, то получится фигура, внешне напоминающая елку: ствол этой елки образуют маленькие, но плотные универсумы планет земной группы, а крону — гигантские универсумы планет юпитеровой группы, сужающиеся к вершине. Все основные эволюционные процессы в последние сотни миллионов лет были сосредоточены в основании солнечно-планетного поля, в его тонком жестком стволе. Там загадочно зрела и вызрела жизнь, а ныне побег ее в виде особого рода излучений, космических станций, реально расширяя геоуниверсум, прорываются все дальше в космос, к пока еще мертвой ледяной кроне из планет юпитеровой группы. Земля, ее биосфера, человечество — самый активный участок солнечно-планетного поля, и, если иметь в виду дальнейшую эволюцию, это будущее солнечно-планетного поля, будущее Солнечной системы. В ходе длительного эволюционного процесса в человечестве, в самой его природе, сфокусировались все основные законы нашего универсума. Человечество овладело способностью к повышению организованности геоуниверсума, к усложнению его структуры, к наследованию разумного и целесообразного, ко все возрастающему обобществлению себя и окружающего мира, к экспансии (гуманной!) во внешний мир, к расширению и углублению своего взаимодействия с природой: человечеству предстоит изучить, освоить, вспахать и засеять семенами жизни солнечно-планетное поле. Обрело человечество и ответственность за ход эволюционного процесса, и об этом следует особо сказать несколько слов.

В конце позапрошлого века в сибирской ссылке А. Н. Радищев написал свой основной философский трактат «О человеке, о его смертности и бессмертии». Есть в этой обширной и сложной вещи строки, о которых сейчас хочется вспомнить. Радищев называл человека «единоутробным сородственником» не только всему живому, но и камням, земле, металлам... Очень глубокая мысль, надо сказать!

Не секрет, что в последнее время предпринимаются различные попытки отыскать в космосе братьев по разуму или обнаружить следы посещения нашей планеты представителями иных миров. Едва ли нужно ставить под сомнение правомерность поисков и того и другого рода. Более того, теоретически для меня несомненно — и эта уверенность прямо связана с закономерным появлением человека на Земле — существование внеземных цивилизаций. Но сегодняшние поиски братьев по разуму — это, помимо всего прочего, и проявление нашего чувства космического одиночества, а оно само по себе эволюционно ложное чувство. Мы не одиноки, потому что узами прямого родства связаны с нашим универсумом, с различными эволюционными звеньями окружающей нас природы. Как ни странно, но подчас вполне современные и «прогрессивно» мыслящие люди по отношению к остальной природе подвержены таким «феодално-сословным» предрассудкам: с полным уважением, на равных они согласны общаться только с братьями по разуму из других миров...

Освобожденное в относительно недалеком будущем от потребительской эксплуатации природы, человечество, несомненно, преодолеет субъективное ощущение одиночества во Вселенной, почувствует себя включенным в единый космический процесс. И тогда оно обнаружит и признает эволюционных «сородственников» («единоутробных» по отношению к геоуниверсуму!) в удивительном по красоте и разнообразию минеральном царстве, в мире растений и животных. Да и кто знает, не потому

ли восхищают, трогают нас восходы, закаты, камушки на морском берегу или цветы, что неосознанно мы чувствуем в них что-то родное... Именно родственное отношение ко всем эволюционным звеньям окружающей нас природы и превратит нашу ответственность за природу, за эволюционный процесс в нравственно прекрасное чувство, и как прекрасное будет восприниматься необходимость всечеловеческих поступков, направленных на контролирование природных процессов.

10. ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Есть у К. Маркса сравнительно недавно опубликованное и поэтому далеко не всем известное определение свободы. Оно звучит так: «...преодоление препятствий само по себе есть осуществление свободы»¹⁰.

...Давно установлено, что наша Солнечная система (а следовательно, и геоуниверсум) находится на краю галактики. Почему-то обычно в этом факте усматривается нечто, так сказать, принижающее значение нашей обители. Но с эволюционных позиций совсем не исключено, что геоуниверсум, планета Земля в первую очередь, — это своеобразная галактическая «точка роста», за которой гигантское будущее. Может быть, будущее есей галактики и освоение солнечно-планетного поля послужит трамплином для дальнейшего продвижения в космос... Во всяком случае, при таком предположительном ходе космического процесса, при таком понимании роли человечества в нем, при такой оценке настоящего и будущего есть все основания утверждать, что предсказанное марксизмом полное раскрытие способностей каждого человека — а через каждого человека и всего человечества как системы в целом — не приведет к самозамкнутости, к бесконечному самовращению вокруг внутренних проблем. Нет, все силы человечества, все его способности, выражающиеся как в материальных, так и в духовных проявлениях, будут включены в космический процесс, будут выявляться и реализовываться в деянии... Деяния эти не обещают быть легкими. Но в преодолении препятствий уже не отдельный человек, а все человечество обретет истинную свободу, и в этом смысле свободу можно рассматривать как глубинное самовыражение человечества, как характернейшую черту его сущности.

Когда-то Анаксагор, вскользь упомянутый в статье, объявил «ноос», «мировой разум» вполне реальной силой, правящей Вселенной. Можно предположить, что совершенно на ином уровне эта его догадка подтвердится — грядущий интегральный интеллект будет одним из важнейших инструментов управления при взаимодействии человечества с солнечно-планетным полем...

К. Маркс предвидел следующую ситуацию, имеющую непосредственное отношение к пониманию сути человеческой истории: «Сама история, — писал он, — является *действительной частью истории природы*, становления природы человеком. Впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание: это будет *огна наука*»¹¹. Вот такая предсказанная Марксом единая наука и будет соответствовать эпохе освоения солнечно-планетного поля: история тогда действительно будет твориться единой, и этому процессу должно адекватно соответствовать состояние науки.

¹⁰ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 46, ч. II, стр. 109.

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М., 1956, стр. 596.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ВЛАДИМИР ЛАЗАРЕВ, ОЛЬГА ТУГАНОВА



КОНТРАКУЛЬТУРА И ЛИЧНОСТЬ

Общественные болезни и разного рода антигуманистические веяния в капиталистическом мире включают в себя и заболевания живых тканей культуры. Как ответ на эти заболевания возникает демократический протест, нередко принимающий культурнические формы. Таким демократическим потоком была и контркультура 60-х годов.

Но каково фактическое содержание контркультуры истекших десяти—пятнадцати лет? Есть ли именно она и только ли она одна действенный позитивный противовес болезням в духовной сфере? Как она сопряжена с прогрессом культуры и с ее восходящей тенденцией? Что происходит в наши дни, в годы 70-е, в этих сложных сферах? Мы попытаемся рассмотреть эти вопросы на материалах Соединенных Штатов Америки.

ИСТОКИ ВОССТАНИЯ. РАНЕНОЕ СОЗНАНИЕ

Механизм, властвующий и так или иначе насаждающий массовую культуру, в зависимости от того, насколько он упруг, подвижен, старается использовать современные и даже сиюминутные достижения технического прогресса. Это приносит почти безошибочный успех, так как в массовое сознание буржуазных обществ давно уже привнесена привычка отождествлять развитие цивилизации в первую очередь с техническим прогрессом, а не — или в гораздо меньшей мере — с социальным прогрессом, с этическими ценностями. Механизм массовой культуры нарочито затрудняет понимание развития истории, смысла человеческой жизни, он стремится сделать человеческое сознание «горизонтальным», плоскостным, в противоположность сознанию и разуму человечества, уходящим как бы по вертикали в глубину веков. Массовая культура, вертящаяся на острие технического прогресса, цепляющаяся, льнущая к нему, работает на то, чтобы утвердить некую «неорабскую» несамостоятельность человеческого сознания при мнимой интеллектуальности современного раба, или, другими словами, объекта массивированной обработки. (Вот эту-то ее особенность и нащупало контркультурное сознание, укрепившись в своем антитехницизме и неверии в прогресс. Но и в этом, как и во многих других отношениях, контркультура оказалась непоследовательной и недостаточно глубокой, как это будет показано ниже.)

Механизмы, управляющие массовой культурой, стараются держать человеческое сознание в постоянном напряжении, прививают аппетит к частой сменяемости сенсаций, стараются как бы изменить саму структуру сознания, чтобы человек начинал задыхаться при некоторой разреженности сенсаций, при отсутствии детективов...

Как реакция возникают перенагрузки сознания. Раненое сознание начинает кричать. В глубинах гигантского механизма, внутри современного суперзавода, в замкнутой сфере человек, поставленный на поток, делает незначительное движение, пытаясь хоть сколько-нибудь вывить себя как личность. Вот исповедь тридцатисемилет-

него американского рабочего: «Иногда я не выдерживаю и нарочно делаю какую-нибудь выбоину, вмятину на предметах, которые выпускаю, там, где ее не должно быть. Мне хочется сделать что-нибудь такое единственное в своем роде. Я хочу оставить на чем-нибудь свой след...» Это интервью напечатано в специальном выпуске американского журнала «Dissent».

А вот исповедальный разговор Уильяма Сарояна, писателя, который, очевидно, не может жаловаться на «безличность» своей работы. В ноябре 1973 года в журнале «Nation» появилась его статья «Разрушение индивидуальности». Вот выдержки из нее: «Американец обладает полнейшей свободой, которая заключается только в том, чтобы присоединиться. И он присоединяется. Даже длинноволосые молодые люди...», «Дети отданы во власть телевидения, и это даже поощряется, а это тренирует их для присоединения еще до того, как они получили шанс хотя бы заподозрить, что может существовать другой выбор», «Мы должны отдавать себе отчет более ясно, чем когда-либо прежде, что... достигнут, успех в заговоре, цель которого — разрушить индивидуальность». Но, возможно, восклицает Сароян, «мы не должны забывать, что наверняка есть другая альтернатива — для всех...». Рецепты Сарояна: Природа. Естественность жизни. Тишина. И его заключительный призыв напоминает скорее стихотворение в прозе, чем социологический совет: «Веруй. Просто веруй — хотя бы в солнце. Не тревожься по пустякам. И не присоединяйся. Не присоединяйся ни к чему».

Это страстный призыв У. Сарояна — человека удачливой судьбы. И этот страстный призыв невольно заставляет вспомнить другую судьбу: поэзию, жизнь и смерть американской поэтессы Сильвии Плат. Она прожила тридцать четыре года, выпустила всего два сборника стихов, в 1960 и 1966 годах, и стала одним из самых ярких лирических поэтов современной Америки. Сильвия Плат — олицетворение раненого сознания, не выдержавшего современной психологической атмосферы в буржуазных странах, перегрузок массовой культуры. Устами Сильвии Плат кричит цивилизация, пораженная болезнями. «Холмы отступают в белизну. Люди и звезды разочаровались во мне» («Овцы в тумане»). Кадры мелькают в кровотошащем сознании человека и поэта. И часто повторяется видение: «...мужчина с ружьем в серых руках». «Кто-то зачем-то стреляет в городе — бух! бух! на воскресной улице. Кровь, может, льется из ревности, ревность рождает черные розы. В кого там стреляют?» («Рой») ¹.

Стихотворение «Тюльпаны». Здесь такая концентрация образного слова, что кажется, вот-вот оно оборвется и дальше пойдут какие-то другие значки и даже цифры, а потом наступит молчание. «Я потеряла себя, и мне стали в тягость кожаный туалетный прибор, похожий на саквояж, муж и ребенок, глядящие с фотографии; их улыбки цепляют меня, как крючки». Человек, отрывая от себя с мукой, с умопомрачительной болью все самое близкое, привязывающее к жизни, уходит. Следы его кровоточат. Теперь ему кажется, что даже тюльпаны следят за ним, преследуют. «Я безлика, мне хочется ступешаться, исчезнуть. Пылающие тюльпаны съедают мой кислород».

Рабочий, уродующий металл, и Сильвия Плат — это лишь отдельные симптомы неприятия дисгармонии, антидуховности, неплодотворности построения общества.

НОВОЕ ВИДЕНИЕ И ЕГО НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Возникает протест. Антиподы массовой культуры всегда присутствуют в недрах буржуазного общества. Народная культура и высокая культура всегда проделывают свой независимый путь. Но в условиях беззащитного натиска массовой культуры народная культура нередко начинает увядать, независимость высокой культуры покупается слишком большой ценой, нередко ценой жизни. В предисловии к адресованному ему письму Льва Толстого Ромен Роллан замечает: «...при современной цивилизации только действительно великие художники несут настоящие жертвы; одни они сталкиваются с тяжелыми препятствиями, потому что одни они отказываются продавать свои мысли, prostituirовать себя для удовольствия развращенной клиентуры, щедро оплачивающей тех, кто устраивает для нее умственные дебоши» (Р. Роллан. Собра-

¹ Стихи даны в переводах А. Сергеева («Иностранная литература», 1974, № 1).

ние сочинений. М. 1958, т. 14, стр. 92). И, несмотря на жертвы, широкий людской поток не может пробиться к завсезаниям высокой культуры. Это осознается демократически мыслящими людьми, исследователями культуры в буржуазных странах. В книге «Суперкультура. Американская популярная культура и Европа» («Superculture, American Popular Culture and Europe»), вышедшей в США в 1975 году, говорится, например: «Глубокое разделение между обеими сферами (между популярными видами развлечений и высоким искусством — Авторы), которое так болезненно обнаруживается в Соединенных Штатах, нездорово и опасно».

В открытый бой с массовой культурой (как и вообще с угнетательским эксплуататорским обществом) вступают демократические и социалистические потоки культуры, составляя часть общедемократического движения, порою даже зачиная его и представляя собой реакцию на бездуховность.

Контракультура 60-х годов была слетена своими корнями с подъемом общедемократического движения в США и странах Западной Европы. Однако она оказалась своеобразным и пережившим сложную трансформацию явлением. Наиболее характерно контракультура проявилась в США.

Гражданское общественное движение в США началось, как известно, с протеста против системы преследования инакомыслящих, проверки лояльности и черных списков и с выступлений за равноправие негров, против сегрегации. Оно стало ощутимым уже во второй половине 50-х годов и совпало к тому же с экономической депрессией в самом конце 50-х и начале 60-х годов. В эти годы возникли и прозвучали по всей стране песни протеста, а также баллады и сатирические куплеты острополитического характера. Во время собраний и демонстраций можно было слышать в качестве песен протеста такие, например, религиозные гимны, как «Мы преодолеем». В университетских кампусах началось возрождение народной песни. (Интересно, что обращение к народной культуре, к фольклору отметило собой в США подъем рабочего и демократического движения в 20-е и в 30-е годы и вновь подъем общедемократического движения в 60-е годы.) Народную песню пели Пит Сигер, Том Пакстон, Джоан Баэз, и благодаря ей стал знаменит Боб Дилан. Многие певцы народной песни участвовали сами в гражданском движении (Пит Сигер, Том Пакстон, Джоан Баэз и другие). Они отправлялись на Юг, чтобы помочь десегрегации, участвовали в маршах протеста, пели в университетских кампусах, пели перед участниками кампании за регистрацию негров-избирателей. Певцами народной песни был создан Комитет борьбы за отмену черных списков инакомыслящих. Почти все популярные фолксингеры были участниками антивоенного движения. Фестивали народной музыки собирали большую аудиторию. Так, например, на фестиваль в Ньюпорте (Род-Айленд) в 1963 году собралось 37 тысяч человек. После тяжелых лет маккартизма конца 40-х и первой половины 50-х годов общественная духовная, творческая энергия наконец-то вновь вырвалась на простор.

На протяжении 60-х годов, особенно после начала интервенции во Вьетнаме в движении протеста все сильнее зазвучали антивоенные, антимилитаристские мотивы. Одновременно протест и поиски нового видения все сильнее обозначались в морально-этической и эстетической сферах. Возник мираж возможности коренного поворота американского общества к духовности.

Резко выраженный выход на духовные ценности, на новые эстетические искания был естествен: гражданское движение опиралось в эти годы главным образом на интеллигенцию, на студенчество. Президент Кеннеди и его «мозговой трест» своей деятельностью также стимулировали повышение градуса интеллектуальных исканий, как и мышление масштабами «всемирности». Но, главное, невиданно ускорялись темпы исторических перемен и научно-технических открытий и откровений. Человек, казалось, достиг всемогущества в определении своего положения в мире и во Вселенной, в понимании и свободном строительстве своего будущего. Перестройка мировоззрения и миропостижения совершалась под воздействием развития социализма, под влиянием бурного потока национальных движений во всем мире.

В умах американцев внезапно — и в значительной степени неподготовленно — возникла новая картина мира.

Среди наиболее молодой части американского общества сильнейшими чувствами стали презрение ко всему «прошлому», не выдержавшему испытания правдой, стремление к Эксперименту — будто бы на голом месте, без предвзятости, без преемственности, без «зараженности» общепринятым и навязываемым.

«Возникло резко отрицательное отношение к доктринальному мышлению и даже к теологии,— пишет, характеризуя этот переломный момент, известный американский социолог Даниель Белл в статье «Религия в шестидесятые годы», помещенной в журнале «Social Research». — Было выдвинуто требование, что все декларации веры должны быть «лично» реинтегрированы и обоснованы как индивидуальные суждения».

Контркультура ориентировала на настоящее, поставила в центр личность, создала «радостную модель моральной жизни». Высшими ценностями были признаны «личная подлинность», самовыявление, стремление к «внутреннему свету», любовь. В основу требования «личной подлинности», самовыявления легло убеждение в том, что человеческая природа в глубине своей несет добро: надо стать самим собой — и тогда невозможно якобы совершить неверный, несправедливый поступок. Технократическое общество было отвергнуто. При этом «перегиб» заключался в том, что было отвергнуто и научное мышление. Технократия и наука искажают отношение человека к окружающему его миру тем, что принуждают участвовать в гигантском, «несущем зло» феномене — в «мире объективизированного сознания», следовательно, они отвергаются.

Культура протеста предполагала переворот в образовании. Она включала требования демократизации образования, участия студентов в решении его коренных вопросов, отключения университетов от военно-промышленного комплекса, подготовки в стенах университетов не однобоких, «запрограммированных» с самого начала и как бы сходящих с конвейера специалистов, но мыслящих, независимых, творческих личностей. Она включала требования равноправия всех рас и национальностей в образовании и введения курсов «либеральных наук и искусств»: музыки, скульптуры, проблем городов, истории негритянского населения и т. д.

Контркультура будто прорвала плотину, и начался весенний разлив.

Рокк-группы, уличные театры, мастерские плаката, команды художников для оформления демонстраций, песни и пластинки протеста; «подпольные» кино, театр, газеты, книжные лавки, лавки плаката — подпольные не в подлинном смысле слова, но самостоятельные, зарождающиеся спонтанно, иногда затеваемые любителями, без участия «больших денег», нередко вовсе без участия профессионалов и несущие свои идеи и новые формы; «свободные» школы и университеты, несущие гуманное образование, «либеральные» науки и искусства.

Песни понесли идеи контркультуры. Широко были известны песни, носившие названия «Все, в чем вы нуждаетесь, это любовь», «Внутри вас, помимо вас», «Внутренний свет», а также песня «Революция». Символом контркультуры стал рокк — музыка «высокой энергии».

Контркультуре было свойственно восприятие и принятие творчества тех крупных европейских художественных мастеров, кто нес протест против фашизма, против насилия государственной машины над человеком, против тирании обывателя.

Контркультура увлекалась пьесами и операми Брехта с их левой философией и сексом. В 1970 году в США была впервые поставлена опера Брехта «Махагони» (полное название «Расцвет и упадок города Махагони», 1927). Ставились пьесы из репертуара «бедного театра» польского режиссера Ежи Гротовского (так, например, спектакль об Освенциме, основанный на показаниях «очевидцев»). Контркультура увлекалась исканиями французского писателя-сюрреалиста А. Арто, основателя (в 1926 году) абсурдистского «Театра Жарри». Возник Живой театр (поставивший, например, пьесу «Рай — тотчас же!»), многословный и вовлекающий публику в действие; «Группа Представлений» («Перформанс групп», пьеса «Дионис в 69»), также вовлекавшая зрителя в действие, заставлявшая его вылезти «из своей привычной социальной кожи». Появились «психоделические празднества», которые устраивал «духовный отец»

«психоделической религии»² Тимоти Лири с помощью поэта Аллена Гинсберга и Ральфа Метцнера (пьесы «Смерть Разума», «Перевоплощение Христа», «Видение Иерониму-са Босха», «Просветление Будды»).

Венцом контркультурных зрелищ стали хепенинги — «непредвиденно происходящее».

Рождение и развитие контркультуры сопровождалось увлечением романами Кафки с их критикой всех бюрократических установлений, новым увлечением эзотерическими романами Германа Гессе с их религиозным мистицизмом и враждебностью к современному, замкнутому в четырех стенах комфорту.

В литературе стали модны «сострадающая сатира», фарс, плутовский роман, черный юмор, а в театре — абсурд. Сюжеты, если они имелись, сочетали социальные мотивы и метафизичность.

На формирование и развитие контркультуры большое влияние оказали так называемые битники — группы писателей, поэтов, художников и т. д., «выпавших из общества», сделавших это нормой своего поведения и живших у границы дна больших городов. Широкую популярность получила поэзия Аллена Гинсберга и Гэри Снайдера, испытывавшая сильное влияние Востока, проза Джека Керуака (начавших свои «искания» еще в 50-е годы). Поэт А. Гинсберг стал одним из видных пропагандистов создания, «альтернативной культуры» как средства «спасения земного шара от гибели».

«Подпольное» кино основывалось на прерывности, фрагментарности. «Подпольные» фильмы, например, Энди Уорела отличались «чистым наблюдением», голым фиксированием «правды факта». Почти все они были сняты неподвижной камерой.

В живописи и скульптуре стало хорошим тоном использовать тот материал и материал из той жизни, которыми ранее пренебрегали (вещи домашнего обихода, муляжи с витрин и т. д.).

Литература, музыка, изобразительное искусство, театр контркультуры привержены к «открытой форме»; они требуют соучастия воспринимающего, его вторжения в действие. Поэзия требует, чтобы ее читали вслух, громко. Музыка необходима танцующие, пританцовывание. Происходит постоянное действие, непрекращающийся карнавал.

Смешиваются различные жанры и различные художественные средства. В театре и в рок-группах используются световые, радиокинозвукосуммовые эффекты, слайды, плакаты, музыка, поэзия, танец. Внутри искусства воцаряется как художественный прием, как эстетическая норма завет: «Преступи все грани!»

Стремление сломать все разграничения, смешать все сферы сопоставляется с той мыслью, что процесс разграничения по самой своей внутренней сущности есть «репрессивная деятельность».

Манера отчужденности, стиль пародии и самопародии также являются как маски контркультуры, поскольку только так можно выразить плачевное состояние человека, человеческой личности, человеческого разума. И даже плачевное положение Слова. Слово уродует! Один из американских театров контркультуры показывал миниатюру: Слово уродует Невинную Девушку, уродует в прямом, материальном смысле.

Сильное и, может быть, самое главное позитивное начало контркультуры — это демократичность. Раскрепощение — ее главная и определяющая установка. Освободить человека от угнетения и дискриминации, от стандарта и стандартизации, от навязанного взгляда на связь вещей и явлений, дать ему новое видение и новые возможности самовыражения.

Культура протеста стимулировала раскованность и в политическом восприятии и в эстетике, поддерживала гуманистические начала в искусстве вопреки и через уродливое, пародийное и самопародийное. Она постаралась вобрать в себя, игнорируя

² «Психоделические» — от греческих слов, означающих «душа» и «откровение». Состояние обостренной восприимчивости и открытости переживанию. Может сочетаться с галлюцинациями и другими обманчивыми ощущениями. Этого состояния стремились достигнуть с помощью наркотических средств, а также с помощью «г.сихических процессов» — «погружения в состояние созерцания».

расовые, националистические, великодержавные и прочие слабости и предвзятости, эстетический опыт и элементы философии Запада и Востока, Америки, Европы, Азии и Африки, древних и сверхсовременных цивилизаций...

Все это «сплавы» и «соединения» контркультуры, имеющие позитивный, хотя и эклектический характер. Но в контркультуре были заложены с самого начала взаиморазрушающиеся и разрушающие самую контркультуру «антисоединения», антиначала и в художественном восприятии, и в мысли, и в социальной направленности.

Характерным стало «перерождение» поп-арта. Поп-арт как одно из явлений авангардизма родился в конце 50-х годов, шумно заполонил собой первые годы шестого десятилетия и исходил якобы из «нового примирения» искусства и жизни. Поп-арт стремился, во-первых, вернуться после периода увлечения абстракциями к жизни, во-вторых, к той жизни, которой пренебрегало, по мнению его создателей, высокое искусство. Поп-арт стремился воспроизвести «бесплодие» современной жизни. Это искусство было персонифицированным, неприятным. Всякий хлам, утиль, отбросы, макулатура как предмет искусства изобразительного читались как «символ отчуждения от господствующих нравов агрессивного потребительского общества, поклоняющегося сверкающим зрзац-новшества». Так поясняет смысл поп-арта С. Хантер, автор книги «Американское изобразительное искусство XX века» («American Art of the 20 Century»). Поп-арт как бы держал зеркало перед обществом, которое давится отбросами, мусором, испражнениями дикарского потребительства. Или же изображал катастрофы (уореловские «Смерть и катастрофы»). Человек на картинах в духе поп-арта часто выглядит как пучеглазый лунатик или испуганный робот. И всегда — даже в тех случаях, когда берется материал более «возвышенный», чем отбросы (например, сверкающие телефоны), — предметы неизменно разлучены со своей функцией.

В первый период своего существования поп-арт не был пессимистичен. Позиция творца была скорее следующей: жизнь может быть эстетичной или неэстетичной; чтобы осознать это, необходимо вычлнить из жизни определенные структуры — и вдруг окажется, что они являют собой насмешку над жизнью, или же, напротив, выявится поэзия их банальной ординарности. Творец вступает в плодотворное взаимодействие с реальным миром, начинает свежий, новый диалог с будничным окружающим материалом, который ранее был оставлен без внимания. Поначалу поп-арт отличался иронией и остроумием, богатой фантазией и сатирическим комментарием. Резкая социальная критика, содержащаяся в поп-арте и в концепциях разрушения граней между различными пластами искусства, полного переключения искусства на показ «низкого», «бесплодного», нефункционального, несомненно, содержала положительную общественную направленность. Но творцы и теоретики этого искусства и этой концепции настойчиво подчеркивали как свое кредо отказ от общественно-эстетической позиции — и, само собой разумеется, от социально-классовой позиции (см., например, работы С. Зоннтаг, одного из идеологов эстетики авангардизма, «Против интерпретации и другие очерки» и «Стили радикальной воли». («Against Interpretation and other Essays», «Styles of Radical Will»). Эта позиция, естественно, оказалась неплодотворной. Сложные и сложнейшие взаимосвязи, механизмы, политические и идеологические приводные ремни общества государственно-монополистического капитализма, бурный поток массового производства, бесконечное, безудержное размножение, распространение образов внешнего мира и идей средствами массовой информации в тенденциозной трактовке — все это как бы подавило художников и теоретиков поп-арта.

Постепенно поп-арт и соответствующая ему теоретическая концепция трансформировались. Поп-арт стал во все большей мере вводить преувеличение, фарс и черный юмор; стал более пессимистическим, мистическим и одновременно эротичным и извращенно-эротичным. Один из мастеров и теоретиков поп-арта Клаес Олденберг заявил: «Я за искусство, которое является политико-эротически-мистическим, которое делает что-то иное, а не сидит на своей заднице в музее». С. Зоннтаг писала: «Нам нужна эротика искусства».

Творец, мастер, художник поп-арта стал по большей части в позицию отступ-

ника от того, что он сам же выражал в творчестве, в позицию нигилизма в отношении высокой культуры.

Вычерчиваются та же трансформация и тот же конечный результат, который пережила и к которому пришла вся контркультура.

Превыше всего контркультура поставила самовыражение — как морально-этический и как эстетический принцип — и «нерациональный» непредвзятый опыт. И в той их части, в какой эти принципы сопряжены со свободой в ее социально-общественном и художественном смысле, они плодотворны. Но нежелание «учитывать прошлое» и отказ от идеала выражают отказ рассматривать творение искусства как нечто высокое и представляющее собой «послание» и своему и грядущим поколениям. Ценность попытки творца передать при помощи искусства свое духовное, философское, эстетическое послание современникам и грядущим поколениям отрицается.

В своем субъективном осознании контркультура явилась на свет как протест против «общества потребления». Была сделана попытка создать «новый жизненный стиль», «новую нравственность», новую культуру. Это страстное желание было насквозь пронизано нетерпением. По своей сути это был протест против эксплуататорского, угнетательского общества. Так это и осознавалось. Но таковое государство и общество воспринимались и представлялись как торжествующий всемирный абсолют, против которого восстал Человек. На перспективу иной социально-классовой структуры как возможности и как реальности — социалистической возможности и реальности — глаза у контркультуры были закрыты, а у некоторых ее идеологов обращены с неприязнью. Отсюда и нигилизм, с первых шагов сочетавшийся с политической неформальностью. Отсюда отрицание всей существующей в мире культуры. Отсюда и отрицание понятия общественно-исторического прогресса как якобы орудия эксплуатации и противопоставление ему «духовного самоуглубления» (обнажение этой альтернативы немедленно выявляет, что она далеко не нова). Именно поэтому контркультура не избавляет общество и его духовную жизнь от хаотического состояния. Нет большого, «вечного», гармонического творчества. Нет большой творческой гармонической личности. Нет утверждения чувства прекрасного, заложенного в действительности и в человеческом восприятии, подобно математическому началу. Нет подлинно реальных позитивных представлений о будущем обществе. Человеческая личность не становится крепче, устойчивее, ей не под силу плодотворный жизненный стиль вопреки намерению контркультуры.

УПАДОК И РАСПАД КОНТРАКУЛЬТУРЫ

Движение контркультуры с самого начала отличалось пестротой: либералы, либерал-радикалы и радикалы; активисты, несшие традицию демократического и пролетарского движения в культуре 20-х и 30-х годов; позже появились и «сверхреволюционеры». «Новые» мировоззренческие позиции контркультуры представляли собой не синтез, но хаотическое смешение воинствующего идеализма, с одной стороны, и с другой — философского иррационализма, анархизма, фрейдизма, некоторого добавления искаженных представлений о марксизме. Соединительными звеньями оказались экзистенциализм, утопизм, а также богоискательство, увлечение, в частности, восточными религиями и восточными мистическими учениями, мистицизмом вообще, также психоанализом.

По мере развития контркультуры она подвергается контрреакции общества. Отразившись от огромного общественного зеркала, контркультура распалась, растеклась различными потоками. Как и «новая левая оппозиция»³, с которой она была тесно переплетена, являясь одним из важнейших ее компонентов, она испытала состояние тяжелого кризиса в конце 60-х — начале 70-х годов.

³ «Новая левая оппозиция» — радикалистское общественное движение в США 60-х годов. Ее социальной базой были средние слои. Особенно активна в ней была молодежь. Идеологи «новой левой оппозиции» именовали ее так, чтобы отличить себя от «старой левой оппозиции», в том числе от коммунистического движения.

На рубеже 60-х и 70-х годов протекали одновременно следующие процессы: наиболее здоровая часть контркультуры и «новой левой» пыталась удержаться на демократических основах и пробиться к контакту и взаимопониманию с рабочим классом. Нарастала вместе с тем активность левацко-экстремистских группировок, призывавших к «партизанской войне» и приступивших к террористическим акциям. Левацкий экстремизм вызвал контрреакцию широких слоев американского населения, что облегчило усиление полицейских репрессий против всего демократического движения. Правящие круги усиливали репрессии и провокационно-агентурную полицейскую деятельность и наряду с этим сделали некоторые уступки демократическому движению. Одновременно с этими процессами начался медленный вынужденный поворот правящих кругов к политике ослабления международной напряженности, к свертыванию войны во Вьетнаме. Все эти процессы развивались на фоне ухудшения экономической конъюнктуры, а затем и экономического кризиса. По дорогам бродили не имеющие работы молодые люди — наподобие «хобо», бродяг 30-х годов. Американская печать писала, что в 1973 году их было около миллиона. Все это усиливало разочарование, с одной стороны, анархистские настроения и левацкие крайности — с другой. Внутри «новой левой» и внутри контркультуры начались отступничество, отчаяние, разочарование, самоубийства, жестокая внутренняя борьба.

Предвосхищением и зеркалом многих мотивов контркультуры стало творчество Нормана Мейлера. «Белый негр» («The White Negro»), вышедший в 1959 году, был проникнут пафосом ненависти к тоталитаризму, к обезличиванию, пафосом стремления сохранить свое истинное «я», симпатиями к отверженным, к людям дна, к «цветным». Вместе с тем он нес мотивы культа «свободной воли», анархического мятежа, сексуальности, психопатии и хладнокровного насилия, «возвращения к первобытному», к «доцивилизации». В романах «Американская мечта» и «Почему мы во Вьетнаме» («An American Dream», «Why are We in Vietnam»), вышедших соответственно в 1965 и в 1967 годах, мотивы нигилизма, психопатии, насилия и разрушения достигли своего апогея. В книге «Майами и осада Чикаго» Н. Мейлер так описал 1968 год: «Страна редела от ран, как истекающий кровью бык, заходила болезненным кашлем в грязном тумане, ворочалась во сне, разрываемом грохотом полицейских мотоциклов, и вздрагивала, признаваясь самой себе, что ей нужны новые бастионы порядка».

Но какие бастионы порядка?

Велико оказалось число американцев, которые остановились в затруднении и в испуге перед этой дилеммой.

Именно в этих условиях происходил упадок и распад контркультуры.

Со второй половины 60-х годов произошло частичное взаимопроникновение фолк-песни и рок-музыки. Возник так называемый фолк-рок, который отдалился от «горячей», прямой связи с общественным демократическим движением. Совершилось перерождение поп-арта, о котором было сказано выше. Хеппининг стал заниматься «шаманством», в театре возникли эксцессы жестокости и насилия.

Между леваками и более умеренными последователями и творцами контркультуры шла дискуссия. «Сверхреволюционеры» в культуре протеста оказались близки к сюрреалистической позиции (как известно, один из тезисов сюрреалистов гласил: честная приверженность к воображению является одновременно смелой приверженностью к его «насылыническим импульсам»). Стронники ненасилия пели в своих песнях: «Ну, ребята, улыбнитесь своему брату, соединитесь все друг с другом, постарайтесь любить друг друга». Согласия, однако, достичь не удалось. Две линии все более расходились.

Некоторые приверженцы контркультуры обратились к мистике как к новой надежде. Но религиозный мистицизм уже нельзя рассматривать, на наш взгляд, как продолжение контркультуры. Он противоположен последней. Это отмечалось американскими социологами.

Когда в контркультуре обозначались трещины, хиппийская свита помогла контрнаступлению массовой культуры, умело направляемой и эксплуатируемой плуто-

кратией. В среде хиппи появились «хип-дельцы» и «хип-капиталисты». Обывательско-потребительское отношение грубо ворвалось в контркультуру, взрывая ее. Она перестала существовать как большое общественное явление.

ПУТИ 70-х ГОДОВ

То, что несла в себе контркультура предыдущего десятилетия, не промчалось, «как вешние воды», не рассеялось, не выветрилось. Оно продолжает жить и сегодня. Оно в наиболее сильных своих проявлениях вошло в эстетику более широкого времени, перешагнуло границы своего десятилетия, впечаталось в социальное сознание и продолжает жить непосредственно или претерпев множество метаморфоз в книгах, картинах, музыке, на сцене, в представлениях об образе жизни нынешнего дня. Но тяжелый кризис, пережитый контркультурой, также не прошел бесследно. Вновь усилилось в 70-е годы стремление разными путями, в том числе не отбрасывая и сверхсложного и даже затемненного авангардистского языка, «занять определенную позицию» не по ту сторону, а в гуще социальных, идейных, политических сражений и суметь ее отстоять. Вот несколько примеров.

...Знакомые нам уже Пит Сигер, Джоан Базз и новый нью-йоркский музыкальный ансамбль, назвавший себя «Человеческие условия жизни», песни о заботах и борьбе простого человека, песни протеста.

...Выступления перед студентами, перед участниками общественных и политических движений, в рабочей и профсоюзной аудитории, прямо на улицах уличных и студенческих театров. «Новый левый уличный театр», созданный студентами Миннеаполиса, явно сочетает традиции уличного театра «новой левой» и политической сатиры. Актеры играют пьесу «Народ — как река», показывают историю народа от времен индейцев до массовых выступлений общественности в последнее десятилетие. На сцене индейцы, самоотверженная женщина — опора всей семьи, безработные, водители грузовиков, лесорубы.

...«Послевоенная война», показ того, что происходит в Индокитае после заключения Парижского соглашения 1973 года, — серия слайдов, которые выпустила и продает организация «Национальное действие и исследование по проблеме военно-промышленного комплекса», направляемая квакерским движением. Антивоенные обличения профессионального театра: пьеса «Пинквилл» в театре «Америкэн плейс», пьеса «Костыли и палки» в «Паблик тизтр» в Нью-Йорке. Показ системы обезчеловечивания американских парней, подготовки их к совершению зверств. В пьесе «Пинквилл» действие часто переносится в зрительный зал, чтобы напомнить: между зрительным залом и тем, что происходит на сцене, есть прямая связь. Это подтверждает пьеса «Костыли и палки»: «средняя американская семья» доводит до самоубийства своего сына, слепого солдата, вернувшегося из Вьетнама, страдающего «припадками» — угрызениями совести, постоянно выдающего повсюду вьетнамскую девушку в белом.

...Фильм «Что делать?» о Чили. Чили в период до выборов Альенде в президенты в 1970 году и после 1970 года... Кутеж американцев в роскошном «Шератон-отеле» в Сантьяго, священник-революционер, которого убивают в глухой деревне, конфликт между отцом-парламентарием, сибаритом, и сыном, присоединяющимся к ультралевой группировке. Любовные свидания агента ЦРУ, числящегося инженером, и девушки из американского «Корпуса мира», не понимающей истинной функции этого корпуса, идеалистки, сторонницы Альенде.

...Документальный фильм о франкистской Испании Эбба Ошероффа. Уникальные кадры подпольных собраний, заседаний стачечных комитетов, уличных схваток рабочих и студентов с полицией (об этом фильме писал Роман Кармен в «Комсомольской правде» в январе 1975 года).

...Снова и снова напоминания о временах маккартизма, напоминания ради предостережения — все может повториться вновь... Телефильм «Суд над страхом», рассказывающий об удушливой обстановке на американском телевидении во времена маккартизма. В основе телефильма — книга-документ сатирика Дж. Г. Фолка. Докумен-

тальная драма известного литературоведа Эрика Бентли в театре при Йельском университете под названием «Состоите ли вы ныне или состояли когда-нибудь?..» Следует добавить в название еще два слова: «в коммунистической партии». Это вопрос, который задавали всем, кого вызывали на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В основе пьесы протоколы допросов.

Но не только напоминание о прошлом. Не только предостережения. Готовность, решимость контркультуры громко сказать «нет», как только правые и ультраправые силы пытаются совершенно отбросить конституционные принципы, которые большие массы американцев рассматривают как свое прибежище.

Мотивы и образы демократического потока культуры вновь и вновь оказывают свое воздействие на политику массовой информации, массовой культуры, заставляя их делать уступки, модифицироваться, разнообразиться.

Напор борьбы национальных меньшинств заставил изменить образ негра, мексиканца, пуэрториканца, индейца на сцене, в телевидении, в кино, разнообразить этот образ, приблизить его к действительности. На телевидении возникли целиком «черные постановки». Однако срабатывает внутренний, тщательно налаженный механизм: негры вдруг стали появляться очень часто на экранах в роли полицейских... Индеец племени навахо является в роли чудотворца, легко разрешающего конфликты, рождающиеся от столкновения индейцев с современной жизнью американского общества. Новая Большая Ложь, но время от времени все же прорывается подлинность, достоверность, правда.

Конечно, невозможно одновременно игнорировать усилившееся размежевание внутри расовых и национальных меньшинств (именно на этом основан трюк Большой Лжи). В сегодняшних США немало негров-полицейских, хотя гораздо меньше, чем на экране, и разница в убеждениях и жизненной позиции порой разительна внутри расовых и национальных меньшинств. Остро видящие писатели белой Америки сегодня особенно внимательны к этим различиям. Н. Мейлер в книге «Бой» («The Fight»), вышедшей летом 1975 года, берет сторону Мохаммеда Али против Джо Формзны в их борьбе за звание чемпиона мира. И делает это потому, что Али отказался воевать во Вьетнаме, был дисквалифицирован на долгое время, но не отступил от своих убеждений.

Негр был излюбленным персонажем или даже героем контркультуры 60-х годов. Любовь к негру, как ко всякому угнетенному, доверие к негру как к отверженному, противопоставленному «системе», были ее кредо. Нет никаких сомнений, что контркультура много помогла неграм, пуэрториканцам, мексиканцам, индейцам в утверждении их человеческого достоинства.

Одновременно контркультура оставила без внимания рабочего человека, после того как «новая левая оппозиция» сделала несколько неудачных попыток завязать диалог с рабочими. Но вот настали 70-е годы — и наступают перемены.

Тяжелая борьба рабочих в условиях экономической депрессии и экономического кризиса. Проникновение многих идеалов демократического движения в рабочую массу, прежде всего в ее наиболее молодую и наиболее образованную часть. Эти идеалы подкрепили требования, выраженные и в забастовках, производственной демократии, протест против бессодержательности, монотонности труда, непрерывно интенсифицируемого, но часто лишеного реальной общественной ценности в условиях капитализма; они помогли отчетливее осознать новые «измерения» жизни — творчество, проблеме взаимоотношения человека с природой, проблеме мира. Горькая экономическая и социальная действительность 70-х годов, внезапно поставившая перед теми, кто относил себя к «средним средним» и к «высшим средним слоям» (по американской терминологии), обычные повседневные заботы рабочего. Упреки американских левых социологов в адрес «либералов» и «интеллектуалов», причем в вину последним ставится то, что повседневные заботы и интересы среднего рабочего никак не учитывались, все внимание было сосредоточено на бедняках и расовых и национальных меньшинствах, а следовательно, общий язык с рабочими найти было невозможно. Все это вызвало наконец поворот..;

Прямо на улице в центре Нью-Йорка разыгрывается представление, пафос которого — защита интересов бастующих служащих фирмы «Фара»: артисты обращаются с призывом к зрителям поддержать забастовщиков. На экраны выходит фильм «Буффало-крикское наводнение: деяние человека», снятый независимой киностудией города Уайтсберг, — о гибели 125 шахтеров из-за нарушения правил безопасности, из-за преступной беззаботности компании и правительственных органов... Выставки картин Ральфа Фазанеллы, главная тема которых — рабочие и их жизнь (Фазанелла — ветеран борьбы в Испании в 30-х годах, профсоюзный организатор и, наконец, на пороге своей славы служащий автозаправочной станции). Книга Стадса Теркела «Работа» — более ста интервью, взятых у рабочих, служащих после очередного трудового конфликта в одном из промышленных районов Чикаго («Работа» опубликована в журнале «Иностранная литература» в январе 1976 года). Это не единственное такое явление. Мы уже упоминали выше, что радикальный журнал «Dissent» зимой 1972 года выпустил специальный номер «Мир синего воротничка» («синий воротничок» — рабочий); «Центр Ральфа Надера» (Надер возглавляет движение в защиту интересов американского потребителя) опубликовал книгу «Рабочие» («Workers») — очерки о девяти рабочих; издательство дешевых книг «Нью-Ингленд Фри Пресс» рекламирует каталог «Литература об американском рабочем классе»...

Демократический поток культуры по-прежнему чувствителен ко всему, что происходит внутри страны и во всем мире, отвечает на это своей острой реакцией и стремлением восстать в защиту справедливости.

Демократические культурные течения отличаются в настоящее время постоянным обогащением своих форм, их многообразием. При этом выявляются, в частности, позитивные возможности массовых средств информации, так тесно и как будто неразрывно привязанных к массовой культуре. В частности, возникают общественные радио- и телевизионные коллективы и станции. В течение ряда лет существует «Альтернативный центр коммуникаций и информации», созданный как «неприбыльное телевидение» и базирующийся на Нью-Йоркском университете. «Центр» проводит теле съемки и предоставляет отснятый материал коммерческим телевизионным корпорациям, а также различным общественным группам и организациям. Некоторые непрофессиональные телесъемочные группы предоставляют свою аппаратуру подросткам, старикам, представителям расовых национальных меньшинств и т. д., обучают их пользоваться аппаратурой, с тем чтобы они могли отснять материал, отражающий их интересы, нужды, окружающий их мир: жизнь и проблемы различных категорий населения изнутри.

Это начинание имеет спорадический характер и слабую материальную базу, однако оно развивается. Отметим попутно, что в Италии коммунистическая местная администрация города Болонья ввела в 1975 году систему кабельного коммунального телевидения, рассчитанного на массовую аудиторию. Эта новая форма телевидения в США связана с университетами, с кооперативным движением на местах, очень оживившимся в последние годы и часто выступающим под лозунгом «антикапитализм, антирасизм, антисексизм».

На местном уровне в культурной деятельности возникают скоординированные инициативы кооперативного движения, университетов, профсоюзов. Но и внутри своего цеха профсоюзным руководителям приходится быть изобретательнее. Об этом говорят такие, например, события, как устройство выставки скульптурных работ строительных рабочих в 1974 году.

Художественные мастера левых убеждений и компартия в США в свое время — в 20-е и 30-е годы — в высшей степени изобретательно и широко развивали демократический и пролетарский поток культуры (хотя тогда не обошлось без левых перегибов). Название «красные тридцатые» во многом было рождено тем, что совершалось в художественной сфере. Долгие годы преследований компартии и левых мастеров искусства прервали эту нарождавшуюся традицию. На 21-м съезде компартии США в 1975 году была принята обстоятельная программа деятельности в области

культуры, а в речи Генерального секретаря Гэса Холла сказано, что «культурное движение вступает... в тесное соприкосновение с рабочим движением... Культурное движение есть в высшей степени важный участок в борьбе за социализм».

Итак, в потоке культуры, несущей протест, в 70-е годы усилились те его течения, которые выходят на «горячую связь» с общественной и политической борьбой; больше стало тех, кто не боится обнаружить свою «завербованность» определенными политическими воззрениями. Отграничение от массовой культуры стало гораздо более резким в силу социальной и политической направленности. Кроме того, что также важно, контркультура образца 70-х годов не противопоставляет себя воинственно высокой культуре. Настроения в этом отношении переменялись. Наблюдатели общественных процессов в первой половине 70-х годов отмечают тягу к изучению гуманитарных наук, возвращение к книге, серьезной музыке, «настоящему» театру, который не смогли заменить никакие многосерийные телеспектакли.

Знаменитая оперная певица Рената Тебальди, постоянно выступающая в крупнейших залах Старого и Нового Света, заметила: «...некоторое время назад начался великий поворот. Молодежь — а это главные максималисты — в большинстве своем пресытилась поп-музыкой... Теперь в филармонических залах и в оперных театрах... все больше молодежи, приходящей насладиться той «традиционной» музыкой, которую она еще недавно презирала» («Музыкальная жизнь», 1975, № 24, стр. 21). Это процесс естественный. Демократический поток культуры не может не быть связан постоянным единым кровообращением с высокой культурой.

«Отец кибернетики» Норберт Винер незадолго до смерти сказал: «...мы больше не можем оценивать человека по работе, которую он делает. Мы должны оценивать его как человека... Если мы настаиваем на применении машин повсюду, безотносительно к людям, но не переходим к самым фундаментальным рассматриваниям и не даем людям надлежащего места в мире, мы погибли».

Одной из проблем буржуазного общества является: робот или человек? Робот против человека. В контркультуре как раз и выразилось отчаянное нежелание больших масс людей стать роботами. И многого она добилась, поставив перед общественным мнением эту проблему как неотложную. Но в бурном искреннем порыве контркультуры уж очень часто возникал мотив «начинать на голом месте». Контркультура, развиваясь во времени, стала входить в противоречие с человеческой личностью — в тех случаях, когда ложно ощущала в себе потенцию, превосходящую всю культуру вообще, когда требовала отсчета только от себя самой, фактически отгораживая себя от многовековых культурных традиций, теряя мерило, которое поверяет глубокую жизненность и плодотворность тех или иных общественно-культурных и художественных явлений. Стремясь прийти к новому человеку, она, контркультура, невольно оказалась нигилистичной. Нигилизм XX столетия — «начинать на голом месте».

В порыве философского пессимизма даже такой крупный деятель культуры, как Жан-Поль Сартр, готов принять идеи отрицателей всей прошлой культуры лишь потому, что буржуазная культура неплодотворна. Мир плохо скроен и сотворен, он бесперспективен — почему бы не сжечь его и Мону Лизу вкупе с ним, раз она порождение этого мира? — говорит Сартр.

Да, но ведь Мона Лиза не принадлежит буржуазному, прогнившему, циничному миру и не сотворена им, а сотворена как раз наперекор ему. Она принадлежит Высокой культуре, которая из философской идеи, из высокостигического сознания, из отдельных прекрасных образцов и произведений во всех областях литературы, искусства, мысли постоянно стремится расширяться, пробиться к людям, превратиться в мощный поток широкой и живой всемирной традиции.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

★

«ВОЙДИ, МОЙ ГОСТЬ...»

М. А. Волошин (1877—1932) заявил о себе на рубеже двух эпох. В 1900 году он был сослан в Среднюю Азию за участие в студенческих волнениях. По словам поэта, этот год явился решающим моментом его духовной жизни. Первое семилетие XX века — годы странствий Волошина, итоги которых запечатлены в сборнике «Стихотворения 1900—1910 гг.». В них оживают прозрачные краски пейзажа Венеции, экзотика Балеарских островов, мрачное величие горы Герцельберг, величественная красота азиатской пустыни. Мир как море раскрывается перед поэтом. Он чувствует себя странником по вселенной, впитывает, как губка, ее историю и культуру.

Стихи Волошина этих лет поражают пластичностью, красочной изобразительностью. Творческое воображение поэта одухотворяет холодную красоту стремящихся ввысь готических зданий, римский Форум, афинский Акрополь, милый его сердцу Париж. Изысканность формы, богатство поэтических красок, свежесть восприятия делают его стихи маленькими акварелями, отразившими и своеобразие рисунков Волошина-художника.

Годы странствий сменили годы духовных блужданий по путям и перепутьям человеческой культуры. В творчестве Волошина заметна попытка все больше осмыслить мир и найти в нем свое место. Лирический герой поэта — прохожий, «близкий всем, всему чужой», — проникает в тайны философии, увлекается то буддизмом, то маонством, то мистикой, то теософией. Импрессионистическая яркость ранних стихов, строгость и четкость, рожденная влиянием французских парнасцев, сменяются желанием проникнуть в глубины познания и духа. Соответственно образы приобретают двойной смысл, возникает ряд сокровенных ассоциаций, стихотворение как бы двигается вглубь.

В этот период окончательно выкристаллизовывается самая характерная тема творчества Волошина — тема Киммерии. Выжженный солнцем степной Крым, где близ Феодосии стоит Дом поэта, построенный Волошиным, сплетается в его воображении с легендарной древнегреческой Киммерией. Коктебельский пейзаж Волошин видит сквозь призму древности, на побережье Черного моря чувствует дыхание Понта Эвксинского, мрачная красота горной гряды Карадаг вдохновляет его на создание киммерийских циклов. Ландшафт у Волошина живет особой жизнью: он многомерен и сложен, как тютчевский покров над Хаосом. Поэт пытается проникнуть в глубины самой матери Земли, «пустынной и огромной», постичь ее тайны. Сострадание к горестной Земле, сопереживание с ней окрашивают лирику Волошина в тона печали и мудрости. Выразительность стиха определяется его собственной фразой: «Не я в Коктебеле, а Коктебель во мне».

Склонность Волошина к идеальному восприятию мира, «любовь к цветению плоти, вещества во всех его формах и ликах» породили своеобразный художествен-

ный метод, где антропоморфизм соседствует с красочной изобразительностью, а пейзажные зарисовки окрашены философскими раздумьями. В позднем творчестве философская лирика начинает вытеснять пейзажную. В годы войны и революции на первый план выходит тема России, ее исторических судеб. Все происходящее кажется Волошину глубоко оправданным. Он пишет: «То, что мне пришлось в зрелые годы пережить русскую революцию, считаю для себя величайшим счастьем».

Поэзия Волошина напоминает многоцветный калейдоскоп, в котором сменяют друг друга напоенные солнцем коктейльские пейзажи, эпизоды странствий поэта, портреты-«облики» его друзей, раздумья об исторических судьбах родины. Поэт любовно и тщательно составляет узоры, оберегая каждый осколок. Древнерусским словом «иверни» (осколки) назван сборник избранных стихотворений Волошина, выпущенный в 1918 году.

Мы предлагаем вниманию читателей подборку стихотворений М. Волошина разных лет. Два стихотворения («Я — понимание. Поэты, пойте песни...» и «К древним тайнам мертвой Атлантиды...») публикуются впервые. Остальные относятся к числу малоизвестных или забытых.

АКРОПОЛЬ

Серый шифер. Белый тополь.
 Пламенеющий залив.
 В серебристой мгле олив
 Усеченный холм — Акрополь.
 Ряд рассеченных ступеней,
 Портик тяжких Пропилей,
 И за горами камней
 В сетке легких синих теней
 Искры мраморных аллей.
 Небо знойно и бездонно —
 Веет синим огоньком.
 Как струна, звенит колонна
 С ионийским завитком.
 За извилами Кефиза
 Заплелись уступы гор
 В рыже-огненный узор...
 Луч заката брызнул снизу...
 Над долиной сноп огней...
 Рдеет пламенем над ней он —
 В горне бронзовых лучей
 Загорелый Эрехтейон...
 Ночь взглянула мне в лицо.
 Черны ветви кипариса.
 А у ног, свернув кольцо,
 Спит театр Диониса.

1900. Афины.

* *
 *

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
 Вдаль по земле таинственной и строгой
 Лучатся тысячи тропинок и дорог.
 О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!

Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
 Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.

1903—1904.

* *
*

В зеленых сумерках, дрожа и вырастая,
Восторг таинственный припал к родной земле,
И прежние слова уносятся во мгле,
Как черных ласточек испуганная стая.

И арки черные и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность.
В душе моей растет такая нежность!..
Как медленно текут расплавленные дни...

И в первый раз к земле я припадаю
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.

26 июня 1905 г. Париж.

ДЕЛЬФЫ

Стеснили путь хребтов громады.
В долинах тень и дымка мглы.
Горят на солнце Федриады,
И клекчут Зевсовы орлы.

Величье тайн и древней мощи
В душе родит святой испуг.
Безгласны лавровые рощи,
И эхо множит каждый звук.

По руслу рвов, на дне ущелий
Не молкнет моль ручьев седых.
Из язв земли, из горных щелей,
Как пар, встает туманный дых.

Сюда, венчанного лозою, —
В долину Дельф, к устам земли
Благочестивою стезею
Меня молитвы привели.

Я плыл по морю за дельфином,
И в полдень белая звезда
Меня по выжженным равнинам
Вела до змиева гнезда.

Но не вольна праматерь Гея
Рожать сынов. Пифон умолк,
И сторожат пещеру змея
Священный лавр, дельфийский волк.

И там, где Гад ползою мрачной
Темнил полдневный призрак дня,

Струей холодной и прозрачной
Сочится ископытъ коня.

И где колчан с угрозой звякал
И змея бог стрелой язвил,
Вещает праведный оракул
И горек лавр во рту Сивилл.

И ветвь оливы дикой место
Под сенью милостной хранит,
Где бог гонимого Ореста
Укрыл от гнева Эвменид.

В стихийный хаос — строй закона,
На бездны духа — пышность риз.
И убиенный Дионис —
В гробу пред храмом Аполлона!

1909.

ОСЕННИЕ ПЛЯСКИ

Осень...
Под стройными хвоями сосен
Трелью раздельною
Свищет свирель.
Где вы,
Осенние фавны и девы
Зорких охот
И нагорных озер?

Сила,
Бродившая в соке точила,
Их опьянила,
И круг их затих...
Алы
Их губы и взгляды усталы...
Лики темнее
Осенней земли...

Вот он —
Идет к заповедным воротам,
Локоном хмеля
Увенчанный бог!
Бейте
В жужжащие бубны! Развейте
Флейтами дрему
Лесов и полей!

В танце
Завейтесь! В осеннем багрянце
Пляской и вихрем
Завьется земля...
Маски
Из листьев наденете в танце,

Белые ткани
Откинете с тел

Ноги
Их дают пурпурные соки
Гроздий лиловых
И мха серебро...

Пляшет,
Упившись из меха, и машет
Тирсом с еловою
Шишкой сатир.

1915.

* *
*

Я — понимание. Поэты, пойте песни
В безгласной пустоте.
Лишь в раковине уха различимы...
Я — ухо мира, и во мне гудит
Таинственное эхо мирозданья.
Лишь в зеркале очей моих живут
Скользящие обличия вселенной.
Мое сознание — нитка, на которой
Нанизаны мгновенья: оборвется —
Жемчужины рассыплются...
И ожерелью времени — конец!
Мое мгновенье — вечность.
Смертью утверждаю
Бессмертье сна, распятого в веществе.
1907.

* *
*

К древним тайнам мертвой Атлантиды
Припадает сонная мечта,
Смутно чуж тонкие флюиды
В белых складках чистого листа.
Но замкнуто видящее око
Лобной костью, как могильный склеп.
Не прочесть мне волящего рока —
Я оглох сознанием, светом дня ослеп.
1907.

* *
*

Я к нагорьям держу свой путь
По полынным лугам, по скату,
Чтоб с холма лицо обернуть
К пламенеющему закату.

Жемчугами расшит покров,
И венец лучей над горами —
Точно вынос Святых Даров
Совершается в темном храме.

Вижу к небу в лиловой мгле
Возносящиеся ступени...
Кто-то сладко прильнул к земле
И целует мои колени.

Чую сердца прерывный звук
И во влажном степей дыханье
Жарких губ и знакомых рук
Замирающие касанья.

Я ли в зорях венчанный царь?
Я ли долу припал в бессилье?
Осеняют земной алтарь
Огневеющие воскрылья...

1913.

* *
*
* * *

Заката алого заржавели лучи
По склонам рыжих гор... и облачной галеры
Погасли паруса. Без края и без меры
Растет ночная тень. Остановись. Молчи.

Камень зноем дня во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
Как пламя воздухом колеблемой свечи...

1913.

ИЗ ЦИКЛА «КИММЕРИЙСКАЯ ВЕСНА»

Ветер с неба клочья облак вытер.
Синим оком светит водоем,
Желтою жемчужиной Юпитер
Над седым возносится холмом.

Искры света в диске наклоненном —
Спутники — стремительно бегут...
А заливы в зеркале зеленом
Пламена созвездий берегут.

А вблизи струя звенит о камень,
А внизу полет звенит цикад,
И гудит в душе певучий пламень
В вышине пылающих лампад.

Кто сказал: «Змеею препояшу
И пошлю»? Лихуя и скорбя,
Возношу к верховным солнцам чашу,
Переполненную светами, — себя.

20 июня 1917 г.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Октябрь и литература

А. НИНОВ



С ВЕКОМ НАРАВНЕ

1

Рассказ, один из живых и неиссякающих потоков советской прозы, по своему обозначил ее пути и перепутья. В советском рассказе не меньше, чем в любом другом литературном жанре, закреплена и сконцентрирована память о сущем и пережитом. В масштабах всемирной литературы он являет собой самостоятельную эстетическую величину, позволяет отчетливее разглядеть и понять характер советского общества и советского человека в их реальном историческом бытии от Октября 1917 года до наших дней.

Я меряю
по коммуне
стихов сорта... —

сказал в свое время Маяковский. Поэзия здесь измерялась перспективно — по отношению к коммунистическому будущему. История подтвердила дальновзоркость такого взгляда. К шестидесятилетию Великой Октябрьской революции советская литература приходит обогащенная многократно возросшим художественным опытом во всех родах, видах и жанрах творчества. И когда предпринимается попытка выбрать главное, отобрать лучшее из созданного за минувшие десятилетия, особенно важно сохранить высокую меру понимания и оценки явлений, по которым в исторической ретроспекции устанавливаются вехи развития каждого жанра, будь то стихи или проза.

Читатели «Библиотеки всемирной литературы», рассчитанной на двести томов — от Гомера до наших дней, — получили и

поставили на полки двухтомную антологию советского рассказа. Включенная в серию литературы XX века, новая антология заняла свое место рядом с книгами Акутагавы, Брехта, Бунина, Горького, Зегерс, Коцюбинского, Лондона, Лу Синя, Генриха Манна, Садовяну, Стейнбека, Тагора, Упита, Хемингуэя, Чапека, Шолом-Алейхема и других авторов, представленных в «Библиотеке всемирной литературы» отдельными книгами.

Перечисленный ряд писателей говорит сам за себя. Само право входить в одну серию с ними должно подтверждаться не формально, а по существу — высокими, чтобы не сказать, выдающимися художественными достоинствами каждого отдельного произведения, представляющего советский рассказ как целое, как особенный феномен всемирной литературы. В этом особом качестве советский рассказ еще не оценен по-настоящему, а богатства его не исчислены даже в самом общем очерке. Ведь речь идет не о русском рассказе только, имеющем художественные образцы, достойные прозы XX века, но и о рассказах писателей народов СССР (в том числе младописьменных), обогативших жанр самобытными, свежими красками, без которых само понятие «советский рассказ» не обладало бы сегодня столь универсальным смыслом.

По каким принципам построен «Советский рассказ» в «Библиотеке всемирной литературы», что предлагает он читателю? Для обоих томов избран простой и в данном случае вполне оправданный хронологический принцип расположения произведений. Первый рассказ («Вражья

земля» Александра Серафимовича) помечен 1917 годом, последний («Фиалка» Валентина Катаева) относится к 1973 году, то есть к литературе современной в полном смысле слова. Между крайними датами — годом Октябрьской революции и началом 70-х — разместились по времени написания рассказы девяносто одного автора, представляющие вместе с русской восемнадцать национальных литератур. Перед нами своего рода художественная летопись советской эпохи в рассказах многочисленных мастеров (каждый писатель появляется в антологии только один раз и только с одним рассказом).

Столь широкий охват материала во времени создает объемное представление о жанре: ощущается и его историческая динамика, перемены, происходившие в искусстве рассказа от одного десятилетия к другому, и необыкновенное разнообразие его жизненного содержания в каждую эпоху.

На суперобложку первого тома вынесен фрагмент известной картины К. Петрова-Водкина «Смерть комиссара»; и действительно, художественная символика этой картины удачно передает преобладающую тенденцию многих рассказов послеоктябрьских лет. Героика революции и гражданской войны, ожесточение классовых борьбы в первые годы рождения нового общества, пробуждение угнетенных прежде народов царской России, ростки социалистической нови, пробивающиеся через толщу старого быта, старых привычек и предрассудков, — таковы важнейшие темы рассказов Вс. Иванова, В. Шишкова, А. Малышкина, С. Сергеева-Ценского, Ю. Яновского, А. Бакунца, А. Каххара, Ив. Катаева и других авторов первого тома.

В советском рассказе еще в раннюю его пору расширилась и укрепилась воспринятая от Горького традиция развенчания старого мира, условий социального неравенства, национального угнетения, черт оккупированности. Суров, безрадостен общий фон рассказов А. Серафимовича «Вражья земля», Б. Лавренева «Срочный фрахт», Лео Киачели «Алмагир Кибулан». Все они обращены к дореволюционной эпохе и повествуют о тяжелой судьбе человека-труженика, обездоленного с рождения и обреченного на несчастье.

Нисколько не идеализируя условий жизни в старой России, писатели обнаружили

вместе с тем, как богат и жизнестоек народный характер, какие таланты, какие силы таились и продолжают множиться в народной среде. Таков, например, рабочий-жестянщик Павлюк, великолепный мастер своего дела, совестливый, строгого нрава человек, герой рассказа Павла Нилина «Знаменитый Павлюк». Таков и старый крестьянин Урнас из рассказа Пятраса Цвирки «Корни дуба», патриарх своего рода, знавший давнюю, крепостную Литву и вспоминающий перед смертью всю свою многотрудную, многострадальную жизнь.

Критическая оценка прошлого особенно ощутима в рассказах исторического плана, созданных в послеоктябрьскую эпоху. Осознание прошлого как предьстории, в которой отвергается все враждебное духовному и социальному освобождению человека, вообще характерно для литературы этого времени. Идея «Подпоручика Кижэ» Юрия Тынянова могла возникнуть, когда от самодержавного строя в России остались одни обломки. Он и задуман как рассказ-памфлет, направленный против системы русского бюрократического абсолютизма. Тынянову удался сюжет гоголевского масштаба. История подпоручика Кижэ — это по внешности история ничтожной канцелярской описки, которая, будучи запущенной в бюрократическую машину, превращается из фикции в реальность, в высочайшую директиву, обретает самостоятельный ход и вызывает массу непредвиденных последствий. Описка стала подпоручиком «без лица, но с фамилией». А поскольку фамилия в списке, скрепленном рукою самодержца, которому никто не может противоречить, есть в бюрократическом ходе вещей безусловная реальность, то отсутствие у подпоручика Кижэ лица и фигуры оказывается обстоятельством несущественным, второстепенным и даже способствующим его служебному продвижению. Безликость поощряется властью и сама забирает власть. История ничтожной канцелярской описки вскрывает одну из сущностных сторон самодержавно-бюрократического механизма.

Другая знаменитая новелла 20-х годов, «Трубка коммунара» Ильи Эренбурга, напоминает об историческом противоборстве тех самых сил, которые после Парижской коммуны еще раз столкнулись насмерть в Октябре. Трубка расстрелянного коммуна-

ра Луи Ру несет в себе символический смысл. Автор вспоминал об уроках борьбы, чтобы «ради всей радости жизни не предать форта Святого Винченция, на котором еще держатся три блузника и пускающий мыльные пузыри младенец».

Глубокая историческая память — характерное свойство советского рассказа в целом, и эта его черта отчетливо выявлена в составе произведений первого тома.

2

Трезвая историческая оценка предреволюционного прошлого, а также и более отдаленных от нас времен создает, необходимую перспективу и выразительный общий фон для восприятия главного содержания советского рассказа, теснейшим образом связанного с жизнью современного ему общества. Достоинством рассказа как жанра прозы является его преимущественная принадлежность современности. Как правило, все, что волнует писателя в настоящем, все наблюдения, мысли, все примечательные события и характеры, вся пестрота жизни в ее контрастах и противоречиях быстрее всего могут вылиться в свободной и емкой форме короткого рассказа. Не каждому дается эта форма, но для мастера, владеющего ею, она открывает возможности огромные.

Среди рассказов 20-х годов, напечатанных в первом томе, особенно характерны «Поезд на юг» Александра Малышкина и «Гадюка» Алексея Толстого, «Стальное горло» Михаила Булгакова и «Любовь» Юрия Олеши. Все они написаны между 1925 и 1928 годами, и как точно выражают они свое время!

Точность их прежде всего психологическая. Герои двух первых рассказов необыкновенно остро воспринимают исторический перепад от революции и гражданской войны к нэпу, от трагедий и романтики военного коммунизма к прозе обыденного существования. Новый человек и новое общество рождались в великих муках, в борьбе революционной энергии и энтузиазма с вековой косностью и отсталостью, с грузом привычек, «данных Адамом и Евой». Рассказы Малышкина и Алексея Толстого не сглаживают, а укрупняют эти противоречия, дают их почувствовать особенно резко.

Переживания молодого врача в деревенской глуши, блистательно описанные Бул-

гаковым, говорят о возросшем этическом чувстве, которое укреплялось в сознании поколения интеллигенции, прочно и навсегда связавшей свою судьбу с судьбой России. И даже в интимнейшем сюжете лирического рассказа Юрия Олеши внимательный читатель почувствует характерные умонастроения молодежи 20-х годов, ее своеобразный рационализм и удивительную, подчеркнутую автором способность воспринимать мир глазами влюбленного человека...

Здесь, собственно, заключается первый ответ на вопрос, что позволяет отнести тот или иной рассказ к явлениям всемирной литературы. Прежде всего новизна художественного свидетельства о революционной эпохе, каждая подробность которой сохраняет немаловажный общечеловеческий смысл. И еще самобытность нравственного отношения автора к предмету, которого он касается своим рассказом. Последнее обстоятельство Лев Толстой считал в свое время едва ли не главным для писателя.

В предисловии к сочинениям Мопассана Толстой подчеркнул, что, кроме таланта, то есть способности видеть в предметах нечто новое, такое, чего не видят другие, необходимы еще по крайней мере три условия истинного художественного произведения: 1) правильное, то есть нравственное отношение автора к предмету, 2) ясность изложения или красота формы, что одно и то же, 3) искренность, то есть непритворность чувства любви или ненависти к тому, что изображает художник.

«Цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, — утверждал Толстой, — есть не единство лиц и положений, а единство самобытного нравственного отношения автора к предмету».

Для всемирной литературы советский рассказ дал не один десяток произведений, отличающихся безусловной новизной художественного содержания, красотой формы и самобытным нравственным отношением к жизни. Таковы, например, безупречные в своем роде рассказы Лидии Сейфуллиной «Таня» и Андрея Платонова «Фро», относящиеся к 30-м годам. Для познания души советского человека и его самочувствия в «прекрасном и яростном мире» эти расска-

зы по сей день дают больше, чем иные пухлые сочинения, весьма прославленные в свое время.

Чуткое нравственное отношение к предмету помогло Сейфуллиной тонко отграничить новое, привлекательное в формирующемся человеке от того, что искажает его природу и мешает естественному духовному росту. Писательскую зоркость, «глазастость» Сейфуллиной тогда же, в 1934 году, отметил Горький, хорошо знавший и прежде ее рассказы. «Я вам еще раз повторю,— писал Горький автору «Тани»,— вы человек талантливо чувствующий, и вы имеете все данные для того, чтоб талантливо знать, талантливо различать нужное от ненужного, находить в навозе жизни ее жемчужные зерна. Именно об этом говорят: «Ириня» («Вириня».— А. Н.), «Правонарушители» и другие рассказы, включительно с последним прочитанным мною — о девочке. Я уверен, что вы могли бы отлично писать о детях, о женщинах в их современном виде».

С не меньшим правом эти же горьковские слова можно было бы отнести и к рассказам Андрея Платонова, самобытного, крупного мастера, достигшего в 30-е годы зрелости таланта. Как и Сейфуллина, он талантливо чувствовал, талантливо знал и талантливо различал нужное от ненужного в жизни, умел находить крупное, ценное в людях, прекрасно писал о детях, о женщинах, о современном трудящемся человеке. Его рассказ «Фро» проникнут лиризмом доброго участия к героине, обыкновенной молодой женщине, испытывающей необыкновенную полноту человеческого счастья. Это в точном смысле слова классический советский рассказ: в нем все сосредоточено вокруг одной мысли и одного центра, все естественно и свободно.

Довоенные рассказы первого тома завершаются «Кавалькадой» Николая Тихонова, историей одной поездки по Кавказу, заставляющей вспомнить некоторые страницы прозы Лермонтова. Сам рассказчик припоминает строки лермонтовского стихотворения («Окончен труд дневных работ...»), которые служат своеобразным поэтическим сопровождением рассказанной истории. Участники ее — русские и горцы, былая отчужденность которых уступает место отношениям равных, входящим в привычку и обычай.

Охватывая в целом панораму советского рассказа довоенной эпохи, приходится отметить все же пропуски имен и явлений, едва ли оправданные задачами фундаментальной антологии.

В составе первого тома отсутствует вообще Борис Пильняк, противоречивый и сложный автор, чрезвычайно характерный для эпохи 20-х годов. Его «Простые рассказы» и «Повести о черном хлебе» были в свое время своеобразным новеллистическим открытием; многие подробности пореволюционного быта впервые вошли в литературу через рассказы Пильняка. Их роль в развитии ранней советской прозы признавали даже те писатели, которые резко спорили с ним. В своей последней «Книге воспоминаний» (1966) Михаил Слонимский справедливо заметил, что «имя Бориса Пильняка ярко вспыхнуло в рождавшейся 1920 — 1921 годах советской прозе, он вззошел на литературном горизонте как звезда первой величины». Явление такого порядка в исторической панораме советского рассказа, конечно, должно было быть замечено и поставлено на свое место.

Думается, что Исаак Бабель как рассказчик также в гораздо большей мере принадлежит 20-м годам, когда появились его «Конармия» и «Одесские рассказы», чем второй половине 30-х. Между тем составитель антологии И. Н. Крамов предпочел напечатать одну из последних новелл Бабеля, «Ди Грассо» (1937), — мастерский, конечно, рассказ, но вторичный и смещающий реальное место писателя, которое он занимает у истоков советской прозы.

Скучно, слишком скупо представлена в первом томе сатирическая линия советского рассказа, — пожалуй, только «Историей болезни» Михаила Зощенко, сравнительно поздним его рассказом 30-х годов. В предисловии к двухтомнику Сергей Антонов высказал небезосновательное сожаление, что позднее, «после того как не стало И. Ильфа, Евг. Петрова и замолк Мих. Зощенко, заметно ослабла сатирическая линия в коротком жанре». Но ведь в довоенную пору эта линия была еще достаточно сильна. А даже рассказов И. Ильфа и Евг. Петрова (или хотя бы одного из них!) не видно в первом томе. Отсутствуют и другие сатирики — А. Зорич, Михаил Кольцов, Остап Вишня. Сатирический рассказ обычно короток, он соседствует с фельетоном, с памф-

летом и как характерная разновидность жанра мог быть представлен разнообразнее и полнее.

Столь же неоправданным является пропуск в антологии целой плеяды писателей, которых числят обычно по разряду детской литературы, — Бориса Житкова, Аркадия Гайдара, Павла Бажова, Виталия Бианки, Л. Пантелеева. А ведь все они не просто детские авторы, но и превосходные рассказчики, которые писали для детей с таким же чувством ответственности, как для взрослых.

«Морские истории» Житкова, «РВС» и «Голубая чашка» Гайдара, «Малахитовая шкатулка» Бажова, «Лесные были и небылицы» Бианки, «Часы» и «Пакет» Л. Пантелеева — это заметные события советской прозы вообще, советского рассказа в особенности. Лучшие рассказы наших писателей, предназначенные для детей и юношества, быстро становились достоянием читателей всех возрастов. По количеству переводов на иностранные языки они обычно обгоняли (и обгоняют!) «взрослые» произведения. Это еще одно доказательство всемирности их звучания, особой эстетической и нравственной ценности советской детской литературы. 30-е годы отмечены расцветом нашей новеллистики для детей и юношества, и несколько наиболее выразительных произведений этого рода должно было бы войти в антологию советского рассказа.

3

Некоторые бреши в составе первого тома вызваны, очевидно, стремлением представить как можно шире послевоенный и современный этапы развития советского рассказа. И действительно, центр тяжести всего материала сдвинут от исторических явлений к современным. Первый том охватывает рассказы более чем тридцати послеоктябрьских лет (до 1953 года), второй — менее двух последних десятилетий. Особое внимание к новым и новейшим образцам в развитии жанра в принципе оправдано, если только при этом не сокращается общий фонд советской классики, фонд того, что характерно не просто для отдельных лет, но для литературы XX века в целом.

Глубокая межа в истории советского рассказа проходит через годы Великой Отечественной войны. Вот уж действительно

но разное время — разные песни. Одно дело довоенный рассказ и совсем другое — рассказ послевоенный, в котором зазвучали новые голоса, проявилось обновленное за годы войны историческое сознание современного человека.

Именно в послевоенную эпоху происходит наиболее резкая смена писательских поколений. В движении жанра запечатлены и эти перемены и новые жизненные импульсы, определившие развитие многонациональной советской литературы. Даже по отдельным рассказам антологии видно, как менялись подход, ракурс, психологическая установка и философская глубина повествования в зависимости от исторической перспективы.

Рассказы военных лет Л. Соболева («Соловей»), В. Кожевникова («Март—апрель»), Я. Ругоева («Вся жизнь впереди...»), К. Сиимонова («Пехотинцы»), Г. Николаевой («Гибель командарма») писались еще как хроника сиюминутного. Это эпизоды войны, которая полыхает рядом. Ни герои, ни авторы этих рассказов не вышли еще из пожара. Их свидетельства с места событий имеют все достоинства точно обрисованных лиц и положений. И вместе с тем многие события, рассмотренные вблизи, не обнаружили еще важных сторон и связей. Чтобы их познать, необходим был опыт художественного исследования и время.

Высшие достижения советского рассказа о военных временах приходятся на 50-е и 60-е годы. Вместе с крупными переменами в жизни советского общества углубился исторический взгляд на эпоху борьбы с фашизмом, на героические и трагические подробности судьбы человеческой и судьбы народной. Рассказ о войне выходит за рамки чисто батальной прозы. Он затронул такие стороны жизни, такие проблемы и обстоятельства пережитого, которые оставались прежде за семью печатями. И даже по отношению к хорошо известным явлениям и фактам в рассказе меняется привычный подход.

Стоит перечитать рассказ Василия Гроссмана «Гиргартен» (1952—1953), чтобы убедиться в этом. Рассказ не принадлежит к числу широкоизвестных, а между тем новизна художественного видения проявилась в нем с особенной силой. Это рассказ о последних днях фашистского рейха, когда Советская Армия сражалась уже на под-

ступах к Берлину. Угол зрения на происходящее выбран неожиданный и даже парадоксальный: как чувствуют себя в эти дни обитатели берлинского зоопарка и рядом с ними чудаковатый старик Рамм, состоявший зрителем при обезьяннике и слышавший среди сторожей зоосада слегка тронутым человеком.

Глубинный ход размышлений и точка зрения старика Рамма последовательно выдержаны в рассказе. Параллель между тем, как устроен зверинец и как организован фашистский рейх, многократно возникает в сюжетных мотивах «Тиргартена». Но парадокс авторской мысли в том, что это параллель с перевернутыми знаками. Степень несвободы людей в фашистском государстве, мера их зависимости от чудовищной системы несоизмеримы с тем, что являет собою Тиргартен. «Как вы смеете так говорить о хищниках! Вы хищники, а не они!» — говорит в минуту гнева старый зритель Рамм, оскорбляясь за своих любимцев. «Тиргартен» Василия Гроссмана не абстрактная притча, не обнаженный политический памфлет (каких немало, например, в публицистике Ильи Эренбурга), а художественная проза, философски осмысленная и прочувствованная в каждой детали.

Обошедший весь мир рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» (1956) стал важной вехой в развитии жанра. По сравнению с «Наукой ненависти», написанной в дни войны, это рассказ иного исторического и художественного этапа. История Андрея Соколова поведана его собственными словами как горькая и полная исповедь. Крупный русский характер в трагических обстоятельствах второй мировой войны освещен с особенной точки зрения: судьба человеческая оценена в перспективе времени. Рассказ обозначил связь, существующую между последней войной и современным миром.

Своеобразное развитие новой формулы героя и времени мы находим в лучших рассказах последующего десятилетия, из которых во второй том вошли «Иван» В. Богомолова (1957), «При свете дня» Э. Казакевича (1960), «Почем фунт лиха» Г. Бакланова (1962), «Утро вечера мудренее» В. Быкова (1966) и другие. В этом ряду, на мой взгляд, недостает лишь нескольких рассказов, которые были бы на месте в специальном томе «Библиотеки всемирной

литературы», — назову «Мать» Эльмара Грина, «Валю» или «Володю» Веры Пановой, «невьдуманный рассказ» И. Исакова «Летучий голландец». Каждое из этих произведений заключает в себе особое художественное, историческое и человеческое содержание, не имеющее полноценных замен и аналогий в послевоенном советском рассказе. А это и есть один из критериев «всемирности». Лучшие наши рассказчики сказали о судьбе человеческой и судьбе народной в связи с Отечественной войной нечто такое, что не могло быть рассказано никем и нигде.

Свой рассказ «Ясным ли днем» (1967), пронизывающий читателя высоким чувством сострадания и щемящей любви к человеку, Виктор Астафьев назвал по строке лирической песни. Ее поет молодым новобранцам в вагоне поезда инвалид Отечественной войны Сергей Митрофанович, возвращающийся после очередного медицинского освидетельствования из районной больницы в дальний деревенский поселок. На немногих страницах этого рассказа видны и незаурядный характер, и горькая судьба, и золотая душа этого человека. Автор посвятил свой рассказ памяти великого русского певца Александра Пирогова. И ведь кто знает, не особода ли размаха талант был дан и герою рассказа Сергею Митрофановичу? А если не выдано было ему от судьбы «распоряженье» на этот талант и не воспользовался он им как надлежало, на то были свои веские и особые жизненные причины.

И в рассказе Даниила Гранина «Дом на Фонтанке» речь идет о таланте, который мог быть и не осуществился. Через двадцать лет после окончания войны школьные товарищи заходят в дом погибшего друга, подававшего когда-то в юности исключительные надежды. Образ талантливого юноши жив лишь в сознании близких — одинокой состарившейся женщины и двух школьных друзей. Не менее важен в рассказе мотив, побудивший автора войти в дом на Фонтанке, — сознание нравственного долга настоящего перед прошлым, нынешнего поколения перед тем, которое «не вернулось».

Рассказ Федора Абрамова «Материнское сердце» (1969) выдержан целиком в форме сказа; и через четверть века после войны старая колхозница Офимья, потерявшая пя-

терых сыновей, не может сдерживать своего неизбывного горя. Главное содержание сказа составляет история о том, как работница-мать, заматанная день и ночь на лесопоставках, упустила и не сберегла своего меньшего девятилетнего сына. Краткими, но выпуклыми подробностями обрисовано в рассказе суровое время. Боль материнского сердца выражена автором лаконично и сильно. Писатель целиком доверился слову своей героини, ничего не ступшевая и не приглушая в нем. Особенный северо-русский говор с его оборотами и произношением, не вполне привычными нашему слуху, еще больше усиливает художественное впечатление от рассказа.

Отечественная война заняла огромное место в биографии и сознании современного человека. Отзвуки и память войны, ее уроки и последствия остаются живой реальностью нашей прозы. И это в полной мере подтверждает советский рассказ.

4

«Печники» Александра Твардовского, мастеровский и колоритный рассказ, открывают второй том антологии. Незамысловатый житейский эпизод о том, как в доме сельского учителя переложили печку, послужил поводом для поучительного размышления. Что есть мастерство и ремесло в точном смысле этих понятий, какова между ними разница, сколь важен в каждом деле талант и каков по характеру русский человек, носитель таланта? Эти и другие вопросы, всегда занимавшие автора, возникают в рассказе естественно, из самой сути свободного повествования. Характер деревенского печника Егора Яковлевича, с любовью описанный Твардовским, нисколько не потускнел и через два десятилетия после того, как рассказ стал достоянием нашей литературы. От этих добротных страниц русской прозы, принадлежащих большому поэту, протягиваются нити к существенным проблемам современности.

Великим достоинством Твардовского — поэта и прозаика всегда было чувство органичной связи с народом и народной жизнью. Истинная, непоказная народность его творений проявляется в глубине и самобытности мысли, в приметливости к народным характерам, в образном строе и языке. Самый жанр рассказа с его особой жизненной наполненностью, неторопливым

развертыванием необходимых подробностей, отчетливостью основного мотива имеет у Твардовского вполне ощутимые национальные черты.

Сам Твардовский в статье «О Бунине» обратил внимание на некоторые особенности русского рассказа, считая бесспорной и непреходящей художественной заслугой Бунина развитие им и доведение до высокого совершенства «чисто русского и получившего всемирное признание жанра рассказа или небольшой повести той свободной и необычайно емкой композиции, которая избегает строгой оконтуренности сюжетом, возникает как бы непосредственно из наблюдаемого художником жизненного явления или характера и чаще всего не имеет «замкнутой» концовки, ставящей точку за полным разрешением поднятого вопроса или проблемы. Возникнув из живой жизни, конечно преобразенной и обобщенной творческой мыслью художника, эти произведения русской прозы в своих концовках стремятся как бы сомкнуться с той же действительностью, откуда вышли, и раствориться в ней, оставляя читателю широкий простор для мысленного продолжения их, для додумывания, «доследования» затронутых в них человеческих судеб, идей и вопросов».

В русской прозе последних десятилетий повествовательная традиция, связанная с именами Тургенева, Чехова, Горького, Бунина, имела свое продолжение. Возможности проблемного рассказа, возникающего из непосредственного наблюдения и размышления над жизнью и чуждого литературной «сделанности», так или иначе были испытаны рассказчиками нескольких поколений. Среди них и старшие мастера — В. Катаев, В. Лидин, В. Каверин, произведения которых опубликованы во втором томе «Советского рассказа». И писатели «среднего» (условно говоря) поколения, наиболее активно работавшего в русской новеллистике 50—60-х годов: С. Антонов, Ю. Нагибин, С. Залыгин, А. Яшин, Ю. Трифонов, В. Тендряков, Ю. Казаков, С. Никитин, Е. Носов, В. Шукшин. И вышедшие из молодой прозы авторы, успевшие в последние преимущественно десятилетие сказать свое слово в жанре рассказа. Наиболее одаренные и известные среди них — В. Аксенов, В. Белов, А. Битов, В. Лихоносов (жаль, что в этом ряду не оказалось В. Рас-

путина, одного из многообещающих рассказчиков, пришедших в русскую прозу в середине 60-х годов).

Перечисленными именами далеко не исчерпываются, конечно, резервы русского рассказа, обращенного к послевоенной и современной эпохе. Но всякая антология имеет свои границы, и в заданных пределах русский рассказ о современности представлен «Библиотекой всемирной литературы» достаточно щедро.

Понятие современности слишком широко и многогранно, чтобы можно было говорить о каком-то одном типе рассказа, способном выразить все богатство ее содержания. Достоинством рассказа как жанра является как раз его необыкновенная подвижность, лабильность, способность к почти бесконечным видоизменениям элементов повествовательной формы в зависимости от предмета рассказа и точки зрения рассказчика. Однако несколько общих черт, объединяющих наиболее интересные рассказы о современности, пожалуй, стоит отметить.

В русском рассказе последних десятилетий явственно проявилась особая тяга к самобытным народным характерам. Вот почему так уместно было открыть второй том «Печниками» Твардовского, где авторская устремленность к портретному изображению незаурядного народного характера проявилась с полной отчетливостью. Разнообразие лиц и судеб людей из народной среды мы находим и во многих других рассказах антологии.

Народный характер связывается обычно в нашем представлении с положительным, творческим содержанием жизни, с трудовыми и нравственными основами, которые воспитываются в человеке советским обществом и его моралью. С глубоким сочувствием к человеку-труженику рассказана, например, Сергеем Антоновым жизненная история молодой женщины-председателя, взявшей в свои руки обезлюдевший после войны колхоз и поступившей личным счастьем («Тетя Луша», 1956). Гуманной мыслью отмечен рассказ Майи Ганиной о крестьянине Федоре и его детях, осиротевших после смерти матери. Собственно говоря, это рассказ о проснувшемся чувстве отцовского долга, изменившем характер человека («Настины дети», 1957). Добрые зачатки увидел Евгений Носов в героях своего

рассказа «В чистом поле за проселком» (1965), рассказа о том, как снова затеплился огонь в опустевшей деревенской кузнице, как обнаружился редкостный дар кузнеца у неприметного мальчика-подростка Аполошки. Выразительное сопоставление двух женщин-работниц, двух контрастных характеров-типов, достаточно распространенных в городской и фабричной среде, послужило завязкой рассказа Юрия Трифонова «Вера и Зойка» (1966).

Сложный мир науки и непростых отношений между учеными разного типа и склада приоткрывает Вениамин Каверин в рассказе «Кусок стекла» (1960). Его герой молодой ученый-физиолог Петя Углов усваивает серьезные нравственные уроки, преподанные ему старшими коллегами за время короткой деловой поездки в Ленинград. В лице Евлахова, маститого ученого из Института стекла, Петя Углов встретился с человеком, характер которого заставляет вспомнить о Тимирязеве, Павлове, Н. И. Вавилове. Герой рассказа Каверина увозит с собой из Ленинграда не только кусок особенного стекла, необходимого ему для собственной исследовательской работы. Он увозит и живое впечатление о настоящем человеке науки, не растерявшем за долгие годы жизни лучшие качества русского интеллигента.

Более, чем какой-либо другой жанр, рассказ способен передать дробную многогранность человеческих отношений, их неожиданность, парадоксальность, разнообразие реальных характеров и типов во всех социальных слоях и группах современного общества.

Деревенский человек, правду сказать, описан пока что нашими рассказчиками ярче, полнее, многостороннее, чем городской, и тому, наверно, есть особые причины. Глубже и прочнее традиция, связывающая русский рассказ с деревней. Отчетливее национальные черты характеров, быта и языка, открывающиеся писателю в деревенской жизни. Сильнее поэтическое чувство связи с родной природой, которую теснит за городскую черту современная промышленная цивилизация.

Названные преимущества оборачиваются, однако, для писателя иной раз и слабостью: неуместной идеализацией отсталых привычек и нравов, пристрастием к архаике, патриархальщине, непониманием динамики

процессов ускоренного социального обмена, происходящего ныне между городом и деревней. Лучшие наши рассказчики свободны, к счастью, от подобной близорукости писательского зрения.

Стремление узнать человека во всем объеме его характера и задатков, писать каждый характер правдиво, реально, не утаивая как сильных, так и слабых его сторон, исследовать явления в их противоречивой сущности, сочетать историческую память с широтой современного взгляда на действительность — вот тенденция, преобладающая в русском рассказе или, по крайней мере, определяющая его главные достижения.

Двадцать лет назад был опубликован рассказ Владимира Тендрякова «Ухабы» (1956), а проблема, в нем затронутая, не утратила своей остроты до сего дня, как не снята общественная задача преодоления всяческой косности, бюрократического бездушия, собственнической корысти, мешающих жить людям.

В свое время Юрий Казаков не поступился правдой, обнаружив сложное сплетение высокой талантливости, природной одаренности и обыденной лени, распущенности, душевной инертности в герое своего рассказа «Трали-вали» (1959), напомнившего чем-то «Певцов» Тургенева. Столь же контрастно распределены светотени в рассказе Василия Белова «Под извоз» (1968) о безруком инвалиде Сеньке Груздеве, лихом деревенском извозчике, который, вернувшись в колхоз, стал «мазуриком», тащит все, что попадает под руку, и вместе с тем безропотно кормит пятерых детей в семье, двух чужих и трех собственных. Неоднозначность, неодноцветность нравственной оценки человека отличает оба этих произведения, включенных ныне в антологию советского рассказа.

А вот в других случаях, когда речь идет о вполне негативных явлениях, наиболее уместной оказывается не контрастная светотень, а резкая сатирическая краска, насмешливая интонация. Так, в начале 50-х был написан известный рассказ Гавриила Троепольского «Никишка Болтушок», а сравнительно недавно — превосходный короткий рассказ Василия Шукшина «Срезал» (1970). Шукшин успел разглядеть новоявленного деревенского говоруна-демагога, испытывающего особое удовольствие в том,

чтобы поглумиться и «срезать» на людях какого ни есть «ученого» человека.

Хороших рассказов из жизни современного города пока что печатается у нас меньше, чем о деревне, и это соотношение как в зеркале отразилось в составе второго тома «Советского рассказа». А между тем большая половина населения страны ныне живет в городах, и жизнь города, его проблемы, его люди занимают и будут занимать возрастающее место в советской литературе. Может быть, поэтому рядом с рассказами В. Каверина, В. Катаева, В. Лидина, Д. Гранина, Ю. Трифонова, В. Аксенова, А. Битова и других писателей, пишущих преимущественно о городской жизни, не мешало бы вспомнить лучшие «городские» рассказы последнего десятилетия: «Дамский мастер» И. Грековой, «День, прожитый дважды» В. Кетлинской, «Конспект романа» В. Пановой, некоторые рассказы В. Шефнера, В. Померанцева, Н. Воронова, В. Конечного, В. Семина, также достойные антологии.

В конечном счете, разумеется, не материал, не тема, не этнографическая принадлежность определяют вес и значение каждого рассказа в потоке современной прозы. Главным остается новизна человеческих характеров, значительность и глубина вопросов, поставленных или разрешенных художником. Ведь вместе с изображением характеров и обстоятельств, то есть объективным содержанием жизни, в рассказе всегда присутствует личность автора. Субъективность рассказчика есть основная внутренняя энергия, сообщающая рассказу тепло настоящей жизни. Это справедливо и для сюжетного повествования, в котором автор нередко предпочитает остаться скрытым, и для лирического рассказа, где он дает полную волю своему чувству.

Сюжет рассказа Валентина Катаева «Филалка» — при всей свободе и непринужденности повествования — заключает в себе строгую симметрию двух характеров, двух человеческих судеб, пришедших к последнему порогу жизни. Муж и жена Новоселовы, давно разошедшиеся и потерявшие из виду друг друга, в глубокой старости, незадолго до смерти одного из супругов по странному стечению обстоятельств выясняют свои давние отношения. Автор ни одним словом не вмешивается как будто в расследование этой истории, где есть и

предательство, и душевное потрясение, и особые общественные обстоятельства, повлиявшие на судьбу и характер каждого. Многое в судьбах героев обозначено лишь пунктиром, передано через мимолетную подробность, единственную деталь, мастером которой был и остается Катаев. И вместе с тем страстная авторская заинтересованность в справедливости предпринятого расследования, его нравственная позиция в выяснении истины ощущается от начала и до конца рассказа, захватывая своим напряжением читателя.

Искренность и глубина выражения авторского взгляда на жизнь — вот главное достоинство всякого, а в особенности лирического рассказа, в котором, как в песне, должен присутствовать основной мотив, особенно близкий автору. Для Александра Яшина в его рассказе «Угощаю рябиной» (1965) это все, что связано в жизни с красной гроздьё терпких северных ягод. Недаром эпиграфом к своему рассказу он избрал элегические строки Марины Цветаевой: «Мне и донныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть...».

В сознании Цветаевой, отрезанной от России годами эмиграции, жаркой рябины горькая кисть была еще одним образным напоминанием о родине, ощущением острым и внятными, вкусовым и зрительным одновременно, абсолютно конкретным и в силу этого особенно пронзительным... На взлете жизни Яшин-прозаик с глубоким чувством любви и сожаления рассказал об отдалившихся уже временах детства и юности, о всем деревенском укладе жизни, близком его сердцу, к которому он вновь приобщался в мыслях, вспоминая о багряных кистях рябины. Удивительно поэтично и вместе с тем основательно, предметно написал Яшин прощальный свой рассказ, вложив в него многое, что было дорого ему как художнику.

Главный лирический мотив выразителен и в рассказе Сергея Залыгина «Санний путь» (1972). По внешности это рассказ с «объективным» персонажем: некий кинодраматург Иванов едет санним путем через тайгу, чтобы глазами своих героев увидеть и лично прочувствовать все подробности задуманного сценария. По сути же это лирический рассказ-воспоминание, в котором автор восстанавливает давние подробности пережитого, когда он вот так же в мороз

и стужу при разных обстоятельствах стремился добраться до какого-то пункта своего маршрута. Все эти передвижения не имеют конца, они сливаются в один маршрут жизни, и, собственно, это повторяющееся ощущение пути, условно отданное герою, стремится воссоздать и осмыслить автор. Рассказ Залыгина имеет определенный философский подтекст, который прочитывается через подробности его лирического сюжета.

На пороге 70-х годов, судя по многим признакам, русский рассказ вступил в новую полосу своего развития.

Русская художественная культура, включая и культуру рассказа, остается естественным притягательным центром для многих писателей, творчество которых, питаясь из национальных источников, получает все более широкий общесоюзный и международный резонанс. Достойно внимания то обстоятельство, что рассказы Чингиза Айтматова «Верблюжий глаз», Василя Быкова «Утро вечера мудренее», Иона Друцэ «Сани», помещенные во втором томе антологии, существуют на русском языке в авторских переводах (перевод Ч. Айтматова осуществлен вместе с А. Дмитриевой), а рассказы, например, Фазиля Искандера «Лошадь дяди Кязыма» из жизни Абхазии времен Отечественной войны или Юрия Рытхэу «Пусть уходит лед» о современной Чукотке написаны изначально по-русски и могут рассматриваться одновременно как факты литературы русского языка и национальной (абхазской, чукотской) художественной культуры.

Какие же явления и тенденции стоят за этими и сходными фактами? Недруги нашей страны и нашей литературы могут, конечно, ухватиться за эти факты и выдать их за примеры русификации, происходящей будто бы в недрах многоязыкой советской литературы. Софизмы такого рода приходится слышать, и они являются сознательной фальсификацией действительного положения вещей.

Суть же дела заключается в том, что каждый художник совершенно свободен в выборе языка, на котором пишется произведение, и русский язык не является исключением в этом смысле. Но вместе с тем он выполняет и особую культурно-историческую функцию, являясь средством межнационального общения народов нашей страны. В этом качестве — по вполне объектив-

ным причинам — увеличивается информативно-эстетическая роль русского языка, расширяется его воздействие на развитие национальных литератур. Эстетические ценности каждой литературы через посредство русского языка становятся достоянием всех.

Свобода, с которой названные выше и многие другие авторы владеют русским языком как базой художественного творчества, не отделяет их от родной национальной почвы, а создает особо благоприятные возможности для синтеза родственных художественных культур. Современная русская проза в авторских переводах Айтматова, Быкова, Друцэ и других писателей обогащается новыми красками, своеобразным характером мышления, самобытными стилистическими приемами, почерпнутыми из опыта киргизской, белорусской, молдавской литератур. И вместе с тем сама способность писателя творить, а значит, и мыслить на русском языке открывает для него глубинные пласты русской художественной культуры, классической и советской, расширяет его творческий диапазон, помогает художнику быть с веком наравне, что необходимо любому таланту.

5

Советский рассказ немыслим вне художественного опыта многих национальных литератур, удельный вес и влияние которых в развитии жанра все более возрастает. Истоки советского рассказа восходят к искусству нескольких крупных литературных регионов. Рядом с обширной славянской группой, объединяющей русскую, украинскую и белорусскую прозу, в нем соседствуют весьма разные национальные начала. Здесь и особая романская ветвь в лице молдавских новеллистов, столь склонных к юмору и лиризму; и разнообразие высокой повествовательной культуры народов Кавказа; и мастерство среднеазиатских рассказчиков, унаследовавших от дедов и прадедов тайны восточного красноречия; и неповторимый склад мышления новеллистов Прибалтики; и свежесть взгляда писателей малых народов Севера и Дальнего Востока, шагнувших сразу от фольклора к формам современной литературы.

При всей широте географии советского рассказа и многообразии его национальных особенностей в нем неуклонно усиливались

и продолжают усиливаться объединяющие тенденции. На просторах бывшей Российской империи, оставшейся до Октябрьской революции тюрьмой народов, в течение жизни одного поколения, то есть за сравнительно короткий срок, сложилась новая историческая общность — советский народ. Образование этой общности широко и многосторонне запечатлено советской литературой и искусством. И в рассказах советских писателей разных республик и регионов отразились важнейшие социально-исторические процессы, общие для всех народов СССР, их путь от буржуазного или полуфеодального прошлого к социализму, испытания Великой Отечественной войны, подробности послевоенного строительства, упрочение новых общественных отношений, формирование в борьбе и противоречиях нового человека.

Возникновение общих тематических рядов в литературах народов СССР и, что особенно важно, выработка единых идейно-эстетических и нравственных критериев оценки явлений общественной жизни не означало и не означает умаления национальной самобытности. Напротив, в условиях развитого социализма и выравнивания уровней национальных культур наиболее ценные стороны художественного опыта каждого народа выявляются особенно полно и получают мощные стимулы для ускоренного развития.

Некоторые стороны этого процесса — укрепление идейного единства и обогащение оригинального художественного опыта отдельных литератур — можно проследить по произведениям М. Ауэзова, Ч. Айтматова, Ю. Балтушиса, В. Быкова, Э. Вилкса, О. Гончара, И. Друцэ, П. Куусберга, Г. Матевосяна, Г. Мусрепова, Ф. Мухаммадиева, Л. Первомайского, П. Цвирки и других писателей, представленных в антологии советского рассказа.

Подлинным основанием для включения того или иного рассказа в тома «Библиотеки всемирной литературы» служит в данном случае не принцип формального представительства, а реальная весомость содержания, новизна и самобытность взгляда рассказчика на действительность.

Вот, например, один из ранних рассказов Мухтара Ауэзова «Серый Лютый» (1929), повествующий об истории волка, взятого щенком из погибшего выводка и вскормлен-

ного, на беду свою, мальчиком Курмашом. Написанный с прекрасным знанием всех повадок и характера степного волка, а также и старого быта казахов, проводивших всю жизнь на кочевьях в степи, этот рассказ менее всего напоминает трогательные истории о дружбе прирученного хищника с человеком. Вопреки литературной традиции, освященной именами таких мастеров, как Джек Лондон или Сетон-Томпсон, история Серого Лютяго — это рассказ о враге, который всегда преследовал скотовода-кочевника. И в отношении к этому извечному противнику нет ни тени сентиментальности. Тут война шла не на жизнь, а на смерть, и Ауззов-рассказчик сохранил особое, жесткое и непримиримое чувство, воспитанное веками беспощадной борьбы за существование, которую приходилось вести его предкам. В эпохе жизни казахского народа рассказ «Серый Лютый» является несомненно самобытным и ярким штрихом.

Детали старого казахского быта воспроизведены и Габитом Мусреповым в его «Этнографическом рассказе» (1956). Рассказ выдержан в сатирических тонах. Автор развенчивает обветшалые патриархально-родовые обычаи, отсталые нравы и привычки, мешающие людям достойно жить. Сталкиваясь с ними в жизни, рассказчик безбоязненно восстает против косности и предрассудков, сопутствующих местной обособленности и ограниченности.

Предупреждая против поверхностного понимания народности, Пушкин в свое время отказывался сводить это понятие к выбору предметов только из отечественной истории или местного быта. «Народность в писателе,— заключал Пушкин, — есть достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками — для других оно или не существует или даже может показаться пороком... Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».

Если национальная отчужденность мешала вполне оценить достоинства народности в том или ином писателе, то в условиях сближения национальных культур народность оказывается таким качеством, которое

сохраняет высокую ценность не только для соотечественников, принадлежащих к одной национальности, но и для всех.

Прелесть небольшого рассказа Иона Друцэ «Сани» (1956) состоит в том, что он с необыкновенной живостью дает ощутить «особенную физиономию» молдавского крестьянина. Писателю открыта душа и психология человека из народа, он знает о нем решительно все и гораздо больше, чем вместились в рассказ. Решимость и медлительность деда Михалуца воспринимаются как нечто большее, чем свойства характера. Между противоположными побуждениями мастера вся философия жизни, весь опыт человека, убежденного, что в каждом деле, кроме результата, высокий смысл имеют и предвкушение и мучительно-радостный процесс труда. Вот почему, решив делать сани, он все оттягивает начало заветной работы, а начав мастерить, никак не решается довершить до конца создание своей фантазии и своих рук.

И. Друцэ написал свой рассказ не о мастеровом, но о художнике, о мечтателе, каким и является его дед Михалуц по главной душевной склонности. Ему знакома сладость мечты, власть неосуществленного творческого замысла, целиком владеющего человеком. Вот откуда его подсознательное стремление отодвинуть момент окончательного завершения облюбленной вещи. Сделанное, воплощенное меньше тревожит сердце творца. Он живет тем, что вдруг снова птицей мелькнет перед ним в конце работы что-то «белое, стройное и красивое — то, что померещилось когда-то в детстве». «Сани» И. Друцэ — истинно народный по духу рассказ, проникнутый светлым юмором, сдобренный незлобивой шуткой, без которых трудно представить себе молдавский национальный характер. Знание слабостей человека не мешает рассказчику относиться с искренней любовью к своим героям, находить в них лучшие и взвышенные черты.

Национальная самобытность проявляется не только в местном колорите и особой тематике произведений, отражающих жизнь и нравы того или иного народа, но и в общей интернациональной проблематике, объединяющей писателей советских республик.

Рассказы Василя Быкова «Утро вечера мудренее» (1966) или Янки Брыля «В

глухую полночь» (1966) никак не назовешь узкоместными по своему смыслу, замкнутыми в границах одной только белорусской литературы. Посвященные Отечественной войне, они выражают общий для советского народа дух героического сопротивления фашистскому нашествию, передают трагизм и жестокость обстоятельств, в которых приходилось человеку-воину исполнять свой долг.

Произведения Василя Быкова вообще уже давно воспринимаются в ряду глубоких, философски насыщенных созданий советской военной прозы, способных возвысить локальное, частное до уровня общечеловеческого. Именно эта редкостная способность закономерно проявилась в творчестве белорусских писателей-фронтовиков.

На земле, целиком захваченной фашистами и оставшейся непокоренной, пережившей трагедию последовательного истребления и оказавшей в этих условиях исключительно упорное и мужественное сопротивление, должна была сложиться и сложилась в послевоенные годы особенно сильная батальная и антифашистская литература. И в рассказах Василя Быкова и Янки Брыля присутствует это особое, выстраданное писателями военного поколения историческое качество белорусской прозы.

Сложная общественно-психологическая проблема поставлена в рассказе латышского писателя Эвалда Вилкса «В полночь» (1968), также входящем в ряд антифашистских произведений советской литературы. Как и рассказ Я. Брыля, он напоминает о временах оккупации и хозяйничанья немцев на латышской земле. Но у Э. Вилкса собственный взгляд на события не столь давней истории. В записной книжке писателя, лежащей на его рабочем столе, сохранилась короткая запись: «Валка. Осень 1941 года. Хозяин отвез своего пастуха полицаям... Человек, каким ты будешь завтра, послезавтра, в недалеком будущем?»

Рассказ «В полночь», собственно, и является исследованием поставленного вопроса. Исследование начинается с факта: как, почему, при каких обстоятельствах крестьянин Оскар Крукликс отвез на гибель мальчишку-еврея, работавшего у него пастухом? Автора занимают не общие определения того, что такое фашизм, — он их знает — а кажущаяся простота и чудовищная обыденность случившегося. Ведь Оскар

Крукликс не был антисемитом. Он не был извергом. Ему даже по-своему было жаль мальчишку. К тому же он терял послушного работника. И все же Крукликс поступил так, а не иначе. Он всегда был собственником. Он всегда оберегал себя и старался приспособливаться к любой власти. Он не хотел ничем рисковать из-за какого-то там мальчишки. Он надеялся отсидеться в своем углу, что бы ни происходило в большом и беспокойном мире. Но Оскар Крукликс не уберег ни отцовского хутора, ни своей семьи, ни самого себя. Он сам однажды в отчаянии наложил на себя руки — повесился на суку березы недалеко от дома.

Свою невеселую историю Э. Вилкс назвал рассказом «с привидениями». Автор вызывает своих героев на очную ставку из небытия, предоставляя возможность каждому откровенно сказать о себе и мотивах своих поступков. Но, оказывается, ни оправдания, ни объяснения нет у человека, подавляющего в самом себе человеческое. Исследование того, каким может и каким должен быть человек, дает повод рассказчику для более широких философских размышлений и прямого диалога с особой персоной его рассказа, которая зовется по-латышски Вэстуре — История. Углубление исторического чувства, сознание причастности судьбы человеческой и судьбы народной ко всеобщей истории становится одним из объединяющих мотивов многонационального советского рассказа.

Познание человека в его истинной нравственной сущности — сложный процесс, и национальная самобытность рассказа не в последнюю очередь определяется тем, насколько оригинален внутренний художественный ход писателя к своему герою. Рассказ Гранта Матевосяна «Алхо» (1965) с этой точки зрения может считаться образцовым. Он сохраняет ощущение национальной жизни как целого в ее контрастах и противоположностях, хотя сосредоточен на частных и повседневных ее обстоятельствах.

Писатель не торопится опознать человека с первого взгляда и по первому шагу. Характер хитрого и своекорыстного Гикора открывается постепенно во всех своих явных и тайных свойствах. Гикор, собственно, не совершил ни одного наказуемого поступка. Он только взял у своего соседа старую лошадь Алхо, чтобы доставить на ней ры-

ночный груз из отдаленного горного поселка в город. Свою собственную сильную лошадь Гикор пожалел гонять с такой тяжелой поклажей. И только состарившийся Алхо, прошедший вместе с Гикором мучительно трудную горную дорогу, остался бессловесным свидетелем каждого шага и каждого побуждения этого жестокого и низменного человека.

Мастерство рассказчика проявилось в том, как точно сопоставлены и соединены в сюжете ощущения надрывающейся рабочей лошади Алхо и действия ее безжалостно-равнодушного погонщика. Отношение временного хозяина к лошади оказывается своего рода мерилем нравственных качеств человека. Гранту Матевосяну хорошо знакомы приемы развертывания реальности, использованные в классических рассказах о животных (достаточно вспомнить толстовского «Холстомера» или чеховскую «Каштанку»). И вместе с тем в своем рассказе он совершенно самостоятелен.

Армения в «Алхо» узнается сразу по резким и характерным подробностям национального быта, сельского и городского, который открывается своими разными сторонами на протяжении описанного маршрута. И природа Армении запечатлена в рассказе с не меньшей силой, хотя она возникает только в отрывочных описаниях дороги. Сочувствие и сострадание писателя к Алхо и его возрастающая неприязнь к Гикору создают истинную, сложную и объемную по смыслу авторскую концепцию жизни.

Две разные судьбы и два противоположных характера сопоставлены в рассказе Пауля Куусберга «Ржавая лейка» (1970). Тут понадобился особенный угол зрения, чтобы глубже проникнуть в сущность двух социальных типов, сформировавшихся на эстонской национальной почве. Сквозь внутренний монолог одного, не слишком привлекательного героя в рассказе П. Куусберга выступает другое, по-настоящему положительное лицо, и это неожиданное соотношение первого и второго планов делает более контрастным каждый характер, а вместе с тем и собственную мысль автора, ради которой был написан рассказ.

Особый характер двухтомного издания рассказов советских писателей в «Библиотеке всемирной литературы» предопределил весьма строгий принцип отбора отдель-

ных произведений из многих и многих литератур народов СССР. Отказавшись от попытки объять необъятное и представить рассказы, написанные на всех языках и наречиях, звучащих в советской литературе, издательство ограничило рамки антологии лишь наиболее характерными и выразительными образцами. Объединенные вместе, они дают возможность отчетливее представить общую картину жанра, как она складывалась от одного десятилетия к другому. Советский рассказ в этом отношении может быть уподоблен сложному многокрасочному узору, в котором перекрещиваются и взаимодействуют разнообразные национальные особенности и мотивы. Становится еще более очевидно, что в литературе, одушевленной общими социалистическими идеалами, ничто не замкнуто друг от друга. При всей неповторимости своего искусства ни один народ не создавал крупных художественных ценностей в изоляции от остального мира. Более того, подлинная самобытность сама есть определенный исторический сплав соприкасающихся традиций, культурных влияний, через которые усваивается всемирный художественный опыт. Общий интернациональный дух и национальная оригинальность содержания и формы характеризуют советский рассказ как целое.

6

Перед авторами большого и представительного издания «Советского рассказа», выведенного на орбиту всемирной литературы, не в последнюю очередь возникал, конечно, вопрос о том, что такое рассказ по своей жанровой природе. Для составителя двухтомника этот вопрос, думается, заключал в себе сугубо практическую проблему, без уяснения которой зыбким оставался первый исходный принцип отбора — как различить рассказ и не рассказ в творчестве того или иного писателя, принадлежащего к одной из многих национальных литератур. Надо сказать, что с практической стороны эта проблема обычно решается без чрезмерных затруднений, так как у каждого литератора есть свое рабочее представление о том, что можно считать рассказом, и это эмпирическое представление (с учетом авторского обозначения жанра) оказывается чаще всего достаточным. И в новой антологии, кроме двух-трех, на мой взгляд, ошибочных и не-

скольким спорным решений, в основном выдержан общий жанровый принцип.

Сложнее оказалось сформулировать этот принцип теоретически. Автор вступительной статьи «О нашем рассказе» Сергей Антонов решил на этот раз ограничить понятие жанра всего лишь одним главным признаком. «Что такое рассказ? Точный ответ найти не просто, — пишет С. Антонов. — Попытки отгородить понятие «рассказ» от понятия «новелла» или, скажем, короткая повесть оказывались бесплодными. Ясно одно: рассказом называют короткое произведение художественной литературы. Такая формулировка не утверждает ни особое строение, ни наличие или отсутствие вымысла. Она подчеркивает главное свойство, отличающее рассказ от других литературных жанров, и определяет его особые качества. Это главное свойство — краткость».

Следует заметить, что Сергей Антонов, один из признанных наших рассказчиков, довольно давно и с успехом выступает также как теоретик излюбленного им жанра. Его последняя книга «Я читаю рассказ» (1973) содержит в себе немало тонких наблюдений и размышлений об искусстве рассказа. В этой книге С. Антонов, между прочим, заметил, что общепринятое определение рассказа как «небольшого произведения, посвященного отдельному событию в жизни человека, слишком общо».

Но разве не так же общо определение рассказа как короткого произведения художественной литературы? Или заявление о том, что главное свойство рассказа — краткость? Такого рода определения дают слишком мало; они хотя и верны, но недостаточны даже для той цели, какую выполняет обычно вступительная статья, предупреждающая читателя о характере и составе определенного издания.

Впрочем, Сергей Антонов написал не ординарную вступительную статью, а литературное эссе о нашем рассказе, освободив себя в некоторых случаях от специальных проблем и рассуждений. Одной из целей этого эссе является обоснование такого взгляда на рассказ, который позволяет подводить под это понятие почти все явления короткой прозы. Составитель антологии широко пользовался таким подходом и встретил со стороны автора вступительной статьи очевидную поддержку. Между тем и с практической стороны и со сто-

роны теоретического освещения проблемы здесь возникают некоторые сомнения и вопросы, остающиеся неразрешенными.

Начнем с главного свойства, которое, по мнению С. Антонова, отличает рассказ от других литературных жанров, — краткости. Оказывается, что и это свойство является весьма и весьма относительным. Вот несколько примеров из рецензируемого издания.

На общих правах в первом томе антологии оказались почти рядом бытовая сценка Кузьмы Чорного «Ночлег в деревне Синеги» (1927) размером в две страницы и рассказ Алексея Толстого «Гадюка» (1928) объемом около двух печатных листов. По существу, это разные в жанровом отношении произведения — лирическая миниатюра в одном случае и длинный рассказ (или короткая повесть) в другом. Не уверен, что их следует объединять одним общим понятием «рассказ»; жанровые законы этих произведений, во всяком случае, совершенно различны.

Во втором томе тоже соседствуют большой рассказ В. Богомолова «Иван» (1957), превышающий по объему (около трех печатных листов) иную повесть, и короткая документально-мемуарная зарисовка Василия Субботина «Высота» (1960) размером ровно в страницу. Эта страница — свидетельство о том, как на рейхстаге в мае сорок пятого было установлено Знамя Победы.

Если главное свойство рассказа — краткость, можно ли утверждать, что «Высота» В. Субботина, например, более соответствует жанровой природе рассказа, чем произведение В. Богомолова «Иван»? Думаю, что такое заключение было бы неосновательным. Каждое из названных произведений имеет свою меру и свой масштаб. В одном случае необходима предельная лаконичность, в другом — исчерпывающая обстоятельность описания своего предмета.

Рассказ как жанровая форма никак не может быть определен только с количественной стороны. Есть ведь и другие жанры короткой прозы: анекдот, притча, стихотворение в прозе, зарисовка, страница из дневника, записки и т. д. Они нередко соседствуют с рассказом, но не равны ему. Все эти разновидности малой прозы в принципе еще более компактны, сжаты; иной раз отрывочны, эскизные и в качестве

художественных «мелочей», пусть даже выполненных с большим искусством, не претендуют на большее, чем могут дать.

Нужно принять во внимание и то, что короткие юморески, лирические миниатюры, стихотворения в прозе, записки и пр. чаще всего существуют гроздьями, циклами и воздействуют на читателя не «штучно», а в определенном подборе, как художественная мозаика, составленная из отдельных разноцветных камней. Поэтому миниатюра, извлеченная из своего ряда, теряет обычно в силе художественного воздействия по сравнению с отдельным законченным и совершенно самостоятельным рассказом.

При определении жанра уместнее ориентироваться не на периферийные явления, малосопоставимые друг с другом, а на его ядро, то есть наиболее устойчивые и характерные формы. В этом случае из двухтомного издания «Советский рассказ», возможно, пришлось бы исключить одну-две небольшие повести, сверх ожидания сюда попавшие, а также несколько миниатюр и за счет этого ограничения расширить и укрепить основной корпус издания некоторыми из тех рассказов, которые назывались выше.

Как ни широк спектр рассказа в его многочисленных разновидностях, он имеет свои пределы и существует в определенной системе жанров, характерных для художественной прозы той или иной эпохи. Первой главе своей книги «Я читаю рассказ» С. Антонов предпослал в качестве эпиграфа веское мнение Сомерсета Моэма: «Рассказ — произведение, которое читается в зависимости от его длины, от десяти минут до часа и имеет дело с единственным, хорошо определенным предметом, случаем или цепью случаев, представляющих собой нечто цельное. Рассказ должен быть написан так, чтобы невозможно было ничего ни добавить, ни убавить».

Достаточно свободно оценивая возможные размеры рассказа. Мозм подчеркнул главную, качественную сторону проблемы: рассказ — это прежде всего нечто цельное, и единство рассказа по самой его природе достигается на иной, более замкнутой и локальной основе, чем это свойственно повести или роману. Рассказ имеет дело с единственным, четко обозначенным предметом (но вовсе не обязательно одним лицом или

одним случаем); роман выясняет соотношения нескольких или многих предметов; переходные формы повести могут быть весьма разнообразны.

Законченная форма рассказа — при всех оттенках жанра — ставит перед художником весьма строгие внутренние условия. И это хорошо сознавали крупнейшие наши рассказчики. В статье «Что такое маленький рассказ» Алексей Толстой не случайно вспомнил о сюжете как «массовом анекдоте», в котором он видел «ключ к раскрытию какого-то социального противоречия».

«Сюжет, — писал он, — как всякий анекдот (опять подчеркиваю — анекдот не как игра слов, но как предельный по лаконизму рассказ о столкновении фактов), не может мыслиться только как причина и следствие, действие и результат, сила, приложенная к данной среде, и вытекающие отсюда последствия и т. д. В сюжете всегда должна быть запятая и «но». К данной среде прикладывается сила, но возникает противосила и получается неожиданный (или заранее обреченный, роковой) результат. Элемент неожиданности, или — в другом случае — обреченности, и составляет соль анекдота — сюжета».

По аналогии с поэтикой анекдота, синтаксис которого обычно включает в себе остроумное противоположение, Алексей Толстой рассматривал и законченную форму новеллы или маленького рассказа. Обращаясь к этой форме, рассказчик обязан оставаться лаконичным, как поэт в сонете, но «лаконичность должна получаться от концентрации материала, от выбора только самого необходимого. Архитектонически новелла должна быть построена с запятой и «но». Должна быть законченным произведением. Новелла — лучшая школа для писателя».

Как самостоятельный жанр рассказ сформировался исторически не только в очевидном противостоянии большим формам прозы — повести и роману, но выделился и в системе родственных малых жанров, где, например, он имеет особые художественные функции рядом с очерком и отличается от него структурно. Здесь не место выяснять достаточно сложную теоретическую проблему об отношении очерка и рассказа (попытка анализа этой проблемы была предпринята мною в книге «Современный рассказ», Л. 1969); надо лишь отметить, что

эта проблема существует, причем не только в теоретическом аспекте.

Первый том антологии «Советский рассказ» несколько неожиданно завершает знаменитый очерк Валентина Овечкина «Борзов и Мартынов» (1952), положивший, как известно, начало большому очерковому повествованию.

Сам В. Овечкин не сомневался в том, какого рода произведение и в какой жанровой форме он написал. «Очерку нет пока продолжения, — откровенно признавался автор, — так как пишется он почти с натуры. Он, может быть, вырастет и в повесть, но для этого необходимо развитие событий в жизни. Я встречаю таких людей, слышу такие споры, как у Мартынова с Борзовым, в одном районе.

Какие решения примет обком об этом районе, как пойдут там дела дальше, как повернутся личные судьбы людей, представленных читателю в первых главах очерка, — все это нужно еще понаблюдать в жизни. Возможно, это и будет содержанием следующих глав».

Валентин Овечкин выполнил свое намерение: за первыми главами очерка последовали другие — и в течение нескольких лет возникла замечательная в своем роде очерковая книга «Районные будни», имевшая для 50-х годов крупное литературно-общественное значение. Очерк «Борзов и Мартынов» обладает безусловно выдающимися литературно-публицистическими достоинствами, но есть ли основания превращать его по этой причине в рассказ и даже включать в соответствующую антологию?

Сергей Антонов почему-то считает такую натяжку вполне возможной. «Любопытно, — пишет он, — что некоторые вещи В. Овечкина, ориентированные на очерк, с течением времени превратились в полноценные рассказы (например, «Борзов и Мартынов»).

На самом деле, конечно, никакого превращения очерка в рассказ «с течением времени» не произошло. Многие лучшие вещи В. Овечкина были не просто «ориентированы» на очерки, а являются очерками в точном и содержательном смысле слова. Очерк «Борзов и Мартынов», в частности, принадлежит к числу классических произведений советской очерковой литературы и вполне заслуживает быть включенным в

антологию, но только не в ту, к которой написал свое предисловие Сергей Антонов.

За подменой жанровых понятий в данном случае скрывается если и не высказанное, то достаточно распространенное мнение, что рассказ, мол, выше, «полноценнее» очерка и поэтому, перетягивая произведение из одной жанровой рубрики в другую, мы тем самым будто бы поднимаем его в ценностной иерархии с нижней ступеньки на более высокую. Мнение это является ошибочным, и как раз Валентин Овечкин сделал особенно много, чтобы утвердить полную эстетическую суверенность очерка в современной художественной прозе.

Без должных оснований, на мой взгляд, включен в первый том «Советского рассказа» и очерк Ивана Катаева «Бессмертие» (1934). Это хороший производственный очерк о судьбе изобретателя слесаря Бачурина на нефтяных промыслах в Грозном; все атрибуты очерка тут налицо, так что не приходится говорить даже о промежуточной форме очеркового рассказа, встречающейся в практике некоторых писателей.

Многонациональный советский рассказ достаточно богат, чтобы все его существенные тематические и стилевые линии были выявлены в его собственных границах без произвольных «прирезок» за счет родственных или сопредельных жанров. Историческая панорама, развернутая в двухтомной антологии «Советский рассказ», безусловно подтверждает этот вывод. Отдельные полемические замечания, возникающие при обзоре состава двух капитальных томов «Библиотеки всемирной литературы», не меняют общей оценки этого издания как замечательного по своему факту нашей художественной жизни.

Создание такой антологии — задача во всех отношениях трудная. Я бы сказал, что составление подобного свода рассказов относится к классу задач высшей сложности. Составителю издания И. Н. Крамову пришлось перебрать практически неограниченное количество вариантов, чтобы из всей россыпи жанра выбрать наиболее талантливое, весомое, характерное, что было создано нашими рассказчиками более чем за полвека развития советской литературы. Пусть некоторые решения при этом оказались спорными и в составе двух томов есть что убавить и прибавить — в це-

лом же идея антологии советского рассказа в его всемирном звучании осуществлена весьма обдуманно, взвешенно и фундаментально. В отборе произведений явственно ощутимы высокие внутренние критерии, совершенно необходимые в изданиях такого рода. Требования вкуса тут сочетаются и с широкой осведомленностью, и с отчетливым пониманием особенностей исторического формирования жанра в его разнообразных национальных гранях. И хотя избранные рассказы советских писателей не раз объединялись в одном издании (например, двухтомный сборник «В семье великой», 1972), последняя антология по своему характеру, объему и разнообразию произведений пока что не имеет себе равных.

За немногими исключениями в два тома «Библиотеки всемирной литературы» вошли произведения глубокого звучания, дающие отчетливое представление об идейно-стилевом богатстве и разнообразии советского рассказа, а также главных вехах его исторической эволюции почти за шестьдесят лет. Художественные своды такого рода укрепляют сознание реального единства литератур народов СССР, выступающих в гармоничном содружестве как одно целое перед всем миром. В год шестидесятилетия Октября, являющегося также праздником шестидесятилетия советской литературы, особенно уместно сказать доброе слово об этой летописи жизни народной, созданной нашими лучшими рассказчиками



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Рамз Бабаджан. Творческая эстафета поколений. — **Михаил Кузнецов.** Смертью храбрых. — **В. Абачиева.** Остался молодым. — **Д. Тевенелян.** «...пишите то, что есть».

ПОЛИТИКА И НАУКА

Ю. Каграманов. О ясонах, тиресиях и других.

Литература и искусство

ТВОРЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Рукопожатие. Сборник произведений писателей стран Азии и Африки. Ташкент. Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 1976. 333 стр.

Осенью минувшего года в Ташкенте проходила конференция молодых писателей Азии и Африки. По характеристике члена-корреспондента Академии наук СССР Н. Федоренко, она «явилась первой конференцией первого поколения свободы. Свободы, обретенной в результате завоевания борющимися народами этих континентов своей независимости, в результате избавления от векового колониального угнетения».

Ташкентскому форуму молодых предшествовала кропотливая работа писателей старших поколений по сплочению литературных сил азиатского и африканского континентов. В результате этой работы в 1958 году писатели тридцати семи стран Азии и Африки, собравшись в Ташкенте, учредили новую литературную ассоциацию. Основатели Ассоциации — крупнейшие художники двух великих континентов Земли — оптимистически заявили тогда: у этого движения большое и славное будущее. Сегодня, оглядываясь на путь, пройденный Ассоциацией, можно с полным основанием утверждать: да, у этого многонационального литературного движения прекрасное, надежно обеспеченное будущее. Но у него

уже есть и свое плодотворное прошлое — свои успехи, победы и завоевания.

Красноречивое свидетельство этому — недавно выпущенный в Ташкенте сборник «Рукопожатие». Хочу подчеркнуть, что эта своеобразная антология появилась в те дни, когда в том же Ташкенте, где девятнадцать лет назад были заложены организационные основы Ассоциации писателей стран Азии и Африки, в том же зале проходили заседания первой конференции молодых писателей этих стран. В ходе оживленной, насыщенной и серьезной мыслью и юношеской страстью дискуссии, длившейся десять дней, с очевидностью обнаружилось: дело литературных предшественников подхвачено ныне молодыми писателями и «дух Ташкента» — те идеалы, что вдохновляли когда-то фундаторов Ассоциации, священны и для молодых мастеров культуры, талантливых представителей молодых азиатских и африканских литератур. Обнаружилось и другое: не возрастные различия, не пресловутый конфликт поколений размежевывают литераторов и литературы. Основа размежевания иная. И, говоря о нем, мы должны пользоваться категориями совершенно иного порядка — классовыми, по-

литическими, нравственными. Подтверждением этой истины служит и сборник «Рукопожатие», полифонически вобравший в себя голоса многих и многих афро-азиатских писателей — и маститых, уже давно заявивших о себе в литературе, и тех, кто сегодня лишь начинает свой творческий путь.

Среди авторов сборника — известные всему миру борцы за свободу и независимость своих народов, те, кто не только пером, но и с оружием в руках, как народные вожаки и избранники, сражались против империализма и колониализма: заирец Патрис Лумумба, гвинец Ахмед Секу Туре, аголец Агостино Нето. Стихами и небольшими поэмами, рассказами и фрагментами романов представлено в книге творчество литераторов — лауреатов премии «Лотос»: алжирца Катоба Ясина, вьетнамцев То Хоая и Тху Бона, индийца Хариваншрая Баччана, кенийца Джеймса Нгути, поэта из Мозамбика Марселино Душ Сантуша, Сономына Удвала из Монгольской Народной Республики, нигерийца Чинуа Ачебе, замечательного пакистанского поэта Фаиза Ахмад Фаиза, палестинских писателей Махмуда Дервиша и Гассана Канафани, наших соотечественников Зульфийи и Анатолия Софронова, сенегальца Сембена Усмана, прозаика из ЮАР Алекса Ла Гумы.

Со страниц «Рукопожатия» звучит живое и вдохновенное слово ветеранов афро-азиатского литературного движения — египтянина Юсефа ас-Сибай, индийских писателей Саджада Захира и Субхаса Мукерджи, нашего верного друга покойного Назыма Хикмета, известных на всех континентах Земли То Хью, Абд ар-Рахмана аль-Хамиси, Азиза Несина и Питера Абрахамса. А рядом с ними звучат голоса молодых — вьетнамца Нгуен Шанга, Атукева Окая из Ганы, малийца Гауссу Диавары, Окота П'Битека и Энрико Серумы из Уганды.

Само собой разумеется, что стихотворение или короткий рассказ, включенные в сборник, не дадут читателю достаточно полного представления о творческом своеобразии того или иного автора. Да, собственно, такой задачи составитель и редколлегия сборника перед собой и не ставили. Их задача заключалась в другом: из великого множества и разнообразия произведений современных писателей двух

континентов отобрать и представить такие, чтобы читателям стали понятны основные проблемы, которыми живет в наши дни прогрессивная литература азиатских и африканских стран, главный герой этой большой многоязыкой литературы — человек из народа, сам народ. И этой цели составитель и редколлегия достигли.

Красной нитью проходит через сборник тема борьбы за свободу и национальную независимость, борьбы за изгнание ненавистных народу чужеземных эксплуататоров, тема политического и нравственного разоблачения колонизаторов. Снова и снова на различном жизненном материале, в зримой конкретности несходных национальных, географических и исторических примет, особенностей, обстоятельств вскрывают авторы всю реакционную сущность расизма, его низость и бесчеловечность. Об этом пишут в коротком рассказе «Бурский трек» известный южноафриканский прозаик Питер Абрахамс и его соотечественник Алан Пэйтон в трагической зарисовке «Жизнь за жизнь». Та же тема звучит в рассказе кенийца Джеймса Нгути «Ньюороге». Вдохновенно и страстно разоблачает расистскую идеологию и практику, призывает покончить с колониализмом пламенный стих Патриса Лумумбы:

Африканец! Ты жил во мраке,
словно зверь в западне бездонной,
и столетья, словно капканы,
жадно сдавливали тебя.
Для своих галачей ты строил
золотые дворцы, где стены
полированы были кровью,
бессловесной кровью твоей.

.....
День настал. Об этом мечтали
наши предки ночами пыток.
От горячих лучей свободы
Испаряется море слез.
Встань, мой брат! Ты увидишь Конго,
Конго, сердце Африки черной,
молодую родину нашу,
неподвластной чужим рукам.

Характерно, что образ рассвета, утренней зари, рожденья нового дня, так удачно использованный здесь Лумумбой, часто встречается и у многих других азиатских и африканских поэтов.

В этом пламени грозном
рождается
завтрашний день.

.....
Над немой вереницей
безрадостных лет,

над ночами
предательства,
рабства и пыток
занимается
нашей свободы рассвет, —

пишет алжирский поэт Катеб Ясин. И на свой лад, в своей особой манере вторит ему японец Фудэ Фудзибара:

Пусть услышат наш клич
все, кто верит в победу,
все, кто видит зарю
обновленного мира...

Можно утверждать, что абсолютное большинство стихов и рассказов, включенных в сборник, одухотворены и согреты чувством гордой и светлой любви их создателей (порой весьма далеких между собой географически) к своей родине. В одних случаях оно звучит открыто, находит прямое, даже подчеркнутое словесное выражение; в других — угадывается в общей атмосфере произведения, в интонации автора, в той искренней, теплой симпатии, с какой он рисует характер, судьбу своего соотечественника, угадывается в картинах безотрадного прошлого и приметах наступающей нови, в бытовых сценках или даже неприхотливом пейзаже. По-особому остро и патетично раскрывается тема родины, звучит решимость, не жалея сил, бороться за ее свободу и счастье в устах палестинского поэта Махмуда Дервиша:

Родина!
Железо учит меня
Ярости коршуна и огня...

Родина! Наша любовь — погибель,
На душах наших песен — засов.
Сердце, стесненную грудь покинув,
Бежит на твой зов,
Но на твоих холмах в безжалостном
свете дня
Открытых ран кричащая боль.

Как далек выраженный здесь мужественный подъем патриотического чувства от традиционной пассивно-умилительной созерцательности и сострадательных вздохов восточной поэзии прошлого! Махмуд Дервиш поэтизирует патриотизм активный, действенный, питающий собой героику подвига и жертвы во имя родины. Ведь любить свою родину и желать процветания родному народу значит бороться, значит, как пишет о том поэт и боец Агостиньо Нето,

смеяться под пыткой,
быть стойкими,
твердыми,
сильными,
зло презирать,
воспитывать смелость
и бодрость вливать
в ослабевшие жилы.

Тема гражданской ответственности, личного долга каждого перед своим народом и родиной, перед грядущими поколениями и собственной совестью звучит как бы в едином — высоком и строгом — регистре на разных, подчас далеких друг от друга меридианах нашей планеты.

Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так кто же здесь
рассеет тьму?—

обращается к людям, взывая к их мужеству, замечательный турецкий поэт-коммунист Назым Хикмет. И словно эхом с другого конца планеты откликается на этот призыв японский поэт Фудэ Фудзибара:

Ты не должен молчать!
Промолчишь —
от себя отречешься.
.....
Ты не должен молчать!
Промолчишь —
и под пулей бесславно погибнешь!
Ты не должен молчать!

Характерно, что чем шире разрастается в прогрессивных афро-азиатских литературах тема борьбы за национальное и социальное освобождение, за новую жизнь и нового человека, тем чаще обращаются писатели этих стран к образу Ленина, к мысли о нашей социалистической родине, о Москве.

О посещении Ленинских Горок пишет То Хью (Вьетнам). Марселино Душ Сантуш из Мозамбика с именем Ленина связывает крутой и благотворный перелом в истории человечества. К Ленину, революционной России обращается в раздумьях о будущем своей порабощенной, страдающей родины писатель из Южно-Африканской Республики Алекс Ла Гума. «Песню о Москве» слагает египтянин Абд ар-Рахман аль-Хамиси:

Москва!
Ты геревязала
глубокие наши раны
в горный,
кровавый час.

Москва!
Ты веру в победу,
и волю к сопротивленью,
и силу вдохнула в нас.
Никогда не забудем тебя,
помощь твою,
дружбу твою.

Из этих искренних, взволнованных строк видно, насколько высок в глазах современных прогрессивных писателей стран Азии и Африки авторитет советской страны и ее народа, претворяющего в жизнь заветы великого Ленина.

Сборник дает наглядное представление о том, чем живут, за что борются современные демократические литературы народов Азии и Африки. Необходимо отме-

тить высококвалифицированную, тщательно и любовно проделанную работу составителя сборника Валентина Семенова, редакционной коллегии, многих талантливых переводчиков. Хочется думать, что этот удачный опыт найдет продолжение и откроет возможность еще более широкого ознакомления советских читателей с последними достижениями прогрессивных литератур Азии и Африки. А интерес к ним в нашей стране велик и растет с каждым годом.

Рамз БАБАДЖАН,

лауреат Государственной премии СССР.

Перевел с узбекского Г. МАРЬЯНОВСКИЙ.



СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ

Строка, оборванная пулей. Московские писатели, павшие на фронтах Великой Отечественной войны. М. «Московский рабочий». 1976. 703 стр.

Книга о погибших. О писателях, павших смертью храбрых на войне. Ушло их на фронт больше тысячи. Убито — свыше четырехсот. Москвичей — восемьдесят один.

...Дело было начато лет пятнадцать назад. Военный журналист Петр Корзинкин, человек неукротимой энергии и большого благородства души, стал собирать материал для книги, которая получила название «В редакцию не вернулся...». Это были очерки, документы, воспоминания о писателях и журналистах, погибших в боях. Из одной книги выросло три. Ныне уже нет в живых Петра Корзинкина, но славное и святое дело продолжает его дочь З. Корзинкина, она вместе с А. Коганом — редактор-составитель этой книги. Книги о тех, кто не вернулся и в редакцию и в роты и батальоны, погиб в фашистских застенках, пропал без вести, о тех, чьих могил мы никогда не найдем...

Конечно, составители не могли не повторить (и это было необходимо!) часть уже напечатанного. Скажем о Е. Петрове, Ю. Крымове, И. Уткине, Б. Лапине, З. Хацревине, С. Диковском и других. Но многое тут читатель прочтет впервые, ибо работа была проделана огромная — подняты архивы государственные и частные, привлечены к этому делу члены семей писателей-фронтовиков, учтены в большинстве случаев публикации последних лет, составлена библиография...

И вот тщательно подготовленная и собранная, любовно составленная, иллюстрированная фотографиями и отрывками из произведений погибших писателей (и не только поэтов, а и прозаиков и, что необычно, критиков и литературоведов) книга эта воистину потрясает — не побойсь высоко-го стиля этого определения.

И пусть уже многое написано о подвиге литературы в дни войны (и в академической и других историях советской литературы, в томах «Литературного наследства», во многих специальных исследованиях), все равно эта книга — как удар в сердце. В ней правда, которая и сегодня кровотоцит. Писать о такой книге безмерно трудно. Поэтому я отступаю от привычных канонов рецензий.

...Начало августа сорок первого, лес где-то западнее Вязьмы. Мы только что переброшены сюда с юга. Мы — кадровые, те, кто начал службу в армии еще до войны, те, про которых шутят: «У них обмундирование к мослам притерто». Мы хлебнули солдатской жизни и уже повоевали дней сорок — с конца июня... Но здесь, на Западном фронте, еще новички, стоим во втором эшелоне, соседей пока не знаем. Внезапно прибегают двое бойцов и докладывают:

— Десант!

То было модное в те дни словечко, требовавшее немедленных и решительных действий. Бросились к опушке и видим: на

лугу совершенно открыто вокруг огромного котла, стоявшего прямо на земле и обложенного горящим хворостом, копошились подозрительные люди. Вместо привычной нам полевой кухни на двух колесах незнакомцы варили пищу в каком-то «штатском» котле. На них были ботинки с обмотками, но гимнастерки и брюки какого-то невиданного сиренево-серого цвета. Наконец, явно не наши винтовки — длинные-предлинные, чуть ли не в человеческий рост. Десант, явно десант. Атаковать!

Но отличиться нам не удалось. Внезапно все выяснилось — никакие это не десантники, а свои, и даже москвичи. Только воинская часть их зовется странно и чуть зловеще — ДНО. Что означает дивизия народного ополчения. Так мы впервые услышали это слово и увидели, что за ним стоит. А стояли, на наш взгляд (двадцатилетник!), «очень старые дядьки». Одели их и вооружили тем, что оказалось под рукой. А еще было сразу видно, что к солдатской жизни они не приучены. Они были не только необстрелянные, а еще и необученные. Мы было возгордились и стали рассказывать про бои, в которых участвовали. Они слушали более чем внимательно, потом мы поняли — примеряли к себе. И как-то незаметно стало утихать наше иронически-покровительственное отношение к «старым дядькам». Что-то было в них трудноуловимое, но внушающее уважение. Наверное, прежде всего то, что они добровольцы и многие по-возрасту и здоровью не должны были быть на фронте. Но было еще и то, что сегодня мы бы назвали аурой, некой эманацией интеллигентности, излучением какой-то пронзительной ясности духа, словно бы провидели они уже свою трагическую судьбу...

Так и запомнились они тогда — и своей трогательной незащищенностью, неприспособленностью к войне, и неким парением духа.

Я почему об этом вспомнил? Да потому что сочетание слов «Вязьма, осень сорок первого» — как черная зарубка в памяти советской литературы. Из восьмидесяти одной биографии писателей-москвичей приведенной в книге, добрая треть обрывается там, под Вязьмой. Поэт Александр Чачиков и прозаик Ефим Зозуля, редактор Василий Бобрышев и литературовед Александр Роскин... И еще, еще, еще. Список горестно ве-

лик. Возможно, остались там навеки и те, встреченные нами августовским утром... «Строка, оборванная пулей» скупко сообщает — «погиб смертью храбрых», «последний раз его видели в октябре сорок первого»...

В семьдесят восьмом томе «Литературного наследия» есть воспоминания М. Гершензона (он погиб позднее — в августе 1942-го) «Семнадцать дней» — о трагедии под Вязьмой. Это документ поразительной силы. Есть и другие ценные воспоминания. В давней уже картине В. Ордынского «У твоего порога» (сценарий С. Нагорного) есть несколько прекрасных кадров о московском ополчении. Но нет, до сих пор еще нет произведения Большой Литературы, достойного этого благороднейшего подвига. И книга «Строка, оборванная пулей» многими и многими трагичными страницами вновь напоминает нам об этом не оплаченном еще долге.

Писатели-москвичи военных лет... Они были во всех самых горячих, самых драматичных точках Великой Отечественной войны. Они сражались там и просто как солдаты, с обычным оружием в руках, и как солдаты-литераторы. Под Ленинградом погибли юный Всеволод Багрицкий, А. Тарасов, П. Яльцев. Под Киевом и Харьковом, в земле братской Украины, лежат А. Гайдар и Ю. Крымов, Б. Лапин и З. Хащревин, Д. Алтаузен и М. Розенфельд и еще многие другие писатели-москвичи. Под Севастополем погибли А. Хамадан, В. Лосев, Е. Чернявский... Возвращаясь из Севастополя, погиб Евгений Петров, и как верно сказал Эренбург: «Огонь краснофлотцев как бы кидает свой отблеск на черную ночь, куда ушел от нас Петров. Свое имя он связал с Севастополем — для нас и для истории». В боях под Новороссийском пали смертью храбрых А. Луначарский и П. Коган. Под Сталинградом — М. Лузгин... Но больше всего под родной Москвой, на ближних и дальних подступах и даже просто на ее улицах, как А. Афиногенов, от вражеской бомбы...

В книге «Строка, оборванная пулей» раскрываются самые различные грани писательской жизни на войне. Тут и ополчение, и новые отношения между людьми, складывающиеся в армейской обстановке, и окопные будни, и тяжелая страда боев, и массовый подвиг, и последняя недописанная страница... А еще много, и это закономер-

но, о повседневной самоотверженной работе писателей в газетах — дивизионных, армейских, фронтовых и центральных.

Конечно, журналистика на фронте — далеко не самая опасная из военных профессий. И все же... Задумайтесь: более трети погибших, о которых говорится в книге, — военные журналисты. Они убиты при выполнении своего долга газетчика. Смерть не разбирала, кто перед ней — корреспондент ли центральной газеты или работник маленькой дивизионки. И так шло всю войну — от трагичного сорок первого, через сорок второй, и третий, и четвертый... А Александр Ясный, поэт, редактор дивизионной газеты, погиб в сорок пятом на берегу Одера, когда уже виднелись контуры долгожданной победы...

Это была огромная действенная сила — писательское слово на газетной полосе, доходившее до самых глубин солдатской массы. И тут я позволю себе еще одно отступление все туда же, в те годы...

Когда развернулись бои под Москвой, был я переведен в только что созданную редакцию армейской газеты. Туда же из дивизий народного ополчения была откомандирована большая группа писателей: П. Бляхин, А. Митрофанов, Н. Бобров, Ю. Лукин, П. Железнов, Д. Фибих, М. Гольдберг, И. Верцман... Тут воочию увидела я частицу того, что потом было названо великой сражающейся литературой.

То было время отчаянных оборонительных боев. Какая-нибудь дотла сожженная деревушка по пять раз на день переходила из рук в руки. И мы, газетчики, почти каждый день пропадали там, на передовой. И никому не было скидки ни на возраст, ни на литературное имя. Даже наоборот, пятидесятичетырехлетний П. Бляхин так и норовил сунуться в самое что ни на есть пекло, редактор наказывал нас следить за ним и всячески оберегать. А вечером после трудного боевого дня, быстро и, главное, кратко «отписавшись» в номер газеты, мы собирались у печурки, и тут шли страстные разговоры. Обо всем — прежде всего о том, как разбить врага, и о том, каков будет мир после победы. О том, как писать сегодня — чтобы жгло сердца. И какая нужна литература после войны... Однажды Александр Митрофанов произнес чудную речь о Москве, которую мы защищали... Такую взволнованную, импровизированную

речь, что даже мы, фронтовики, прослезались и не стыдились этого...

То была военная литературная среда, будто насыщенная электричеством, высоким волнением, страстью. В ней слилось все: и повседневное пребывание на передовой бок о бок со своими героями, и привычка к опасности, и глубокое сознание своей ответственности, гражданское сознание того, что твое писательское слово необходимо сейчас же, сиюминутно, как патроны, снаряды, танки и самолеты...

То, что писалось прямо на газетную полосу, было «утилитарно»? Да, но высоко, граждански утилитарно! И уже от таланта зависело, чтобы написанное оказалось необходимым не только сейчас, но и десятилетия спустя. И становилось, не раз ведь становилось! И какая это была общая радость, когда мы видели, что художественное слово прожигало солдатское сердце до дна, — высшая награда для писателя!

Помню, как я был горд и за Твардовского и за всю литературу, когда его «Геркин», главами печатавшийся во фронтовой «Красноармейской правде», так горячо принимался читателем. Помню, как один боец уверял и меня и всех, что Твардовский — рядовой, как Теркин, или на крайний случай старшина, иначе не понять ему вот так, до конца, до корешков, солдатскую жизнь...

Очень верно поступили составители книги «Строка, оборванная пулей», щедро включив в нее корреспонденции, стихи, заметки из записных книжек, письма с фронта, — в них дышит вдохновенная писательская жизнь военных лет. Ведь книга хотя и посвящена павшим, но она не о смерти, нет, — о жизни, полной высоких стремлений, горения, о творческой жизни, которую варварски оборвала пуля захватчиков...

И составители книги и авторы статей-воспоминаний стремились показать каждого человека многогранно, передать неповторимость его личности. В большинстве случаев это удалось. Ибо когда друг пишет о погибшем друге, дочь об отце, жена о муже, находятяся особые слова. «Высокий, крупный, черноглазый седой человек, неуклюжий от застенчивости, но музыкальный в этой своей неуклюжести, легко краснеющий, легко все понимающий, легко уходящий в свою скорлупу. — Этот трудный человек был мой отец» — так начинает свой рассказ дочь писателя Н. Роскина. И сквозь

точную документальность дат и событий повествования Нат. Соколовой о Павле Соколове слышна все та же неутраченная личная боль. Та же от сердца идущая интонация и в воспоминаниях Тимура Гайдара о своем отце, и во многих других материалах книги: когда И. Андроников пишет о своем друге Бенъямине Ивантере, и в отрывках из воспоминаний И. Эренбурга о Б. Лапине и З. Хацревшине, и в статье С. Наровчатова о своем друге Н. Майорове...

Еще одна мысль, рождающаяся с неизбежностью при чтении этой книги, — о невосполнимых наших утратах. Сколько убитых талантов, сколько неразвернувшихся могучих творческих возможностей, сколько угасших замыслов! Думаешь об именах известных, о писателях сформировавшихся, уже заявивших о себе в полный голос. И об этих молодых, чьи строчки так начинены надеждами на будущее, — Н. Майорове и П. Когане, М. Кульчицком и Н. Отраде, В. Лободе и Вс. Багрицком... Но говоря и о рядовых тружениках писательского цеха, ощущаешь все ту же горечь утрат самого дорогого — неосуществленных деяний человеческого духа. Горечь оттого, что не развернулось дарование Юрия Севрука, во время войны начавшего писать хорошие стихи; что ничего уже не опубликует скромный и тихий А. Гурштейн, чьи первые работы еще перед войной отличались точностью мысли и лаконизмом стиля; что не выйдут новые книги К. Кунина, столь привлекавшие нас и эрудицией и отточенностью фразы; что не появятся вдумчивые исследования о стихе В. Тренина... А сколько было рядом еще не ведомых никому талантов среди тех, кто не пришел с войны, талантов, так остро необходимых времени, народу.

Ходило в дни войны по рукам стихотворение Е. Аграновича «Мое поколение». Там были такие строчки:

Может, Костя Ракитин из всех симфонистов
 планеты
 Был бы самым могучим, осколок его
 не тронь.
 И Майоров и Коган — ведь были ж такие
 поэты!
 «Одиссею» бы создали, если б не беглый
 огонь!
 ...А наш Рембрандт лежит в медсанбате,
 Ампутацию правой без стога переноса.

Так оно и было. И боль от тех потерь не остывала до сих пор. Поэтому книга «Строка, оборванная пулей» не только память, не

только воспоминание. Она и предупреждение. Она страстный и гневный голос против войны.

При всех достоинствах книги, несомненно большой, внимательной и бережной работе ее составителей, оформителей (художник — С. Ганнушкина) мне хочется сделать несколько замечаний критических. Они тем более необходимы, что есть нужда в повторном издании — книга почти мгновенно исчезла с прилавков магазинов.

В тридцать пятую годовщину смерти Ю. Крымова мне вместе с группой писателей довелось быть на месте его гибели — в селе Богодуховка Черкасской области. И все, что мы там увидели, вызывало волнение самого высокого накала. Искреннее выражение большой народной любви к писателю, павшему за родину, ощущалось в торжественном сборе пионерского отряда имени Юрия Крымова, в пионерском почетном карауле у его могилы, любовно усаженной цветами, в школьном музее, где собрано все о писателе, сердечной обстановке торжественного собрания колхозников, посвященного годовщине гибели Ю. Крымова. Думаю, что о таких фактах народной любви к памяти павших писателей следовало бы сказать в книге. Тем более что пример с Крымовым не единичен.

Мне кажется, что книгу следовало бы дополнить именами Л. Вилкомира и Л. Шершера, поэтов-москвичей, героически погибших в боях. О них говорится в поэтических сборниках «Имена на поверке» и «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», тем более хотелось бы видеть их здесь. Обидно, что некоторые статьи подчас суховаты (о М. Серебрянском, к примеру). Вряд ли хорошо, когда один и тот же автор пишет о трех писателях (А. Глебов, скажем). Все это необходимо учесть при переиздании.

Закончить мне хочется словами из статьи о Николае Майорове. Там сказано, правда, о молодых поэтах, но, право же, слова эти относятся ко всем героям книги: «Недолюбили они... жизнь... Но страну свою они долюбили до конца. В этом они расписались уже не стихами, а кровью, хлынувшей из смертельных ран под Нарвой и Новороссийском, в Сталинграде и на Смоленщине. И Родина отдала их ответной любовью».

Михаил КУЗНЕЦОВ.

ОСТАЛСЯ МОЛОДЫМ

Михаил Молочко. Жил-был мальчишка... Минск. «Мастацкая літаратура». 1976. 287 стр.

Мише Молочко было двадцать лет, когда он погиб на войне с белофиннами. Тридцать семь лет прошло с тех пор, но для нас, его сверстников, он остался навсегда молодым, жизнерадостным, энергичным, полным сил и творческих планов. Вчитываясь, вникая сегодня в его дневники, статьи, письма, читатель почувствует в нем своего современника, ибо уже тогда он не только жил настоящим, но и будущим, он обладал чертами человека коммунистического завтра.

Мне повезло знать Мишу Молочко в студенческие годы. И хотя общение мое с Мишей было коротким по времени, а говорили мы чаще всего о своих близких, друзьях, о его родине — Могилеве, меня он всегда поражал глубиной, своеобразием, скромностью, какой-то особой жившей в нем человечностью. И это восприятие, окрашенное постоянной болью за так рано оборвавшуюся его жизнь, я храню в себе и по сей день.

В те далекие годы я не задавала себе вопроса, что сформировало Мишу таким, каков он был, недостаточно известен мне был и мир его студенческого окружения. Молочко учился в Московском институте истории, философии и литературы на филологическом факультете. Для нас, студентов Педагогического института, живших в общежитии по соседству с ифлийцами на Стромынке, представление о них связывалось с каким-то иным миром. Это было что-то вроде преклонения перед людьми, увлеченными литературой, тружениками — именно они всегда с неизменным упорством работали в читалке общежития; не скрою, что порой мы, девушки «просто из педагогического», побаивались общения с ифлийцами, особенно из числа тех, кто при первом же знакомстве озадачивал вопросом: любите ли вы Маяковского? Миша Молочко сумел своим вниманием, естественностью как-то сбить эту напряженность, установить взаимопонимание.

О себе Миша говорил мало и редко. И, видимо, даже близкие и друзья Миши многое о нем так и не узнали, если б не обнаруженные его сестрой Валентиной Денисовой Рудовой (Молочко) дневники. Это было в 1961 году, после похорон отца. На пол-

ке в черной, из плотного картона обложке лежала пачка пожелтевших от времени ученических тетрадок, исписанных мелким четким почерком.

Первая публикация дневников Михаила Молочко (1965), этого «интереснейшего документа времени», не только поведала об удивительной, однако во многом и обычной жизни юноши 30-х годов, но и вызвала много откликов в печати, побудила к поискам тех, кто знал Мишу в школьные, студенческие годы.

В новом издании по сравнению с первым книжка значительно пополнилась материалами. Здесь и сами дневники тринадцатилетнего мальчика, его письма, статьи школьных и студенческих лет, неоконченная студенческая повесть, воспоминания друзей.

И теперь мы увидели этого «юношу высокого роста» во всей полноте его облика, воплотившего в себе, как в свое время было сказано о нем, «черты поколения».

О содержании самих дневников Михаила Молочко вряд ли можно сказать лучше, чем это сделал ныне покойный В. К. Панков, известный литературовед и критик, товарищ Миши по ИФЛИ и участию в войне: «В его записках речь идет о самом обычном — о школьных занятиях, о случаях в семье, о юнкоровских заметках для пионерских газет, о первых прочитанных книгах. А за всем этим виден думающий искатель. На все была отзывчива его душа. Широко он видел мир. Обо всем вырабатывал свое собственное мнение. Предчувствовал близость войны. Спорил о формализме и натурализме. Писал стихи. Размышлял с друзьями о судьбе Земли и Солнца. С увлечением читал «Илиаду» Гомера и «Диалектику природы» Ф. Энгельса. Задумывался о толстовской теории нравственного самоусовершенствования человека. Любил ездить на велосипеде. Несмотря на болезнь глаз, стал метким стрелком».

В оценке личности Михаила Молочко — школьника, думается, главным, определяющим следует считать его слова: «Я буду жить, но жить не для себя...».

В дневниковых записях Молочко ярко запечатлены истоки общественной активности молодежи того времени. Обращаясь к

нашему сегодняшнему дню, к нашим многочисленным разговорам о воспитании и активности, мы порой упускаем главное — включение пионеров, юношества в повседневную, непосредственную практику, что постоянно имело место в жизни нашего поколения. Ведь это основа самостоятельности.

В дневниках упоминается постановление ЦК партии 1932 года о школе и пионерской организации. Сами школьники не только изучают постановление, но и многое делают для его осуществления: заботятся об оборудовании школьных мастерских, пишут критические заметки в адрес тех, кто тормозит выполнение обязательств по оказанию помощи школе. Но главное направление общественной работы в школе у Миши связано с его интересом к печати, к литературе. Миша — бессменный редактор школьной стенгазеты. «Газета должна как следует наладить работу, должна ликвидировать недостатки. Она должна стать действительно подлинным организатором» — так мыслит Миша. Какие бы ни произошли перемены в школьной жизни — Миша тут же откликается на это.

В 1935 году было реорганизовано школьное самоуправление: учкомы заменены старостами. «В школе у нас идут выборы новых ученических организаций. Структура их теперь изменена. Нет громоздких учкомов, класскомов. В классе теперь остается единственный староста, по школе — старостат... Только мне кажется, что и раньше можно было работать хорошо. Все зависит от людей», — запишет по этому поводу Миша.

«В газетах пишут о спасении экспедиции «Челюскина» на севере»; «Интересно теперь читать газеты. Особенно интересны материалы VII съезда комсомола»; «Собрание прошло интересно. Был оркестр музыкальной студии. Очень весело, а когда заиграют марш — «Интернационал», так легко и радостно становится на сердце за то, что живу в СССР»; «Сегодня «Правда» пишет о финансовом плане Англии на 1933—34 гг. ...характерно в плане то, что главную часть его занимают военные расходы». Все интересно. Записями такого порядка пересыпан весь дневник.

И тут же на страницах дневника выражение любви, нежности к маме, маленькой сестре, братьям, тревоги об отце. «Мама же

старается не для себя. Она все для нас... Моя мама — это золото, поэтому я так люблю ее и только поэтому не могу переносить ее стонов». «Я целую свою дорогую сестричку, одеваю ее, кормлю, а потом начинается ее «работа»... С Валечкой связана моя любовь вообще к ребятам такого возраста».

Дневниковые записи полны раздумий о том, что нужно в себе укреплять, от чего отказаться, что преодолеть в своем характере. «Не могу описать той душевной бури, когда я слышу слово «эгоист», относящееся ко мне. Неужели это правда? Неужели во мне так много эгоизма осталось, что я достоин этого имени? Нет! Я не должен никогда слышать этого слова!» И еще: «Я сейчас работаю над собой... В этом есть эгоизм, но такой эгоизм полезен, нужен. Сейчас я много читаю, учусь, чтоб знать мне то, чего еще не знаю, но это значит, что в будущем я буду работать для всех...

Жизнь — это учеба. И сколько лет я ни буду жить — я буду учиться, но вместе с тем и работать...»

Из переписки Миши со школьным товарищем, ныне ленинградской учительницей Ф. Е. Дыниной, стало известно, что будучи учеником девятого класса, он одновременно работал на металлокомбинате. О своем стремлении работать (материальное положение в семье было нелегким) в дневнике он написал просто: «...пора привыкать к трудовой жизни».

Июнь 1936 года. Идут экзамены, а Миша работает в редакции газеты «Коммунар Могилевщины». «Своих отметок я не знаю, — пишет он Дыниной, — ибо сижу только до ответа, а потом уйду... Готовиться времени у меня тоже немного — ведь я работаю, и — как работаю... Хорошо бы работать в городе, а то езжу по району, выпускаю газетку «Коммунар Могилевщины» на дорожном строительстве».

Приходится удивляться и удивляться, как это можно было все совместить с учебой. А ведь школу он окончил отличником!

В дневнике есть такая запись: «Нужно заниматься, нужно расширять свой политический кругозор, писать литературные работы, запущен мой критический сборник...»

К сожалению, «критический сборник» не сохранился. А он был. Об этом вспоминает товарищ Миши М. Каганер: «Литературу он очень любил и много читал. Причем

не просто читал для развлечения (хотя и это бывало), а конспектировал интересные произведения, выписывал цитаты, а затем тут же писал отзыв на прочитанную книгу».

Мишу с детства интересовали человеческие судьбы, люди яркие или обездоленные, к последним был у него не только интерес, но и стремление помочь им. Это нашло отражение и в дневниках его и в статьях.

Однажды он услышал про одного паренька, что у него махновцы отца убили. «И мне захотелось,— запишет Миша в своем дневнике,— расспросить этого парня с глубокими, словно выплуканными глазами, впалыми щеками, чуть глуховатым заикающимся голосом обо всем». Позднее услышанная история была положена в основу его рассказа «Комиссар Прокопов», который, к сожалению, не сохранился. Миша старается приобщить мальчика к активной жизни, «по документам установить правдивость рассказа», а потом он будет требовать материального обеспечения семьи Прокопова.

Миша пишет о первой девушке-парашютистке Дуне Шумяковой, о летчике-инструкторе Германе Швалеве, отец которого умер от пыток, а брата расстреляли колчаковцы, о пути этого мальчика через безпризорничество в авиацию. Корреспондентская деятельность школьника Михаила Молочко во всей полноте раскрылась мне, когда я номер за номером просматривала белорусские газеты 30-х годов в Библиотеке имени В. И. Ленина и отыскивала в них статьи за подписью «М. Малочка». Порой меня охватывало чувство материнской нежности к десятилетнему корреспонденту, рассказывающему о проведенном пионерском субботнике, о подписке на пионерскую газету, которую он называет «лучшим помощником», некоторые заметки подписаны очень серьезно: «Старший деткор Михась Молочко»... Растет мальчик, становится юношей, и вот в своих заметках, статьях, в которых так ярко передан дух нашей юности, ритм жизни 30-х годов, он уже мой единомышленник.

Возвращаясь домой поздним вечером в приподнятом настроении, словно с радостного свидания с живым Мишей; переполненная воспоминаниями, иногда иду пешком до площади Дзержинского, путем, которым не раз хаживали с Мишей вдвоем;

смотрю на бегущие навстречу и убегающие вдаль белые, желтые, зеленые, красные огоньки машин, автобусов, сигналы светофоров, на резкие очертания на фоне темного неба кремлевских башен с рубиновыми звездами, музеев Ленина и Исторического, гостиниц «Москва» и «Метрополь», зданий Совета Министров, ЦУМа... И кажется, вот-вот в эту мягкую тишину московского вечера ворвется грохот и перезвон трамваев, гудки автомашин и послышится голос Миши у афиши Большого театра: «Очень хочу посмотреть «Щелкунчик». Будут билеты — пойдем?..»

Мир студенческой жизни ифлийцев нашел яркое отражение в повести «Весна двадцатая» Михаила Молочко, в воспоминаниях его друзей, помещенных в сборнике, в книгах наших писателей и поэтов, среди которых я хочу назвать повесть В. Рослякова «Один из нас», работы С. Наровчатова «Лирика Лермонтова» и В. Панкова «Воспитание гражданина».

Летом 1939 года Молочко с товарищами едет на строительство Большого Ферганского канала. Миша вдохновенно пишет о стройке своим друзьям: «Это уже намного выше стахановского движения, нечто такое явственно коммунистическое, большое, настоящее... У узбеков сейчас саиль — месяц радости и веселья, и они праздник превратили в труд, а труд в праздник... Нужно много работать, чтобы почувствовать себя достойным окружающего. А помимо этого — кругом бескрайние хлопковые поля, невероятно щедрое солнце, удивительно ласковые и гостеприимные узбеки, веселье, праздничные кишлаки. И много специфического, среднеазиатского, часто далекого и непонятного, но хорошего и народного. Все это расширяет память, увеличивает кругозор, наполняет всего тебя новыми чувствами».

О добровольном уходе на войну с белыми финнами, о военных буднях и подготовке к походу, о гибели Миши Молочко и Жоры Стружко с болью рассказывают в книге те, кто вернулся с этой войны, а их — из сорока трех ушедших на войну ифлийцев — вернулось четверо; из четырех третьекурсыков филфака — двое.

«Для нашего поколения, — пишет В. К. Панков, — финская война была первым боевым испытанием в борьбе с фашизмом».

Еще в дневниках девятиклассника Михаи-

ла Молочко можно прочитать тревожную запись о том, что «Германия нарушила Локкарнский договор и вступила в Рейнскую зону». «Мы все оживленно обсуждали эти факты. Желание идти на фронт у нас величайшее, не знаю, как мы сумеем его превратить на практике. Ведь мы, рожденные после Октября, не можем вообразить себе, что такое война... У меня есть такое предчувствие, что война разразится скоро у наших границ. Поживем — увидим».

При первой же необходимости — на практике решилось все просто: Миша и его друзья стали одними из первых добровольцев. Последние минуты с близкими и родными...

«Михаил поднял голову: «Споем на прощанье?», — пишет тот, кто был в числе четырех вернувшихся. — И не сговариваясь мы запели свою любимую: «Белеет парус одинокий...» Как мы ее пели! Теперь знакомые слова звучали по-иному, чем в Фергане. Мы действительно просили бурю и шли навстречу ей. И мы пели свою песню, как гимн. Торжественно прямо держался Михаил, произносил каждое слово, как клятву. Строго глядел перед собой обычно мягкий и задумчивый Георгий. Ему, как и Михаилу, оставалось всего три недели смотреть на белый свет».

Воспоминания друзей Михаила Молочко содержат высочайшие оценки его личности, прогнозы его оборвавшейся в двадцать лет будущности. «Время спешит. На смену юношеской восторженности приходят холодные доводы разума. Но и они не могут изменить моего убеждения: Миша Молочко мог стать новым Лермонтовым или Белинским. Мог бы!» — пишет А. Леонтьев.

В воспоминаниях отмечается «деятельный и страстный» его характер — уже в школьные годы «он общественный, политический человек прежде всего», говорится, что в нем живет «убежденность и вера, самодеятельность сердца и разума, настроенных на высокий революционный лад». Отмечая безусловность его героического характера, ссоединившего «идею и действие», автор одного из воспоминаний пишет, что его «свободно можно представить молодым революционером прошлых лет — от эпохи декабризма до времен ленинской "Искры"».

В дневниках Михаила Молочко ярко выражена преемственность поколений, запечатлена «предыстория поколения, склады-

вавшегося еще в довоенные годы», «подготовка к подвигу», которая «прежде всего формировала и развивала нравственные качества борцов за свободу и независимость Родины». Михаил Молочко назван предтечей этого поколения.

В свое время о Молочко было написано: «За двадцать лет жизни он, разумеется, мало успел сделать. И все же имя его по праву стоит в ряду таких его сверстников, как Н. Майоров, Н. Отрада, П. Коган, С. Гудзенко, Вс. Багрицкий... Называю тех, с кем он был знаком и жил общими интересами. Общие интересы... «И жили мы, не тратя лишних слов, чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных да в серой прозе наших дневников...» (Н. Майоров); жили ради того, «чтоб цвела земля во всей красе, чтобы жизнь цвела, гудела лавой...» (Н. Отрада); знали, что «самое страшное в мире — это быть успокоенным» (М. Кульчицкий); всегда помнили: «Я — патриот. Я воздух русский, я землю русскую люблю» (П. Коган); были убеждены: «Нам не жить, как рабам, мы родились в России, в этом наша судьба, непокорность и сила» (Вс. Багрицкий); глубоко осознали: «Быть под началом у старшин хотя бы треть пути, потом могу я с тех вершин в поэзию сойти...» (С. Гудзенко). А потом скажут свое слово те, кто пришел с Великой Отечественной войны с победой. Вспомнят: «Я обращаюсь вновь к потерям, они трудны и невозвратны. Я вспоминаю Павла, Мишу, Илью, Бориса, Николая. Я сам теперь от них завишу...» (Д. Самойлов); определяют свой путь после победы: «Нам — не праздновать праздно, нам хмелеть от труда. Чтоб работой прославить в мире мир навсегда» (М. Луконин).

Преемственность поколений проявляется не только в ратном, но и в нравственном подвиге.

Для друзей детства и юности Михаила Молочко книга «Жил-был мальчишка...» — живая память о далеком времени. Недаром один из Мишиных товарищей по школе писал мне: «Никогда не думал, что через 40 лет так ярко могут вспыхнуть воспоминания о школьных годах... «Мишку» читал, читал, читал и еще раз читал!»

С пользой для себя прочтут книгу и нынешние молодые. И пусть нравственная чистота, любовь к родине, радость, гордость гражданина Страны Советов и озабочен-

ность, активная жизненная позиция — все это тронет сердца и умы их, пусть живет в них святая традиция преемственности поколений русского народа: пусть они так же чтут память о своих предшественниках, как те несли в себе героику революции и

гражданской войны и отдали за родину, за счастье нашего молодого поколения самое дорогое — жизнь.

В. АБАЧИЕВА.

Балашиха,
Московская обл.



«...ПИШЕТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ»

Вера Панова. О моей жизни, книгах и читателях. Лениздат. 1975. 343 стр.

Отшумели споры вокруг этой писательницы, забылось, что каждое значительное ее произведение, кроме разве что «Спутников», принятых единодушно, вызывало или яростное неприятие, или не менее настойчивое одобрение, давно стало ясно, что «магистральная линия» нашей литературы зависит не от того, в каком жанре работает художник — пишет ли он эпопею или семейную хронику, — а от его взгляда на жизнь, от способности его к обобщению, и «субъективная камера» может быть так же выразительна, как объективная. Пятый год пошел со дня смерти Веры Федоровны, но в годовщину тридцатилетия нашей победы телевидение показало пятисерийный фильм «На всю оставшуюся жизнь...», и «Спутники» военных лет вновь пришли в наш дом, ожившие в любовном и бережном прочтении режиссера Петра Фоменко. В том же году в постановке Олега Лебедева мы смотрели телевизионный спектакль «Кружилиха» с блестящим актерским ансамблем, а пьесу «Свадьба как свадьба», последнюю пьесу Пановой, телевидение уже не раз повторяло по просьбам зрителей. Пятый год пошел со дня смерти Веры Федоровны, но читая, к примеру, последнюю повесть А. Битова «Улетающий Монахов», непременно вспомнишь прозу Пановой, напутствовавшей когда-то начинающего Битова, и «Эшелон» Михаила Рощина с его стремлением к подлинности, натуральности зовет в памяти творческую мастерскую Пановой. И как не вспомнить Панову, читая так окрепшую ныне «женскую» прозу с ее подробностями, эмоциональным кодом, с ее ищущей героиней. Даже повести Ю. Трифонова, разительно не похожие на страстно-интонационную прозу Пановой, смыкаются с ней в творческом принципе. И критика, анализируя современный худо-

женный процесс, нет-нет да и обратится к творчеству этой писательницы. Одно из доказательств тому — статья А. Нинова «Экран сохраняет лицо (Герои В. Пановой в кино и телевидении)» в девятой книжке «Звезды» за прошлый год.

Книга «О моей жизни, книгах и читателях» — итоговая работа писательницы. Над ней Панова работала последние дни своей жизни, выхода ее в журнале «Нева» ждала как доказательства, что жива в литературе, работоспособна, сохранила интерес к своему делу, готова по-прежнему служить ему. И как раньше каждая новая ее вещь отвечала назревшей злобе дня, нередко открывая тему, так и последняя работа — о жизни, о принципах мастерства, о судьбе своих книг — прочно заняла свое место в той особенной литературе, что обрела большую силу в последние годы и явно пользуется кредитом у читателя.

Это очень увлекательная литература — не мемуары, цель которых — обобщенная картина своего времени в личном разрезе пишущего, не дневниковые записи, скрупулезно фиксирующие жизнь день за днем, это скорее рассказы о пути художника к самому себе — к обретению собственной манеры, приемов письма, к своему видению мира. Такие рассказы, если их авторы искренни и не пыжятся удержаться на котурнах, вызывают неизменное доверие читающих. И вот уже не только книги (издательство «Советская Россия» открыло даже серию «ИТ — писатели о творчестве», одна из недавних и интересных книг этой серии — «Продолжительные уроки» Ю. Трифонова), но многочисленные статьи о том, «как мы пишем» (и постоянная рубрика в «Литературной России», и статьи-воспоминания решительно во всех толстых журналах), знакомят читателей с творческими принципами самых разных художников.

Это действительно увлекательная литература, потому что чисто профессиональные размышления о том, что дает толчок к замыслу, как складывается сюжет, как материал диктует форму или, наоборот, как материал сопротивляется заранее выбранному приему, ломает первоначальный замысел, из каких впечатлений складывается герой, — эти и множество других «тайн» нашей профессии существуют в ней не самоцелью — не учебник же это по литературоведению, в самом деле. В этой литературе с неукоснительной четкостью действует беспощадный закон искусства — строка характеризует своего автора, как на кардиограмме сердца, вы видите уровень, точки взлетов и падений, сильных и слабых створ таланта. Главное в этой литературе — личность автора.

Прочитав последнюю книгу Пановой, больше всего, пожалуй, поражаешься ее работоспособности, упорству, безграничной, светлой вере в жизнь.

И суть не в том, что с четырнадцати лет девочка начала зарабатывать на жизнь (она рано потеряла отца), противопоставив свою целеустремленность, уверенность, что никакой труд не унижителен, милой неприиспособленности и брезгливой, полной условностей непрактичности старших; суть — в чувстве ответственности за семью, счастливой уверенности в своих силах, в азартной готовности испытать эти силы. Когда жить стало совсем голодно (Ростов начала 20-х годов), а жизненной опорой семьи сделалась толкучка и интеллигентная мама, стеснялась при народе менять всякое тряпье на еду, да и не получалось это у нее, за дело взялась дочь: «Я была наблюдательной и скоро распознала, что ценит толкучка и что ею отвергается... Никогда я не выходила с какими-нибудь щипчиками, я была наверняка: зеленая плюшевая скатерть в розах, гарусная вязаная накидка для подушек — вот чем могли заинтересоваться мои бабочки, я им это и предлагала. Особенно же успех имели шурушащие нижние юбки ярких цветов, с оборками, вырезанными по краю зубчиками...» Пройдет ни мало ни много тридцать лет, и юная Доротея Куприянова на страницах романа «Времена года» готова будет жизнь отдать за такую красную юбку — помните? — она оттуда, из тех времен,

когда семья Пановых «кормилась от старого сундука».

И так во всем — какую бы страницу жизни писательницы ты ни открыл, память мгновенно переносит тебя в ее книги. «Сентиментальный роман» и главы из «Времен года» постоянно сопутствуют читателю, когда Панова рассказывает о своей юности.

В пятнадцать лет впервые переступив порог редакции газеты, Панова до конца жизни сохранила чувство боевой журналистской готовности. С упоением писала информашки в несколько строк, корреспонденции посерьезнее, фельетоны, с почтительным любопытством слушала в клубе рабпроса стихи «профессионалов» — начинающих пролетарских поэтов Ростова, лихорадочно работала над первой ученической пьесой, поставленной в КОТе — комсомольском театре, — жить было захватывающе интересно. И даже когда случилась беда (погиб муж) и Панова осталась одна с тремя малыми детьми и матерью — глава семьи, единственная ее кормилица, главной поддержкой оставалась надежда — впереди всегда брезжила серьезная творческая жизнь. В трудные для семьи предвоенные годы, без постоянной крыши над головой, в вечной заботе о детях, пристроив на выступ лежанки огарочек свечи, оставшийся с прошлогодней елки, или на кухне у случайных знакомых, или на раскладушке между бормашиной и шкафом с инструментами в зубоврачебном кабинете дяди (это уже в Москве, куда на несколько месяцев приехала «за синей птицей») — где только могла, работала с одержимостью, выкладывалась вся, до конца, читала запоем, на ходу получая недостающее образование и постигая в деле законы ремесла.

Так, в потрясении испанскими событиями была написана пьеса «Мерседес», и добрейшая Александра Яковлевна Бруштейн объяснила отважной дебютантке, что писать, не зная материала или зная его понаслышке, нельзя. Но объяснила, не отбив охоту к творчеству, да, наверное, и не было силы, которая отвратила бы Панову от действительного дела ее жизни («И в самом деле: где-то оставила детей, живу птичьей жизнью, ни кола ни двора, и в то же время черт знает на каких основаниях мечтаю стать писательницей и по целым дням что-то пишу...»). Она берет за все: сочиняет сценарий новогодней елки

для Домов пионеров (на деньги, полученные за сценарий, живет семья); под сильнейшим влиянием драматургии Горького завершает пьесу «Илья Косогор» — и получает первую премию на конкурсе; пьеса «Старая Москва» делит премию другого конкурса с афиногеновской «Машенькой» и «Сокровищем Сампо» Щеглова. Театр имени Моссовета, а следом Александринка собираются ставить эту пьесу. Автор же этих вещей все еще не чувствует себя вполне профессионалом, воспринимает случившееся как счастливый дар судьбы, живет скорее будущим, чем настоящим. И только в сороковом году, когда Панова читала свою «Старую Москву» труппе Театра имени Моссовета и хотела прервать аплодисменты, на реплику Ю. А. Завадского: «Потерпите, может быть, этого уже больше никогда в вашей жизни не будет» — она бестрепетно ответила «сразу и уверенно: «Будет!» — потому что отныне любая малость рождает в ней уверенность, что собственное счастье и счастье семьи зависит только от ее творчества. «Как это случится, я не умела предугадать, но знала, что это будет, и будет через литературный успех, не иначе»...»

И это случилось много позже, когда позади была война, оккупация, голод, поездка в военно-санитарном поезде № 312. Благословенная поездка, давшая нашей литературе не просто удивительную повесть «Спутники», но, главное, зрелого мастера, предложившего свое понимание жизни, свое отношение к ней, свою эстетику.

Как часто и в нынешних критических разборах, в рецензиях мы читаем небрежное: в повести, не слишком удавшейся автору, есть все же кое-что — частная правда описания, воспроизведение жизни как она есть. Разумеется, жизнь в искусстве воспроизводится по своим законам и по-прежнему в искусстве лучшая правда — вымысел, никто еще не опроверг Шекспира. И все же что это значит — воспроизведение жизни как она есть писателем? Слепок, фотография, тягостное описательство? Но ведь в том-то и дело, что безликого, безразличного, не пропущенного через опыт, мысль, чувство художника описания жизни как она есть не существует — в этом истинный смысл понятия художественности. Старый эстонский писатель Фридеберт Туглас писал в своих «Маргиналиях»: «Кажется, не кто иной, как Бисмарк

поучал своих дипломатов: «Не говорите всей правды, но пусть все, что вы говорите, будет правдой!» «Вся правда» — в литературе вещь немислимая, но все сказанное должно быть правдой». Это тоже вечный принцип искусства, с ним опасно небрежничать.

«По-разному может возникать писательский замысел,— пишет В. Ф. Панова.— Часто в его основе лежит некое пронзительное впечатление, оно дает первоначальный толчок, на него (иногда многими годами) напластываются другие впечатления, встречи, мысли, прочитанные книги. Причем все тянется к основоположному, обжегшему тебя впечатлению. Это не просто накапливается — происходит своего рода «химические» процессы, от соединения простейших элементов рождается новое, часто неожиданное. Иногда же процесс происходит, так сказать, наизнанку. Судьбы, характеры, детали откладываются в кладовых памяти и хранятся нереализованные, нетронутые. И лежать им без движения, глухо тревожа и обременяя душу, пока не блеснет, родившись от нового живого впечатления, оплодотворяющая мысль, которая оживит и объединит это разрозненное хозяйство. К этому магниту рванется все, что накоплено в закромах, и хозяин — писатель — гляди в оба, чтоб не налетело излишнее, к делу не идущее».

Так писались «Спутники».

К декабрю 1944 года, когда пермское отделение Союза писателей командировало В. Ф. Панову в образцовый военно-санитарный поезд — Главсанупру нужна была брошюра для обмена опытом,— писательница уже попробовала себя в прозе. Уже вышла в альманахе «Прикамье» повесть «Семья Пирожковых» — первый вариант будущей известной повести «Евдокия»,— была начата «Кружилиха». И все же, по свидетельству Веры Федоровны, «мне-то в ту пору, в конце 1944-го и начале 1945-го, этот поезд был нужнее, чем я ему, бесконечно нужнее! Все у меня тогда дошло до предела, и прежде всего усталость. Я закружилась в газетной работе, и она уже не давала мне удовлетворения, и другое, что я делала, тоже, в том числе уже начатый роман, вышедший через несколько лет под названием «Кружилиха». Я запуталась и не понимала, что у меня получается, а что не получается, и жила в лихорадочном ритме.

в котором нельзя продержаться долго. И то, что мне дали — вдруг! — успокоиться, оглядеться, что-то решить для себя и о себе, было великим благодеянием жизни... Я вплотную соприкоснулась с миром, до сих пор мне незнакомым, оказавшимся странно созвучным мне и давшим могучий толчок моей застоявшейся работе. В хаосе рассказов, песен, слез зарождалась книга о подвиге любви и милосердия».

Творческая история «Спутников» рассказана в последней книге Пановой щедро, открыто, с откровенной надеждой полностью раскрыв перед читателем и критикой свой метод, свою философию жизни как она есть, глубоко личное, субъективное, горячо эмоциональное отношение к материалу. И к людям, поселившимся не только в ВСП № 312, — о них была написана вполне добросовестная брошюра — но, главное, в вагонах поезда милосердия, совершающего свои рейсы «порожние» и «груженные» не в конце войны (об этом в брошюре), а в ее начале, на страницах повести «Спутники», которую урывками, по ночам, отрывая время от брошюры (за работой над ней неукоснительно следил капитан Прохоров, прообраз пановского комиссара Данилова), запоем писала Панова.

«Спутники» для литературы тех лет повесть новаторская. В ней, как во всей литературе о войне, изображен подвиг, но показан он на редкость буднично, в непритязательных на первый взгляд подробностях: суэта вокруг аптечки или оборудования операционной, выращивание порослят или зелени для раненых, непривычные для тогдашней прозы о войне личные, «мирные» переживания героев и «незначительные» конфликты между ними, заполненные «мелкими» заботами будни — и ни разу ни одной картины боя. Даже горящий Псков входит в повесть лишь заревом, отсветом страшного боя, и единственный, кто расценивает свое поведение как героизм, — трусливый обыватель доктор Супругов, остальные привычно делают свое дело.

Писательница сообщает нам все новые и новые подробности их жизни — нынешней и той, счастливой, довоенной, их маленькие радости и неудачи, а перед нами все набатнее разворачивается картина великой, народной, отечественной войны, в которой не может быть поражения, потому

что в ней участвуют все, и пламенный подвиг героев Фадеева, Горбатова, Симонова, Гроссмана подкрепляется ежедневным, будничным, добросовестным служением спутников, для которых нет жизни вне победы.

В нарочито «заземленном» описании быта, в отсутствии монументальности, в житейских подробностях судеб, явной неисклочительности героев — истинная подлинность, бытовая и психологическая натуральность реальной жизни, ее высокий драматизм. Автор словно и не вмешивается в повествование (сколько упреков от критики пришлось выслушать впоследствии Пановой за «объективизм», «невмешательство», «безразличие» к судьбам героев!), но присутствие его ощущается постоянно — в интонации, метафорическом ряде, в откровенном, даже несколько прямолинейном выражении (в деталях, подробностях анализа) любви или презрения к герою, — эмоциональная насыщенность этой прозы удивительна. Во всем этом своеобразная эстетика письма, идущая в развитие чеховской традиции и определившая многие произведения и нынешней нашей литературы. А главное, здесь все сказанное правда, не просто правда факта, хотя и она здесь налицо, но объемная, правдивая картина состояния общества тех лет. Изображение жизни как она есть.

В. Панова, рассказывая творческую историю почти всех своих книг, снова и снова возвращается к тому, как возникает замысел новой вещи, какая незначительная случайность порой становится толчком, побудительным мотивом, так сказать, поводом для начала работы. Для нее это: зал ожидания симферопольского аэропорта — внезапная декорация для пьесы («Сколько лет, сколько зим»), дневниковая мимолетная запись («Еще не вечер», «Надежда Милованова»), запомнившаяся по военным скитаниям во время оккупации синагога, где укрывались беженцы («Метелица»), обледеневшая лестница в поселке Мотовилаха, по которой взшел демобилизованный сержант («Кружилиха»), номер «Литературной газеты» с собственной статьей «С Новым годом!», которая оказалась вдруг вовсе не статьей, а законченным вступлением в большой роман («Времена года»), и проч. Мелочи, детали, зрительные впечатления. Даже глава о замыслах в книге названа «Как складывают из кубиков». Всем строем своей

последней работы писательница утверждает свой принцип — для искусства не существует незначительного, мелочь, подчас далеко не поэтическая, может стать могучим творческим толчком. Она цитирует Ахматову: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»

Но в том-то и дело, что это только толчок, повод, — Панова отчетливо сознает это. До последних дней ее волнует вопрос, что же отличает художника от самого добросовестного ремесленника, она относится к своему делу вполне реалистично, решительно отвергая идею мистической избранности, но и не преуменьшая роли одаренности, таланта. Она несколько раз возвращается к мысли о «неких запасниках, куда совершенно произвольно откладываются впечатления и наблюдения», чтобы явиться в нужный момент. «Уже когда я писала первые свои книги — «Спутники», «Кружилиху», — эти запасники вдруг являлись, как бы всплывая, и служили мне поистине неопценимую службу. Это были характеры, лица, имена, судьбы, голоса. Может быть, такого рода механическая память и отличает писателя от неписателя?.. Произведение складывается из накопленного материала либо не слагается вовсе, как не раз и не два у меня случалось: кажется, всю кровь и весь мозг выжимаешь из себя, силясь сделать нечто, — и все напрасно. И конструкцию вроде придумал, и все нужное для нее подобрал, все узлы — нет, не выходит, не быть произведению. Если же ему быть, то оно из каких-то твоих тайников само отбирает все, что ему нужно, и вот звучат голоса, а за голосами всплывают лица, и вот уже эти лица вступают во взаимоотношения, и вот слагается конструкция... Когда это начинается, то уж не вставай из-за стола...»

В своей книге Панова многожды и по разным поводам возвращается к важнейшему критерию. Это — натуральность изображения, умение постичь истинную сущность человека, отношений между людьми, характер в его развитии, не упростить, не сфальшивить, ведь от этого зависит доверие читателя и его представление о движении общества. Поэтому высшим одобрением звучит для нее разговор с читателем о романе «Времена года», мягко говоря, неприветливо встреченном критикой тех лет.

«— Вы за эту книгу получили премию?»

«— Нет,— сказала я,— за другие.»

— Ну, это напрасно,— сказал он.— Я других ваших книг не читал, а за эту обязательно дал бы вам премию.

— Почему же? — спросила я.

— Потому что интересная, — ответил он, — это раз. А два то, что правду пишете! Не смотрите, какой он там начальник, а пишете то, что есть и что я тоже знаю. И вот по этим двум причинам я бы и дал вам премию, будь моя воля.

И верите, друзья: со всех спилен и куполов звонко и певуче хлынуло на Ленинград солнце при этих словах...»

Свою последнюю книгу Вера Федоровна писала трудно, парализованная, теряя зрение, едва оправившись от почти безнадежного состояния. «Сколько добрых людей вижу я, оглядываясь назад, и никакие житейские беды и разочарования не могут заслонить этих людей...» — пишет она, и, вероятно, эта вера в жизнь, в людей, поразительная воля и целеустремленность явились причинами того, что эта книга была написана.

Почти неподвижная (левосторонний паралич), Панова работает неустанно, не позволяя себе лишней минуты отдыха, она по-прежнему не признает пассивности, у нее множество замыслов — только бы успеть! Кроме книги «О моей жизни, книгах и читателях», корректуру которой в журнале «Нева» она успела прочесть, она пишет пьесы «Свадьба как свадьба», «Погребок», вместе с режиссером И. Масленниковым — сценарий «Сентиментального романа», который мы увидели только что на экранах, готовится к книге «Старина-матушка» — продолжению цикла исторических повестей, предлагает Детгизу пересказать роман Дюма «Граф Монте-Кристо» с его обязательной победой справедливости, работает над новым романом. У нее ясная голова и твердая воля. Близкие рассказывают, что когда был потерян кусок о повести «Ясный берег» для книги «О моей жизни...», Панова восстановила его дословно (найдя, сравнили).

Она радуется каждому прожитому дню, каждой новой удачной строке, хочет быть в курсе новостей, ей читают по многу часов в день — газеты, журналы, книги по истории. «Мне в самом деле показалось очень самобытным и примечательным Ваше определение «пагодные ели», — пишет она А. Володину.— Бывают такие словесные на-

ходки... Я сейчас поневоле (пишу роман) очень думаю о таких вещах, о том, как же пахать после того, как с поля сняты громадные урожаи и эрозия одолевает все литературные жанры. Очевидно, что чем проще писать, тем лучше, но ведь проще — это самое, как известно, трудное, и как можно просто о столь сложной жизни, как наша. Вот и крутись, как говорится. Ну что ж, будем крутиться, ведь назвался груздем — полезай в кузов, хотя бы тебе и не очень туда хотелось. Вот я и лезу, благословясь...»

Ей по-прежнему хочется общения, как ни трудно это дается. Приглашая внуков на ноябрьские праздники 1972 года, за полгода до конца, шутливо пишет в приглашениях: «Я хочу в дни праздников устроить крохотный детский крик на своей лужайке. Основными гостями будут малышки, выпивка — лимонад и чай с вареньем...».

Снисходительная ко многим человеческим слабостям, она максимально требовательна во всем, что касается творчества. Ближнему человеку, показавшему ей новую повесть, она пишет: «...удручает ритм вещи. Ведь проза — это музыка и строится в основном по законам музыки. В том числе все время требуются новые мелодии, повороты, открытия. Вы же как начали на одной ноте, так и держитесь на этой ноте до конца... А насчет сравнения себя с Моной Лизой — это я Вас просто прошу удалить немедленно, даже если это истинная правда...».

Кстати, о «новых мелодиях, поворотах, открытиях» вспоминаешь, когда в книгу «О моей жизни...» вдруг врывается эмоционально-лирический, задушевный, отчаянный кусок — глава «Целую вечность тебя не видела», или лаконичный неореалистический рассказ о несчастливых людях, или озорные подробности того, «что недописано в «Сентиментальном романе».

Последняя книга Пановой обращена к другу-читателю, и писательница откровенно рассказывает ему о себе, не стремясь выглядеть красиво, рассказывает действительно как другу, способному разделить с ней, например, те беды, которые принес ей характер — резкий, прямолинейный. «Я либо любила, и тогда в человеке мне все нравилось, либо не любила, и тогда мне с человеком было тягостно... Всю мою жизнь я слышываю и невесть что говорю людям, а через мгновение ненавижу себя за это и

молю о прощении и далеко не всегда его заслуживаю, а еще реже получаю — так уже сложилось... И эта несчастная черта характера отравила мне жизнь...».

Я помню Веру Федоровну на редакционных советах издательства «Советский писатель». Резко, непререкаемо, убежденно отстаивала она свою точку зрения, свои рекомендации, не принимая возражений, настаивая на своем. Так же убежденно она выступала в дискуссиях о собственных книгах, ни на минуту не усомнясь ни в «Кружилыхе» (хотя обсуждение и на страницах «Литературной газеты» и в московском отделении Союза писателей было жестким), ни во «Временах года». «Я стала очень нетерпимой к любому редакторскому вмешательству, — пишет она в книге «О моей жизни...», с благодарностью рассказав о дружественной работе с С. Д. Разумовской, редактором повести «Спутники», — для меня стало важнее всего мое собственное, авторское мнение». Но вот письмо Пановой к К. М. Симонову, тогдашнему главному редактору «Нового мира» (12 мая 1955 года), по поводу «Серезжи»: «Замечания Ваши, очень конкретные и очень мотивированные, для меня (почти все) настолько бесспорны, что, как бы ни сложились наши деловые отношения и где бы «Серезжа» ни был напечатан, — я все равно эти замечания реализую, более того: обдумав их, я нашла, что глава «Взрослые ссорятся» и вся эта линия не нужны, создают неприятную муть, и, видимо, лучше от них отказаться. Абсолютно, в частности, точно и бесспорно Ваше замечание о неправильности, недопустимости сочетания Коростелева с темным человеком из тюрьмы. Не понимаю, как я могла допустить такую невозможную вещь, начисто уничтожающую мой собственный замысел...» Читатель может убедиться, что все замечания К. М. Симонова учтены.

Нужно сказать, что и авторское мнение Веры Федоровны бывало достаточно нелицеприятным. В книге «О моей жизни...» Панова рассказывает: «Первый ее (повести «Ясный берег». — Д. Т.) набросок был так слаб, что хотя повесть немедленно приняли в журнал «Звезда» и заключили договор, но я решила все переписать заново... В редакции удивились моему решению, они ведь не предъявляли мне никаких претензий, даже отговаривали меня от переделки;

но мне было, что называется, себе дороже. Очень быстро я переписала повесть, ввела новые главы, новых героев, изменила акценты и интонацию повествования. Повесть не стала хорошей, но, несомненно, обрела более крепкое дыхание... Повесть была напечатана, ее похвалили в печати, премировали, в последующие годы она вышла во многих издательствах Советского Союза и за рубежом на разных языках. Но в глубине души я продолжала считать ее слабее «Кружилихи» и «Спутников»...

Вероятно, читатели и критика будут не раз возвращаться к творчеству Веры Пановой. Итоговая ее книга очень индивидуальна. В ней постоянно звучит голос автора, не склонного к украшениям, страстного, увлеченного, бесконечно доверяющего нам, читателям. Даже по отношению к себе писательница сумела сохранить принцип достоверности, позволяющей и нам сказать ей: «...вы пишете то, что есть».

Д. ТЕВЕКЕЛЯН.



Политика и наука

О ЯСОНАХ, ТИРЕСИЯХ И ДРУГИХ

П. Диксон. Фабрики мысли. М. «Прогресс». 1976. 451 стр.
Ch. Kaduchin. The American Intellectual Elite. Boston. 1974. XIII, 395 p.

Всвязи с отмечающимся в прошлом году двухсотлетием США в американской прессе появилось множество юбилейных обзоров с подведением итогов и видами на будущее, в которых часто и настойчиво проводилась мысль о том, что Америка-де вступает в эпоху, когда выбор ее путей-дорог будет осуществляться не на глазок, как прежде, а «по науке», или иначе говоря, она вступает в «головной», интеллектуальный период своей истории. Таков, к примеру, был смысл комментария журнала «Тайм», утверждавшего, что «Соединенные Штаты являют собой последнее воплощение западного, фаустовского человека», то есть человека, для которого характерен прежде всего интеллектуальный поиск. Для страны с прочными традициями антиинтеллектуализма это достаточно крутой выраз.

Тем более небезынтересно, что представляет собой нынешняя интеллектуальная элита — в сущности, мозг государства. Две недавние книги американских авторов, одна из которых вышла в русском переводе, кое-что проясняют на сей счет. Это «Фабрики мысли» публициста П. Диксона и «Американская интеллектуальная элита» социолога Ч. Кадушина. Хотя в них говорится о несколько разных вещах, они, как мы увидим ниже, любопытным образом дополняют друг друга.

Но прежде уточним, что, собственно, обозначается звучными словами «интеллектуальная элита» и кто вообще такой «интеллектуал». Хотя современная социология пользуется и такими терминами, как «ин-

телигенция» и «интеллигент», семантика у этих слов, пожалуй, слишком «теплая». Безусловно, интеллигент — всякий работник умственного труда, но сверх того мы привыкли усматривать в этом понятии еще и некий этический момент — готовность сформировывать свое поведение с общественным благом. «Интеллектуал» — понятие более теоретическое и «холодное». Интеллектуал есть социальная роль, содержание которой определяет конкретная система общественных отношений. Интеллектуальная элита осуществляет умственную деятельность, почитаемую особо значительной, в рамках данных социальных институтов. По американским представлениям, это более или менее видные ученые и писатели (то есть те, чей инструмент печатное слово).

Что касается ученых, то для них университет остается традиционным пристанищем, питомником, альма матер, в его стенах наука продолжает свое извечное постушательное восхождение. Но в эпоху НТР университет оказывается учреждением недостаточно гибким, неповоротливым, коль скоро дело касается практических приложений науки. Академизм, обособленность факультетов и кафедр, наконец, распыление сил одновременно на учебный процесс и на исследования мешают ему удовлетворить резко выросший спрос на научную информацию. Эту задачу теперь берет на себя главным образом «фабрика мысли» (think tank, что можно перевести также — «бункер идей», «думающий центр» и т. д.) — феномен сравнительно новый и в целом еще недо-

статочно осмысленный, хотя уже широко распространенный: зародившись в США вскоре после второй мировой войны, «фабрики мысли» теперь прочно укоренились в американской действительности и прижились в капиталистической Европе и Японии.

Как и на кого работают «фабрики мысли», чем они, так сказать, дышат — об этом в книге П. Диксона можно найти немало подробных сведений. Из многих тысяч существующих в США научно-исследовательских учреждений под категорию «фабрик мысли» попадают несколько сот, и эти несколько сот очень разнятся друг от друга по своим размерам, организационным структурам, источникам финансирования и т. д. Но есть нечто, что объединяет их и отличает от прочих научно-исследовательских учреждений: тесная связь с политическими учреждениями, с промышленностью, сугубо практический уклон. Они ведут и фундаментальные исследования (называемые иногда «посевом»), но больше прикладные исследования и разработки; не производство нового знания является их главной целью, а применение уже полученного знания. «Главный их продукт, — пишет Диксон, — это теоретические изыскания, обычно облеченные в форму отчетов или исследований, представляющих собой варианты различных мероприятий, оценки, проекты, теории, рекомендации, предупреждения, перспективные планы, статистические сводки, прогнозы, описания методов, тесты, анализы или попросту новые идеи».

«Фабрики мысли» проявили себя новаторами в методологии: сломав междисциплинарные перегородки, они широко применили системный, комплексный подход к решению крупномасштабных технологических, управленческих, хозяйственных и прочих проблем. В них сформировался новый тип ученого — «эксперт-дилетант», «универсал», который, будь то математик, физик или лингвист по специальности, выполняет обязанности «мастера на все руки», вторгаясь в области, далекие от собственной епархии.

Пестрота проблем, какими занимаются «фабрики мысли», заставила Диксона вспомнить о восточном базаре. В самом деле, чего там только не проектируют, не анализируют, не моделируют! Стратегические ра-

кеты и новинки космической техники, новые концепции ПВО и внешнеполитические «альтернативы», перспективы американских городов, будущее планеты и вместе с тем средства уборки мусора, роль шаманства в Заире, социология конских и собачьих бегов, психологические различия между табуированными и нетабуированными морями, «восприимчивость коммунистов к воздействию музыки», движение мировых цен на кирпич, организация футбольных чемпионатов — вот некоторые, наудачу взятые примеры. Нередко подобное номенклатурное разнообразие уместается под крышей какой-нибудь одной «фабрики мысли».

Заметим, что во многих случаях проку от такой рационализированной мыслительной деятельности очень мало или вообще никакого. Об этом говорят сами руководители «фабрик мысли» (обычно имея в виду не свои, а другие «фабрики мысли»). Наиболее известный из них — руководитель Гудзоновского института Герман Кан утверждает, что значительная часть продукции этих учреждений «лишена ценности» или даже представляет собой откровенное надувательство. Некоторые из причастных к «фабрикам мысли» интеллектуалов признаются, что работа интересует их лишь постольку, поскольку приносит «интеллектуальное самоудовлетворение» безотносительно к ее конечным целям. Но и при вполне добросовестном подходе к делу нередки случаи, когда в итоге дорогостоящих исследований «фабрики мысли» приходят, как пишет Диксон, к «самоочевидным выводам». К примеру, группа исследователей, работавших в рамках проекта «Демография счастья», на материале Пуэрто-Рико сделала поразительное открытие, что «богатые, как правило, более счастливы, чем бедные, а здоровые почти всегда счастливее, чем больные». Бывает, что и на стол президента США ложится подготовленный авторитетной «фабрикой мысли» доклад, который его критики характеризуют не иначе как «мешок, наполненный ветром» (газета «Вашингтон стар»). (Как тут не вспомнить Рабле с его «королевством Квинтэссенции», где ученые мужи занимались тем, что резали огонь ножом и ловили сетями ветер!)

Но нас сейчас интересует не степень эффективности «фабрик мысли» (которая может оказаться и весьма высокой), а то, на что направлено их, условно говоря, полез-

ное действие. Первые учреждения этого типа появились на свет под эгидой министерства обороны и были ориентированы исключительно на обслуживание вооруженных сил. Агрессивный внешнеполитический курс продиктовал создание гипертрофированной военной машины, которая оказалась чрезвычайно «научоемкой», потребовала высококачественного «серого вещества». И сейчас исследование военного характера остаются на первом плане — наиболее крупные «фабрики мысли», как правило, работают исключительно или главным образом на Пентагон.

Крупнейшая из них — Институт оборонных анализов в Вашингтоне, чья деятельность почти целиком засекречена. Известно, что в ИОА есть «уникальный», как пишет Диксон, отдел, где работают 40—45 выдающихся ученых, в их числе несколько нобелевских лауреатов. По старой американской слабости прибегать к красивым и емким античным символам, отдел этот именуют «группой Ясонов». Ясон был, напомним, мифический предводитель аргонавтов, похитивший золотое руно (он же, между прочим, посеял зубы дракона, из которых выросли ополчившиеся потом друг на друга воины). «Ясоны» разрабатывают наиболее широкие проблемы военной технологии, в частности ракетной и термоядерной, намечают общие контуры военно-политической стратегии будущего.

Больше известно о деятельности корпорации РЭНД — старейшей из «фабрик мысли» (основана в 1948 году), послужившей прототипом для остальных. Это одна из самых влиятельных и привилегированных «фабрик мысли», пользующаяся значительным авторитетом в «коридорах власти». Атмосфера в ее стенах сохранила нечто и от «академических свобод», ее осанка не лишена ученого гонора, но это не меняет сути дела: РЭНД — служанка военно-промышленного комплекса. Погромыхивающий доспехами краснорожий Марс с пентагоновским адресом диктует рэндзовским интеллектуалам основные направления их исследований и разработок: термоядерная технология, спутники-шпионы, военные игры с участием ЭВМ, стратегия и тактика термоядерной войны, «стратегия антипартизанских действий» и т. д. За последние годы определенное место в исследованиях РЭНД заняла невоенная проблематика, каковое об-

стоятельство руководители корпорации охотно подчеркивают, в частности социальная прогностика, футурология.

Взращенный «фабриками мысли» тип «эксперта-дилетанта», «цивильного милитариста» наиболее ярко воплотил Герман Кан — «бывший физик», как он себя называет, одно время сотрудник РЭНД, а ныне, как мы уже сказали, директор Гудзоновского института. Это ему кое-чем обязаны возникшие в последнее время на Западе литературно-кинематографические образы всемогущих и опасных ученых вроде какого-нибудь доктора Стрейнджлава или профессора Гротешеле. Любимая шутка самого Кана: он-де ждет не дождется, когда его пригласят проконсультить господина бога «относительно того, как управлять вселенной», а затем он «бросит это дело» (консультирование). Кан задал определенный пошиб «фабрикам мысли», пустил в оборот самый этот термин и некоторые другие вроде «машины судного дня». В буржуазных кругах отношение к Кану разное: для одних он «гений» и «смелый реалист», для других — «ядерное чудовище». Столь двоякая репутация зиждется на его методе рассматривать все и вся под углом зрения претенциозной «рациональности». Когда дело касается перспективы возможной термоядерной войны, «трезвость» Кана оборачивается откровенным цинизмом. Трудно представить без содрогания, что могло бы быть после термоядерной войны, а Кан, преспокойно сбрасывая со счетов миллионы предполагаемых жертв, аккуратно перебирает свои бесконечные «варианты» и «альтернативы» (все они, разумеется, предполагают выживание капитализма). Делается это для того, чтобы приучить американцев к мысли о термоядерном «судном дне». Даже буржуазную публику порою шокирует кановская откровенность.

Несмотря на свое демонстративное «презрение к условиям» и на эпатажную манеру высказываться, Кан, пишет Диксон, не скрывает «увлеченности целями официальной Америки». В каких-то нюансах он может и расходиться с официальной Америкой, но лишь в нюансах, не более.

Идеологическую ориентацию «фабрик мысли» в большой мере определяет их близость к политической власти. Буржуазно-либеральные критики (и, в частности,

П. Диксон) нередко представляют партнерство «фабрик мысли» с властью таким образом, что первые, оставаясь в тени, подсаживают федеральным ведомствам важнейшие политические решения и потому являются фактически «невидимым правительством». Иначе их именуют еще «четвертым видом власти» (после законодательной, исполнительной и судебной), которой де в отличие от прочих никому не подотчетен. Подозрительность в отношении «фабрик мысли» вообще широко распространена среди американской публики, не ведающей, над чем «маракуют» в этих обособившихся, порою действительно похожих на бункеры зданиях из бетона и стекла, хотя та же публика ждет оттуда и всяческих научно-технических чудес.

Конечно, «фабрики мысли» — никакое не «невидимое правительство»; реальная власть в США принадлежит финансово-бюрократической олигархии, отнюдь не передающей кому бы то ни было бразды правления. Близость к власти не столько позволяет «фабрикам мысли» корректировать политику, сколько обязывает их следовать уже принятым курсом. Работающий в них интеллектualmente независимо от своих идеологических приверженностей или отсутствия таковых (что особенно часто афишируется в «фабриках мысли») оказывается вовлеченным под знамена официальной Америки.

Не следует понимать дело таким образом, что все «фабрики мысли» как бы шагают в одном строю: определенный идеологический, политический разнобой имеет место и тут. Тем более что большинство их не ведут военных исследований и не приближены «ко двору». Одни «фабрики мысли» (в их числе, к сожалению, самые крупные и влиятельные) держатся правой ориентации, другие умеренной, третьи либеральной. Первые обычно ставят во главу угла внешнюю, оборонную политику, многие из них часто выступают против разрядки (это такие, например, «академии холодной войны», как Гуверовский институт по проблемам войны, революции и мира). Последние уделяют больше внимания «домашним» проблемам; они пытаются в духе реформизма устранить какие-то отдельные пороки системы вроде отравления окружающей среды или ухудшения качества потребительских товаров (таков «Центр по изучению обязатель-

ного права» Ральфа Нейдера). Есть и такие «фабрики мысли», для которых основным «принципом» является бизнес. Эти «кондотьеры мысли» за плату берутся «исследовать» что угодно и для кого угодно — конечно, пока «исследование» не посягает на сам институт бизнеса.

Увеличение доли невоенной проблематики на «фабриках мысли», имевшее место в последние годы, объясняется прежде всего переменной во взглядах на «национальные приоритеты», как говорят в США, то есть на порядок важности, очередности национальных проблем. Если раньше буржуазная Америка внушала себе, что «дома» все обстоит благополучно и что, следовательно, ее руки развязаны для выполнения ее глобальной «миссии», то во второй половине 60-х годов стало ясно, что американское общество — большое общество и собственных проблем у него невпроворот. Сейчас около двухсот «фабрик мысли», больших и малых, занимается «кризисом городов» — проблема эта очень широкая, вобравшая целый ряд других, и в первую очередь расовую, национальную. Американский город — «букет» всех пороков системы «свободного предпринимательства» — в ряде случаев стоит буквально перед катастрофой, поэтому для «фабрик мысли», по мнению Диксона, он сейчас оказывается пробным камнем: сумеют они справиться с этим вопросом — значит, у них большое будущее.

Молодежное движение также в какой-то мере подтолкнуло «фабрики мысли» расширить гражданские исследования. Бунтующее студенчество конца 60-х вынудило руководство тех университетов, которые почитательствовали над «фабриками мысли», порвать с ними, если они работали на войну (что, впрочем, не мешает университетским профессорам продолжать с ними сотрудничать частным порядком). Но главное: оно, бунтующее студенчество, создало атмосферу, неблагоприятную для всего «военно-интеллектуального комплекса». Молодые специалисты, что приходят на «фабрики мысли», по свидетельству Диксона, часто питают к военным исследованиям отвращение. Бывают среди них и простодушные идеалисты, полагающие, что сумеют претворить свои вчерашние благие порывы на поприще наукоооруженного социального реформаторства.

Но вот что характерно для ученых кол-

лективов «фабрик мысли», если они берутся новейшую, разработанную для военных исследований, хитроумную методику применить в социальной сфере. Оказывается, что сущность любого сколько-нибудь сложного социального феномена от них ускользает; такие апробированные новшества, как системный анализ и моделирование, здесь сами по себе не срабатывают. И «цивильные милитаристы» открывают для себя, что «социальные и психологические явления нельзя точно представить в математическом выражении, как это можно сделать с физическими явлениями» (отставной генерал Б. Шривер, директор одной из «фабрик мысли»). Город, этот сверхсложный социальный феномен, остается для них закодированным лесом, с которого они никакими усилиями не могут снять чары.

Попытка перенести методику, зарекомендовавшую себя в такой пусть очень не простой, но все-таки узкой области, как военное дело, на область социальных явлений есть утонченно-научная пришибебевщина, «виртуозность прямолинейности», как сказал бы Салтыков-Щедрин. Познание и изменение общества под силу лишь диалектико-материалистической науке. А претенциозно «беспристрастная», механистическая и эклектичная (поскольку она применяется к общественным явлениям) «научность» «фабрик мысли» выявляет здесь и теоретическую и — тем более — практическую свою беспомощность, ибо направлена на решение проблем, принципиально неразрешимых при капитализме. Так, оказываются напрасны все попытки «фабрик мысли» врачевать язвы города. К примеру, подготовленная с их помощью «большая война с преступностью» на деле, пишет Диксон, выглядит как «мелкая потасовка». А разрекламированная «война с бедностью» вообще в большей части остается на бумаге, в данном случае «исследования» (между прочим, весьма дорогостоящие) подменяют собой конкретные действия.

Вольготнее, потому что тут их состоятельность проверить труднее, чувствуют себя «фабрики мысли» в другой важной отрасли гражданских исследований — прогнозировании будущего, футурологии. Ее проблематика еще масштабнее, ибо относится не к городу, но к миру в целом — футурологические прогнозы часто имеют глобальный характер. В какой-то степени

футурологический бум тоже вызван кризисом буржуазного общества и его идеологии; бодрые «сценарии» будущего — своеобразное бегство от настоящего. Инициаторами прогнозирования явились военные «фабрики мысли», применившие и здесь отработанные формальные процедуры вроде «метода сценариев». Конечно, в плоскости чистой технологии их прогнозы представляют определенную ценность, но чем больше они отдаляются от нее, тем больше оказываются произвольными и дезориентирующими. Мир ведь не казарма, а общественное развитие далеко не военно-интеллектуальная потеха.

Да и в чисто военном деле «фабрики мысли» сведущи, как говорится, от и до, не более того. Лишнее тому доказательство — крах американской агрессии во Вьетнаме. В продолжение всей вьетнамской войны такие «фабрики мысли», как ИОА или РЭНД, теснейшим образом сотрудничали с военными штабами, подсказывая им те или иные акции. Теперь в Пентагоне иногда на них возлагают ответственность за поражение: из-за их-де нескончаемых расчетов военное руководство утратило, шекспировскими словами, «румянец воли» (бедный красноречивый Марс!). Со своей стороны, «цивильные милитаристы» возражают, что война была проиграна не потому, что послушались их, а потому, что к ним прислушались недостаточно. Притом ни та, ни другая сторона не уразумела, что их провал во Вьетнаме не следствие каких-либо частных причин, а выражение исторических закономерностей.

В книге Ч. Кадушина речь идет об ином подразделении интеллектуальной элиты, группирующемся вокруг так называемых интеллектуальных журналов¹. Это те ученые, литераторы, вообще деятели культуры, которые периодически выступают на страницах данных изданий. Из-за специфики своей деятельности эта группа интеллектуалов еще сохраняет нечто от статуса мыслителей-одиночек, «лиц свободных профессий», каким он был в прошлом веке. Роль у такого интеллектуала преемственная:

¹ Таких журналов с утвердившейся репутацией в США сейчас насчитывают примерно два десятка. Назовем некоторые из них: «New-York Review of Books», «New-York Times Book Review», «Nation», «New-Yorker», «Commentary», «Harper's», «Saturday Review», «Atlantic».

держат, так сказать, в уме «образ мира» и по мере надобности подновлять его; судить — разумеется, с определенных социальных позиций — о том, «что означает что» и «что почем», то есть где добро и где зло, что безобразно и что прекрасно и т. д. Такие представления, как известно, всегда конкретны и конкретизирование их как раз и входит в его задачу, так же как и истолкование, «упорядочение» всего нового, что рождается жизнью. Он не столько носитель и хранитель знания, сколько «обновитель» его. Или, точнее, он проводник в «мире значений», который есть не совсем то же самое, что мир знаний. Любители античных аналогий сравнивают его с мифическим мудрецом Тиресием (ослепленный Афиной за то, что однажды узрел всю ее красоту, он был взамен наделен ею «внутренним зрением», некой глубиной, цельностью знания).

В отличие от «фабрик мысли» литературно-политические журналы, или, как их называют в Англии и США, «интеллектуальные журналы», — явление далеко не новое; уже в первой половине прошлого века они стали важным фактором культурной жизни. Но сейчас, утверждает Кадушин, их значение еще выросло за счет университетов. Если раньше господствующие типы мировоззрения, идеологии складывались (особенно в старой Германии, но и в США тоже) при значительном участии университетов, то теперь этому все больше мешают два обстоятельства. Во-первых, небывалый рост университетов, которые сейчас насчитывают несколько сот тысяч преподавателей и аспирантов, и, во-вторых, углубляющаяся специализация, вынуждающая научных работников выбирать все более узкие области исследования. Слишком уж многочисленный форум специалистов все меньше справляется с задачей соотносить частные знания с общей картиной развития наук и искусства, с непрерывно меняющейся картиной самой жизни. «Интеллектуальный журнал» оказывается в этом смысле более гибкой организационной формой.

Можно представить, таким образом, «фабрики мысли», университеты (вообще вузы) и «интеллектуальные журналы» в виде трех частично совпадающих кругов (многие сотрудники «фабрик мысли» и большинство сотрудников «интеллектуальных журналов» так или иначе связаны с

университетами; иногда первые фигурируют среди вторых²). Разумеется, данная геометрия не претендует на социологическую точность, а предлагается, так сказать, в рабочем порядке. Творчество «фабрик мысли» призвано выполнять практическую, инструментальную функцию знания, а творчество «интеллектуальных журналов» — мировоззренческую функцию. Для полноты картины укажем, что на «фабриках мысли» преобладают ученые-естественники (хотя процент гуманитариев растет), тогда как авторы «интеллектуальных журналов» преимущественно гуманитарии.

Первое, что бросается в глаза, когда открываешь «интеллектуальные журналы», их разношерстность. Пестрота идеологий, вкусов, политических симпатий (консерваторы, радикалы, либералы, больше, конечно, либералов), чересполосица групп и группок — можно ли тут что-то подытожить, как-то характеризовать с этой стороны «интеллектуальные журналы» в целом? Но кое-что все же подытожить можно, исследование Кадушина содержит для этого достаточно материала, хотя сам он делает из него выводы противоречивые. При всех своих внутренних различиях «интеллектуальные журналы» вместе с сотрудничающими в них интеллектуалами образуют замкнутый круг законодателей интеллектуальной моды, проникнуть в который обычно не легче, чем в свое время в какой-нибудь модный салон. Недоброжелатели называют его «интеллектуальной мафией» или «кликлой нью-йоркских яйцеголовых». Редакторы этих журналов, пишет Кадушин, «выполняют обязанности хозяйки салона, решающей, кому говорить о чем, перед кем, как долго, а также какие книги следует обсудить, а какие игнорировать».

И адресуются «интеллектуальные журналы» тоже к сравнительно немногочисленным читателям, «внешне напоминая скорее газету маленького города, где репортера знают все и каждый, нежели современные национальные масс медиа». Впрочем, интеллектуальных знаменитостей охотно «выпускают» непосредственно на экраны телеви-

² К примеру, тот же Г. Кан значится у Кадушина в числе «ведущих авторов интеллектуальных журналов» вместе с Д. Беллом, Н. Мейлером, Г. Маркузе, С. Беллоу, Дж. К. Гелбрейтом и другими.

дения и на страницы многотиражных изданий. Ведь, как говорит Кадушин, «помимо бейсболистов и актрис, (ведущие) интеллектуалы — наиболее разрекламированные люди в Америке», и какой-нибудь журнал «Плейбой» (5 миллионов подписчиков) «для форса» помещает интервью, скажем, с Норманом Мейлером или Маршаллом Маклюэном в диковинном соседстве с игривыми картинками и советами начинающему культуристу.

Посмотрим, однако, как «интеллектуальные журналы» и их авторы справляются со своими ролями. Кадушин предложил группе «ведущих авторов» «интеллектуальных журналов» высказаться о «национальных приоритетах». 110 авторов согласились ответить на вопросы социолога при условии, что не будут названы их имена. Итак, какие же у них представления о «приоритетах»? На первом месте оказывается внешняя политика. На втором — расовая проблема. На третьем — «кризис культуры». По данным опросов, проводившихся в минувшем году, для американцев в целом все это проблемы первостепенной важности (только вместо «кризиса культуры» широкая публика употребляет более бытовые понятия: например, «порча нравов»), хотя у разных категорий населения в первую тройку категорий попадают также и экономический кризис, и рост преступности, и — у малоимущих — проблема бедности.

Внешнеполитическая конъюнктура вообще, можно сказать, сыграла в свое время роковую роль в истории американских интеллектуалов. Когда-то в их среде преобладало решительное неприятие американской действительности, в котором была немалая доля снобизма и эстетства, но вместе с тем и непримиримое отвращение к буржуазности. Массовые движения 30-х годов и участие США в антифашистской коалиции — два эти фактора побудили многих из них пересмотреть отношение к собственной стране, искать в ней ростки грядущего обновления. Но затем разыгралась «холодная война», поднялась антикоммунистическая истерия, мутная волна маккартизма захлестнула Америку и ее «интеллектуальные журналы». Немногие из интеллектуалов устояли тогда, большинство их перешло на позиции конформизма. Мы потому вспоминаем сейчас об этом, что нынешние «ведущие авторы» (две трети их старше

пятидесяти) почти все прошли через эту, так сказать, ледяную купель.

Столь же некритически была ими воспринята и агрессивная политика Соединенных Штатов на международной арене. «В сознании... собственного величия мы изо дня в день расхаживали, хорохорясь, рисуясь и важничая, заложив руки под фалды, надвинув шляпу на левый глаз, ища, с кем бы ввязаться в драку» — так еще в прошлом веке иронизировал над ура-американизмом Марк Твен. Как правило, «ведущий автор» начала 50-х мог бы повторить его слова, увы, без всякой иронии и без «дистанции»: он почти без оговорок поддерживал официальный внешнеполитический курс и даже сам слегка надвигал шляпу на левый глаз.

Поворот к разрядке в этом кругу стал намечаться в конце 50-х, когда передовые интеллектуалы (такие, как С. Райт-Миллс) во всеуслышание потребовали прекратить «холодную войну». Но вот как-то почти «незаметно» началась и на долгие годы затянулась «необъявленная война» США во Вьетнаме, все значение которой для американского общества еще предстоит взвесить историкам. В разгар войны из лагеря «ястребов» гремели обвинения в адрес «яйцеголовых идеологов»: они-де своей оппозицией войне подрывают «моральный дух нации», «предают Америку». Верно, что «ведущие авторы» в основном выступали против вмешательства во Вьетнаме: большинство их было против уже в 1965 году, когда эскалация только-только начинала развертываться; в 1970-м противников войны среди них стало уже 90 процентов (по стране в целом, по данным опроса института Гэллага, 56 процентов).

Не торопитесь, однако, с выводами, пишет Кадушин, они потому, главным образом, противились войне, что не видели впереди победного конца. Иначе говоря, большинство их показало себя в данном вопросе сугубыми прагматиками. В отличие от «медных лбов», в отличие от других «яйцеголовых» — с «фабрик мысли» — они сумели понять, что вмешательство во Вьетнаме с самого начала явилось ошибкой. Почему? Это они, по их же словам, представляли смутно. «Юго-Восточная Азия осталась чем-то вроде загадки», — пишет Кадушин. То есть уроки Вьетнама были поняты не всеми и не до конца. Многие

увидели во вьетнамской авантюре локальных просчет и не переменили прежних взглядов на «роль Америки в мире», не отрелись от концепции «холодной войны». Если точнее, из тех, кто в «холодную войну» были за, а во вьетнамскую стали против, две трети считают, что политику силы следует продолжить, но более гибкими средствами. Хотя все-таки другая часть (треть!) поставила на ней крест.

Линия «интеллектуальных журналов» в расовом вопросе особенно выдает их практический «хвостизм», наклонность к философствованию постфактум. Хотя расовый вопрос назревал очень давно, они заговорили о нем только тогда, когда он уже вызвал в обществе, пользуясь еще раз выражением Салтыкова-Щедрина, «оптический переполох». Даже Верховный суд США, принявший в 1954 году известное решение о десегрегации в школах, — даже он оказался предусмотрительней: уловил отдаленные сейсмические толчки «негритянской революции», попытался ее самортизировать. Интеллектуалы же среагировали лишь после того, как «масс медиа» стали приводить горячие сводки с «расового фронта», обнаружив глубину развершейся пропасти.

И не следует думать, что в силу своей просвещенности все интеллектуалы поспешили принять сторону борцов за расовое равноправие. Вовсе нет. Даже сегодня каждый третий «ведущий автор» против равноправия рас. Нет, конечно, он сам не опускается до того, чтобы, скажем, не подать черному согражданину руки (да и живет-то он обычно в Нью-Йорке, где расовой сегрегации и раньше не было), но если расовый предрассудок демонстрирует какой-нибудь дремучий южанин, он, интеллектуал, готов этого южанина «понять» и «простить», глубокомысленно ссылаясь на некую «природу человека» — это-де для интеграции преткновение, какого ей не перебороть.

«Кризис культуры» — проблема, значение которой, по мнению большинства интеллектуалов, будет возрастать в последующие годы. Существо ее довольно точно выразил анонимный «ведущий автор»: «Правящий класс, его сыновья и дочери утратили веру в свою страну, более того, утратили веру в самих себя и в фундаментальные принципы западной цивилизации».

От материка «традиционной культуры» оторвалась контркультура, и трещина, пишет Кадушин, прошла не только между поколениями, но и через сердца многих отцов да и детей. «Интеллектуальные журналы» в целом встретили контркультуру в штыки, лишь немногие сочувствователи взяли ее под защиту, как и «новую левую» (хотя эти немногие пользуются большим авторитетом: П. Гудмен, Г. Маркузе, М. Мид, С. Зоннтаг и другие, и они не только поддержали контркультуру, но в какой-то степени сами вскормили ее). Перед натиском чувственной антирациональности контркультуры, ее полумистического революционаризма «интеллектуальные журналы» стремились устоять на твердой почве знания рационального, концептуального и систематического.

Прихотью истории трещина, расколовшая фундамент культуры, прошла таким образом, что на одной стороне оказались «зажженные светлы» высокой духовной культуры, но вместе с тем и политический консерватизм и политическое филистерство, а на другой — неподдельный идеализм в несчастливом сочетании с нигилизмом и каким-то нервическим гедонизмом. В политическом плане, пишет Кадушин (сам он тяготеет к «новой левой»), то обстоятельство, что «энтузиазм и динамизм радикальной молодежи» не сумели опереться на «зрелость, вдумчивость старой левой», обрекло на неудачу попытку переделать общество. Сейчас «интеллектуальные журналы» на своем берегу несколько злорадствуют по этому поводу, но трещина по-прежнему зияет перед ними, внушая им тревогу за будущее вековых культурных традиций. Положение их действительно очень не простое, коль скоро судьбу культуры они связывают воедино с судьбой буржуазного общества.

На поставленный Кадушиным вопрос, стоят ли они за ликвидацию капиталистической системы, а это вопрос, очевидно, узловой, редкие «ведущие авторы» ответили категорическим «да». Это, правда, не значит, что все остальные согласны на открытую апологию капитализма. Многие пытаются уйти от этого вопроса, подменить его другими, менее существенными, драпируются в одежды универсального скепсиса, некоего всесветного фрондерства. На левом, радикальном крыле «интеллектуаль-

ных журналов», крайне разношерстным, преобладают эклектики (Кадушин называет их «лояльной оппозицией») — Маркс у них «уживается» с Фрейдом, с некоторыми новейшими идеологами непролетарской левой (следует, однако, отметить растущий в этой среде — не только между леворадикалами — интерес к марксизму, буквально продающийся сквозь напластования предрассудений).

Все они — и консерваторы, и либералы, и даже радикалы — предпочитают вариться в собственном соку, утверждает Кадушин. «Как ни разбросана сеть интеллектуалов, эта сеть обращена к самой себе... Большинство интеллектуалов... излагают свои убеждения в расчете на то, что будут услышаны главным образом своими же собратьями».

Конечно, это отнюдь не означает, что их мало кто слушает или что их слова не имеют веса, а только то, что сами они адресуются преимущественно друг к другу. В этом смысле «сеть» сама себе довлеет. И вправду она вроде большого салона, где «избранные» беседуют и спорят между собой посредством печатного слова. Салон этот не лишен некоторого блеска: в нем немало отшлифованных, сверкающих умов. Как и всякий салон, он распадается на группы, на кучки («интеллектуальные журналы») — одни побольше и оживленней, другие уже; одни радикальнее, другие либеральнее, третьи претендуют на какую-то от всех и вся «независимую» позицию. Веретена с разных сторон шумят равномерно и не умолкая, и надо всеми витает некая незримая г-жа Шерер, всюду поспевающая, присматривающая, чтоб было коммифо. Конечно, времена старых салонов, где не то что скандалить — повышать голос считалось неприличным, давно миновали, в данном «салоне» в разных его концах то и дело раздаются дерзкие выкрики, вспыхивает перебранка; с явлением контр- и попкультуры там стали замечаться и совсем беспардонные, хотя в общем-то проходящие фигуры: кто-то нарочно плевал на пол, кто-то пытался заголиться. И все-таки стойкий привкус салонности сегодня, как и

вчера, присутствует в «интеллектуальных журналах», даже если в них обнаруживается серьезный критицизм или скандализирующее леваческое задирательство.

Попробуем подвести некоторый общий итог. Хотя «фабрики мысли» и «интеллектуальные журналы» — два особо ответственных подразделения интеллектуальной элиты, не приходится отводить им роль общественного авангарда. Бесспорно, взгляд у интеллектуала зорче, изощреннее, но его поле зрения в вопросах первоочередной важности сужено самим фактом его «включенности» в «повседневную рутину бюрократической жизни» (Кадушин). Прагматик, «кондотьер мысли», «интеллектуальный брокер» задает теперь тон там, где некогда мучались «проклятыми вопросами» и упорно стремились к истине. З. Бжезинский констатирует: «Прежняя интеллигенция, воспитанная в традициях гуманизма, нередко идейная, видевшая свою задачу в основном в социальной критике существующего порядка, быстро вытесняется либо экспертами и специалистами, принимающими непосредственное участие в деятельности правительства, либо стратегами-теоретиками, которые, в сущности, становятся придворными идеологами властей предержащих и обеспечивают общее теоретическое обоснование действий последних».

И все-таки сейчас хочется подчеркнуть, что тенденции иного рода набирают силу. Осознание своей гражданской ответственности, «причастности» ширится в массе работников умственного труда и в какой-то мере проникает также и в обители «интеллектуальных журналов» и «фабрик мысли», особенно с приходом туда молодого поколения интеллектуалов. Один из симптомов этого: все большая часть «элиты» отдает себе отчет в глубине и сложности внутренних проблем Америки. Другой симптом: стремление к разрядке напряженности медленно, но неуклонно растет, хотя оно нередко еще наталкивается на слежавшиеся пласты враждебности, предвзятости.

Ю. КАГРАМАНОВ.



КОРОТКО О КНИГАХ



БОРИС ЯКОВЛЕВ. Из реки по имени — «Факт»... Историко-революционные репортажи. М. «Советская Россия». 1976. 331 стр.

В центре этой книги образ великого пролетарского вождя Владимира Ильича Ленина, его эпоха, идеи, принципы и практика руководства, ленинский стиль в работе и жизни, его морально-этические критерии, ленинские начинания, их динамика, влияние и значение в современном мире. В избранном им жанре автор говорит языком точного, яркого факта, впечатляющего документа тех дней, давнишнего газетного репортажа или интервью, строкой из письма, воссоздавая с их помощью характерные приметы эпохи, социального опыта и быта.

Рассказывая о ленинской «Искре», Б. Яковлев уделяет большое внимание тому, как в тяжелейших условиях подпольного быта проявлялся высокий духовный и нравственный облик лучших людей того времени, к которым принадлежали В. И. Ленин и его ближайшие соратники, — именно нравственному аспекту складывавшегося революционного, идейно-политического содружества. Раскрывая новаторское содержание ленинской работы «Что делать?», писем Ленина, автор прослеживает их воздействие не только на политическое сознание, но и на личность в целом, на весь нравственный облик человека, его чувства, поведение. На строго документальной основе Б. Яковлев выявляет картину, ход борьбы, развернувшейся в РСДРП после II съезда, и в то же время «диаметрально противоположные психологические типы большевиков и меньшевиков в политическом действии». Именно такой подход дает возможность наглядно показать драматический накал борьбы, твердую решимость одних, сомнения и колебания других и на этом фоне — «громадный рост престижа Старика» (так называли В. И. Ленина в партии).

Репортаж «Три самых первых дня» почти целиком построен на мемуарном материале. Здесь автору удалось передать стремительный, поистине вулканический пульс работы штаба Октября, настроение, которое, по свидетельству А. В. Луначарского,

было создано В. И. Лениным, — «сверхчеловечески-интенсивное, все какое-то пламенеющее коллективным сознанием огромной мировой важности протекающих минут».

Две наиболее обширные документально-публицистические работы, помещенные в книге, рассказывают о деятельности Владимира Ильича по руководству развитием науки и изобретательства, о влиянии сделанного в первые годы революции на развитие советской науки и техники. Перед читателем разворачивается история поддержки В. И. Лениным важнейших военно-технических изобретений, в частности осуществления взрывов на расстоянии по радио, с успехом применявшихся во время Великой Отечественной войны, и первые шаги советских энергетиков, атомников, исследователей космоса, химиков, селекционеров, гидрологов и гидробиологов, уже тогда обоснованно ставивших вопрос о мерах охраны окружающей среды. Постоянное внимание Ленина к ученым и изобретателям, к их нуждам и предложениям, его методы работы с ними, настойчивость и терпение, забота об эффективности изобретений и научных открытий, о сокращении пути между открытием и его внедрением имеют самое актуальное значение сегодня, в годы разворачивания гигантской научно-технической революции.

Высочайший гуманизм советской власти отражен в репортаже «Критерий сердечности», повествующем о заботе Ленина, органов советской власти о детях в самые трудные и голодные годы революции.

Завершается книга двумя материалами, посвященными созданию Советского многонационального государства. Читатель приобщается здесь к сложнейшим проблемам национально-государственного и культурного строительства, ликвидации экономической отсталости многих народов, знакомится с яркими индивидуальностями молодых работников национальных республик, жадно искавших совета и поддержки Ленина в их нелегкой деятельности.

Избранный Б. Яковлевым в области документальной публицистики жанр получил достаточно условное наименование историко-революционного репортажа. Пожа-

луй, самые интересные материалы в книге, по-видимому и ближе всего соответствующие обозначенному жанру, это те, которые возникли на основе газет. Именно старые репортерские записи позволяют автору воссоздать атмосферу и картину заседаний Всероссийского и Всесоюзного съездов Советов в декабре 1922 года, а, к примеру, рекламные страницы «Известий» того же времени рожают целый раздел, наглядно раскрывающий накал борьбы социалистического и частнособственнического начал в экономике страны. Бережно воспроизводя старые газетные страницы, автор приглашает читателя прочувствовать неповторимый колорит времени, приобщиться к тем проблемам, которые каждодневно рождала Советская страна на шестом году Октября.

Рецензируемая книга пропагандирует замечательные черты ленинского стиля партийной и государственной деятельности, приближает нашего современника к эпохе, когда закладывались основы сегодняшних успехов коммунистического строительства.

Ю. Амianto.



В. ПЕРЦОВ. Мы живем впервые. О творчестве Юрия Олеши. М. «Советский писатель». 1976. 239 стр.

Масштаб творчества писателя, его значение для художественных исканий современности определяется как уровнем общественного самосознания, так и уровнем эстетической культуры. Книга В. Перцова о Юрии Олеше — художнике и человеке сложной судьбы отражает сегодняшнюю высокую отметку этих уровней. Олеша предстает в ней как «мастер живописи словом со своей темой, со своим отношением к миру, рожденным революцией, подобно Пришвину или Паустовскому». Стремление проникнуть в сокровенную суть художественной мысли Олеши, сопоставить созданное этим художником со временем, объяснить «длительность его действия» — все это придает книге В. Перцова по-особому серьезный характер. И правомерно, что открывает ее последняя по времени написания работа критика (монография состоит из статей, ранее публиковавшихся; посвященные важнейшим этапам творчества Олеши, они органично слились здесь, став ее главами), посвященная посмертной книге «Ни дня без строчки». Именно она дала возможность В. Перцову воссоздать перед читателем историю эстетического узнавания мира художником, обладавшим «чудом двойного зрения», чудом преломления прошлого через настоящее. Запись психологических состояний художника, фиксация образов его эстетического сознания — вот что особенно привлекает исследователя в этой своеобразной духовной автобиографии Олеши. Итог исследования важен для всей книги:

мысли и чувства Олеши неизменно были заняты искусством, он жил и дышал им, завещал свое отношение к нему как к главному в духовной жизни человека социалистического общества, для которого эстетика неразрывна с этикой, политический идеал — с нравственным.

В. Перцов подчеркивает в творчестве Олеши «целостную интуицию, доверие к эмоциям вкуса», желание за каждым поэтическим словом ощущать аналог действительности. Это движение представителя интеллигенции к социализму (движение и самого Олеши и его лирического героя). Разные моменты этого движения выделены критиком в сценарии «Строгий юноша» — романтической пьесе о красоте человеческих отношений, о любви в коммунистическом обществе; в романе для детей «Три толстяка», в едва ли не первом в советской литературе «индустриальном» романе «Зависть», в появившемся после него цикле рассказов, пафос и творческую концепцию которых В. Перцов определяет как «расчет с индивидуализмом». И в фельетонной работе Ю. Олеши в «Гудке» В. Перцов отмечает те же черты социального идеала, какие были характерны для основных его произведений.

Рассматривая творческую историю сказки «Три толстяка», В. Перцов показывает нам ее место в литературно-сказочной традиции, ее новаторский смысл как «революционизированной сказки». Те страницы книги В. Перцова, где анализируется роман «Зависть» (который критик называет прологом к произведениям о социалистическом созидании в советской литературе), воспринимаются как полемические по отношению к попыткам американских советологов представить роман Олеши «изображением механизированного планового тоталитарного общества», отбросившего все этические нормы, а самого писателя — певцом этого общества «с его культом бездуховной энергии и физического здоровья». Не случайно А. Беляев в споре с советологами (в книге «Идеологическая борьба и литература») по поводу романа «Зависть» широко использует высказывания В. Перцова, утверждающего, что Ю. Олеша «в течение всей своей литературной жизни был последователен в восторженном отношении к Октябрьской революции и ее высоким идеалам».

В тесной связи с концепцией творчества писателя критик исследует и метод инсценировки Ю. Олешей романа Достоевского «Идиот», касается общих проблем драматических инсценировок классических произведений.

В. Шкловский в предисловии к «Избранному» Юрия Олеши говорит о «явлении нового восприятия». Эти слова вспоминаешь, закрывая книгу В. Перцова.

С. Николаева.



ВИКТОР КОЧЕТКОВ. Отзывается сердце. Стихи. М. «Современник». 1975. 142 стр.

ВИКТОР КОЧЕТКОВ. Стихи. Альманах «Поэзия». Выпуск 17. М. «Молодая гвардия». 1976.

ВИКТОР КОЧЕТКОВ. Стихи. «Наш современник», 1976, № 3.

Виктор Кочетков — поэт военного поколения. Это ясно проступает в его книге «Отзывается сердце».

Трудно сложилась жизнь поэта в годы войны: мальчиком еще пошел он в солдаты; трагические обстоятельства обрекли юного командира (уже командира!) на плен; четыре раза пытался бежать, и только последний побег был успешным; снова фронт...

Незаемная событийная наполненность судьбы, пристальная и пристрастная манера осмысления, выстраданность каждой строки делают боль поэта острой и обнаженной: «Плата жизнью — не самая страшная плата. «Мертвый сраму не имеет», — сказали не зря... Вот короткая повесть мальчишки-солдата, где начальной строкою стоит: «Лагеря». В сорок первом, в июле, оглохший от боли, он шагает под окрик конвойного: «Los!». Ах, как жаль, что последнюю пулю в обойме на себя израсходовать не довелось...»

Память поэта не может и не хочет забыть фронтовые годы: «Что ищешь ты на рубежах бывшего, миноискатель памяти моей!» — вопрошает он, вновь обращая взгляд в прошлое.

Это прошлое живет в его стихах и сейчас, по-особому обостряя взгляд поэта. Вот, например, наблюденная им картина праздника в заволжском селе: старые женщины поют вдовьи песни, дорогие им тени приходят на этот зов. И с состраданием замечает поэт: «Горе России — нигде обнаженной и проще не открывалось, чем здесь, на крестьянском пиру». Что ж, и на пиру. Потому что «после войны, словно после мороза, десятилетия отходит душа».

И все же она, душа, оттаяла. Или почти оттаяла. Настолько, что к поэту возвратилась способность восхищаться клочкотанием бурной жизни: «Мир опять был доверчив,

стозвучен, запашист и свеж. И луга колосились. И небо цвело голубое, и река была снова река, а не водный рубеж, и земля была снова земля, а не поле кровавого боя»

И все-таки фронтовик остается фронтовиком — ассоциации то и дело уводят его в юность: «Ну где еще такие степи — раздолье буйное земли! Как атакующие цепи, снопы на сотни верст легли». Такое сравнение органично для поэта, который о родине знает сокровенное: «Сначала мы спасли ее, в бою отвоевали. И только после этого Россию открывали».

Не любитель насиженного места, поэт много повидал в своей стране. Побывал на севере и юге, в самых далеких и тихих уголках страны; жизнь родины и ее история притягивают поэтическое внимание Кочеткова. Большая подборка стихотворений, опубликованная в «Нашем современнике», раздвигает географический и тематический диапазон поэта. Волжские ли дали, курские степи, везде природа, родная земля — источник творческой энергии, обобщений: «Я тянулся к полям, как историк к архивным томам». Зрение поэта становится юношески острым, тон страстен, горяч. Идет не только освоение пространств родины — продолжается постижение народного характера: «В степи, — замечу вам в коротком примечанье, — год учатся словам, а тридцать лет — молчанью».

Автор заботится о том, чтобы не стать суесловным, не обмануть ожиданий: «Строка моя непышная, рожденная в глуши, ты станешь ли не лишнею для чьей-нибудь души!»

В поисках правды жизненной и поэтической автор приходит к убеждению, что «мир тем хорош, что он не стал музеем, а был, и есть, и будет мастерской». Поэт доверяет читателю самое сокровенное: «Мне не легко строка дается, я трачу в поисках года. На дне буджакского колодца вот так же копится вода». В последних стихах В. Кочеткова нарастает напряженность поиска, стремление осмыслить и понять день сегодняшней. И веришь строкам: «Душа моя, вовек не отбойей высокою тревогою исканья...»

Р. Романова.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗАТ

В. И. Ленин. Сборник произведений. Для учащихся средних школ и средних специальных учебных заведений. 511 стр. Цена 77 к.

Леонид Ильич Брежнев. Краткий биографический очерк. 176 стр. Цена 32 к.

Л. Баева. Социальная политика Октябрьской революции. Октябрь 1917 — конец 1918 г. 143 стр. Цена 26 к.

Об идеологической работе КПСС. Сборник документов. 639 стр. Цена 1 р. 23 к.

П. Родионов. Ленинский стиль в партийной работе. 120 стр. Цена 22 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Я. Авижюс. Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского. 543 стр. Цена 1 р. 15 к.

А. Бен. На своем веку. Роман-записки. 190 стр. Цена 32 к.

П. Луницкий. Ленинград действует... Фронтальной дневник. Книга 1. 671 стр. Цена 1 р. 28 к. Книга 2. 592 стр. Цена 1 р. 18 к. Книга 3. 672 стр. Цена 1 р. 59 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Детям о Владимире Ильиче Ленине. Стихи и рассказы. 64 стр. Цена 31 к.

М. Карим. Жду вестей. Стихи и поэма. Предисловие Н. Наджми. 191 стр. Цена 65 к.

Ф. Кузнецов. Беседы о литературе. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. 336 стр. Цена 61 к.

Т. Маврина. Птицы на море. По русским народным песням. 24 стр. Цена 37 к.

Э. Межелайтис. Дневник Дайны. Пересказал с литовского Л. Миль. 48 стр. Цена 41 к.

ВОЕНИЗАТ

М. Львов. Крутизна. Стихи. 223 стр. Цена 89 к.

И. Мележ. Минское направление. Роман. 717 стр. Цена 1 р. 69 к.

В. Харитонов. Записка в патроне. Стихи и песни. 240 стр. Цена 91 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ч. Айтматов. Ранние журавли. Повесть. Фрунзе. «Кыргызстан». 96 стр. Цена 28 к.

М. Данини. Два Новых года. Повести и рассказы. 232 стр. Цена 47 к.

Запах мяты. Рассказы. Перевод с татарского. Казань. Таткнигоиздат. 143 стр. Цена 20 к.

Л. Иезуитова. Творчество Леонида Андреева. 1892—1906. Издательство Ленинградского университета. 240 стр. Цена 98 к.

Карельские притчания. Петрозаводск. «Карелия». 534 стр. Цена 1 р. 47 к.

О. Сулейменов. Определение берега. Избранные стихи и поэмы. Предисловие Л. Мартынова. Алма-Ата. «Жазушы». 455 стр. Цена 2 р. 35 к.

Е. Шаповалов. Волга-реченька. Сказы. Куйбышев. Книжное издательство. 86 стр. Цена 14 к.

Эстонская советская новелла. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 599 стр. Цена 98 к.

К. Яшен. Моя Бухара. Избранные гьесы. Перевод с узбекского. Ташкент. «Эш гвардия». 221 стр. Цена 73 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян, К. А. Федин.**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 24/II 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 12/IV 1977 г.
A 09747 Формат бумаги 70×108^{1/8}. 28,7 уч.-изд. 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
Тираж 180.000 экз. Заказ 4170.

Отпечатано с матриц типографии № 1 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна» Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94 в типографии № 2 ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев, ул. Анри Барбюса, 51/2. Зак. 0963.

Цена 70 коп.

70636